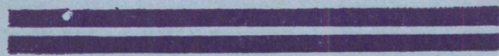


НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ
МИР

8



1980

1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕВ КРИВЕНКО — Рассказы. Публикация Е. С. Кривенко	Стр. 3
ВЛАДИМИР КРУПИН — Живая вода, повесть. Предисловие Сергея Зальгина	26
ВЗЛЕТ — Валерий Прохвятилов, Евг. Блажеевский, Андрей Василевский, Сергей Малышев, Владимир Носков, Валентина Ханадеева, Иван Панкеев, Ирина Антонова, Владимир Шаров, Ольга Кондратьева, Дмитрий Нечаенко, Карэн Джангиров, Зинаида Такшеева, Сергей Каратов, Евг. Манфановская, Евгений Муравлев, Виктор Смагин, Владимир Чурилин, Виктор Щеголев, Николай Урванцев, Людмила Сосновская, Семен Печеник, Олег Хлебвигов, Корнелия Зойткевич, Сергей Семьянников, Наталья Грачева. Стихи	107
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Авессалом, Авессалом! Роман. Продолжение. Перевела с английского М. Беккер	122
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Краски Созопола	180
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВАДИМ КОВСКИЙ — Закон единства. Современная литература в масштабе культуры	211
ЛЮДМИЛА УВАРОВА — Встреча с Маяковским. Московская быль	226
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	231
Савва Дангулов. Отчий край.— Ю. Смелков. Трудный путь к гармонии.— Наталья Старосельская. «Обдумываю этот мир...».— Сергей Белов. «Замкнутая вселенная» и магистрали истории.— Г. Злобин. Освоение Фолкнера.— Василий Новиков. Талант критика.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

250

Владимир Ломейко. Европа под знаком разрядки.— **Ю. Замошкин.** На пути к познанию «я».— **В. Буганов.** «Отец истории» о скифах и древних славянах.— **Н. Эйдельман.** Поэт — «историк строгой».

КОРОТКО О КНИГАХ: **Василий Субботин.**— **Л. Финк.** **Константин Симонов.** Творческий путь. ♦ **Г. Соловьев.**— **Л. Лазарев.** **Василь Быков.** Очерк творчества. ♦ **Владимир Успенский.**— **Иван Арсентьев.** Три жизни Юрия Байды. Роман. ♦ **А. Кожин.**— **В. Морозова.** Всероссийский розыск. Повесть о Конкордии Самойловой. ♦ **А. Бочаров.**— **Е. Сидоров.** На пути к синтезу. Статьи. Портреты. Диалоги. ♦ **Григорий Левин.**— **Юрий Окунев.** Власть лирики. Книга стихов. ♦ **З. Соколова.**— **Юрий Папоров.** Хемингуэй на Кубе. Очерки. ♦ **Сергей Алиханов.**— **Андрей Дементьев.** Рождение дня. Стихи. **Андрей Дементьев.** Подборка стихов. ♦ **Сергей Львов.**— Библиотеки Москвы. Справочник. ♦ **И. Дрейцер.**— **И. И. Середюк.** Восприятие архитектурной среды. ♦ **И. Забелин.**— **В. А. Есаков.** География в России в XIX — начале XX века. ♦ **И. Эвентов.**— **Валентина Левидова.** У нас в Ленинграде. Повести и рассказы

263

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ЛЕВ КРИВЕНКО

★

РАССКАЗЫ

Он умер нестарым человеком от тяжелой болезни. Много страдал, бедствовал. Долго не мог напечатать ничего из того, что писал всю жизнь. Его сверстники и те, кто был моложе, быстро обгоняли его в изданиях, благоустройстве, благополучии. И тем не менее его писательскую судьбу можно назвать счастливой — он писал всегда только то, что хотел, и делал в жизни то, что ему нравилось и помогало писанию. В его работе, какой бы медленной и трудной она ни казалась, не было натуги. В ней была внутренняя свобода. И такой же — внутренне свободной — он устроил свою жизнь. Писал он о сокровенном, о любимом и почти постоянно об одном: об испытаниях, которым подвергается молодой человек на войне. Были и другие важные для него темы, но эта оставалась важнейшей. С нею он и пришел в институт.

Известная фраза Достоевского о том, что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья, как нельзя более подходит к доле писателя. Сервантес был глубоко несчастен как человек и глубоко счастлив как писатель.

Я помню Льва Кривенко в Литературном институте сорок шестого года: он был худ, чубат, быстр в движениях, любил шутки, подначки, возню в коридорах, игру в волейбол во дворе института, всегда был настроен насмешливо, в веселых глазах под тяжелыми бровями посверкивала неутомная чертовщинка. И, однако, он готовился к жизни писателя серьезней всех нас. Ходил он в длинной черной шинели и носил, кажется, флотскую фуражку с крабом. Почему флотскую, не знаю. На войне он был пехотинцем. На его долю выпали трудные начальные годы, потрясшие навсегда. Уже в первых своих литературных попытках он стремился достичь предельной достоверности и искренности в описании человека на войне: человек был человечен, а война была войной, то есть обыкновенным, будничным, страшным, античеловеческим делом. Кривенко писал военную книгу всю жизнь. Как алхимик в поисках волшебного камня, так писатель — в ту пору совсем молодой, не имевший за душой ничего, кроме жажды писательства и юного, кровавого опыта, действовавший скорее по наитию, чем по твердому пониманию законов искусства, — рылся в словах, мучил их, ломал, переставлял, перетряхивал, как землю на лотке, ища драгоценное сверкание — крупцу истины.

И всегда был собой недоволен.

Это не оставляющее в покое, травящее душу чувство — недовольство собой — началось давно и сопровождало как тень. Военные рассказы были писаны тридцать с лишком лет назад, обсуждались на семинаре Паустовского, были хвалимы, в них жила глубинная, молекулярная правда — чего тогдашней литературе, надо сказать, не хватало, я имею в виду литературу о войне, — но автор оставался узником своего недовольства. Ему требовалось постоянно улучшать, переделывать, добиваться все более глубинной, все более молекулярной (а можно ли?) правды. Вероятно, можно. В одном из рассказов описан жук на бруствере окопа — подробнейшим образом, осязаемо и точно показано движение жука по травинке и по комку земли. Описание замечательно не тем, что писатель вторгается в микромир природы, а тем, что за крохотной фотографией встает нечто громадное, для изображения чего громадные слова не годятся. Кривенко писал о войне вроде бы вязко, томительно, тяжеловесно, угловато, но такой он видел войну, и этот стиль — трактора, продирающегося сквозь осеннюю топь, — оставался незыблемым в течение тридцати лет.

Кривенко был учеником К. Г. Паустовского. Был предан учителю беспредельно, последние годы встречался с ним часто и в Москве и в Тарусе, и Константин Георгиевич тоже любил Кривенко, ценил его дарование. Он писал предисловие к первой маленькой книжке Л. Кривенко «Голубая лодка», вышедшей в Приокском книжном издательстве в 1967 году, напечатал в «Тарусских страничках» отличный рассказ «Река», один из лучших в сборнике, не раз называл имя Кривенко, перечисляя талантливых молодых. Что объединяло этих двух непохожих людей? Паустовскому была не слишком близка военная тема, которой Кривенко «болел» все годы. Кривенко были чужды романтический аристократизм Паустовского и доля мелодрамы, лежащая в основе его творений. Ведь он, несмотря на молодость, узнал жизнь жестокою и злою, какую Паустовский, если и знал, не желал брать в расчет. Заквас у них был различный. Паустовский вырос в интеллигентской, дворянского корня семье, далекой от революционных бурь века, а Кривенко — в семье творителей этих бурь, израненной веком: в семье политкаторжан. Он и жил в доме политкаторжан на улице Чапыгина. Проза ученика была вовсе не похожа на прозу учителя. Хотя в последние годы... Да, в последние годы намечалось сближение! Многолетняя дружба не прошла даром. Я имею в виду не военную прозу Кривенко, а его рассказы о природе, о путешествиях. Тут появилось много от Паустовского: живописность, пластика фразы, стремление к невозможной краткости. Да и одна из последних вещей Кривенко, прекрасная повесть о Ван Гоге — самая решительная удача Кривенко, которой он успел насладиться при жизни! — близка к биографическим повестям Паустовского, к повести о Левитане. Но все же — близка, близка, да не очень. Похожи фраза, синтаксис, похож быстрый, летучий ритм, но есть в этом легком кораблике какая-то иная тяжесть, как бы иной груз в трюме...

В Литинституте в конце 40-х годов были как бы две школы прозы, делавшиеся грубо по методу изображения, — показ и рассказ. Показ — это считалось чем-то более современным, модернистским, блестящим, экспериментаторским; рассказ — привычное, устарелое, проверенное веками. В первом случае — меткость и броскость, во втором — прочность и глубина. Называли эти две школы в шутку «красный Стендаль» и «красный Деталь». Константин Георгиевич своим творчеством и симпатиями склонялся к тому, что называлось «красный Деталь», а для Кривенко кумиром был Стендаль. Он прожужжал мне о Стендале все уши, и я под его влиянием взялся всерьез читать этого писателя и полюбил его. Паустовский на семинарах говорил чаще всего о Чехове, Бунине, Хемингуэе, Гамсуне, Тургеневе, а любимыми писателями Кривенко были Толстой, Вольтер, Руссо, аббат Мелье, Свифт и какие-нибудь неожиданные вроде Мультипули или Стивена Крейна. Особенно поражал его Стивен Крейн, который описал ощущения человека на войне — так считал Лева — на редкость точно, хотя на войне Крейн не был. Прозрачная живописность Паустовского была как будто совсем ни к чему Кривенко, искавшему в литературе философское тяжелодумье.

И, однако, было нечто, скреплявшее их дружбу сильнее всех скреп, — любовь к природе, к земле, к русским лесам и рекам. Рыбная ловля, охота, путешествия, баркасы, болотные сапоги, блуждания по глухой и забытой отчизне — в этом заключалась сладость жизни для Константина Георгиевича и для Левы Кривенко. О снастях и приманках они могли разговаривать бесконечно. Но было еще что-то много важнее. Это было отношение к делу, в конечном счете отношение к миру. А ведь именно этой мерой люди измеряют — может быть, порой бессознательно — далекость и близость друг к другу. Их делом была литература. Кривенко всем существом впитал от Паустовского то, что Константин Георгиевич нам внушал: литература не может быть средством для процветания, пробивания, пролезания, для всего того, что он называл вонючим благополучием. А если вопреки всему литература делается подобным средством, то туда ей и дорога. Такой литературе надо сказать прощай.

Долгие годы Кривенко увлекался живописью. Он не учился, не выставлял работы в Доме литераторов и не стремился иллюстрировать собственные книги, как другие литераторы-художники: живопись для него была в чистейшем виде чистое искусство. Он не искал ничего любопытства и ничьих похвал. Ему было достаточно того, что он получает удовольствие от гуляния с мольбертом в осеннем лесу, от закатов, от облаков, от всего...

А может, и здесь томилась вечное недовольство собой? Но так или иначе Кривенко был счастлив в своем творчестве и прожил жизнь как хотел.

Аббатство пенсионеров

Товарищ мой, друг детства — проживаем в одном дворе, вместе еще ходили в школу — Ясинов Димка среди нас, помню, сверстников, всегда выделялся ровным характером, невозмутимостью, прямоотой суждений. Нам в те далекие годы он представлялся взрослым, и вот теперь, не так разительно переменявшись, как изменились другие, он напоминал нам о детстве.

...А вчера, повстречав Ясинова на улице возле продовольственного магазина, я спросил у него, как спрашивал обычно:

— Дима, как дела?

На такой ни к чему не обязывающий вопрос он, не вдаваясь в подробности, не задумываясь всегда отвечал: «Все нормально». А вчера он озадачил меня, сказал, глядя вокруг жмурившимися, чего-то нащупывающими глазами:

— Вот силюсь перешагнуть, переступить через что-то. А преодолеть, пересилить это что-то никак не удастся. Никак не могу избавиться от ощущения... сразу в какую-то трясиину затягивает, как только начну шевелиться.

— Через что перешагнуть? — спрашиваю я с недоумением, отступаю от него и разглядываю его всего, как будто увидел Ясинова Димку впервые. Впервые обнаруживается в нем человек, который только и разговаривает теперь о вещах, смысл которых сразу не доходит, не разгадывается.

— Между нами, — сказал он.

На это «между нами» я, как всегда, развожу руками, показывая: разумеется, разумеется.

I

...С Димкой Ясиновым произошла одна история. Случилось это в прошлом году. Когда он рассказал мне эту историю, то я не придал ей никакого значения, быть может, потому, что она меня ничем не задела... Я мог бы позавидовать ему, но это было бы равносильно тому, что я испытывал бы зависть к самому себе, чего в природе не бывает.

Но вот возникла какая странность: история эта все никак не выветривается из памяти... Она как заноза под ногтем... И такое состояние, что боли нет, а ноготь чернеет.

И до сегодняшнего дня я все возвращаюсь к этой истории, пытаюсь не то понять что-то, не то выяснить, хотя бы теперь, для самого себя.

Димка Ясинов — инженер, специалист по поточным линиям — приехал в южный степной городок в командировку. В резерве у него оказались свободные дни — оборудование еще не поступило. Возвращшему его шоферу Симакину Володе, человеку, как Димка сразу разглядел, стремительных решений, он сказал:

— Володь, нет ли у тебя на примете спокойного местечка, где можно отдышаться?

Дома, бежавшие навстречу машине, начали редеть, сошли на нет, и впереди зажелтела степь.

— Что это? — спросил Ясинов.

— Сейчас увидишь, — сказал Симакин. — Сейчас вон за тем поворотом откроется внизу водоем. Тут, конечно, не курорт, но я тебя здесь и оставлю. Тут аббатство пенсионеров обитает. — И Володя подмигнул. Стоило только Дмитрию Ясинову выразить желание, его желание сразу оказалось выполненным. — Ты с ними не разглазгольствуй, — сказал Симакин. — В аббатстве вопросов не задают, потому что заранее знают все ответы. Языкастых не любят. Там

тишина, спокойствие, размеренность. И бдительным быть нет никакой надобности. Хочешь — молись, хочешь — танцуй, никому нет никакого дела до тебя, ни у тебя нет никакого счета с другими. Я тебя сдам на руки своим ребятам. Черныху... Бывшему стеклодуву. Этот Черных может спать даже с открытыми глазами. И Куропаткину. А Куропаткин! Это... такой человек! — воскликнул Симакин Володя. — Такой!.. У него одних орденов и медалей на полтора килограмма веса потянет. Куропаткин — штурман дальней бомбардировочной авиации. Но об этом с ними ни слова, ни-ни. Вслух вспоминать они не любят. Порыбачить — пожалуйста. Живут они общей сумкой. Но если улов, так сказать, сверх ватерлинии, то меня зовут на разгрузку. — И Володя опять подмигнул. Тот, кому так подмигивают, сразу понимает, что здесь ни к чему вступать в разговоры, чтобы уяснить связь вещей.

И в самом деле — впереди внизу открылся синий стекленевший водоем. На берегу стояли две палатки, выгоревшие, обесцвеченные, а чуть в стороне от них бросилась в глаза палатка фиолетового едкого цвета, видно еще новая. На веревке, провисшей между двумя обесцвеченными палатками, сушится белье: клетчатая рубашка, майка, полотенце и мешок. К самому берегу приткнулись две лодки.

— Приехали, — сказал Володя и прогудел три раза. — Условный знак, — объяснил он.

Из обесцвеченных палаток вылезли два человека, встали и пошли к машине.

...Симакин представил Ясинова низкорослому, быстрому в движениях, видимо, проворному человеку с оспинным лицом, словно побитым когда-то градом. На нем была рваная майка, и в том месте, где майка прорвалась, был виден шрам из стянутых узлов. «След войны», — сразу отметил Ясинов и решил, что это Черных.

— Черных Петро, — сказал этот человек веселым голосом и быстро сжал протянутую Ясиновым руку.

— Куропаткин, Игнат Федорович, — сказал значительно Симакин. Он, очевидно, уважал Куропаткина по-особенному и всюду, когда подворачивался случай, считал себя обязанным подчеркнуть это особое уважение.

Куропаткин — массивный, медлительный, со сдвинутыми уже навсегда к переносице седыми бровями, в выцветшем кителе и фуражке. Он не выразил открыто одобрения, но не показал и неудовольствия, он только сказал:

— Как раз на уху угодил, — и посмотрел на Симакина.

— Вот и хорошо, — сказал Симакин и замотал головой. — Ни-ни, ни капли. Я на колесах.

...Уезжая, Симакин сказал Ясинову:

— Ни о чем не беспокойтесь. И не смотрите здесь на часы. Я о себе дам знать. Приеду в субботу. — И опять глаз у Симакина подмигнул.

— Договорились. Жду в субботу, — сказал Ясинов, невольно и сам в ответ подмигивая на этот раз Володе.

Но — это выяснилось только в субботу — Ясинов не разгадал смысла этого все на какую-то удачу намекающего подмигивания. Он только понял, что может теперь располагать собой по собственному усмотрению, и что все заботы и беспокойства Симакин Володя охотно берет на себя, и что никакие беспокойства обременить Симакина не смогут — нет такой ноши, которая обременила, подмяла бы Симакина...

II

С утра Петро Черных и Игнат Федорович Куропаткин ушли, оставив Ясинова сторожить хозяйство. Они пошли к дальней протоке намывать пескаррей для наживки. Когда Ясинов остался один, он почувствовал, что осваивается с этим утром и одновременно с самим

собой, а до этого будто только изучал проблемы, совсем не осваивая то, что чертил. И вот только сейчас он ощутил, что, не испытывая никакого специального интереса к этому водоему как сооружению, он начинал просто вживаться в палатки из лоскутов заланного брезента, в этот самодельный стол, щит из досок, приколоченный к бочке. Только новая, фиолетового цвета палатка почему-то оставалась глухой. Никто из нее не выполз и никто в ней не шевелился, не откашливался.

У самого берега в дно вбиты три лома, обкрученные узлами веревок. Почерневшие коряги, изъеденные рачками бревна с войлоком просохшей тины уложены в штабель дров. И вокруг такая густая тишина, что звуки, которые издают выпрыгивающие из-под ног кузнечики, застревают в этой тишине, навсегда отделяя то, что было вчера, от того, что есть вот сейчас вокруг. И он, когда увидел подплывавшую к берегу корягу, вошел не раздеваясь в воду и с незнакомым прежде удовольствием вытолкнул корягу на берег и приволок ее к дровам. Вот так, незаметно для самого себя и безо всякого усилия он был включен в интересы той жизни, которая обосновалась на берегу этого водоема.

Он увидел на дороге быстро шагавшего Петра Черных, который старался не отстать от вымеренного шага никогда не торопившегося Игната Федоровича Куропаткина. Черных перевернул ведро, показывая, что оно пустое.

— Ничего не намыли,— сказал он, когда подошел.

Ясинов хотел изобразить огорчение, показать сочувствие, но удержался. Он понял, что никого и ничего тут изображать не нужно.

— Может, займемся едой? — сказал Петро Черных.

Игнат Федорович на предложение Петра ничего не ответил. Ясинов заметил — этот Игнат Федорович Куропаткин, когда присутствовал Петро Черных, становился словно немым и всем своим видом свидетельствовал: Петро скажет и за него и за себя, а добавлять к тому, что он, Петро, скажет, нет никакой необходимости — здесь все ясно, раз открыто для глаза.

Петро, закатав штаны, вошел в воду, ухватился за веревку, привязанную к лому,— вода зашевелилась, подняв волну. Петро выставил вперед белую худую ногу для упора, откинулся назад, натягивая веревку, и, чертыхнувшись, выволок на берег сазана, вспыхнувшего на солнце. Ясинов, оторопев, с изумлением разглядывал рыбину.

— Не сазан, а чушка,— сообщил Петро,— девять килограмм и триста грамм.

Игнат Федорович ничего не сказал, взял топор и начал молча разделывать сазана. Ясинов занялся костром, чтобы включиться в общее дело. Он натаскал сучьев, с удовольствием разломал на дрова свою обсохшую корягу. Заглянув в палатку, чтобы взять спички, он нашел мягкую газету, пробежал заголовки — может, свежая? — газета оказалась двухгодичной давности. «Годна,— подумал он,— на растопку».

— А свежие есть? — спросил он у Черных. Дома он начинал день с просмотра утренней газеты.

У Игната Федоровича расплосилось лицо. Петро Черных, показывая глазами на Игната Федоровича, сказал довольным голосом:

— Вон видишь, Игнат Федорович смеется, даже зажмурился. Газет этих мы давно не читаем. Когда читаешь, то все чего-то ждешь и ждешь. А чего ждать? Каждому здравомыслящему ясно: через войну к миру не придешь, это очевидно.

Комки сазаньего жира, всплыв, закрыли всю поверхность котла. Отведав уши, Ясинов словно впервые в жизни испытал удовольствие оттого, что сыт, что дышит, ест.

— Тут у нас саморегулирующая система,— сказал Петро, затягиваясь дымом вонючей папиросы, созревшей от воды.

Ясинов не стал выяснять, что подразумевает Петро, говоря о саморегулирующей системе. Ни к чему было уточнять то, что и само по себе ясно: вода не обманывает, голые берега не обманывают, и Петро Черных такой, какой он есть, и Игнат Федорович... Ничто тебя здесь не обманывает и не дает и тебе самому обмануться.

...А солнце, все сильнее плавясь, припекает так, что нельзя долго стоять на одном месте.

Год високосный — год ярившегося солнца.

— Нынче, — говорит Петро Черных, — все на месяц раньше. Весна раньше, лето раньше.

— Я этого что-то не заметил, — сказал Ясинов.

Игнат Федорович показал рукой на воду. Петро Черных выплюнул изо рта папиросу, подскочил точно ужаленный и закричал:

— Мелюзга! Мелюзга!

Игнат Федорович объяснил недоумевающему Ясинову:

— Видишь, дождь вроде сыплется. Это густера к берегу подошла. Теперь с живцом будем. И надо же... Только что ходили чуть ли не за версту, добыть пескаря хотели.

Всю поверхность воды у берега будто кто-то сек.

Игнат Федорович принес из палатки сеть и как был в кителе, так и вошел по пояс в воду.

— Тут не зевай, — сказал Черных. — Шевелись, ребята! — закричал Черных, прищипывая самого себя, а Ясинову подал пустое ведро и сказал: — Зачерпни воды и кидай. Вон Игнат Федорович начинает сеть выбирать.

Сверкая чешуей, выпрыгивает из воды густера — мелкая рыбешка.

...Вот так, незаметно для себя Ясинов включился в движение жизни, которая ничего не желала ведать о дне будущем, сбросив с себя окончательно обременительную ношу дня вчерашнего, словно жили только настоящим вне действительности.

И Петро Черных, и Игнат Федорович, и Ясинов, старавшийся теперь все делать так, как это делали Игнат Федорович и Петро Черных, насаживали густеру на крючки размером с ладонь.

А лодка, двигаясь вперед, казалось, вливалась в самый закат, охвативший все небо.

III

Ночь. Перед тем как улечься спать, костер залили водой. И теперь, ночью, сильнее, чем днем, чувствовался запах невидного едкого дыма. И пахло затхлым теплом от воды. И хотя вокруг ночью ни один предмет не отделялся от других вещей или травы, но перед глазами Ясинова то блестяла чешуя сазана, то выпрыгивала густера, и он, все никак не засыпая, видел все это просто потому, что то, чем он жил и занят был днем, теперь, ночью, слышал. И все вокруг слипается не в омертвлении, не в самоуничтожении, а в забытьи.

Петро Черных и Игнат Федорович, как только заползли в палатку, улеглись и расслабились, так сразу заснули, не желая ведать никаких снов. Ясинов же все никак не мог усыпить себя, выключиться из этой ночи.

Вот раздался всплеск воды — не то где-то далеко, не то совсем близко... судак выпрыгнул или сазан плюхнулся о воду. И вдруг — с чувством возвратившегося детства — он, весь притаившись, замерев, услышал шелест. Кто-то ходил по берегу, задевая траву. Задерживая дыхание, он выглянул из палатки и увидел цаплю, обиравшую берег. И услышал звуки, которых он не различал, пока находился в палатке. С той стороны, где стоял стол, раздавался писк мышей.

И когда далеко, на невидном противоположном берегу, прогорланили пегухи, Ясинов, окончательно так и не заснув, почувствовал себя выспавшимся, пробудившимся. Ему захотелось двигаться, побегать, переплыть на другой берег.

Он подошел к воде, сполоснул лицо и опять прислушался. Теперь верещали со всех сторон сверчки, приветствующие рассвет. Куда-то улетела цапля, куда-то попрятались мыши... И то место, где должно было всплыть солнце, начало алеть, и Ясинов понял то, что он знал и прежде не чувствовал, а вот теперь ощутил. Если не видел рассвета, значит, не видел дня... Дней...

А вот и новый звук жикающей косы — это Петро Черных уже обкашивал возле причала поднявшуюся за ночь траву.

IV

Набежали тучки, и подул ветерок, завязывающий волны. По определению Петра Черных — «разносный ветерок».

— Игнат Федорович, как вы считаете, дождь будет? — спросил Ясинов у Куропаткина.

— Растекается, — сказал Игнат Федорович.

И Ясинову стало очевидно, что дождя не будет только потому, что Игнат Федорович взял весла и пошел к лодке. Петро Черных зашел в палатку и вышел с висевшим на груди биноклем. Он, поставив его к глазам, сказал Ясинову:

— Обшарим водоем, вон кружки видишь? Это двухцветные буйки. Если кружок перевернулся, то крупная рыба зацепилась.

— Не бинокль, а подзорная труба, — удивился Ясинов.

— Трофейный, — сказал Петро, — пошли к лодке, рыбу начнем выбирать. Мы поплывем с тобой. Гляди! Гляди, вон справа водит, водит!

Ясинов побежал за веслами. Он когда бежал обратно с веслами, то нес их не то с радостным чувством мальчика, которомуверялись даже взрослые, не то с чувством человека, наконец-то общившегося к настоящему делу.

Когда они оттолкнули лодку, Ясинов сел на весла и начал выгребать к середине водоема. Он спросил Черных:

— Что, в самом деле трофей с войны? — Он думал, что Петро Черных ударится в воспоминания, расскажет что-нибудь такое, о чем никто еще не читал и не слышал. От тех, кто воевал, если даже и ты сам понюхал порошу, все чего-то хочется услышать из того, что не то прячут, не то оглашать не хотят, не то поскорей забыть хотят.

Петро Черных поморщился, как будто Ясинов невзначай наступил ему на мозоль, о которой он сам позабыл. Черных сказал:

— Судак всю молодь пожирает. А когда заглочит крючок, то сразу замирает, как преступник, схваченный в момент преступления... Слишком страшна вина, чтобы сопротивляться. Сазан — это миролюбец. Долго оказывает сопротивление, долго не засыпает, все трепыхается, трепыхается до самой сковородки, пока на куски не порубишь. А судак будто знает, что ему есть за что сразу без следствия и суда проломить башку. Левее держи. Вот так.

И Ясинов не стал спрашивать Черных. Он только еще раз убедился: как для Петра Черных, так и для Игната Федоровича Куропаткина все то, что не к чему было вспоминать, было словно давно наглухо позабытым или сознательно отрезанным. Ничего не загадывали они и на будущее, которое, видно, их совсем перестало интересовать, тревожить или чем-то привлекать.

— Еще чуточку левее. Вот так, — одобряет Петро Черных.

Лодка толчками двигается вперед, оставляя за кормой разбегающийся в две стороны далеко видный след на неподвижной глади водоема.

Вода в одном месте казалась закипающей.

— Это рыбе стадо трется, — сообщил Черных, — теперь мы у цели. Гребь вон на тот кружок. Возле кружка табань, держи лодку на месте.

Когда лодка подплыла к перевернувшемуся кружку, Ясинов удержал ее, а Петро Черных нагнулся и начал выбирать снасть: сняли повиснувших судаков с разинутыми пастьми, усеянными мелкими зубьями (четыре штуки). Под вторым кружком попался горбыль, но горбыль оказал сопротивление. Казавшийся уснувшим, он вдруг вскинулся и упал в воду. Этот прыжок горбыля был так неожидан, что Черных, потеряв равновесие, чуть не вывалился за борт накренившейся лодки. Горбыля еще можно было бы зацепить, пока он приходил в себя.

— Пусть гуляет,— сказал Черных без всякого огорчения, даже с чувством удовлетворения, и объяснил: — То, что вот так уходит, я никогда не преследую. Раз вырвалась на свободу, значит, свободу заслужила. Пусть гуляет, значит, тому и быть.

Справа Ясинов заметил еще один перевернувшийся кружок и стал повертывать лодку на этот сигнал удачи.

— Левее держи,— сказал Петро Черных.

— Почему левее? — спросил Ясинов. — Справа кружок перевернулся.

— Левее.— Теперь Петро Черных не просто сказал, а сказал настаивая.

Ясинов повернул лодку влево.

Черных одобрительно заметил:

— Вот так и держи. Только не торопись. День все равно не обгоним. Да и вообще обгонять ни к чему. По себе знаю, когда обгоняешь, то только день укорачиваешь, а не удлиняешь. Зачем же жизнь укорачивать, а? А если не будешь торопиться, то удлинитишь наверняка. Так выходит.

Ясинов ждал, что он еще скажет.

— Это не наши кружки,— объяснил Петро Черных,— Папки Терехова это. Поехал он в горюд выяснять что-то с зятем. Зять у него попался... Начальник. Таких людей я не люблю. Это люди с направлением, но без компаса. Пашка захотел пересилить этого зятя. Цель вроде в жизни заимел. Говорю я Пашке: сдайся тебе этот город вместе с этим зятком, сиди на берегу... А вот когда здесь,— он показал на водоем,— один час на целый день растягивается, неделя — на месяц... Удлиняй теперь жизнь, пребывая в первоначальности какой-то... Наверстывай... Нет, не послушался меня Пашка, сорвался в город... Да там вдруг и помер. Шофер, Володька Симакин, что тебя привез, дал нам знать об этом. Сердце лопнуло. А тут, на берегу, он никогда не жаловался на сердце. Вот я и жду, может, кто из родни его заглянет сюда к нам, я тогда и смотаю его снасть. А палатка его вон та, фиолетовая, с собранными нами его вещами задраенной стоит. Купил он ее недавно, еще хвастался...

Ясинов навалился всем телом на весла, толкнул лодку вперед, вспенив воду. Он ничего не сказал Черных о том, что давно приметил эту пустую палатку, но только смысла этой пустоты не ведал, а вот теперь узнал.

А у Петра Черных глаза заблестели, лицо вытянулось, весь он напрягся.

— Гляди,— сказал Петро,— у Игната Федоровича что-то крупное попало. Сазана, должно быть, зачалил.

Лодка Игната Федоровича Куропаткина была видна шагах в ста. Взметнулись брызги, закрывшие корму и Куропаткина, а когда брызги распались, то они увидели Куропаткина, который свесился и двумя руками тянул снасть.

— Сазана заарканил. Это точно,— определил Черных и пообещал: — И мы поймем. Ближе к вечеру снимем пробу на новом месте, вон за той косой... Говорил я Пашке Терехову — пошли их всех куда подальше вместе с зятем и успокойся. А ты не огорчайся.

И мы поймаем такого зверя, что сами удивимся и даже Игната Федоровича удивим. Так что не огорчайся.

— Да я нисколько не огорчаюсь,— сказал Ясинов.— Поймаем сазана или не поймаем — все равно в убытке не останемся.

— Это ты верно заметил. Молодец, сразу видно, с понятием,— похвалил Черных.

Ясинов опустил руку за борт, зачерпнул воды и ополоснул лицо. Но вода прогрелась и не освежала, и когда теперь ополаскивался, то словно намывливался.

Петро Черных был одним из тех людей, которые, чем бы ни занимались, всегда экспериментировали. Если Черных, заметил Ясинов, попадал на место, и удачливое, то он все равно менял стоянку не из-за каких-то примет или практических соображений — ему просто хотелось осмотреть и проверить, а что можно словить вон хоть в той стороне, заросшей кутгой, или в самый солнцепек выйти на вспыхивающую огнем водную равнину.

Игнат Федорович же держался облюбованного участка, если даже поклевки не было, — он предпочитал выждать удачу, а не искать.

— Завтра,— говорит Петро Черных,— зайкорим кружки вон там, слева, где вода зеленого цвета. И с чего это вода так окрасилась? Ряску, что ли, ветер нагнал? — спрашивает Черных у самого себя.

— Попробуем,— соглашается Ясинов, которому теперь стало все равно — что искать удачу, что выждать удачу. Все днище лодки было закрыто судаками.

А когда отяжелевшие лодки уткнулись в берег, в причал, то на берегу Игната Федоровича, Черных и Ясинова поджидали черные, урчавшие от нетерпения котята, весь день и всю ночь где-то скрывавшиеся.

V

Так все и катилось бы само собой, если б не раздавшийся гудок машины, — гудок сразу включил всех в бег, обгоняющий само время. Это раздался сигнал шофера Володи Симакина. Сразу затикали часы, начавшие отсчет времени. Ясинов, услышав этот гудок, только тут и вспомнил, что Симакин обещал приехать за ним в субботу. И вот так неожиданно быстро наступила суббота, застав его врасплох.

Симакин приехал не один. Он привез женщин. С довольным, подмигивающим лицом он представил Ясинову жену Марфу, нетерпеливо поглядывающую по сторонам, ее подругу Клавю с накрашенным ртом, которая сразу начала смеяться, показывая влажные сплошные зубы. Привез он еще и соседку по квартире, представляя, он называл ее по имени и отчеству — Марина Павловна. Марина Павловна в такой жаркий день была в тяжелом, глухом, нелетнем платье. На приветственный поклон Петра Черных она, как заметил Ясинов, ответила безразличным кивком. Только глаза ее жмурились, точно она вышла из темноты сразу на яркий свет. И глаза эти разыскивали вокруг то, что когда-то прежде видели. Ходила Марина Павловна медленно, без порывистых движений Марфы и Клавы, все куда-то самих себя подгонявших. Марина Павловна, сделав шаг, словно ощупывала твердость дороги, твердость травы, твердость песка, словно хотела убедить себя — все то, что видят глаза, ей не представляется, а есть на самом деле.

— Свежие новости! Свежие новости! — закричал Симакин, размахивая свежей газетой и подражая голосу зазывалы.

Своим голосом он как бы дал сигнал к действию. Все сразу завертелось, закружилось, будто ворвался в дом целый цыганский табор и за какие-нибудь полчаса разрушил весь установившийся уклад — разбросал ведра, белье, дрова... Даже топора не нашли на том

месте, где он обычно лежал, и палатки словно сместились ближе к столу. И все это разбросанное тут же, на глазах не успевших прийти в себя Игната Федоровича, Петра Черных и Ясинова начало составляться в новый распорядок, которому они незаметно для себя вынуждены были подчиниться как чему-то неизбежному. Руководство всем делом взяли на себя женщины, отодвинув всех остальных на задворки.

Запылал костер. Дым сперва обволок всю стоянку, выедавая глаза. И сквозь этот дым с летящими искрами, как сквозь защитные темные очки, жарким белым светом текло в глаза солнце. Стол уже был накрыт цветастой скатертью. И тут же начал обрастать помидорами, лопнувшими на солнце, пушистыми персиками, яблоками. Появились тарелки, блестящие вилки, ложки, калачи, квашеная капуста, соленые грибы. Закипевшая вода в чане, в котором переворачивались судаки, начала выплескиваться, и вокруг усиливался запах укропа, петрушки и... другой жизни. Когда Марфа, жена Симакина, и ее подруга Клава с громким, щекочущим всех смехом волокли по траве к столу плетеную корзину, то Клава закричала Игнату Федоровичу Куропаткину:

— Смотрите не пропейте все!

Игнат Федорович, от которого Ясинов, пока они были одни, ни разу не слышал и трех слов подряд, здесь, насупившись, разразился целой речью:

— А чего ее пропивать-то, ее давно уже всю пропили.

«Кого ее?» — хотел спросить у него Ясинов, но решил, что Клава оговорилась, хотела сказать: «Не пейте всю сразу, впереди еще целый день».

Но Клава не обратила никакого внимания на насупленного Игната Федоровича. Она, чтобы обратить на себя внимание Петра Черных, раззадорила его тем, что сказала:

— Чего это у тебя лицо как нечищенная сковородка?

— У меня? — с недоумением спросил Петро Черных и, не растерявшись, ухмыльнулся. — Это мы запомним, — сказал он.

...Ясинов заполз в палатку и, закурив, стал смотреть в открытый ее проем. Он видел Марфу и Клаву, крутившихся то возле котла, то возле стола. Они уже бегали от стола к котлу в купальниках, обмотав головы полотенцами. Симакин с радостной готовностью исполнял все их распоряжения. Только Марина Павловна оставалась в своем тяжелом, нелетнем платье. И хотя она и помогала Марфе и Клаве, но все делала с какой-то машинальной безучастностью, без предвкушения удовольствия.

У Ясинова вдруг вытянулось лицо. Он протер глаза, чтобы еще раз убедиться в верности того, что видит: Петро Черных внезапно появился в свежей белой рубашке, с глянцевито блестящим соскобленным лицом. Этот праздничный Петро Черных с уверенностью человека, которому никогда ни в чем не отказывают, подошел к Марине Павловне, начал ей что-то говорить, поддерживая ее за локоть. Ясинов заметил, что Марина Павловна отвела руку Черных. И этот жест, которым она как бы отодвинула Черных в сторону, не давая к себе прикасаться, вызвал у Ясинова чувство удовлетворения. Та безучастность, безразличие, с которыми Марина Павловна помогала Марфе и Клаве, охватили вдруг и его. Он, вывертывая руку, то и дело смотрел теперь на часы — мысленно он был уже на дороге к дому.

Игнат Федорович, все насупленный, с появившейся страдальческой складкой на осунувшемся лице, так и остался в своем слинявшем кителе и выгоревшей фуражке. Досадуя, морщась, он ходил возле причала, заложив руки за спину, не зная, к чему приложить себя или приспособить, и что-то бормотал. Бормочет, наверно: «Где шпаклевка? Где кружки? Клев затухает».

— К столу! Все к столу! — Это раздался радостный крик Клавдии.

Когда все уселись вокруг стола, то Марфа, жена Симакина, сказала:

— Мы все стотовили. Теперь мы отходим в сторону. Отдыхать начинаем.

— Законно,— сказал Володя Симакин, потирая руки.— Жинка у меня не такая, чтобы пускать пузыри вверх,— похвалил он Марфу, и посмотрел укоризненно на Марину Павловну, которую не оживил даже вид празднично накрытого стола.

На укоризненный взгляд Симакина она только поежилась, будто опять кто-то дотронулся до нее и это ей было неприятно. Она пожала плечами, как бы говоря: я же никому не перебиваю аппетита.

Петро Черных с восторженным лицом хрустел огурцами, у Игната Федоровича, как он только выпил, сразу проступили капли пота на побуревшем лице, Ясинову есть не хотелось. Вот не успел сжиться с этим водоемом, как снова нужно глядеть на часы, и, как всегда, когда ничего не оставалось делать как только уезжать, тянуло уехать как можно быстрее.

Петро Черных, заметив это отчуждение Ясинова, сказал:

— Чего-то Дмитрич загрустил сегодня.

— Да жара,— сказал Ясинов.

— Одним дурачкам только всегда и всюду весело.

Это сказала Марина Павловна. Ясинов почувствовал, что его защищают.

— Жара,— сказал Ясинов, прощаясь с этим водоемом, с этими лодками, с Черных, с Игнатом Федоровичем.

Он почувствовал, что его толкнули. Он взглянул на Черных, на Игната Федоровича, покосился на Симакина, взглянул на Клавдию, оглядел Марфу, но все они увлеченно были заняты едой.

Марина Павловна пододвинула к нему тарелку с ухой.

— Совсем ничего не едите,— сказала она,— ешьте.

И он понял, что толкнула его Марина Павловна, и послушно начал есть.

— Теперь кто куда! — провозгласила Клавдия.— Кто на боковую, кто купаться.

Марина Павловна встала из-за стола, сразу поднялся и Ясинов. Они, позабыв о присутствующих, сразу взялись за руки. Ясинов только увидел промелькнувшие недоумевающие глаза Марфы, удивленную физиономию Клавдии, а Симакин чему-то радовался. У никого из них, глядя на Марину Павловну и Ясинова, не мог бы верю указать, кто первым подал руку — Ясинов или Марина Павловна.

VI

На берегу водоема тянуло обвевающим ветерком, и волны не паескались о берег, а только, вспухая, как бы набирали до отказа воздуху и изо всех сил выдыхали, чтобы еще сильнее вдохнуть в себя свежесть. Марина Павловна подошла к воде, зачерпнула в горсть и подкинула вверх, словно хотела удостовериться, что эти брызги в самом деле вода. И вдруг она вскрикнула радостным голосом:

— Смотрите, смотрите, рыба метнулась!

Эта блеснувшая чешуей уклейка вызвала у Марины Павловны радостное удивление. Можно было подумать, что она впервые в жизни открыла для себя не вообще рыбу, а увидела вот эту уклейку, ест этот берег и вот это солнце.

Ясинов заплыл на глубину, где можно было нырять, а когда он приплыл к берегу, то увидел Марину Павловну, закатавшую рукава. Она лежала, положив белые руки под голову, и глядела на плившее

в глаза солнце. Руки эти — сразу видно — давно уже не знали загара. Глаза Марины Павловны глядели в небо, все чего-то осваивая. Она очнулась, почувствовав, что на нее смотрят, и опять не сговариваясь они снова взяли за руки — отделились и обособились от других. Чтобы не спугнуть эту отдельность, они не хотели ни разговаривать, ни идти куда-нибудь.

Только Игнат Федорович вышел один на лодке, и лодка эта виднелась вдали, но потом и это пятно растаяло. И зычный голос Симакина, и веселые вскрики Клавдии, и зовущий голос Марфы — все эти голоса, звуки раздавались словно совсем в другом краю.

Ни Ясинов, ни Марина Павловна не стали расспрашивать друг о друге. Для чего? Вспугнуть сразу то, что есть. А что есть? Вот капельки воды блестят на руке Марины Павловны...

Загудела машина — этот зовущий сигнал дал Симакин.

— Марина! Марина! — закричала Марфа. — Пора.

— Так быстро, — сказала Марина Павловна, как разбудили ее все равно или растормошили.

А ведь только что остановившееся время совсем исчезло и вот опять начало свой отсчет.

Ясинов оглянулся, увидал расчищенный стол, — все корзины уложены, Клавдия и Марфа были в одежде, и Петро Черных, размахивая руками, что-то говорил Клавдии, а она, откидываясь, смеялась.

Когда Ясинов и Марина Павловна подошли к машине, то Симакин сказал Ясинову:

— Я сперва отвезу женскую половину, а потом прикачу за тобой, ладно?

— Хорошо, — сказал Ясинов.

Когда Марина Павловна вошла в машину, Ясинов, пожимая на прощанье ее руку, сделал вид, что не отпустит, вытянет ее из машины, а она упиралась, обняв другой рукой Марфу, но он и она знали, что делается это только для виду.

Как только машина скрылась за поворотом дороги, Игнат Федорович Куропаткин, ничего не говоря, пошел к причалу, залез в лодку и начал вычерпывать воду, а Петро Черных также молча сел на перевернутое ведро и закурил, прижигая от одной папиросы другую. Ясинов, также ничего не сказав, пошел вдоль берега, а когда вернулся, то увидел в руках Игната Федоровича свежую газету, которую привез Симакин. Игнат Федорович что-то искал. Он то смотрел под ноги, то, вскидывая брови, оглядывал стол.

— Игнат Федорович, — спрашивает его Ясинов, — да что вы ищите, утеряти что-то?

— Теперь разве найдешь, — пробурчал Игнат Федорович, — все пораскидали. Очки разыскиваю. Вот что.

— самого себя искать, что ли, начинаешь? — спросил Петро Черных. — Очки-то твои у тебя на лбу.

— Фу, черт подери. — И Игнат Федорович выругался: не то себя обругал, не то вместе с собой обложил все и всех сразу.

VII

Шофер Володя Симакин, как и обещал, быстро обернулся и приехал за Ясиновым еще до наступления вечера.

Ясинов почувствовал облегчение, когда водоем с палатками на берегу скрылся из глаз. Точно он, Ясинов, был в чем-то виноват перед Игнатом Федоровичем Куропаткиным и Петро Черных, да и они его не удерживали.

Когда машина въехала в город, то Симакин остановил машину у высотного дома и позвал с собой Ясинова.

— Да мы ненадолго, — сказал Симакин, чему-то улыбаясь, — на второй этаж заглянем только.

Когда на стук Симакина открыли дверь, то Ясинов увидал Марину Павловну. Лицо у нее нахмурилось. Было ясно, что их не ждали, но Симакин, очевидно, был таким человеком, на которого сердиться было нельзя, потому что бесполезно, и Марина Павловна сказала:

— Ах, этот Симакин, ну и Симакин!

Ясинов оглянулся — Симакина у него за спиной уже не было. Ясинов шагнул вперед.

...А потом, избегая встречаться глазами, они вели разговор о пустяках, чувствуя, что нужно говорить и говорить, чтобы чем-то заполнить возникшую пустоту. И Марина Павловна, когда часы пробили восемь, начала беспокоиться, то и дело поглядывая на дверь. И она сразу как-то сжалась, съежилась, когда нетерпеливо застучали в дверь.

— Это Олег пришел, — сказала она, поднимаясь, — мой сын.

Вошел мальчик лет четырнадцати, еще разгоряченный от игры, и, замерев, как застигнутый врасплох, уставился на Ясинова черными, живыми, не мамиными глазами. У Марины Павловны — только сейчас Ясинов разглядел — глаза были светлые, голубоватого цвета.

Ясинов всегда испытывал особое расположение к таким искрометным мальчикам.

«Вот это новость... Что это за дядя?» — блестя, спрашивали недоумевающие глаза мальчика.

Ясинов встал. Заторопилась и Марина Павловна. Ясинову казалось, что этот только что вбежавший в комнату мальчик догадается обо всем, если задержаться еще хоть на минуту.

Ясинов и Марина Павловна торопливо пообещали писать друг другу до востребования, и Ясинов узнал фамилию Марины Павловны — Козинская.

...До востребования... Вот уже от кого-то и чего-то начинают прятаться, ничто не украв, что-то крадут. А когда начинаешь прятаться, то никогда нет того, что должно быть.

На другой день Симакин, отвозя Ясинова на станцию, решил сделать крюк, так как до отхода поезда еще оставалось три часа.

Дорога, петляя, вышла к водоему, который как ни в чем не бывало синей гладью стекленел в котловине.

— Ну и бабы, — засмеялся Симакин, — все аббатство разбомбили.

Ясинов видел, что Симакин восторгается, но ничего не сказал. Он сразу узнал водоем, но на том месте, где стояли палатки Петро Черных и Игната Федоровича Куропаткина, теперь чернела выгоптанная, еще не успевшая зарости травой земля, стол был скovyрнут, не видно было ни одной лодки, только пустая брошенная палатка.

VIII

Он написал письмо Марине Павловне Козинской, написал, раз обещал, и вот это обещание выполнил.

«Милый Дмитрий! — писала в ответ Марина Павловна. — Хорошо, что вы, что ты выделил местечко в уголке своей души для меня. Оно мне необходимо.

Да, убежать мне от тебя все-таки не удалось.

Я все вижу перед глазами водоем, топкий берег, а у самого берега, помнишь, вода была такой прогретой, что казалась щелочной. И никого, кроме нас одних, будто на берегу и не было. Только стрекотали кузнечики. Всплескивались волны, и шуршала осока. И в ушах как будто что-то звенело, то приближаясь, то удаляясь, и никак не могло оборваться. И вдруг звук оборвался — это случилось сразу, когда я, открыв двери, неожиданно увидела Володю Симакина и тебя.

Да, убежать мне не удалось и от самой себя.
 Я безрассудно, бесстыдно сняла покрывало траура по мужу.
 Прости ты, и все боги пусть простят меня, но, видно, и так бывает в жизни.

● Отпуск провела с Олегом на Черном море.

Ласкали волны и солнце. Они превратили меня в негритянку.

О ком-то скучала и о чем-то.

Завтра начинается колесо работы.

Хорошо, что где-то есть ты, береги себя.

Шлю тебе много, много нежности, и все, все, что есть святого, пусть придет к тебе».

...На письмо это он ответил, как бы выслуывая обещание, потому что таких слов, которые находила Марина Павловна, в его лексиконе уже не было. Ему не ответили. Он написал еще письмо, на которое также не получил ответной вестки. И он не стал больше писать. Писать дальше значит выяснять что-то, вторгаться в чью-то жизнь. А вторгнуться — значит, предать прошлое.

IX

Вчера я повстречал Ясинова.

— Вот сейчас был на бульваре, — сказал он. — И знаешь, обо всем позабыв, ничего вокруг не замечая и не слыша, точно онемев или впад в спячку, смотрел на просто так резвящихся собачат. Понимаешь, смотрел на возню повизгивающих от радости собачат, завидую. Завидую, понимаешь?

Я не понимал.

— А, — сказал он. — Понимаешь, какой-то голос прорезался. Сигналит и сигналит, как засасывает: ставь палатку, ставь палатку...

Старая граница

После прорыва, когда рота начала окапываться на новом рубеже, нас догнал свежий номер газеты. На первом листе сразу бросились в глаза заглавные буквы: «ВОЙСКА КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ПОСЛЕ МОЩНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ И БОМБАРДИРОВКИ ПОЗИЦИЙ ПРОТИВНИКА ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ И ПОСЛЕ ДВУХДНЕВНЫХ ОЖЕСТОЧЕННЫХ БОЕВ ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ УЗЛОМ НЕВЕЛЬ. В течение двух лет немцы возводили на этом участке развитую сеть укреплений. Они построили многочисленные дзоты и доты, создали широкие минные поля и сеть опорных пунктов. Ударом наших войск эта оборонительная полоса противника была прорвана. Развивая успех, советские войска расширили фронт прорыва и, быстро продвигаясь вперед, заняли свыше ста населенных пунктов. Продвижение советских войск было настолько стремительно, что немцы бросили все вооружение и военное имущество. Захвачены десятки орудий, большое число минометов и пулеметов, склады боеприпасов, вешевые и продовольственные склады, а также несколько железнодорожных составов с техникой».

Все случилось именно так, как хочется, чтобы все именно так всегда происходило. И вот когда наступление осталось позади, известие об этом прорыве снова пришло к нам вместе с газетой, и только теперь вспомнился узкий перешеек с вырытым противотанковым рвом. Ров этот был затоплен грязью и отстоявшейся водой. И теперь, ликуя, размахивая газетой, мы удивляемся той прыти, с какой перебежали через ров, уходя из-под огня. И как только не завязал в этой жиже! А частоколы из кольев, обмотанных колючей проволокой! А завалы! Через все заслоны словно с разбегу сразу

перепрыгнули, чтобы не быть накрытыми огнем, вскипающим уже за спиной. А впереди распахнулся синев-зеленый простор — леса, поля, речка, деревушки.

Немецкий регулировщик, стоявший на посту при въезде в город Невель, отмахнул флажком, показывая — путь свободен. Когда сорвали с этого регулировщика автомат, то он, вытянув руки по швам, таращился на всех остановившимися, оторопелыми глазами. Так и увели его с вытаращенными глазами.

На станции стоят сцепленные эшелоны с жующими сено лошадами в товарных вагонах, с пушками на платформах, с дышавшими впереди паровозами, вытускающими пар с шипением.

...Вот так вырвались на простор, безбереговой простор, теперь на всю жизнь поселившийся в тебе.

Навсегда в тебя вселившийся простор рождает только вот такое победоносное наступление.

...На окраине города Невеля — дощатые амбары. И каждый амбар, видно, длинней и вместительней другого. Как ни рвешься вперед, но проскочить дальше, мимо этих амбаров, не полюбопытствовав, чем же они «пахли», никто не смог.

Да... видим и собственным глазам не верим — штабеля консервных банок с мясом, сгущенным молоком, буханки хлеба, ящички с коробками сыра, ящички с печеньем, конфетами, пакеты с каким-то зернистым порошком бордового цвета. Коля Шохин, всегда со всего снимавший пробу языком, зачерпнул в котелок воды и всыпал горсть этого порошка в котелок. Вода сразу зашипела, запузырилась и стала темно-красной, а на язык сладкой.

— Винцо, ребята! — закричал Шохин.

Позже выяснилось: это был всего-навсего освежительный напиток.

Натолкав в карманы пакеты леденцов, первые попавшиеся под руку банки с консервами и не делая затычного перекура, снова побежали вперед — город прочесывать, но в самом городе никого, кроме местных, выползших из погребов жителей, не было. Только за станцией, когда впереди можно было различить сквозь заслон всклубившейся пыли избы деревни, простор вдруг сузился. Роту начали обстреливать из минометов. Рота залегла, укрылась за железнодорожной насыпью. Огонь вели с той стороны, где была расположена деревня.

Ротный Леушин хотел обойти эту открывшуюся впереди деревню, но тут догоняет нас приказ: занять оборону и держаться во что бы то ни стало до подхода основных сил.

К ночи, когда подошли батальоны и заняли позиции справа, когда связисты стали тянуть провода и когда все утихло надолго укладывающейся тишиной — такая тишина возникает всегда, когда другая сторона начинает мириться с утерянным, раз то, что сдал, уже не вернуть, — и как только уплотнилось это раскрепощающее затишье, сразу вспомнились забитые снедью амбары.

...Вот это прорыв! Даже немец-регулировщик принял нас за своих.

Решили отпраздновать удачу.

Ротный Леушин на этот раз не спросил, для чего вдруг понадобилось скатать пустые вещевые мешки. Его острое лицо только чуть сплющилось, изобразило безмятежность, не знающую, что делается всюду, и вокруг и в роте. Он только сказал Суслову как бы невзначай:

— Возьми с собой двух ребят.

На вопросительный взгляд Суслова он, не вдаваясь в объяснения, пробурчал:

— Достаточно. — Пожимая плечами, он будто у кого-то спрашивал: «Чем они там только заняты?» И сказал, хмурясь: — Обещания-

ми все кормят... Вот обещают пополнение, все обещают и обещают. Тебе обещают, ты другим обещаешь.

Суслов на этот раз не стал слушать о том, кто кому что обещает, он поманил к себе рукой меня и Николая Шохина. Ни Суслову перед ротным Леушиным, ни Леушину перед Сусловым хитрить было ни к чему.

Ничто так не возбуждает азарта, ничто так не открывает, как удачное наступление. Когда идешь, то сама земля, пружина, подкачивается под ноги. Так долго ожидаемая, выстраданная удача, как это наступление, превращает каждого в мальчишку — добродушно-го, развеселившегося и всем радостно довольного. Я шел приплясывая, а Шохин, повизгивая, все вязывался в борьбу. И вот мы идем легким шагом, безобидно подтрунивая друг над другом, смеемся над своими промахами как над чьими-то чужими просчетами и чьими-то чужими хитростями, смеемся над промахами, которые недавно угрожали жизни каждого из нас. И это «недавно» представляется куда-то далеко от нас отошедшим, чуть ли не совсем исчезнувшим с земли. Земля вдруг запахла грибами, ромашками и малиновым вареньем, только что закипающим по краям таза и с пузырявшейся пеной посредине.

— Вареньем потянуло,— сказал я.

Шохин принюхался и сказал:

— Почудилось, вечно тебе что-то чудится.

Только Суслов, который одним своим присутствием всегда облегчает каждому его ношу, никогда не отвлекается настолько, чтобы утратить бдительность или забыться.

— До заката нужно будет обернуться,— говорит он не столько приказывая, сколько предупреждая.

Мы знаем, что он говорит сейчас о том, что если не обернемся, то натолкнемся на такие обстоятельства, последствия которых предвидеть будет нельзя. А то, чего нельзя предвидеть, нужно во что бы то ни стало избегать, ограждать себя постоянно от того, что непредвидимо.

— Наверняка обернемся,— заверяет Суслова Шохин.

...Мы как вкопанные остановились, когда перед самым амбаром услышали окрик часового:

— Стой! Моя стреляй буду!

Можно было подумать, положенное отобрать захотели.

...Вернуться в роту с пустыми руками? Там ждут, то и дело выбегая на дорогу, и наверняка расстелили плащ-палатку под тенистой березкой.

— Земляк! — закричал Суслов. — Нам много ни к чему, нам много не надо, будь человеком!

У Суслова — знали мы — это «будь человеком» для всех нас было самым сильным и неопровержимым доводом.

— Стреляй буду! — И скуластый часовой вскинул винтовку и клацнул затвором.

— Ничего себе землячок,— сказал Шохин гудящим басом.

Когда Шохин был радостно возбужден, то голос его оглушал всех визгом, а когда чем-то выведен был из равновесия и начинал распалать себя, то голос у него от душившегося гнева вот так гудел.

— Этому земляку я сейчас такую метку поставлю, что бритвой не соскребет,— сказал Шохин, весь сразу раздуваясь.

— Стоп! — остановил его Суслов. — Сперва давайте оглядимся. Вон к тем раkitам айда.

Мы отошли к толстоствольным раkitам и, посоветовавшись, решили произвести отвлекающий маневр.

— Вот что, доброволец,— обратился Суслов к все еще горячившемуся Шохину,— ступай к часовому и заведи с ним разговор. Разговорчик на всю катушку раскрути.

— Ладно, — сразу дал согласие Шохин и успокоился. Шохин быстро успокаивался, когда ему, как это сделал сейчас Суслов, напоминали о его добровольчестве.

...Шохин приблизился к часовому и начал с расстояния ругать его. Он, видно, за все отвел свою душу. У него выходило, что этот часовой из всех дурачков самый первый дурак, из всех крохоборов самый первый крохобор. Даже Суслов, который в наших глазах выглядел человеком, все изведавшим и распробовавшим, и то на мгновение опешил от удивления и восторга.

Пока Шохин визгливым, срывающимся голосом ругался с часовым, Суслов и я подползли к амбару с тыла, раскопали лаз, я залез в амбар и начал передавать Суслову все то, что успевали захватить руки. Целых три мешка нагрузили провизией и отбуксировали. Когда вернулись к ракете, то свистом дали знать Шохину — все в порядке. А когда Шохин увидал мешки без окладок, то только одобрительно хмыкнул и сразу, одним подыривающим движением взвалил себе на спину самый увесистый мешок.

Когда мы уже отошли от амбара, прогремел выстрел. Кто-то, очевидно, наскочил на часового, должно быть из соседней части.

...Да, о последствиях чаще всего раздумывают тогда, когда вот так ударятся обо что-нибудь затылком. Но если постоянно думать о тех последствиях, которых предвидеть нельзя — все равно всего не дано предвидеть, — если все время ограждать еще и жизнь от всего непредвиденного, то когда же жить?

...Зато и отпраздновали мы этот прорыв славно, по-семейному, будто в гостях у себя побывали. А дивизии нашей присвоили наименование Невельская.

Живем! Выпадают и на переднем крае такие спокойные дни, спокойные часы, счастливые мгновения, когда и в окопах живут как за пределами войны. Происходит это только благодаря тому, что знаешь: если пуля или осколок не срежут сразу, то возле, рядом с тобой всегда твои ребята. Они не допустят, чтобы ты истек кровью или заоченел, вынесут, не бросят. Об этом солдаты никогда не сговаривались, но это подразумевалось само собой, заставляло руководствоваться в выборе своих симпатий. Это объединяющее всех чувство — неписанный закон. Там, где действовал этот закон, была не просто рота как численная единица, а нечто большее, чем просто рота, и наверняка нечто большее, чем полк, чем просто дивизия, чем просто фронт, — нечто большее, чем сама война.

В силу тех или иных обстоятельств или случаев, как только уверенность в том, что не бросят, ослабевала или исчезала, так сразу общность начинала распадаться и каждый уже не жил, а только изворачивался, существуя в рамках того, что приказывают делать.

Живем! Этот случай, этот урок с часовым все в роте намотали себе на ус, и когда вновь выпала пауза, то мы, самостоятельно произведя рекогносцировку местности, обнаружили в буреломе из высохших, воткнутых для маскировки деревьев еще один склад. По молчаливому согласию никто из нас о такой счастливой находке никому не проговорился. Склад этот обнаружили за оборонительной линией, которая еще не установилась и не была нанесена на карту. И когда свивался дымок над землей или кустарниками, ты сразу останавливался, желая определить или выяснить: наши ли это что-то варят, сушат или кипятят или не наши? Такой свивающийся дымок — это все еще жизнь, это не дым войны.

...Склад был захудалым. В нем, к удивлению, ничего, кроме картонных ящичков с пачками сигарет, не было. Сигареты в блестящей прозрачной бумаге и свинцовой обертке. А на крепость так себе, с нашей гродненской махоркой, перехватывающей дыхание, ни в какое сравнение не шли. Но так приятно разминать эти пахучие, источающие аромат сигареты, разглядывать пальму, изображенную на

этикетке. Втягиваешь этот аромат и будто вот только сейчас начинаешь по-настоящему знакомиться с какой-то другой жизнью — городской. К этой городской жизни и ты сам когда-то был причастен, но вот только распробовать ее так и не успел.

За этими пахнущими парикмахерской городскими сигаретами ходили мы обычно в час обеда, когда стрельба со стороны немцев стихала и наступало затишье, также никем не предусмотренное и никем открыто не санкционированное.

...Склад со стенами, обитыми фанерой, с полом из пригнанных досок, выкрашенных в коричневый цвет, уютный такой склад — хоть живи в нем. И когда входили в это гражданское помещение, то невольно поддавались усыпляющему раскрепощению и успокоенности. Не спеша, смакуя царившее вокруг особое, островное затишье, мы приставляли автоматы к стене, чтобы не стеснять движений, и, помахав руками для того, чтобы размяться, неторопливо начинали рыться в картонных ящиках, выбирая пачки не пожелтевшие и не покрытые плесенью.

Так было.

И вдруг прибежал Шохин весь вспотевший от возбуждения, с моргающими глазами, точно засорившимися, и, запинаясь, говорит:

— Вот это да, склад! Чуть не амбец! Между нами только...

— А что произошло-то? — спросил Захаров Митька, солдат из второго отделения третьего взвода. Этот Захаров был всем нам обязан настолько, что утаивать от него или опасаться было ни к чему.

— Что, что? — закричал Шохин. — Вот что... Рассовали пачки по карманам, и вдруг вваливаются немцы. Такие коротконогие, рыжие. Я сразу пустым сделался. Влип! Амбец! Из-за чего? Вот из-за этих вонючих сигарет! Сами себе мышеловку сбили, вся жизнь под откос! А немцы наставили автоматы. В проходе вижу сапоги, закупирили выход. Ждем, что будет... Жду как привязав к себе собственные руки. Немец — главный, должно быть, с таким зверским рылом и шрамом во все рыло как от кнута — прицеливается глазами... А глаза будто вслух начали секунды отсчитывать. У, никогда теперь не забуду этот отсчитывающий секунды взгляд... Тут кто-то кашлянул. И взгляд этот вдруг отлепился от нас, обежал ящики, задержался на наших автоматах у стены. Немец что-то по-своему крикнул и стряхнул с себя автомат. Гляжу, другие фрицы, повторяя и догоняя его движения, точно, как это сделал он, скинули свои автоматы и прислонили их к правой стенке. А наши — у левой. И, понимаешь, тут они вроде совсем позабыли о нашем присутствии. Засуетились, начали быстро заталкивать по карманам сигареты, только причмокивали губами: «О гут, о гут!»

— Вот тут и нужно было бы удрать, — сказал Захаров, — удобный момент.

— Удрать, удобный, — передразнил его Шохин. — Легко советы давать, стоя вот тут, а там вот, а?

Что произошло дальше, мы узнали из рассказа Шохина.

В этот удобный момент они сперва действительно хотели улизнуть. Так и взрывало тело к выходу, в открытую брешь. Но что-то удержало сразу сбежать. Для виду, не торопясь они снова покопались в ящиках. Для виду закурили и, взяв не торопясь автоматы, перекинули их сразу за спины и, не оглядываясь, медленно пошли к выходу. Они не обернулись, хотя так и подмывало оглянуться, прыгнуть в сторону, вильнуть телом то вправо, то влево, то залечь, то вскочить на ноги и бежать, петляя, чтобы не стать просто мишенью и чтобы не расстреляли тебя в спину.

Так они и ушли из этого склада, ни разу не обернувшись, ушли, даже притормозив шаг.

Оглянуться — это себя унижить на всю жизнь.

— Вот видишь, какой «гут» произошел,— сказал Шохин и спросил: — Ну как?

И он ждет не то осуждения, не то похвалы, не то просто выражения удивления или радостного возбуждения, которое он испытывал сам и от которого еще не остыл.

Что можно было ответить на все это?

— Да,— сказал я,— от всего не застрахуешься. А вам повезло. Немцы ведь тоже были разные.

Полковым разведчикам никак не удается захватить языка. Об этом нам стало известно, когда в расположение наших ротных землянок внезапно наведалься Чернецкий — адъютант командира полка. Радостным голосом он известил, что пришел сколачивать группу из добровольцев. Чернецкий весь затянут в новенькие ремни, парадно-военственный, с выбритым до блеска лицом и белыми маленькими ручками. Он, весело подмигивая, показывая, что всю жизнь будто состоял с каждым из нас в приятельских, родственных отношениях, заметил, что пришел не просто так, а по личной просьбе командира полка — самого Осенника. Как не уважить просьбу полкового командира, который может и просто приказать. К тому же выражение «просьба» всегда имеет притягательное свойство. Когда обращаются с просьбой, можно если и не выдвигать свои условия, то хоть выговорить преимущества, которые, может быть, имеют значение только в твоих собственных глазах.

И тут шагнул вперед Захаров. Он похвастался, что знает удобное место для засады — склад. Как только Захаров упомянул об этом складе со стенами, обитыми фанерой, дощатым полом, всем сразу стало ясно: тот уютный склад-берлога с верным уловом. Обложить его только нужно. Успех тут обеспечен. Но почему-то этот высунувшийся из общего строя Митяй Захаров сразу превратился в другого Захарова — стал вдруг Дмитрием Афанасьевичем Захаровым, с которым никто из нас до этого нигде и не встречался.

— Верно! — воскликнул адъютант Чернецкий. У него тут же заблестели глаза от воодушевления.

Но никто не отозвался, не откликнулся на голос Чернецкого. Тогда, позвав рукой Захарова, Чернецкий пошел вместе с ним к землянке нашего ротного Леушина.

...Вышел Чернецкий довольный, сияющий, и у Захарова рот растянулся от предвкушения удачи. За ними шел ротный Леушин своей семенящей походкой, с недовольным, смурившимся лицом. Чернецкий потирал белокожие руки, ставшие вдруг на солнце розово-прозрачными. Он смаковал удачу. При виде насупленного ротного все невольно составились в строй. Чернецкий прошелся перед строем роты и сказал с начальственной самоуверенностью, обрубающей всякие разговоры, что дело со складом решенное, пахнет наградами.

— Мы им дадим прикурить,— сказал Чернецкий и сам первый громко засмеялся.

Когда вот так засмеется промком только один, то всем остальным сразу становится как-то не по себе.

Чернецкий, не замечая расстояния, отделившего его сразу от нас, сказал:

— Нужны добровольцы. Кто? Ша-аг вперед! — подстегнул он, приглашающе улыбаясь. Теперь он словно разговаривал с каждым в отдельности и по особому расположению и секрету, как бы шептал на ухо: «Не запоздай смотри... Потом наверняка пожалеешь, но будет поздно. Тут сама дичь на тебя бежит».

Всегда вот чувствуешь себя выбитым из равновесия, когда от тебя с нетерпением ждут, что ты довольный бодро шагнешь вперед,

а ты мнешься, избегая повстречаться глазами с товарищами, которые, топчась, тоже обходят тебя и других ускользящими глазами.

Всегда становится как-то не по себе, когда от тебя ждут ни о чем не рассуждающей решимости, слепой прыти, а ты, вместо того чтобы испытывать чувство благодарности за оказанное тебе доверие, прячешься за чью-то спину, никогда еще ни одного из нас не заслонившую спину. И совсем другое, настоящее дело, когда чувствуешь и знаешь, что ждет этого шага не Чернецкий, живущий будто перед зеркалом, а ждут люди одной с тобой судьбы.

А в этом случае...

Суслов, которого еще никому не удавалось вывести из устойчивого равновесия, на этот раз и то не сдержал себя. У него вспухли скулы. Он не сделал шага вперед. Он только спокойно, как бы давая совет со стороны, сказал с подчеркнутым равнодушием:

— Чего спектакличать? Нужны люди, приказывай.— Суслов усмехнулся. Приказывай, говорит эта усмешка, это твое право, на это твое право никто из нас не претендует.

— Мне нужны люди не по приказу, а добровольно, ясно? — вспыхнул Чернецкий.

— А, чего захотел... Захотел, чтобы получилось бы по приказу, а вышло бы вроде добровольно,— пробормотал кто-то.

И тут Шохин, всегда предпочитающий принцип добровольности, вдруг заявил:

— Мы что?.. Мы солдаты. А солдат человек подчиненный, подчиняющийся человек.

И никто из нас так никогда не считал и не думал вообще, и тем более здесь, в окопах, что мы здесь на нашей, своей земле только солдаты, только подчиненные.

— Что? — закричал Чернецкий, уже неприятно повышая голос. В этом зазвеневшем голосе явственно зазвучала угроза. Нет, он не приказал. Он только прокричал фразы, всем нам давно знакомые: — Как? В отдельной войсковой единице! В роте автоматчиков! Так славно зарекомендовавшей себя в боях с немецко-фашистскими оккупантами! Лучшей в полку! Не нашлось добровольца, а?

У нашего ротного Леушина лицо сразу покрылось багровыми пятнами, затвердело с побелевшими вдруг губами. Всегда, когда вот так хвалили, одновременно оскорбляя, чтобы добиться своего, ротный внезапно багровел. Мы знали — всяческая игра на самолюбие ему всегда претила, распалая в нем гнев.

— Говори о деле! — оборвал он разглагольствования Чернецкого.

Чернецкий смерил ротного взглядом, поднял брови и медленно с наклоном головы опустил брови, как бы говоря: «Записано, запомним. Не забывайся. Я от командира полка».

Ротный, увидели мы, ответил на этот записывающий взгляд Чернецкого тем, что сплюнул, показывая и отвечая Чернецкому: «Запоминай и ты, пока память не отшибли. Хоть на всю жизнь запоминай». Ротный ссутулился словно для прыжка. И мы сразу сделали шаг вперед к этому Чернецкому.

Чернецкий отступил, сказал, остывая:

— Ладно, без вашего участия обойдусь. Еще пожалеете... Захаров,— сказал он,— ступайте за мной.

Можно было подумать, что этот Захаров, который всегда натягивал шкурку за счет общего котла, все время выжидал выигрышного случая, чтобы обратить на себя покровительственное внимание начальства.

— Есть! — звонко прокричал Захаров.

У Дмитрия Афанасьевича вдруг прорезался голос.

Шохин, никогда не улускавший случая поддеть кого-нибудь, чтобы разрядить себя, сказал насмешливо:

— Ишь как кочет на зорьке горло чистит.

А мне вспомнилось... Когда наступали ночью западнее Великих Лук — уже редкие снежинки кружились в стыннувшем воздухе — и взбирались на высоту 112, то вокруг все перемесилось: сразу не различишь, где, что и кто. Тут Митяй Захаров заскулил: «Ребята, не вижу никого. Глаза склеились». В самом деле, он ни одного предмета ни разглядеть, ни различить не может, только перебирает темень руками. Его поразила куриная слепота. Сам он, видно было, к санчасти не выйдет, заблудится и пропадет, замерзнет, а оставлять с ним было некого... Ребят можно по пальцам пересчитать. И ясно было: пока высоту эту не оседаем, сами из-под огня не выйдем. Немцы откапывались. А дай им только передохнуть, прийти в себя, опять ухватятся за высоты, зароятся в землю, и... тогда опять все снова начинать долбить, выковыривать их. Раз наступаешь им на пятки, то не слезай, жми на всю силу, пока самого ноги держат. Суслов, который никогда не ругался, чтобы подхлестнуть самого себя вместе с другими, на этот раз обложил всех и все сразу на свете и велел Захарову взяться за полу его шинели.

— Вцепляйся, как за хвост коня при переправе, — сказал Шохин. Пошли в атаку. Так с разбегу и взяли ту высоту.

Пока бежали вперед, Захаров не выпускал из рук сусловской шинели. Долго потом удивлялись тому, как это ни Суслова, ни Захарова не задело. Шинель у Суслова в трех местах продырявили пули.

В оставленный немцами блиндаж, теплый, с дымившейся на столе кружкой чая, ввели мы обессиленного Захарова и уложили спать, а сами, выбежав, начали отбиваться от немцев. Немцы тоже ловят момент, когда ты еще не закрепился. На этот раз все обошлось удачно — выручка пришла со стороны второго батальона. Батальон этот шел, как выяснилось, справа от нас.

А когда рассвело и сдунуло дым, Захаров опять напомнил о себе. Он выполз из блиндажа и сразу прозрел. Глаза его разлепил свет всходящего солнца. Он у всех радостно начал спрашивать:

— Это дерево? Верно? Это колесо? Верно? И жесть блестит. Банка консервная? Верно, банка.

Радость его всем понятна. Как не обрадоваться тому, что снова начинаешь видеть дерево, колесо, дым, небо, солнце.

...И Захаров, обязанный нам всем, даже тем, что вот он снова глазами ощущает, что снова ходит и еще чего-то хочет, желает, еще разговаривает, еще... одним словом, живет благодаря нам, теперь не испытывает никаких обязательств перед нами как просто перед людьми... А от него не требовали ничего, даже выражения чувства признательности, даже спрашивали с него не так, как с других, опасаясь, как бы он опять вдруг не ослеп.

А теперь вот кричит за всех: «Есть!»

...На другой день в роте стали известны подробности засады. Разведчики обложили склад, связали двух немцев, которые пришли запастись сигаретами. Немцы эти, должно быть, отбивали войну в артиллерии. К вечеру в том месте, где был расположен склад, вся земля была перепахана и размолочена немецкой артиллерией. Обстрел шел даже во время их обеденной паузы.

Когда вернулся в роту радостный Захаров, то никто не стал его расспрашивать о подробностях засады. Дело на этот раз выгорело. Даже жертв с нашей стороны не было.

...И перестали вспоминать о складе, чтобы не обременять себя еще и воспоминаниями; нужно было шагать, шагать и шагать вперед, сократить срок войны и приблизить день возвращения. Только присутствие в роте Дмитрия Афанасьевича Захарова начало действовать теперь на всех угнетающе и раздражительно. Присутствие постороннего вносит во все фальшь, натянутость, убивает то чувство общности, благодаря которому люди наверняка знают, что тебя не

оставят, не выбросят, если пуля или осколок свалят кого-нибудь из нас. А тут будто путается у всех под ногами соглядатай с липнувшими ко всему глазам и всегда торчащими ушами. И когда эти глаза останавливались на тебе, то невольно, прежде чем сказать, начинаешь отмерять и взвешивать слова, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Из-за присутствия в роте вот такого Захарова теперь нужно словно маскироваться еще и среди своих. И чем сильнее хочется скрыть, замаскировать свою неродственность, свою неприязнь и свое неприятие Захарова, тем неожиданней и откровенней прорывается эта неприязненность.

Захаров почувствовал ров, разъединивший его с ротой. Этот ров не перепрыгнуть одним рывком, каким одолеваются в общем наступлении завалы. Захаров вздумал засыпать, сровнять этот ров. Он теперь открыто льстил, громко хвалил за пустяки, сладко улыбался, расплющивая круглое лицо, изумленно вскидывал брови, будто ты сказал что-то такое, что поразило его меткостью и мудростью, а ты просто прочистил горло, чтобы вообще не разучиться вести разговор. Выяснять что-то и объясняться друг с другом нам было ни к чему, а для длинных, выясняющих разговоров свободного времени тут, в траншеях, война никогда нам не оставляла. Если теперь и ввязывались в разговор, то объяснялись все больше жестами — ведь для нас шел третий год войны... И ни на какую лесть мы не попадались. Мы давно убеждены были в том, что лесть — это крючок, запрятанный в наживку... Так что и тут коса нашла на камень.

...Вот в землянку протискивается Захаров, только что подмененный на посту. Мы переглядываемся, предупреждая всех и себя: «Цыц! Подглядыватель пришел, молчок».

А мы и до прихода Захарова не вели никакого разговора, только курили, задремывая. Это самое блаженное состояние — позволить себе засыпать только до определенной для себя намеченной черты. Черта эта никогда не стирается, только в зависимости от обстановки она то удлиняется, то укорачивается, то расширяется, то начинает сужаться. Вот так в окопах, постоянно засыпая, все никак не даешь себе заснуть окончательно, чтобы чего-нибудь не прозевать, чтобы не попасть под удар из-за угла.

— Прикрой дверь! — вдруг рывкнут Захарову.

— Я затворил, — говорит он.

— Плотнее, кому говорят.

Захаров с услужливой поспешностью, опережающей все возможные другие просьбы, бросается к двери.

— Включи свет, — говорят ему.

Он опять приоткрывает дверь, оставляя щель для света.

...Как-то, вернувшись с поста, Захаров закричал, вскидывая руки:

— Ребята! Я узнал новость, связной из штаба сказал.

...Новость! Вот это есть то, чего мы всегда ждем — новостей. Вроде того, как постоянно засыпали до определенной черты, так постоянно ждали и новостей. Не то по наивности, не истребимой в нас никакими событиями и случаями, не то из-за оторванности от дома мы все еще надеемся, не веря и не доверяя своим сомнениям, что какая-то весть со стороны докатится наконец-то до нас и приблизит конец войны. И, кажется, эта война, которая так внезапно обрушилась на нас и ни Леушиным, ни Шохиним, ни мной, ни Сусловым — никем из нас не развязанная, так же неожиданно может и оборваться... Каждый из нас так предполагает вопреки показаниям очевидных вещей. Действительное же значение имеют для нас новости местные — новости по беспроволочному телефону: от одной высоты к другой, от одной железнодорожной ветки к другому полотну или насыпи, от одной дороги, лесной или проселочной, к каменистому шоссе или вот от этой траншеи к тем впереди ждущим нас высотам, дымившимся сейчас от взрывов... Вот провод начали сматывать связисты или узнали, что саперы начали разминировать проходы, — строчи бы-

стрей письмо домой. Написав письмо, как бы вслух поговоришь с родными. Но отправляли письма почему-то всегда после наступления. Радостные письма...

Однако на этот раз не поддались соблазну перехватить новость, сказали Захарову:

— Можешь ты когда-нибудь помолчать, а?

...Раз, возмущаясь и одновременно обращаясь за помощью к роте, Захаров начал жаловаться на ротного повара Игната. Игнат обделяет его, вот и сегодня плеснул ему в котелок одну жижу без гущи и куска мяса.

— Это не положено,— пожаловался Захаров,— для всех ведь одна норма указана.

Если бы это случилось с другим, то Игнату бы пригрозили, здесь же только отмахнулись и сказали:

— И чего ты все кипятишься, кипятишься? Всем не угодишь.

Захаров подошел к Суслову поделиться распившей его радостью. Повод к такой радости был роте уже известен. Адьютанта командира полка Чернецкого за общее руководство операцией представили к награде — ордену, а Захарова и еще двоих разведчиков представили к медалям. Радость, это каждый знает по себе, всегда будет неполной, вроде бы незаслуженной, если твой успех никто не разделяет и если твоей удаче никто не обрадуется как удаче собственной.

Суслов что-то мастерил — не то табакерку, не то мундштук. Он только тогда основательно обдумывает, когда у него руки заняты — строгуют, мнут, взвешивают, примеряют, пробуют на вес.

— Батя, батя! — обратился Захаров к Суслову.

Суслов, наморщив лоб, прикрыл волосатыми бровями глаза, как козырек кепки надвинул,— весь углубился в работу.

Захаров закричал:

— Батя! Батя! Меня...

Суслов вскинул брови, оглядел Захарова всматривающимися, жмурившимися глазами. Он не узнавал и силенка вспомнить — может, где и в самом деле встречались. Вдруг лицо его сморщилось от досады.

— Какой я еще батя,— сказал Суслов, делая рукой отодвигающий жест.— Уматывай лучше из роты, уходи.

...Приговор, который выносил Суслов, считался у нас окончательным. Ни обсуждению, ни обжалованию не подлежал.

...Снова светит солнце все вокруг выпрямляющим светом. Снова все свои у нас в роте, наконец-то сами собой.

Захаров ушел с вещевым мешком за спиной. В штабе у него рука нашлась. Это Чернецкий пристроил его в комендантский взвод. Наш командир роты Леушин, все ждущий пополнения, на этот раз не воспротивился тому, что у него людей забирают.

...А потом и эта пауза — оборона — оборвалась. Началось опять наступление.

И о Захарове уже никто не помнил.

Раз наступаешь им, немцам, на пятки, то жми не слезая, а то ухватятся снова за высоты, зароятся в землю — и тогда начинай сначала.

Наша совсем поредевшая рота первой в полку вышла к шоссе Невель — Витебск.

А вот и новость — до старой границы теперь рукой достать можно!

Публикация Е. С. КРИВЕНКО.



ВЛАДИМИР КРУПИН

★

ЖИВАЯ ВОДА

Повесть

Когда я прочел эту повесть, я подумал: «А ведь и верно — Владимир Крупин должен был написать эту вещь. Никто, как он!»

Никто, как он, никто, а только именно этот автор — это уже многое должно значить, и прежде всего то, что повесть обладает «лицом необщим выраженьем».

Так оно и есть.

Очень точный, соединяющий слово новое со словом традиционно русским язык Крупина; очень точные детали из быта людей, жизнь которых проходит в пристанционном поселке (не то это город, не то деревня, одним словом — поселок, мало ли их разбросано по просторам России), и этот язык и эти детали — все это такая точность, которая нигде не становится бытописанием или просто описанием. Даже становясь фантазмагорией, она в то же время не нарушает строя вполне реалистического произведения.

Русская литература допускает любой литературный прием, если он дает конечный результат, если создает произведение действительно художественное.

У меня в данном случае нет никаких сомнений — перед нами произведение именно такого рода. Я вижу характеры и совершенно достоверные отношения между ними, а если на то пошло, и философию. Не ту, классическую, которую преподают на соответствующих кафедрах, а ту, которую мы постигаем через слово художественное, как здесь — и совершенно конкретное, и натуральное, а то и условное, способное вызвать и усмешку, и удивление, и недоумение, и даже обиду, а потом уже и философичность, и соответствующее ей состояние ума и чувства.

Мне не хотелось бы говорить о «Живой воде» более подробно, это всегда неудобно и неловко — пересказывать содержание чьей-то вещи и что-то в ней объяснять раньше того, чем она прочитана, но если я в чем-то и кого-то убеждаю, то только в одном: повесть требует прочтения внимательного.

Сергей ЗАЛЬГИН.

Тебе на память, мне на камень.

Заговор.

— **Ж**или-были... — начинал Кирпиков, но Маша кричала:
— Ой, только не дед да баба!

— Мать, слышь?

— Чего? — откликнулась из кухни Варвара.

— Чего внучка-то говорит, хватит, говорит, пожили.

— Живите, — разрешала Маша, — ты мне не сказку Расскажи, а про себя.

— Про себя? — Кирпиков раскрывал газету, притворялся, что изучает ее, и докладывал: — Про меня ничего не написано.

— Как ты был маленьким, — заказывала Маша. — Как ходил за живой водой.

— Ходил и ходил.

— Ну, деда, ну последний раз. Ну! «Жили вятские мужики плохо, но этого не знали...» Деда! Дальше!

— Жили и жили. И думали, что живут хорошо, не хуже других, но пришел захожий человек, говорит: «Чего это вы так плохо живете? Живой воды, что ли, не пивали?»

И сам Кирпиков, и Маша, и Варвара знали, что он расскажет историю до конца. Для Маши-то! Да она как хотела им вертела. Да он и рад был. Машенька тоже бегала за ним как хвостик, как привязанная. И не разобрать было, кто из них ребенок.

Машенька воскресила начало его жизни. Оно как будто уходило куда-то на пятьдесят лет и вот — вернулось.

Это не было стариковское впадение в детство, нет, эти воспоминания были за семью печатями взрослого труда, нехваток, лишений, войны, снова труда, глухоты к детству собственных детей, но пришла Маша, положила свои ручонки на эти печати, и они исчезли, двери упали прахом, и — боже мой! — как и не было всей жизни, а было только детство.

Как, оказывается, он много знал сказок! Будто он сам сочинил все сказки про дурачков, и Бабу Ягу, и Кощея, он свободно шел по незнакомой дороге уверенный, что выйдет к нужному месту. А песни! Уж на что Варвара певунья, и та диву давалась, как муженек распевал «Ой да вы не вейтесь, русые кудри», «Во субботу день ненастный» (эту она даже подтягивала, а Машенька, не вдаваясь в смысл, танцевала), «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...». А сколько вполне печатных частушек сыпалось вдруг из памяти Кирпикова на восхищенную Марию.

Она не оставалась в долгу и угощала стариков новомодными песнями, которых знала множество. «Не плачь, девчонка», «Снегопады — это очень, очень хорошо», «То ли еще будет» и другие, заставляла деда играть в детский сад. Варвара раз усмеялась, когда ее старик изображал мальчика-бояку. «Не бойся, мальчик, — говорила Маша, приступая к лечению, — сейчас машинка немного пожужжит, пыль с зубиков сдуем, и все». Кирпиков, помнящий выдирание остатков зубов без заморозки и делание искусственной челюсти, искренне выказывал ужас. Пришлось побыть ему и тетей-воспитателем, а Маша являлась к нему в группу с проверкой. «Что-то у вас, Александра Ивановна (Кирпиков надевал Варварин фартук), дисциплина хромает. Сделайте выводы». И Кирпиков делал. Он проводил собрание и страдал непослушных кукол-детсадовцев криком: «На Гитлера работаете!» То-то Маше смеху.

— Ну, деда, — напомнила Маша, — «сказал им захожий человек: чего это вы так живете, что хуже вас никто не живет?»

— Мужики говорят: «Ты давай уматывай по холодку, а уж мы сами разберемся». Ну, он умотал, а мужики задумались. День думают, два, неделю: а вдруг в самом деле живут хуже всех? Обратное, и живой воды не пивали. Надо спросить. Надо, как не надо! Кого спросить? Как кого? Бога, больше некого...

Маша усаживалась поудобнее. Кирпиков понимал, что запрягся в историю и надо тянуть до конца.

— Кого послать? Кого ни коснись, никто не хочет. Этот боится, этому некогда. На том грех, на этом два. Я тут же крутился. Мужики решили: пошлем Саньку. Молодой, на него не обзарятся. «Вали, Саня, узнай как и что. И живой воды попроси. Если что, мы даром отработаем». Ладно, говорю. Да и самому охота поглядеть. Взяли меня мужики за руки, за ноги, раскачали и на небо забросили. Только рубаху в штаны заправил, апостолы: «Кто такой? Куда?...» Так и так, к самому. А там у них так налажено, все так сверкает, что стыдно в рваньето. Да босиком. Один апостол говорит: «Может, не пускать?» Другой все же за то, чтоб пустить — много ли, мол, сопляк знает и все ж таки

связь с народом. Пустить! Не успел моргнуть, как переодели, обули, представили. Вот, говорю, послали спросить. «Откуда?» — «Вятский». — «Что за народ?» «Да ничего, — ему отвечают, — в рамках терпимости. Храмы вот только ставят деревянные, а в остальном терпят. И живут хорошо, ребятишки даже летом ходят обутыми. Перед вами наглядный пример». «Еще какая просьба?» Вот, говорю, велели спросить, как бы живой воды, хотя бы по глоточку. Разговоров много, а не пробовали. «Выдать! Всё?» Все не все, а уж сзади в спину тычут — кланяйся. Вышел в переднюю, очухаться не могу, думаю, как бы запомнить: вот эдак я стоял, вот эдак он сидел, а что ж не спросил-то, хуже мы живем или лучше? Гляжу, а уж я обратно босиком. Апостолы говорят: «Давай валяй ко своим, насовсем тебе сюда рано, иди еще потерпи». А как, говорю, живой-то воды, ведь обещали. «Будет. Расплата потом». Подвели ко краю, спихнули. Да ловко рассчитали, упал на солому, глазами хлопаю, а в руках здоровенная бутылка. Кругом мужики. «Принес ли?» «Вот». Стали пробовать. Да больно всем понравилось. Да раз пустили по кругу, да другой, да и песню запели.

— Какую песню? — спросила Маша.

— Какую? «Степь да степь кругом, путь далек лежит».

— А в тот раз пели «Славное море, священный Байкал».

— Не одну, много пели. Распелись, глядят — бутылка-то пустая. «Давай, Сань, недолгое дело, слетай за добавкой». Я и жду, когда раскочаю да бросаю на небо. «Нет, говорят, это ближе, беги в сельпо, никакой разницы...»

— И тут ты просьшаешься? — спросила Маша.

— И тут я просыпаюсь.

1

Не в бархатный сезон, как сказал поэт, пришел в мир наш герой, прожил жизнь, как велели, и неужели кто-то осудит, что в эти минуты он сидит за кружкой пива? Вернее, не сидит, а стоит и говорит речь. И все его слушают, хотя в час закрытия пивной невозможно завладеть общим вниманием. Хотел, например, некий Вася Зюкин от восторга души запеть, но тут же буфетчица Лариса выкинула певца. И снова тишина. Если бы в пивной могли выжить мухи, было бы слышно, как они пролетают.

— Мы чешем в затылке, а лысеем со лба, — говорил Кирпиков. — И точно так все. Поэтому если даже мы спрыгнули не с одного дерева или вышли не из одной пещеры, все равно мы были братьями и сестрами. Хотя бы троюродными или четвероюродными. И если заняться, то везде найдешь свою родню. Даже в Африке, только, может, они не признаются...

Интересно, чем же привлек Кирпиков общее внимание? Разгадка заключалась во времени года: наступала весна. Уже высунулись из снежных варежек ладошки пригорков, уже хозяева поглядывали на огороды. Огороды были у всех — лошадь только у Кирпикова. Лошадью был безымянный мерин лесобазы. Кирпиков числился сторожем лесобазы, но считал себя конюхом. «Слово «сторож», — говорил он, — позорит нашу действительность. Раз есть сторож, значит, имеются воровы. Но кому надо, тот и у сторожа украдет, а от честных и стеречь нечего».

Весной в дни посадки картофеля и осенью в дни уборки Кирпиков становился желанным для всех. Его наперебой угощали, лучше сказать — поили авансом, и, что важнее для него, выслушивали. Он переставал быть Сашкой, вспоминалось его полное имя.

— Говорите, Александр Иванович, — возник робкий голос пенсионера Деярова.

— Приказываю слово «баба» вычеркнуть из всех списков! — приказал Кирпиков. — На полях заметьте: женщины. Приступайте!

— Нет списков, — сказал Деляров, — неоткуда вычеркивать.
 — Дурак ты, — сказал ему Кирпиков.
 — Я — дурак?! — трусливо спросил Деляров, взглядом вербуя свидетелей.

— Ты, ты, — успокоил его шофер Афанасьев, в просторечье Афоня.

— Только без рук! — крикнула Лариса.
 — Все дураки, — обобщил Кирпиков.
 — Ну, если все, — успокоился Деляров.
 — ...за исключением моего мерина. Нас много — он один. Он последняя лошадь, я последний конюх. Он умрет, и я отомру. Записываем далее: красота есть природа жизни. Но вы все слепые.

Изречение о красоте пропало незаученным, а упрека в слепоте мужики не приняли — какие ж они слепые, если шли по домам самостоятельно, а если спотыкались, то не от слепоты, а оттого, что обойти препятствие не было сил.

— История жизни учит... — продолжал Кирпиков.

Но чему учит история жизни, никто не узнал. Жаль. Что делать — земное притяжение одолело. Кирпиков рухнул. Искусственная челюсть отрывисто лязгнула.

— По домам! По домам! — закричала Лариса.

Стали расходиться по одному и группами.

Вася Зюкин встречал выходящих на крыльце и радостно спрашивал:

— Все видали? Ну Лариска, ну баба! Оторви ухо с глазом, и оба разом! Как меня, а?! До трех раз, не меньше, перевернулся. На четыре точки встал. У жены моей и то так не часто выходит. Самое главное, — хвалился он, — ни одна стеклотара не разбилась, хоть бы где трещина.

Вышел не пивший ни грамма, но окосевший от спиртных паров пенсионер Деляров. Он разулся и убежал трусой. «От инфаркта, — думал он, — и от пивной подальше». Конечно, без необходимости пахать огород он бы не стал кланяться Кирпикову. Но не копать же лопатой. «Однообразный физический труд отупляет», — думал Деляров.

Афоня вывел Кирпикова, уравнивал.

— Дойдешь?

— Докуда? — спросил Кирпиков, плохо ориентируясь.

— До дому.

— В какую сторону?

— В эту, — показал Афоня.

— В эту дойду, — ответил Кирпиков.

На прощание они пожали друг другу руки. Это было рукопожатие равных по положению в поселке людей. Если у Кирпикова был мерин, то у Афоня — грузовик. Привезти сено, подбросить дровишек — за этим шли к Афоне. Разница была в оплате. Кирпиков за работу получал пол-литра с закуской, Афоня брал деньгами.

Афоня, а с ним и Вася Зюкин ушли. Вася, потряхивая бутылками за пазухой, запел. Бутылки звякали на две октавы выше — Вася не тянул.

— Башку тебе баба отсоединит, — полушутя-полупрорицая сказал Афоня.

— Сегодня не, — весело ответил Вася, — ей сегодня ни до чего, у нас собачка сдохла. Завтра похороны, приходи, помянем.

Так, небрежно беседуя, они ушли. Вскоре звяканье затихло, и Кирпиков, всем нужный человек, остался один, всеми брошенный. Ему так много подносили, что он набрался сверх меры. Ему следовало бы знать, что пресыщение наказывается, но все мы крепки задним умом.

Мимо, по железной дороге, временным ожерельем обхватывая горло поселка, летели поезда. Днем пассажиры могли видеть крохот-

ный вокзальчик, станционный буфет, несколько десятков домов, забор лесобазы, штабеля дров, металлическую трубу общественной бани; ночью мелькало несколько огоньков, и все.

Но как упрекать пассажиров мягких, купейных и плацкартных вагонов в том, что у подножия мелькнувшего за окном станционного буфета страдает их ближний, а они не спешат на помощь. Тем более и страдал он заслуженно. Мог и не напиться. Но опять-таки, как винить Кирпикова: просили вышить — не мог отказать. Ему оставалось проспать и отработать аванс.

Дальние поезда летели мимо, но два раза в день останавливался пригородный. Единственный пассажир, сошедший в поселке, запнулся за Кирпикова.

— Кто там? — спросил Кирпиков спросонья. — Сейчас запрягу. — И очнулся: над ним стоял человек в форме.

Кирпиков одолел земное притяжение и тогда только разглядел, что форма не милицмейская.

— Не на того нарвался, — сказал он, собираясь снова залечь.

Но человек свирепо встряхнул его, и Кирпиков узнал лесничего Смышляева. Пошли вместе. Кирпиков шел зигзагами, будто запутывал следы.

— Ну что, — спросил он лесничего, — разбогатело государство от моей пятерки?

— Если ты поумнел, то разбогатело.

— Штраф не пища для раздумий, — назидательно сказал Кирпиков. — Возьми на карандаш. За веники! — воскликнул он, адресуясь безгласным небесам. — За веники меня штрафанули на пятьдесят рублей на старые деньги!

— Нечего в питомник соваться! Я на каждый росток надьшаться не могу.

— Все там ломают, — Кирпиков наивно думал, что ссылака на большинство оправдывает, — а засекли меня. Думаешь, я обеднел из-за твоей пятерки?

— Лишний раз не выпьешь.

— Меня и так уважают в десятикратном размере. А кто тебе поднесет? Пошли в стекляшку проверим. Заворачивай. Никто не заплачет, где могилка твоя...

Лаяли собаки. Они преследовали две цели, и довольно успешно: оправдывали объедки с хозяйского стола и передавали вдоль по улице как эстафету подгулявшего Кирпикова и его спасителя.

Из Кирпикова начинал выходить хмель, и он мелко постукивал вставными зубами.

— И чего было человека тревожить? — обиженно сказал он. — Лежал бы себе и лежал. Нет, вставай. Не можешь ты, видно, чтоб люди спокойно жили. А я тебя другом считал.

— Опять неладно, — усмехнулся лесничий. — Оштрафовал — плохо, от простуды спас — плохо. Ты золотые веники ломал. Не на пятерку, между прочим. Это посадки карельской березы, из нее лучшая мебель.

— А мебель нам ни к чему, — заявил Кирпиков, принимая лужу за кусок асфальта. — Я и без кровати, на полу сплю — некуда падать.

Лесничий вывел его на берег.

— И вообще, — сказал Кирпиков, — будет у кого пожар, я тушить не пойду — пусть все сгорит. Без чего можно обойтись, это лишнее и вредное. Это уж просто не знают, как из народа деньги выманить. Сколько стоит мебель из карельской березы?

— Тысячи две, две с половиной.

— Две с половиной?! — На такую заоблачную цифру Кирпиков так потрясенно ахнул, что собаки озадаченно смолкли. — Вот ты когда себя выявил! Вот где я тебя подловил. Две с половиной! На спекулянтов работаешь. Мебель, хренебель, рестораны. Одни тунеядцы. Рабо-

тать некому. Закрыть рестораны — вот и рабочая сила.

— Нет, Александр Иванович, красивая вещь — это хорошо. Вот представь, ты сделал...

— Не собираюсь...

— Да уже и некогда. Дошли.

— Я и сам вижу. Дошли! Был ты мне хорошим, сам напортил. Ты людей на мне не учи. Ты к народу задом не становись! — назидательно сказал Кирпиков.

— Прожил ты жизнь, а ума не нажил.

— Как это прожил? — вскинулся Кирпиков. — Чем я кому мешал? Места я немного занимаю, так что разрешите пожить!

Лесничий пожал плечами и пошел своей дорогой. Идти было не близко. Плохонький лес-самосев шумел под ветром, и даже привыкший к лесу человек вздрагивал, когда ветер внезапно заслонял дорогу веткой.

2

— Объявление Христа уроду! — Так комментировал Кирпиков свое переступание через порог. — Не вижу радости.

Варвара вздохнула и отвернулась. Можно было, дождавшись мужа, пойти спать, но она по опыту знала, что пока он не выговорится, не уснет. Имелось средство — выдернуть вставную челюсть, но муж был начеку.

— Не двигаться, — предупредил он, ложась в углу под иконой. Лег на пол принципиально, как бы заочно доказывая лесничему, что слова у него не расходятся с делом.

— Ну, борони, борона, — вздохнула Варвара. — И когда ты только образумишься? Ведь лысый уже, леший ты, леший, в четыре глотки льешь, да когда хоть доверху нальешься, когда хоть руки мне развяжешь, леший ты, сатана.

— Ответ на вопрос, — сказал на это Кирпиков и закурил, — есть ли в могиле кровати? Нет. Три очка. Второй вопрос: когда я умру? Отвечаю: ни-ко-гда. Весной и осенью я на вес золота, умереть не дадут. Лето исключается. Остается зима. Нахожу выход — на зиму уезжать в Африку.

Варвара пошла в кухню и налила в стакан воды.

— Под иконой не посмеешь, — хладнокровно сказал Кирпиков. — Мне даже выгодно, что ты веришь. А я не верю. Могу и матом запырять.

— Господи, твоя воля, прости неразумного. Не доводи до греха.

Кирпиков распалился:

— За что простить? За то, что всю жизнь хребтину ломал, за это? За то, что пятерым детям образование дал? За то, что воевал? А? Что чужой копейки не взял? За это? Не приближайся! Стоять на месте! Прицел постоянный!

Варвара, усыпляя бдительность, взялась за штюпку.

— Я вижу перед собой темноту, то есть тебя. И должен просвещать. Даю справку на вопрос в устном виде. Бог для начала был, не спорю. Он завязал тут жизнь, сказал — размножайтесь, и улетел. И мы занялись. Скажи, кто создал твоих детей? Нет ответа. Я или кто другой? Открой тайну. Все-таки я? И запомни: я их создал — я и есть бог. Проверь. Ударь табуреткой — выживу. Поздно менять планету.

Варвара плюнула и ушла. Кирпиков, делая вид, что утирается, вскочил.

— Ты плюешь?! — заговорил он. — Ко мне не пристанет. Прощу слова: предел кончен.

Все-таки сегодня он был не в ударе. Чувствовал какую-то слабость. То ли хмель проходил, то ли разговор с лесничим подействовал. Раньше он выделял шутки похлеще, например репетировал, как ему лежать в гробу (значит, умирать все-таки собирался).

— Следующим номером нашей программы,— объявил Кирпиков и пошел к репродуктору...

Номер назывался: «Не хотите со мной разговаривать? Очень хорошо! Я вынужден говорить с Москвой».

— Како те, лешему, радио, времени два часа! — чуть не плача закричала Варвара из кухни.— Все другие спят давно, господи, за что мне такое наказание?

— Итак! В эфире Кирпиков. Местное время... Мать, мерина кормила?

— Чтоб он сдох, твой мерин.

— Просим извинения у слушателей. Это происки чуждого элемента. По команде кормила? Я серьезно спрашиваю.

— Кормила!

— Благодарность в приказе. Итак. Товарищи! К нам с просьбой обратилась простая рядовая труженица, внешне ничем не приметная женщина. Это ты. Исполняем для нее песню.

Кирпиков запел:

Когда я был начальником,
Носил штаны в полоску...
Сохранять спокойствие,
Дайте папироску.

Как и полагается искусству вообще, искусство Кирпикова было правдивым. Закурить хотелось, папиросы кончились, штаны в полоску износил, и не одни, и начальником побывал. Здесь же, на месте лесобазы, были колхозные поля, и Кирпиков, вернувшись из госпиталя, бригадирил. Что касается призыва к спокойствию, его можно толковать по-разному. Кирпиков же, как реалист, не вкладывал в него какого-либо второго смысла — он просто призывал к спокойствию. На самый крайний случай мог найтись кто-то и сказать, что не важно, какие штаны носил герой, да на всех не угодишь.

Но недешево стоит занятие искусством — Кирпиков поплатился: Варвара подкралась сзади, схватила за голову и выхватила вставную челюсть.

Кирпиков не смог даже пристойно кончить передачу — не будешь же шамкать беззубым ртом.

Варвара, спрятав добычу, села на стул и долго с состраданием наблюдала, как муж обиженно грудит половики и мостится на них.

— Саня, Саня,— горестно сказала она,— до чего ты дошел, боже мой, полжизни ты мне убавил своей пьянкой. Был человек, стал Сашка. Ведь света белого не видишь из-за водки проклятущей! Ведь не пил же ты этак раньше, вот и Машку привозили, не пил. Меня совсем ни во что не ставишь, издеваешься, все нервы вымотал, глаза бы не глядели! Брошу я тебя, уеду к кому-нибудь из ребят.

— Жужжа шы шам,— сказал Кирпиков.

— А не нужна, так все равно не вернусь. Под окнами просить пойду, и то легче. Эх, Саня,— говорила Варвара,— а ты-то кому нужен? Сдохнет твой мерин, и кто о тебе, кроме своих, вспомнит? Пенсию выработал, живи, радуйся. Это кто же влюбит твою пьянку? — говорила она, качая головой.— Кто тебе запрещает в праздники или после бани выпить, кто? Ведь выпить можно, напиться грех. Когда я тебе в рот глядела или стакан вырывала? Грязный ведь валялся, до чего дошел, совсем от тебя человека не осталось.

Смотреть на жену означало смотреть правде в лицо. Кирпиков смотрел. Такая вдруг усталость, подперла, сердце заболело, голова закружилась.

— На! — сказала Варвара, доставая вдруг полную бутылку и стучая об стол.— На, залейся.— И вставные зубы принесла.

Смена политики давно не влияла на Кирпикова: Варвара все перепробовала в целях воспитания. Вот бутылка, вот возможность гово-

рить — сразу две прихоти ублажили. А он и не заговорил и пить не стал, сидел понурясь. Жалостливым видом своим он притушил злость жены. Уже на излете сердитости она пожелала:

— Всю стрескай.

— Прижимает, мать,— сказал Кирпиков, потому что почувствовал, что и лежать не мог и сидеть трудно, попытался встать — сердце ощутимо застучало.

— Легко ли!

Ему бы к фельдшернице, но он постыдился беспокоить ночью людей, отнес недомогание на выпивку и стал мучиться в одиночку. Какое ни бывает сильное участие к страдающему человеку, человек одинок в боли.

Впервые в жизни он дал повод своей жене стать сильнее его: хворала чаще она, а он злился, что вечно не вовремя, с ним же ничего не делалось, ни одна холера, по его выражению, его не брала. Что только он не вытворал над своим здоровьем: потный купался; неделями на лесозаготовках мял сухомятку; спал урывками, сунувшись в угол; пил из весенних луж в проталинах, куда на первое тепло сползались живучие насекомые и уже головастики начинали дергать хвостами. А фронт!.. Все, вместе взятое, не означало, что он умышленно издевался над собой, так уж выходило, что он первый лез в воду на сплав, работал в лесу еще при лежневках, когда не было котлопунктов, спать обычно бывало некогда, ждала работа. Не видя выхода, он придумал, что он трехжильный, что суровая жизнь есть закалка. Одна жила, говорил он, у всех, две кой у кого, а три у тех, на кого вся надежда. Но что такое беспредельная закалка как не изнурение?

— Тебе говорили, тебя предупреждали? — почти радостно говорила Варвара. Она помогла раздеться, лечь в постель.

Вскоре, видя побледневшее лицо мужа, его вялость, перестала злорадствовать, стала жалеть, но и жалея, упрекала и подчеркивала, что вот допился, что она всегда говорила... словом, то, что уже говорилось сто раз, но не действовало и должно было подействовать именно сейчас.

— Нету, нет, Саня, такого молодца, чтоб поборол винца.

Чувствуя себя униженно от своей слабости и стесняясь, что вызвал столько хлопот, Кирпиков уверял, что все нормально, сейчас засадит стакан и встанет как миленький. Варвара и в самом деле нашла, но на водку было рвотно смотреть.

— Убери! — велел Кирпиков. И попросил: — Открой окно.

Легче стало дышать.

— Живой бы воды сейчас,— помечтал Кирпиков,— а не эту заразу. А вот нет, сколько ни хочется, нет живой воды. Сколько сказок — живая вода. А в жизни нет и нет. Не зря я Машке рассказывал, как меня апостолы нагрели. Бог им велел живой воды выдать, а они посмеялись.

— Спи уж! Лишь бы на кого свалить.

Было уже поздно. Если бы Кирпиков мог приподняться, он бы увидел, как светлыми точками в мягкой темноте скользят пассажирские поезда. Но и не приподнимаясь он слышал стук колес; когда он стихал, слышался лай собак. И прохожий не было в этот запредельный час, и луна по-прежнему отсиживалась за тучами, но собаки усердно лаяли и въедливо слушали, лает ли сосед и лает ли сосед соседа, а если сосед соседа молчал, то дружно лаяли на него — и бедный пес нуждался лаять вместе со всеми.

3

Всю ночь маялся Кирпиков. Никогда не ходивший к врачам, он напугался своего состояния. Он пытался встать, но слабость валила обратно. Под утро ненамного уснул и проснулся весь мокрый. «Пропо-

тел», — обрадовался он. В открытое окно сквозило, пахло свежими опилками, навозом, угольной гарью. Рваные тучи резво подхлестывались ветром. Медленными лебедями проплывали по стене солнечные пятна. Кирпиков встал, накрошил в ведро с водой хлеба, надавил десяток вареных картофелин, посолил.

На крыльце зажмурился — так остро сверкало солнце в лужах. Чувствуя тяжесть ведра и все-таки не отдыхая, чтоб не тешить болезнь, он открыл конюшню.

Мерин не сразу начал пить из ведра — ждал команды.

Команда последовала:

— Приступить к приему пищи!

Мерин склонил морду к ведру.

— Эх, милый, — обессиленно заговорил Кирпиков, — попадешь ты в лошадиный рай, а я в человеческий. Что ж мы друг без друга будем делать? Пожить бы еще лет полста, а? Да нет, много. Лопай, лопай. Как запрягемся на декаду, смотри, чтоб ударные темпы...

Хотелось сесть, но Кирпиков не сел, стал вытаскивать из угла заржавевший плуг. Потянул за ручки — и ноги подломились. Упал на сухую солому, ударился лицом о лемех. Сердце захлебисто застучало, потом оборвалось, смолкло.

Он хватал ртом воздух и не мог вдохнуть: сухая пыль стояла в горле...

Варвара увидела его около конюшни, откуда он еле-еле душа в теле вышолз и лежал, подтянув ноги к груди.

— Нализался уж! — закричала она и испугалась: во всю щеку шел красный порез.

Виновато улыбаясь, он прошептал:

— Все, мать. Вот мне и позвонили. Иди объяви всем, что я околел.

Фельдшерница Тася, как и все заинтересованная в Кирпикове, пришла по первому зову. Диагноз, поставленный ею, был таков:

— Не те ваши годы, Александр Иванович, чтоб так хробриться.

Три курицы отдали жизнь за жизнь Кирпикова. Три грудные куриные косточки собрал он и трогал сухими пальцами.

Такими косточками, похожими на уголок, играют дети. Берутся за концы и со словами: «Мне на память, тебе на камень» — раздергивают. Кому достанется часть побольше, считается, что он умрет позднее. Когда приезжала внучка Маша, они тоже так играли. Кирпиков держал косточку за самый кончик, а Машу учил держать около уголка — и Маша побеждала. «Я никогда не умру!» — говорила она. «И правильно!» — одобрял он. Вот бы приехала, она б его живо растеребила, поставила на ноги, повела бы смотреть секретки. Когда он был маленький, у них не было такой игры: копаются ямка, туда кладется разный красивый сор — стекляшки, камешки, тряпочки, — потом ямка закрывается стеклом и засыпается. И сверху ничего не видно.

У них с Машей был сделан большой секретик. Они пили чай, Маша болтала ногами, вертелась за столом и довертелась: разбила чашку. Миленькая, как она испугалась! Кирпиков думал — палец порезала. Нет. Ревет-уливается. Из-за чашки? Всего-то? Кирпиков схватил свою, которая досталась еще от деда, и хлопнул об пол. Маша все равно плакала. Он стал совать ей тарелку: «Бей, Машенька, бей». Маша понемногу успокоилась. Тогда они подмели осколки, выбрали красивые и сделали секретик.

Впервые став беспомощным, Кирпиков оказался великим занудой. Весь он изнылся, истонался, загонял Варвару до того, что она уж и не рада была, что муж дома, а не — прости, господи! — в пивной. Он все посылал звонить невестке.

— Пусть Машку везет. Ты понимаешь русский язык? Иди звони.

— Господи, и болеть-то нормально не умеешь, — злилась Варвара.

Кирпиков приподнимался на кровати.

— Ты знаешь,— говорил он проникновенно,— я много сейчас думаю.

Варвара попадалась на удочку.

— Ну, хоть додумался, что пить нельзя? Хоть додумался, что за всеми не угонишься?

— Да, мать, надо тормозить. Да я уж и перестал. Ты знаешь, я ведь и не жил еще.

— А кто за тебя шестьдесят лет жил?

— Не знаю. Только не я. Я еще и жить не жил — вся жизнь одним махом: ломал хребтину, тебя обижал...

— Хоть теперь-то понимаешь...

— Вся жизнь из-под седла да в хомут, дети все мимо прошли, дня от ночи не отличал.

— Да, Саня, ох неналомный ты был.

— Надо мне с моей жизнью проститься и жить по новой системе. Перестроить свое заведение. Ты меня прости, зла не помни, я не виноват, что так меня крутило.

Варвара уходила кормить оставшихся куриц, мерина, шла в магазин, где бабы и продавщица Оксана спрашивали, когда же Кирпиков думает копать одворицы: погода подpiraет, земля сохнет.

— Да уж как-нибудь,— вздыхала Варвара и возвращалась домой. Но однажды Кирпиков довел ее.

— Хорошо ты устроилась,— сказал он,— очень хорошо. Богу помолилась.

— Из-за тебя, лешего, молитвы ни одной не знаю! — со слезой закричала Варвара.— Поехала на пасху со старухами, всю обсмеяли. Говорю: «Отче наш, ежели еси на небеси». Позорище, со стыда стогрела.

— Но раз уж ты уцепилась, верь,— опять начинал Кирпиков.— Если тебе больше не за что держаться.— Он начинал кашлять, и Варвара видела в этом знамение: кашель за богохульство.— Нет, товарищи, плохо мне — пусть будет плохо, а хорошо — пусть будет хорошо, не перед кем унижаться, сам достиг. Я сам себе бог. И новую жизнь начал тоже без него. Он за меня не пьет? Он бросил курить?

— Господи, господа,— закричала Варвара,— думала отдохнуть перед смертью, нет, не даешь! Как на точиле живу. Какой к тебе лихорад прицепился, что ты меня травмишь? Ухожу!

— Не бойсь, прорвемся! — закричал он вслед.

В тетрадке, которую держали на письма, он после недолгих мук творчества проставил сегодняшнее число, месяц, год. Для точности добавил: среда. Написал: «Я родился весной в девять часов утра...» Дальше заело. Он посмотрел на часы, сверил по солнцу, как раз девять часов утра. Посмотрел в тетрадку — стоит сегодняшняя дата, время совпадает. И все разговоры его и заявки о новой жизни вдруг представились ему очень серьезными. Он встал — неуверенная легкость в ногах, но стоит же, не падает, сердце бьется, солнце светит, скоро Машка приедет, чем не жизнь!

Он умылся (немного заныла царапина на щеке) и в девять десять подсел к столу, снова посмотрел в тетрадку и засмеялся: получилось, что он родился десять минут назад и уже крестился умыванием. «В самом деле! — воодушевленно подумал он.— Надо по-хорошему развязаться с прожитой жизнью — и в новую!»

Он бойко, почти без ошибок начал строчить: «Я, Кирпиков Александр Иванович, находясь в полном уме и добром здравии, завещаю внучке моей, Марии Николаевне...» — тут перо споткнулось: завещать было нечего. Он обвел взглядом комнату, прикинул в уме: действительно нечего. Даже головой крутанул — вот это называется пожил. Его легко можно было упрекнуть в непоследовательности: то ему ничего не надо, то вдруг чего-то хочется завещать.

«А дед?» — вспомнил он.

Дед его перед смертью подозвал к себе любимого внука Саню и сказал: «Завещать тебе нечего, но только одно — до обеда не пей! Не водка затягивает, а опохмелка».

Кирпиков этим успокоил себя и начал заново, уже в другом духе: «Остановите маятник — Кирпиков покинул вас, чего и вам желает...» Он вовсе не желал всем останавливать маятник, но хитрая штука письменная речь: хочешь сказать одно, а, говоря по-нынешнему, выкатывается из-под шарика другое. Дальше Кирпиков почесал в затылке и вновь занес ручку над тетрадь, но тут, как черт его поднес, ввалился Афоня.

До лучших времен тетрадь закрылась.

— Чего это ты? — Афоня пристально вглядывался в Кирпикова. — Морду-то где рассобачил, говорю?

— Об соху звезданулся.

Афоня достал из кармана посудинку и уже убежал на кухню за стаканами.

— Мне не бери! — крикнул Кирпиков. — Я больше не пью.

— За это поздравляю! — сказал Афоня. — Сколь людей из-за нее на корню гибнет. Умеешь пить — начальник, а нет — утрись. Ну, чтоб тебе не хворать!

— Я больше не пью.

— Значит, помрешь. — Афоня отставил было стакан, но так как замах хуже удара, а замашка произошла, организм приготовился, то он выхлебнул свою порцию, передернулся и поднял палец. — А знаешь, почему помрешь?

— Я больше и не курю, — добавил Кирпиков.

— Еще быстрее помрешь. Знаешь, почему? Нельзя таким рывком — сорвешь шестерни. Надо постепенно скорости переключать, а то муфта полетит. Мотор, — он похлопал по левому верхнему карману, — в капиталку загонишь. Не веришь? Мне один рассказывал — у них мужик помер. На сплаве. Надсадился, лежит, просит: «Дайте хоть сто грамм». И нашелся, сволочь, умник какой-то, говорит: «Не давайте, это вредно!» Главное — спирт-то был! И не дали! Врач потом сказал: если б выпил, жил бы. А ты таким рывком — это, Саша, под откос.

— Не буду! — твердо сказал Кирпиков. — Ты мой стакан тоже вышей.

— Смотри сам, — успокоился Афоня и выпил порцию Кирпикова. Делать ему больше нечего было, и он собрался. — Ну, давай! Я погляжу, да и тоже отрекусь от этой водяры. Лучше сэкономить. О! — вдруг сказал он, пораженный. — А как же за работу?

Это был вопрос по существу. Не брал Кирпиков деньгами, но те, кому он помог, разве отпустят не отблагодарив. До этого времени хозяева выставляли после работы бутылку, она совместно распивалась, и все были довольны.

— Правильно! — воскликнул Афоня, уходя. — Бери деньгами.

Население поселка начинало волноваться. Картошка, вынутая из подполий, уже давала крепкие синеватые ростки, земля прогревалась, навоз на одворицы натаскан, а пахаря нет. Где?

— Небось не просыхает! — кричал обиженный пенсионер Деляров.

Круглая продавщица Оксана, жена Афоня, тоже негодовала — на Кирпикове был долг в четыре двенадцать. Давался он Кирпикову натурой в счет будущей вспашки, будущее наступило. Оксана не постеснялась спросить Варвару, думает ли ее муженек отрабатывать денежки. «Болен он». — «Небось опился». — «В самом деле болен». — «Скрываешь». — «Спроси фершелицу. Дай я его долг отдам». — «Я уже сама отдала, если он не хотел мне помочь, так и скажи». И т. д.

Соседка Кирпикова Дуся говорила, что да, фельдшерица приходила, но сама же отвергла сердобольный вариант: «Спирту небось за вспашку притащила, вот и дуется».

Бедная Варвара, раньше имевшая от весны и осени, кроме огорчений, все же и моральное удовлетворение как супруга знаменитости, сейчас не знала, куда деться. Никто не верил, что Кирпиков болен. «Закрылся да хаещет!», «Қоровыми глотками!», «Его поили, он ду- мал — даром?!»

— Мы не дураки, как некоторые думают! — кричал пенсионер Деляров. — Авансы выданы!

— Вы не дураки, — уважительно говорила Дуся, мать-одиночка. И в данное время вообще одиночка, дочь самокруткой ускочила замуж в город.

С приходом Афони наступила ясность момента. Кирпиков болен. Был. Выздоровливает, зря не орите. Больше не пьет ни под каким видом. За работу (тут Афоня сделал паузу) будет брать деньгами.

— Деньги — мера труда! — крикнул Вася Зюкин.

— Молчал бы! — оборвала его Оксана.

— А расценки? — бегая трусцой вдоль прилавка, кричал Деляров. — Пусть покажет расценки! А подоходный налог он думает отдавать? А частносекторский? А комиссионный? А многодетный? А прогрессивный?

— Действительно, вот именно! — поддакивала Дуся.

— Платить по совести, — отвечал Афоня.

4

Кирпиков чинил упряжь. Сшивая ременные вожжи, резко продерживая дратву, он все больше оживлялся и все больше уважал себя — победил, выдержал натуру, действительно переродился. Визит Афони он расценивал так — приходило прошлое с его пережитками, но оно его не утянуло и уже не утянет.

Всю упряжь перебрал он за полдня, все проверил, добрался до кнута. Плетенный из узкой сырой кожи, кнут залоснился, почернел, черенок из вереса был как лакированный. Сколько раз этот кнут взвивался над меринком. И без того надрывался мерин, тянул воз и, казалось, вот-вот сдохнет — и останется воз в глубокой колее, в сыром овраге, но со свистом и руганью врезался кнут, обжигал кожу, и мерин дергался, чуть ли весь не продевался в хомут и выволакивал воз на высокое место. Старший сын Николай тоже мог помнить этот кнут. Дважды он попробовал его: первый раз, когда Кирпиков увидел сына курящим и чуть не оторвал папиросу вместе с губами, и второй раз, когда ребята возили солону на быках и в полдень убежали купаться. И заигрались, пикируя с деревьев, подражая Тарзану из трофейного фильма. Заигрались все, а досталось Кольке, сыну бригадира. «Бей своих, чтоб чужие боялись» — так оправдывал себя тогда Кирпиков.

Через колено сломал черенок, отшвырнул к печке. Нет, никого больше он не ударит в своей новой жизни.

— Ну! — решительно сказал он, вставая, обводя взглядом свою избу: кровать, на которой он чуть не умер и выжил, тетрадь, в которой была запись о его втором рождении. — Ну, запевай «Дубинушку» на две недели.

Он выкатил из конюшни плуг, смазал взвизгивающее колесико.

— Выходи, — велел он мерину.

Мерин не шевельнулся. Наступила заминка. Не хотелось Кирпикову ругаться в новой жизни, но для мерина наша речь не делится на печатное и непечатное.

— Выходи, голубок, — сказал Кирпиков. — Будет твое имя Голубок. Или Голубчик. Ругань забудь. Начнем жить по-новому. Выходи, Голубчик.

Номер не прошел. Положение деликатное. Ругаться неприлично — пережиток, но пахать надо. Кирпиков хватился за пояс — кнута нет. Им хоть бы пугнул для виду. Мерин тоже мучился — хозяин заговорил с ним как-то непонятно. Пришлось легонько одноэтажно матюгнуться. Мерин облегченно вздохнул и вышел.

Варвара вынесла ведро с водой.

Но опять заминка — не пьет мерин, ждет команды. Пришлось скомандовать, не ехать же с ненапоеным конем — запалится.

— Приступить к приему пицци,— сказал Кирпиков и сморщился: так издевательски по отношению к трудыге мерину прозвучали эти слова.— Ты тоже хорош,— сказал он с упреком.— Тебе дают самостоятельность, не матерят, а ты? Нет в тебе гордости.

— Может, еще дома побудешь? — испуганно спросила Варвара, думая, что муж заговаривается.— Окреп бы, а, Саня?

— Я бы побыл,— сказал Кирпиков,— но не от меня зависит — пора.

Солнце хлестало во всю свою теплынь и светлынь. Корешки каждой травинки крепили, холодная водица торопилась по ним вверх. Мальчишки старались выскочить из дому босиком. Даже ожидающий их справедливый подзатыльник был не помеха. Хотелось сигануть вдоль по улице, по лужам, но вдруг замечал мальчишка красных жучков-солдатиков, присаживался на корточки и смотрел, как солдатики бегают взад-вперед, и пытался понять, куда они бегают, зачем, но бежали они пустые, без толку, и было их беготне только одно объяснение — весна.

И началась страда.

Поселок стоял частью на песке, частью на глине. Подзолистые были повыше и быстро высыхали, песок сыпался из-под плуга в отвал с шуршанием. Лемех продирался песком до блеска и пронзительно вспыхивал на заворотах, когда Кирпиков переставлял плуг в новую борозду.

Начал Кирпиков с одворицы Ларисы. Отказался выпить, его не неволили. Лариса подумала, что еще сто раз успеет отблагодарить, да и сто раз уже, полагала она, ему наливали и в долг и даром.

Ближе к пруду, на суглинках, земля была тяжелой, непроворотной. Там были огороды фельдшерницы Таси и почтальонки Веры.

Мерин, приседая от напряжения, продевался в хомут, плуг вытаскивало вверх, Кирпиков обшибал ноги о вывороченные комья и камни и поневоле матерился.

Хозяйки просили перепахать второй раз, впопережку по вспаханному. Кирпиков не отказывал, но давал мерину и себе передышку. Мерину выносили искрошенную в тазу буханку хлеба, пахарю стопочку. Раньше стопочку Кирпиков принимал и, бывало, шутил: «На допинге идем», — сейчас отнекивался.

Мерин доедал хлеб, и снова они принимались «за нелегкое дело свое». Кирпиков сбрасывал телогрейку, в следующем доме оставлял пиджак, потом стаскивал и рубаху и шел за плугом в шапке и в синей спортивной майке. Майку привез ему сын. Кирпиков поправлял падающую с плеча лямку и орал на мерина: «Куд-ды, так-распротак, пр-рямо! Бороздой!» — и тому подобное, потому что ругаться пришлось: мерин одержал победу над именем Голубчик и сохранил прежнее к себе отношение.

После работы хозяйки зазывали Кирпикова в дом. Кирпиков и сам был рад отдохнуть и поговорить. Раньше, когда он пил в каждом доме и перехаживал хмель на ногах, у него было непрерывное дурное состояние. Сейчас он смертельно уставал, но голова не болела, это радовало, хотя выпить с устатку, разогнать кровь ох как тянуло. Держался.

— Ну, не осуди, не побрезгуй,— говорили ему, пододвигая стакан.

— Нет, нет,— говорил он,— не заставляйте, не могу.

— Ну что такое для мужчины рюмочку?

Наливали побольше.

— Какая тут рюмочка, эка бадья. Ох, бабы, не тратьтесь вы на это пойло.— И переводил разговор.— Небогата наша земляца, бессолая, да тепла,— говорил он, кладя на стул шапку и садясь на нее.— Ледник виноват. Ледник-от был, мать его конташку, и утянул на юг все наше плодородие. У них там всякие цитрусы, хитрусы. На нашей земле растут. Зато там у них холера, а у нас нет. Возьми на заметку — холера заводится в тепле.

— Хоть закуски поешь,— просила хозяйка.

Но обедать в чужом доме, не выпив перед этим, было уже совсем неприемлемо.

— Дома поем.

Хозяйки терялись.

— Ну, так чего,— говорили они, стесняясь,— уж больно хорошо вы помогли, Александр Иванович, деньгами возьмите.

— Не беру.— Кирпиков брался за шапку и уходил.

В другом доме повторялось то же. Мерин ел хлеб, Кирпиков пытался поговорить.

— Грамотешку бы мне,— говорил он,— я бы начальником стал. Я бы вас научил, чтоб вы хуже всех не жили. Грамотешки у меня маловато, а вы живете, и ладно. Ну народ! Хоть пень колотить да день проводить.

Ему пододвигали стакан. Он уходил. Его догоняли, совали деньги, он не брал.

— Примите мой труд даром,— говорил он и направлялся дальше.

«Что с мужиком случилось? — судили о нем.— Был человек как человек, сейчас неизвестно что».

Вопрос с оплатой труда Кирпикова решился просто — деньги стала брать Варвара. Хозяйки приходили к ней и совали кто три, кто четыре рубля. Варвара сначала не брала — и сложилось такое мнение: это Кирпиков подучил ее набивать цену. Откровенно говоря, Варвара была рада деньгам. Но, не ожидая от мужа ничего хорошего, уж не чаяла дожидаться конца посадки.

Муж возвращался домой к ночи, два часа выдерживал опавшего в боках мерина, после поил. Сам не раздеваясь валился часа на четыре. И то ли ему некогда было слушать, то ли спал крепко, но казалось, что все меньше и меньше лают собаки.

С рассветом он входил в конюшню, будил мерина, давал овса, а сам кашлял до изнеможения — сказывался табак. Но не курил.

— А ну! — говорил он, разбирая упряжь, и, горбясь, выходил со двора.

Жалостливо смотрела вслед Варвара и спрашивала:

— Когда свою-то картошку посадим?

— В порядке общей очереди,— принципиально отвечал Кирпиков.

Перевернутая борона весело волоклась по земле, отпотевший лемех пускал вялых зайчиков, отражая первое рассветное солнце.

Приехала невестка. Приехала одна, без Маши.

— Заживаться мне некогда,— сказала она.— Я взяла два дня за свой счет. Папаша, простите меня, вы, ей-богу, ненормальный. Иметь в своем распоряжении лошадь и... Памятник вам никто не поставит.

Обращение «папаша» Кирпиков не любил и ответил, что мерин этот не его, а на балансе, что рабочие лесобазы имеют право на вспашку, что за услугу внесли в бухгалтерию деньги.

— Быть у воды да не напиться,— пожалала невестка плечами.

— Жажда не испытываю,— надменно ответил Кирпиков.

И все-таки повернул коня к своему двору. Помог растрясать в борозды пряди желтого навоза, следил, чтобы пласт от пласта был на расстоянии ладтя.

А невестка стала приезжать вот из-за чего. Кирпиков по страсти своей к освобождению от всего лишнего решил, что хватит под картошку и трех соток, а остальное хотел засадить смородиной и малиной, чтобы было чем порадовать Машу. Но невестка решительно выступила против.

— Образования садовода у вас нет, а земли займете столько, что всю картошку вытеснит. Я стану приезжать, если вам трудно.

В уборку Кирпиков отдал свою картошку с лишних соток невестке. И раньше им посылали, но сейчас стало выходить, что картошка берется не в подарок, а как своя.

Злее обычного Кирпиков орал на мерина. Хотелось ему увидеть Машу. Вот уж кто помог бы ему утвердиться в новой жизни. Какая там пивная, да стори она, пропади она пропадом, сто лет бы туда Кирпиков не зашел, если бы с ним была Маша.

Варвара привычно дивилась, как расторопна невестка, как ловко хватает из ведра и растыкает в бок пласта картошку, как в шутку, но энергично покрикивает на свекра. Варвара не любила невестку, но умом понимала, что их спокойному Николаю такая в самый раз. Не какая-нибудь развея-растряси из нынешних. И как раз с невесткой Варвара хотела поговорить о причудах мужа. Надо было урвать момент.

— Подарочек привезла! — крикнула невестка, меняя пустое ведро на полное.

— Ой да чего уж ты, да зачем? — отозвалась Варвара, а про себя посердилась, так как подарки невестка везла рублевые, но преподносила так, будто достала их по великому благу.

Конечно, Кирпиковы отвечали отдарком, и не рублевым, но все выходило, что невесткино не в пример ценнее. Главное в подарке — оригинальность, считала невестка, а Варвара думала, что главное в подарке — полезность.

Сажать картошку — не копать. Трех часов не прошло, как закончили. Варвара и невестка собрали пустые мешки и ведра и пошли в дом приготовить стол посидеть на дорогу, а Кирпиков отцепил от валька плуг, прицепил борону и стал ходить с угла на угол разравнивать участок.

— С успехом трудиться!

Держась за шляпу и начиная снимать ее для приветствия, показался за забором пенсионер Деляров.

— Нам бы этого добиться,— уважительно откликнулся Кирпиков.

Деляров обалдел и шляпу не снял, хотя как раз следовало приподнять ее: ведь ответили ему человеческим языком, не матюгнулись, как в былые времена. «Нельзя снимать шляпу — сильное солнце, вредно,— торопливо подумал Деляров, да так и держал руку у полей шляпы, будто принимал парад проходящего строевым шагом мерина.— Значит, правда», — потрясенно думал Деляров. К правде относились слухи о Кирпикове: что на людях он больше не пьет, что притворяется бескорыстным, что собирать деньги научил жену.

— Спасибо, говорю, на добром слове,— сказал Кирпиков.

Он уже развернул мерина и шагал обратно, и мерин часто кивал, как будто сообщал Делярову: пьем по ночам, деньги давай, слупим с тебя четвертную.

— Тпру, Голубчик.

Перевернув борону, Кирпиков положил на нее плуг, подошел к Делярову.

— Сейчас мне невестку провожать, так что смотрите: или подождете, или потихоньку сами начнете пахать. Сможете?

«На «вы» назвал!» — окончательно испугался Деляров.

— Сам, сам,— пролепетал он. Снял шляпу и подставил лысину, для просушки жарким солнечным лучам.

Подарочек, привезенный невесткой в этот раз, был явно не дешёв. Это была заклеенная блестящей бумагой пузатая бутылка.

— Французский коньяк! — объявила невестка. — Разве не оригинально, в поселке — французский коньяк?

— Ой да матушка ты моя, да зачем хоть и тратилась-то, да ведь послушай-ка, что вышло-то.

И Варвара торопливо рассказала о перемене в муже.

— Может, язва открылась? — спросила невестка.

— Есть стал лучше, все подряд.

— Вот видите, — сказала невестка, — ничего их не берёт, а молодые нынче из болезней не вылезают. Может, женщину завел? Не смейтесь, мамаша, мужчины такой народ, что... У нас у одной в бухгалтерии муж выдумал, что прописали одиночный ночной режим, а через декаду застала с любовницей.

Но все-таки Варвара отклонила домыслы о женщине как нерезальные.

— Делать-то мне что, ведь, матушка, приходят, деньги ведь суют...

— Деньги брать, — решила невестка. — Давайте я отвезу, положу на книжку на ваше имя. Именно на ваше, мама. Мало ли что и как в жизни.

— Конечно, конечно, — горестно поддакнула Варвара.

Стол тем временем был накрыт. Пришел и вымыл руки молчаливый Кирпиков. Сели. Невестка содрала фольгу с горла, сняла оплетку, отвинтила пробку. Кирпиков не понял сперва, что в бутылке алкоголь, но невестка гордо сказала: «Коньячок» — и назвала цену.

Варвара ахнула.

— Да-да, — сказала невестка. — И не возражайте. И я очень вас одобряю, папаша. Пейте для здоровья по рюмочке. Вначале надо согреть рюмку, лучше бы, конечно, серебряную, в ладонях, а потом... — Видя, что свекор сидит и не греет в ладонях рюмку, невестка обиженно сказала: — Вы не верите, что столько дорого стоит?

— А чего ради врать-то? — спросил Кирпиков и, полагая, что рюмка такого питья не повредит его решению его пить, сделал глоток. И тут же испугался: — Это ведь я рубль проглотил?

— Больше, папаша, больше, — засмеялась невестка.

Но не смогла уговорить Кирпикова выпить и слила коньяк из его рюмки обратно в бутылку. Сама она выпила (чтоб картошечка росла!), пообедала и собралась.

— Папаша, берегите себя, — сказала она, вернее завела свою вечную песню, — смотрите, какой высохший стали.

— Ну так как, — решился сказать Кирпиков, — Машу-то привезешь? Я бы и сам подскочил за ней. Ты же видишь, что встал на твердые рельсы. Лето поживет.

— Загадывать вперед ничего нельзя. Может быть. Я собираюсь лечиться, Коля тоже посылает, это я только с виду здоровая, а так вся насквозь больная, такие анализы плохие, — она посмотрела на Варвару, та закивала, — так что не знаю, не знаю. Надо еще дожить. Ой, не пора ли?

Как ни возражала невестка, Кирпиков накопил ей полные руки игрушек: механического робота, шагающую куклу, посудный набор. Ждать поезда не стал, говорить было не о чем.

— Что это у вас с Машей за секретрики? — спросила невестка на прощанье.

— Да пустяк,— отмахнулся Кирпиков, а самого так и обдало радостью.

И тем более чтоб не делиться ею с невесткой, он чуть не прытью побежал к Делярову. Дом Делярова стоял рядом с афанасьевским, а немного ближе к станции дом Зюкиных, а еще ближе буфет Ларисы. Буфет Кирпиков проскочил с ходу, а у Зюкина застрял.

— Зайди-ко, зайди! — закричал Вася.

Кирпиков подумал: надо зайти. Давно обещал, да и собака сдохла, бояться некого.

Открыл калитку, от конуры на него... залаяла здоровенная собака. Рыжая с черными глазами. Подскочила другая, третья сидела возле груды пустых посуды и жмурилась от их блеска.

— А говорили...— начал Кирпиков.

— Та-то сдохла,— радостно сказал Вася,— в землю закопал и надпись написал, а эта... вишь, входит в доверие. Цыц, зараза! (Собака облегченно умолкла.) Значит, та-то собака,— продолжал объяснять Зюкин,— сдохла, цепь, как говорится, опростала, а свято место не бывает пусто, прицепили эту. Вот сортировкой занимаюсь. Чего только люди не пьют.— И он стал, показывая этикетки, перечислять: — Вермут — выпьешь, деньги вернут, еще называют сквермут, или вермутъ. Вот рислинг-кислинг. Солнцедар — солнцудар по печени. Вот палаческая-стрелецкая. Вишь, мужик с топором. Стервецкая еще говорят.

Собака на цепи снова залаяла, кося глазом на хозяина. Она старалась в первые дни службы поднажать, чтоб забылась предшественница. Беспривязная собака тьякнула за компанию, побежала к поворотне, никого не увидела и затыкала на цепную собаку: брешешь, дура, а на кого? Собака, лежащая у груды бутылок, уснула под этот лай.

— Ты когда пахать приедешь? — спросил Вася. — Там законно вздрогнем. — Он рискованно, но картинно отшвырнул бутылку из-под полевой горькой.

— Ни грамма! — решительно отрезал Кирпиков.

— Как с простыми людьми, так уже и выпить стало нельзя? — спросил Вася.

Чтоб не обидеть простого человека Васю Зюкина, Кирпиков объяснил:

— Не советую по двум параграфам: первое — вредно, второе — жена тебя все равно испольщует.

— Средство знаю,— сказал Вася. — Вот приедешь пахать, расскажу. Не тронет. Видал? — Он повел рукой.

И, уже уходя и торопясь, Кирпиков все же заметил, кроме трех виденных собак, еще четырех, да еще два щенка ползали среди зелени на подоконнике за стеклом и со двора походили на аквариумных водяных собачек.

5

Деляров замучился. Обратиться к мерину как следует он не умел. Попробовал ругнуться, но вышло так жиденько, что мерин едва шевельнул ушами, а Деляров перестал думать о пользе физического труда, и уже был готов заплатить зную сумму за пахоту, и уже не рад был, что связался с огородом, как пришло спасение.

Не успел Деляров сказать заготовленную фразу: «Ну, Александр Иванович, теперь я вас понимаю», — как мерин, заметивший свое начальство, налег так, что Деляров поволокся за плугом как на буксире.

— Попаши-ко, попаши в охотку-то,— поощрил Кирпиков и сел возле забора на корточки. — О! О! — крикнул он, не сходя с места. — Пр-пряма! Борзодой! И-эх! Так-расперепротак!

Деляров воспрянул. Он понял, что денег с него не возьмут, не

платить же за покрякивание со стороны, и стал подвяхивать на мерина и злобно пришепывать по спине вожжам.

— Понужай,— одобрил Кирпиков.— Перед весной стоял в коюшне ровно печь, сейчас выработался. Ничего, в пользу.

Те оживление и радость, охватившие Кирпикова, когда невестка передала слова Маши о секретиках, прошли. Может быть, Маша просто говорила о разбитой чашке, но вряд ли привезут. Не поверят, что он живет по-новому, да и в самом деле, какое уж тут рождение. Вот не хотел мерина ругать, а лает чище прежнего. Курить бросил — лучше не стало, никакого облегчения. Когда болел и выздоровел и записал, что родился, казалось, что все будет как у новенького, а тут еще хуже — пахота тянется и тянется, выпивал бы, так и уско-рилась бы.

Мерин ленился. Деляров мученически глядел на Кирпикова и тот не вставая покрякивал.

— Как свинья нарыла,— сказал Кирпиков в конце,— не родился ты пахарем, задницу отлягиваешь.

— Не скажите,— отвечал Деляров,— ведь я то, что называется, практически впервые. Лошадь и упряжь казенные, сейчас нет частной собственности на подобные вещи, но ваш авторитет перед лошадью, ваше управление через окрик, которое напоминает руководство без непосредственного контакта...

— А чего пахарю-то не поднесешь? — прервал вдруг Кирпиков.

У Делярова была в загашнике бутылка водки, и он заранее предназначал ее на вспашку, но теперь-то за что? Любопытно! Пришел, посидел, поматерился, еще и поднесите ему! Ну наглость. Выпьет да потом разлюли-любезную Варварку за деньгами пришлет. Негодуя Деляров отправился в загашник. «Им ничего не докажешь,— думал он,— лучше не связываться, кровь не портить. Слава богу, у меня гемоглобин в норме. А у них уж небось спирт по жилам течет. Никаких запросов». Копошился нарочно долго, надеялся, что совесть в Кирпикове заговорит и он уйдет. Но и Кирпикову захотелось уязвить этого дальнего человека, купившего здесь дом. «А кто в нем жил?» Уж и не помнил Кирпиков: многие уезжали. «Хоть на бутылку накажу. Ишь, в пахари записался».

Смирившийся Деляров вышел, но все-таки заметил, что жидкость могла бы быть и в целях внешнего растирания, что, значит, зря наговорили на Кирпикова, что он прекратил губить себя, но раз такое желание, то конечно. Но другие не поднесли бы целую ноль пять.

— Пейте, только я не поддерживаю ваш тост.

Слегка позабытым жестом Кирпиков отщипнул жестяной колпачок.

— Вот,— суетился Деляров, подставляя банку консервов,— килька в томатном соусе. Закусывайте, но должен заметить, что рыба в томатном соусе не звучит. Хорошая закуска оседает в центрах. На местах только это.

Кирпиков поднес водку ко рту. Деляров сочувственно сморщился. Кирпиков размахнулся и выхлестнул водку на пашню.

— Чтоб росло! А это возьми поясницу растирать.— Он вернул Делярову начатую бутылку.

— А! А! — заикался Деляров.— Тут я посажу плодовой кустарник.

Вслед за водкой Кирпиков вывалил из банки на пашню и кильки.

— Правильно! — воодушевленно вскричал Деляров.— Это же так плохо действует на кислотность желудка, на отложение солей, но водку-то вы зачем? Вы, значит, стали так оригинально истреблять? Правильно, ведь все равно сквозь организм она бы вылилась на землю. Хотя в видах здоровья советуют передовые врачи. Например, марочные выдержанные сухие виноградные вина.

— В самделе,— весело сказал Кирпиков,— волоки-ка марочное, я пока твою работу переделаю, а то смотреть противно.

Деляров заткнул водку тряпочкой и рысцой побежал в магазин. Кирпиков не стал перепахивать, мучить мерина, прицепил борону и избороновал как следует участок. Он решил больше не ехать никуда сегодня, хотя было обещано Афоне. Невестка выбила из графика.

Продавщице Оксане, конечно, донесли, что мерин ходит по одворице Делярова, и она три раза переспросила, не ослышалась ли.

— Сухое?

— Да, парочку.

— Кирпикову?

— Я посоветовал. В видах опохмелиться.

— Водку ему, обманщику.

— Подносил, на пашню льет.

— На землю?!

— Можете понюхать это место.

И бабы, клявшие водку проклятую, осудили Кирпикова. Как это можно — губить добро.

Оксана подала Делярову сухое вино. Он прочел:

— «Выдержка три года».

— Да еще три никто не брал. Шесть.

Деляров рысцой вернулся. Кирпиков уже сидел, немного клонясь вперед и влево. Сердце напоминало о себе. И он старался не сердить его. Деляров проявил интерес:

— Покалывает? — «Не будешь пить»,— подумал он.— Вы знаете, у меня был оригинальный начальник. Когда прощался, то говорил: пока живи. Это у него была такая шутка. Ну вот, как пожелали: каберне.

— На вшивость проверял? — спросил Кирпиков.

Он снял красный колпачок, потревожил пробку. Ее вдруг с силой выбило изнутри, и резкая пенистая струя вырвала бутылку из рук. Бутылка срикошетила о забор, потом, шипя, улетела на афанасьевскую сопредельную усадьбу. Вторую бутылку Кирпиков открывал с любопытством. Повторилась та же история, только бутылка усвистала к небесам и больше не вернулась, наверное стала естественным спутником Земли.

Деляров мгновенно сносился за третьей. Но открывал ее сам. И хотя осторожно стравливал набродивший виноградный дух, все-таки половину вышипело. Кирпиков отпил, сплюнул, еще отпил. Еще сплюнул.

— Как вы метко выразились: на вшивость,— вздохнул, отдышавшись, Деляров.— Богат русский язык, но как встретишься с ним тет на тет...

— А ты не встречайся,— сказал Кирпиков.— Такой квас в жару хорошо. Вали еще за одной. Протрясись для пользы дела.

— Все свидетели! — закричал в магазине Деляров.— Он пьет!

— Разве это питье? — разочаровала его Оксана.— Водки ему вта-карьте, все вам спасибо скажут. Ишь, хочет выгородиться.

На одворице повторилась та же история. В этот раз Кирпиков угостил мерина. Мерин пошлепал губами.

— Удивительное воспитание! — восхитился Деляров.— А если бы вы поднесли смертельное питье, принял бы? Я, вы знаете, к тому, что мой начальник часто вспоминал, как царь, например, подзывает кого-то и дает выпить чашу. И тот знает, что там яд, и все же пьет. Конечно, сейчас другое, в наше время смертность сведена практически к нулю.

— Ты что, умирать не собираешься?

— Очень невежливо напоминать об этом.

Кирпиков посмотрел и душевно сказал:

— Я по-хорошему, не обижайся. Знаешь, взял бы ты да брякнул

бы по прилавку: подходи, пей, знай Делярова! И на поминки бы не оставлял.

— И никого бы этим не удивил.

— Ты и так уж удивляешь, бегаешь, задницей трясеешь. Зря: от смерти не убежишь, еще ни у кого не получалось!..

— Я убегаю не от смерти, а от инфаркта, вещи разные. Сейчас люди возвращаются к земле, и я вернулся.— Деляров помочил в вине язык.— Да, вы знаете, букет далеко отстает. Хотя виноградные вина потребляют долгожители. Они хорошее пьют сами, а сюда— что останется.

— У меня собака взаперти сидит, никому не показывал, сырым мясом кормлю,— сообщил Кирпиков.

— Кобель или девочка? — спросил Деляров.— И что же?

— С жеребенка. Башку откусывает в один присест. На волю рвется. Скоро дверь прогрызет. Я боюсь, ты побежишь, а она за тобой.

— Вы шутите?

— Я-то шучу, а она и не облизнется.

Бутылка, неудачно запущенная, потревожила Афоню. Бутылка дошипела возле него. Он взгляделся— на свежей пашне деляровского огорода гуляли грачи. Вот это мило-здорово! А ему он думает одворицу пахать? Но как спросишь? Это же верх невежливости— помешать выпивке.

Даже допустим, думал Афоня, что огород ему сегодня не вспашут, это пусть, но вот что обидно: Кирпиков сел выпивать с Деляровым, а давно ли с ним, с Афоней, не захотел.

Целый ящик каберне привез на перевернутой бороне Деляров. Он бодренько приматюгивался на мерина. «На всю ночь загужуют»,— понял Афоня. Спасение было в одном— помочь выпить и умыкнуть пахаря. Небрежно любуясь вечерней зарей, Афоня стал прогуливаться по одворице и, конечно, был окликнут.

— А я вас сразу-то и не заметил,— застеснялся он.— Че, маленько сели отдохнуть?

— По случаю аграрного события,— объяснил Деляров.

— Надо, надо.

— Садись, Афоня,— сказал Кирпиков.

— Да что вы, ребята, что вы, я так просто, выйду, думаю, покурю...

Отказ был обрядом, который хотя бы на скорую руку, но надлежало выполнить.

— Давай-давай,— велел Кирпиков.

— То есть, конечно, логично,— пригласил Деляров.

— Эх! — крикнул Афоня, соглашаясь.— Дураков в больнице лечат, а умных об забор калечат.

Через полчаса Афоня опрастывал уже четвертую бутылку, удивляясь слабости питья, негодуя за это почему-то на грузин, хотя каберне было молдавское.

— Неужели так и пьют? И не косеют? А пить да не косеть— так зачем пить? Парни, давайте остатки, пойду на водку менять.

— Меняй! — кричал Деляров, напившийся из жалости к потраченным деньгам.— Тару и нетто меняем на бутро!

А Кирпиков уже давно не пил. Морщась, он вздрагивал от шлепков Афоня по спине. «Вот был мне звонок,— думал он,— и я хотел начать жить сначала, а ничего не получается, и если это никому не нужно, то у меня ничего не выйдет. Они рады, что я готов выпить, и всем лучше, что я буду как прежде, хотя прежде мне было плохо. Они отделивались от меня бутылкой, это была плата, а того, кому платят, всегда ставят ниже себя. Ведь дело не в питье; дело в унижении. Как выносили мне на крыльцо стакан, луковицу: «Спасибо вам, Александр

Иваныч». Как я выпивал, шутил шутки, и вслед мне: «Ты к кому теперь, Сашка?»

Афоня сходил домой и вернулся победителем. Деляров пытался встать на голову, так как по режиму пришел час тренировки кровообращения.

— Светленькой!

— Не буду, Афоня.— Кирпиков отвел стакан.

— Лишаетесь права голоса! — снизу вверх крикнул Деляров.

— Афоня,— спросил Кирпиков,— ты купил бы мебель за три тысячи рублей?

— А кто сомневается?

— Да я.

— Хошь,— сказал Афоня,— мешок денег покажу?

— Покажи.

— Выпей, тогда покажу.

— Не буду.

— Слышь,— сказал Афоня Делярову,— брось физкультуру. Сашка не пьет, в умные записался.

Деляров встал на ноги.

— Попрошу документы,— приказал он Кирпикову и отработанным жестом протянул руку.— Попрошу.— В сумерках рубиновым светом горела багровая лысина.— Три раза не повторяю.— Лицо Делярова краснело теперь уже от усердия.— Попрошу. Разговаривать будем в другом месте.

— Со стороны кто бы сфотографировал,— сказал Кирпиков.

— Александр Иванович! — вдруг узнал его Деляров.— Мы в расчете? Попрошу расписку. В счет угощения занесите осеннюю уборку. Подпись, число. Печать не обязательна.

— Так и не выпьешь? — спросил Афоня.

— Время не теряй.— Кирпиков пошел к мерину, разобрал вожжи.

— Меня спасет природа, меня оживит земля,— бормотал Деляров, садясь на борону. Хорошо, что борона оказалась книзу зубьями.

— Простынешь,— предупредил Кирпиков.

— Не вижу смысла,— отвечал Деляров.

Он засыпал. Грезилась ему широкая пойма реки, и вся—его. И идет он, Деляров Леонтий Петрович, вдоль редиски, капусты, укропа, хрена, урюка и огурцов и включает на грядках цену: 2 руб., 3 руб., 5 руб., 10, 16, 32, 700, 800 и так далее в накопительной прогрессии. Идет он, солнце светит, и уже грядок не видно, сплошные цифры, сплошные нули. «В очередь! — говорит Деляров.— В чем дело? По одному. Указываю пункты быстрого прохождения для вашей пользы: фамилия, инициалы, происхождение, род занятий. Начинаем! Кто? Картошка. Род занятий? Картошка. Происхождение? Из-за границы. В землю! Следующий! Картошка! Происхождение? Из картошки. В землю! Следующий! Картошка! Туда же! Следующий!»

Все кружилось, туманилось в сознании Делярова. Он командовал, а на самом деле покоился на холодной, губительной для здоровья весенней земле, именно той, которая должна была спасти его.

— Питухи! — презрительно выразился Афоня.— И водка есть, а выпить не с кем.

— Как не с кем? — сказал, выплотняясь из мрака, Зюкин.

— Ва-ся! Держи.

— Собаку бы мне,— сказал Вася, приняв стакан и заранее вздрагивая.— Или бы хоть щенка.

После обилия собак, виденных у Зюкина, и после такого заявления Кирпикову стало интересно, и он попросил у Васи объяснения. Тот начал издалека:

— Меня с детства лупят. Отчим лапти плед, так колодкой по башке зафугачит,— каждый раз помирал. Поэтому я и маленький, по го-

лове ж нельзя бить — от каждого удара ребенок сседается на машинку.

— Ты короче, — недовольно сказал Кирпиков, — а то даешь вводную.

Он невольно вспомнил, что и сам под горячую руку «учил» детей. «А меня разве не учили? — оправдал он себя. — Как еще ребра-то целы».

Позволив себе роскошь вступления, Вася перешел к истории вопроса. История была известна: жена его бьет, когда он возвращается пьяный.

— А у меня баба дело туго знает, — весомо сказал Афоня, — я мужик молодой, денежный, и она не выпцелкивается.

— Я свою раскусил, — продолжал Вася. — Она по той собаке такой траур закатила, сверх нахальства, обо мне бы хоть вполонину так пострадала в дальнейшем. Я помянул на законном основании, захоросел, да и ушел и... не с вами добавил? Ну, не важно. Домой иду, гляжу — собака. Думал, воскресла.

Афоня в этом месте хлопнул в ладоши и показал Кирпикову на Васю: артист! Поглядел с сожалением на Делярова, эх, не слышит, и пошевелил его; тот пробормотал:

— Хорошо тому живется, кто записан в бедноту...

— Будете слушать? — обиделся Вася.

— Как же! Закуси. — Афоня протянул перья зеленого лука и сказал: — Дочери дали задание: вырастить лук и с линейкой наблюдать, на сколько идет вверх. Я говорю: наблюдай, но посади побольше. — И захохотал.

— Ну так вот, воскресла не воскресла, взял на руки, тяжелая, гадина, поднес к столбу, лампочка на нем горит, гляжу — совсем не тот коленкор. А, думаю, — пока разбирается, я спать лягу, лежачего не бьют. И вот, братья, — Вася тряхнул волосами, — получилось событие факта, если вру, бейте по морде лица.

— Ну!

— Собаку пожалела, меня не тронула. Я это дело задробил — сейчас, если выпью, только чтоб какую скотину принести с собой. На зеленый свет! — крикнул Вася воодушевленно. — Собак лучше меня кормит. Мясом! А мы все жалуемся — мяса не хватает.

— Жить хорошо стали.

— Тут другое, — сказал Вася значительно. — Это они поднимаются до людей. Жена читала: травы поднимаются до животных, а животные до человека.

— А мы куда?

— До бога.

— Сиди уж, Васька.

Кирпиков уж и не рад был, что остался. А выпил бы — и так же бы смеялся над Васиным рассказом, так же бы, как им, казалось, что выпивка оживляет. А в самом деле было противно. Мерин, понявший, что на сегодня пошабашили, успокоенно вздыхал.

Вася объявил:

— Начинаем наш маленький, но небольшой концерт. Мы с товарищем работали на Северной Двине, ничего не причиталось ни товарищу, ни мне, а также свое сочинение: «Посмотрите на меня, я маленьким родился, извините, господа, отец поторопился...»

Веселье разрасталось. Уже Афоня сообщил, что Васе много чести сидеть с Афоней, уже Деляров вскакивал и просил закрыть дверь на три оборота, уже прибежала дочка Афони, дважды он гонял ее за закуской, а под конец послал за гармошкой к Павлу Михайловичу. Но пришла Оксана и разогнала компанию. Мужа, однако, проводила без крика, и он ушел, ведомый дочерью. Дочь, обзывая отца вождем краснорожих, говорила:

— За руль не смей, а то я знаю, что делать.

Оксана взялась за Васю, попрекая, что он тащит ей сдавать ее же бутылки.

— Критика мимо ушей,— заявлял Вася.— Ты план по стеклотаре на одном мне выполняешь. Ты лучше дай мне какую-нить живность.

— А ты-то! — упрекнула Оксана Кирпикова, и как он ни доказывал, что не выпил, не поверила.

— Да разве тебе чего докажешь? — обиделся Кирпиков.

— Ты своей Варварушке доказывай. Посылай свою страдалицу деньги собирать.

— Деньги и вещи согласно описи,— бормотал Деляров,— а также народное изречение: хрен с ём, подпишусь на заём! А также устное пение собственного творчества...

— Поднимайтесь,— говорила Оксана,— баньки пойдём.

Кирпиков погнал мерина домой. Вдалеке раздался собачий лай. визг, потом все затихло. Видно, Вася не сплоховал...

И еще день прошел. Эти дни стояли теплые, ночью поднимался туман, заслонял лунный свет. Жалко: луна весной особенно хороша, а свет ее не доходил до земли, тратился понапрасну. Лунное сияние могли видеть пассажиры тяжелых самолетов, но им предстояло долго лететь — и они старались быстрее заснуть. Одна только девочка с русой косой, командир октябрятской звездочки, смотрела неотрывно на облака сверху — и ей хотелось спрыгнуть и покататься на лыжах. Она поворачивалась сказать отцу, но тот спал и видел земные сны. Ведущий пилот и штурман также могли бы любоваться белыми полями облаков, если бы не считали облачность помехой.

6

— Гонят нас, конец марта. Утром метелит, днем распускает. Наст режется, под снегом вода. До чего едкая! Чуть не каждый день гоняли мины топтать. Так и называлось: мины топтать. Господи, твоя воля, разберись и пойми,— говорила соседка Дуся.

— Ой, не говори, чего пережили, какую войну скачали,— подтверждала Варвара.

Они сумерничали. Все разговоры были о пережитом, потом переходили на нынешнюю молодежь, которая в их годы с мизинец ихнего не перенесла, что хоть маленько бы почитали стариков и что вообще не разбери-поймешь, чего делается: и парни охальные, и девицы — бесстыжие лица, и погода вертится, и мужики в две глотки льют, а ведь что бы, кажется, не жить? и телевизоры стоят, и в магазинах любой материи полны полки, носить не износить, и пенсико выдают, но уж больно молодежь непочетники, идешь по тротуару, так и прут навстречу, так и спархнут. А все от атома. От него, от него, леший бы им подавился. Да атом бы черт с ним! Бога забыли. Забыли, он вымстит.

Но какие бы проблемы ни решал пребывающий в вечном целомудрии женский ум, он непременно займется решением одной-единственной проблемы — проблемы проклятых мужиков. И хотя поется в частушке: это слишком много чести — говорить про мужиков; хотя и сами мужики в припадке совести понимают, что не только разговором о себе не заслуживают, вообще ничего не заслуживают, тем не менее, тем не менее...

— Это чего же,— встрепенулась Дуся,— второй чайник додуваем, как бы не опузуреть. Дак вот чего я начала-то: гоняли мины топтать, а не пойдешь — застрелят. Детей, правда, разрешали дома оставлять. Топчите, говорят, топчите, партизанам спасибо говорите. Так умучаешься, думаешь, хоть бы уж скорее взорваться.

— Ой не говори, ой не говори,— поддакнула Варвара.

Она все ждала стука калитки. Но нет — привычно протяжно тянулись составы да хлопало белье на веревке под окном.

— Дак не пьёт твой-то? — Этим вопросом Дуся выдала себя. Н

смогла утерпеть, уж слишком высоко взлетела история трезвости Александра Ивановича и была видна всем.

Но Варвара не поддержала разговор и ответила косвенно:

— Нарасхват ведь он. На кусочки растаскивают. Пей, Дуся, конфетами угощайся. Не пишет Рая-то?

Напоминание о дочери было ответным ударом. Дуся записывала нынешнюю молодежь в непочетники именно из-за дочери. Дочь Рая не стала посылать переводы, а была должна, считала Дуся. Рая выскочила замуж внезапно, покрыла грех венцом и переводами как бы искупала его. Но время прошло и грех, видимо, оказался искупленным.

— Пишет,— ответила Дуся,— набрала мне и себе на юбку и кофту сколько-то банлону, сама привезет, что из-за пустяков почту мучить.

Варвара вернула разговор на воспоминания:

— Мне в войну другим боком досталось. Мужик в армии. Бригадир привел во двор жеребую кобылу: береги, отвечаешь лично, никому не давать, иначе под статью, вредительство. Ошпарю солому кипятком, тяпкой иссеку, отрубей добавлю, а отрубей-то! — весь амбар выползаю, косарем скребу. Все понимала, матушка, говорить только не могла. Ухожу куда, с избы замок сниму, на хлев навешу. Сберегла. И так вторую зиму. Дрова на себе, воду на себе, но трех жеребят — двух в армию, одного на лесозаготовки... Ой! — вздрогнула от стука Варвара. — Не идет ли?

Обе прислушались.

— Ветром шабаркает,— сказала Варвара и этим выдала свое нетерпеливое ожидание мужа. И поневоле поделилась: — Боюсь, Дуся, так боюсь, лучше бы выпивал. А как скопится да прорвет, дак... — Варвара замолкла, будто отшатнулась от ужасного видения.

— Какой ни есть,— вздохнула Дуся,— какой ни есть, а мужик. А без него-то вдесятеро тяжелей. — И поджала губы.

Мнение поселковых жителей сводило Дусю с Деляровым. Она не сопротивлялась, но боялась продешевить. Неизвестно еще, кто этот Деляров да и хочет ли он сам,— словом, курочка была еще в гнезде, яичко не было снесено и сплетня жевала несуществующую яичницу.

Дверь, по выражению Варвары, шабаркнуло, но уже не ветром. Вошел хозяин, вошел с такой силой, что по ошибке открыл дверь не в ту сторону. Дуся, взвизгнув, исчезла.

— Где? — спросил Кирпиков бледнеющую Варвару. — Где эти сволочные деньги? Дай их сюда.

— Саня, Саня...

— Дай их сюда и пойдешь по дворам и отдашь обратно. Сейчас же!

— Их нет,— выговорила несчастная Варвара,— их невестка увезла... на твое, на наше имя сберкнижку заведет.

— Так,— сказал Кирпиков и сел.

Пока он бежал домой, пока распрягал мерина, он уговорил себя не пороть горячку. «Невестка,— подумал он,— она и тут подтакалась, она и тут...»

— А ты, дура,— спросил он,— отдала? Ты, безмозгая, ходила по домам, меня позорила. На это у тебя ума хватило. Ум у тебя в два пальца. Муж не пьет, не курит, мало?! — Он посидел, обвел взглядом чисто прибранную теплую избу. — Забирай свои хунды-мунды и каись к своей невестке.

— Убей, не поеду. Выгони, ты сильнее. — Варвара чуть не плакала. Муж сидел мрачно и неподвижно, и слеза в голосе не пронимала его. Тогда Варвара пошла в наступление: — Не имеешь права выгонять, дом на мне записан.

На ком был записан дом, они оба не знали, но Варвара знала

закон — человеку без жилья нельзя. Но и это не прошибло Кирпикова. Он достал с полатей дощатый чемодан-сундук. В чемодан полетели платья, туфли (одна пара), полушалок, халат. Комкая халат, Кирпиков поглядел на Варвару, в чем она. Она была в халате.

— Расплодился,— сказал он о халатах. А по адресу зимнего пальто заметил:— В руках понесешь.

Варвара причитала:

— Только стали жить, детей на ноги поставили, нет, давай людей смешить. Не надо мне ничего, не складывай, голая уйду, будто я с них деньги спрашивала, сами суют.

— Не брала бы.— Кирпиков не забыл про мыло и полотенце, а последней снял и положил икону.

То, что Кирпиков подал голос, поощрило Варвару.

— Суют! На порог подкидывали... Да много ли и денег-то было да чего и стоят нынешни-то деньги...

Чемодан не закрывался. Кирпиков думал, чего из него выкинуть.

— Больше не деньгами, а вином приносили.

— Где? — спросил Кирпиков, отодвигая чемодан.

Птицей полетела Варвара в чулан и стала носить бутылки. Набралось изрядно, далеко за десяток. Бутылки светлого стекла хрустально сверкали, темного — отливали лазурью.

— Богатство.

Муж снял с гвоздя караульную берданку, взвел ударник.

— Стреляй,— сказала Варвара,— ни в чем я не виноватая.

— Отойди.

Прицелился в батарею бутылок. Щелкнул боек. Осечка.

— Люди сбегутся,— сказала Варвара.

Вторая осечка. Сменил патрон. Снова осечка.

Ярость, до сих пор сдерживаемая, выхлестнулась, и Кирпиков, перехватив берданку за ствол, пошел на бутылки врукопашную. Первым же ударом смел всю батарею. Брызнуло стекло, полилась водка, сивушно запахло.

Одна, неразбитая, бутылка покатила на ноги Кирпикову. Он добил ее, как змею, прикладом сверху вниз. Только тогда берданка выстрелила.

Оба посмотрели в потолок.

— Точка,— сказал Кирпиков.— Дай сюда паспорт.

Пока Варвара рылась в комод, он хотел закурить. Руки тряслись. Он бросил горящую спичку в лужу водки. Спичка не спеша погасла. Он зажег другую спичку и уже специально стал поджигать водку. Не загорелась.

— Делают дерьмо,— сказал Кирпиков.

Варвара протянула ему оба паспорта. Он раскрыл паспорт жены на чистой странице. Взял ручку, крупно написал: «Свободна». И подписался.

— А убили бы? — спросила Варвара и заплакала от испуга.

С ней сделалось плохо, и Кирпиков стал отхаживать ее, побежал за водой на кухню, зацепился за чемодан и чуть не упал на осколки бутылок. «Виски бы водкой потереть,— подумал он,— и взять-то ночью негде».

На людей, как доказано, все влияет: расположение звезд, активность солнца, поведение луны. Может, этим объяснялось то, что Дусе не спалось. Она вертелась с боку на бок, вставала, зажигала свет и глядела на будильник. Думала о Делярове. Тот чувствовал это, спал плохо, вскакивал, пытался блудливо критикнуть порядки и все рассаживал картошку, а та, что была посажена раньше, уже начинала прорастать.

Доставивший домой очередную собаку Вася Зюкин спал на полу, не достигнув кровати. Перед сном он успел оскорбленно подумать:

«Как собака, так пожалте мыться, а как муж, так хоть бы поесть чего дала». В благодарность за приют вымытая новоприбывшая собака подползла и подсунула себя под голову Васе вместо подушки. А на животе у него устроились сытые, крепнущие щенки из прежних приносов. Вася сгребал их вбок, но щенки упорно лезли на теплое место, заодно закаляя волю.

Плохо спалось и супругам Афанасьевым. Афоня время от времени поднимал голову и задавал жене любопытный вопрос:

— Тут, кроме тебя, еще другой бабы нет?

Холодеющий воздух носился по поселку, обветривались свежие пашни, зябла в земле картошка. Потревоженные черви восстанавливали свои катакомбы.

7

Наплюйте тому в бесстыжие глаза, кто скажет, что женщины ненасытны, что им много надо. Что им надо? Да ничего — одну заботу. Вымоешь в понедельник посуду — жена рада до субботы. Другая, правда, заботой считает жертву всем ради нее, но, повторяем, достаточно заботы.

«До самой бы смерти так», — думала Варвара, глядя, как растерянно хлопочет муж. Ищет градусник, не находит, бежит на кухню и забывает, за чем бежит.

— Мать, тебе грелку на ноги или льду от Дуси из погреба, принести?

— Сядь, Саня, сядь.

Когда мы боимся потерять друг друга, мы умнеем. Мы не вечны, надо дорожить друг другом, но увы, увы! Свои планы всегда кажутся нам важнее, и не посылаются ли нам болезни как напоминание о том, что мы не вечны? Сколько слез пролито из-за нас, мы бы захлебнулись в этом море, но, снова и снова прощенные, мы снова и снова пытаемся чего-то добиться, не понимая, что нужнее всех покоренных вершин радость дня.

— Все хорошо, Саня, сядь.

Кирпиков обессиленно сунулся в изножье кровати.

— Лекарь, — засмеялась Варвара, — с такими-то лопатами.

— А их не отмыть, не отпарить, — ответил Кирпиков и посмотрел на свои тяжелые сухие руки. Согнутые, будто специально чтоб к ним приходились и топор, и лопата, и пила, и соха, и багор-пиканка, и вилы... да начни только перебирать — на третьем десятке не собьешься. И все приходилось к его рукам, любой инструмент давался ему. — А у тебя что, лучше? — Он потянул Варварину руку, уже немного дряблую, всю в неровных напухших венах.

— Сравнил! У меня до костей простираны.

И Варварина рука была согнута, и тоже навсегда. То же самое, каким только инструментом не продлялись ее руки, и ухватами, и сковородниками, и коромыслом, и всякими лопатами: железными, деревянными, хлебными; граблями да теми же вилами, тем же топором, той же сохой.

Уж и поработали Александр Иванович и Варвара Семеновна на своем веку.

О, не одно европейское государство разместились бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных, сколько товарняков нужно было б, чтоб перевезти дрова, напиленные и расколотые им за всю жизнь, сколько людей согрелось бы у тепла этих дров!

А Варвара? Сколько перестирала она одного только белья — веревка сохнувших детских постирушек, мужниных рубах опоясала бы земной шар; студеной воды, перетасканной ею, хватило бы налить большое озеро.

Только нет такой статистики, нет такого огромного поля, такого поднебесного стога, такой растянутой по экватору веревки с бельем, нет такого озера.

Они вдруг застеснялись, чего это ради разжалелись друг друга: жизнь прожили, никогда такого не бывало. Но этой весной каждому пришлось ощутить угрозу одиночества и испугаться его.

Кирпиков обратно разбирал чемодан, выкладывал назад Варварино имущество. Взяв икону, засомневался: при своем безбожии и при том, как час назад он ее в сердцах хватанул, как было ставить на место?

— Из-за тебя ведь только и молилась,— тихо упрекая, сказала Варвара.

— Ну теперь-то? — спросил Кирпиков. Он кашлянул.— За меня больше незачем молиться, пить кончено. Терплю. Это такой подвиг, мать! Заново родился! — Кирпиков подумал и отнес икону на полати, а место на божнице занял фотографиями детей и внуков. Внучка Маша встала в центре.

— Молись! — весело сказал Кирпиков.— Вот бы Машку совсем к нам!

— Какая мне еще Маша? — сказала Варвара, переживающая замену иконы.— Я свое досытечка отнянчила, отрожала. Это мимо тебя дети проскочили: работа да война, тебе и хочется поведиться с маленькими, тебе она вместо игрушки, а питание, а купание, а заболает? Нет, нет, все! Отдоилась я, довольно.

— Ладно, мать,— примирительно сказал Кирпиков.— Ладно.— Он стал сгребать осколки к порогу.— Одно хорошее в этой водке,— сказал он,— пятен не оставляет.

Варвара пересилила себя и встала. Замела стекляшки к печке. В жестяной отдушине шумело. Ветер хлестал ветками по окнам.

— Бьется погода,— сказала Варвара.— В погоде, что в народе.

И оба невольно подумали о детях: как они?

— То-то у меня поясница давала знать,— сказал Кирпиков.— Я думал, сохой натрудил, а это к перемене погоды. Совсем барометром становлюсь.

— У меня тоже позвонки ломало.

— Да у тебя вечно что-нибудь,— привычно сказал Кирпиков, но осекся: жена больна да и, видно, прошло время, чтоб ляпать чего-то не подумав.

Никогда раньше не думал, что и как говорить при жене,— не на трибуне, а вот, оказывается, как переходят на него же обратно его слова. Сделал жене плохо, и самому больно. Как будто стала нервная система одна на двоих.

— А мне когда плохо,— отвлекла его Варвара,— я всегда сенокос вспоминаю. А, Иваныч? Сердце-то от радости так и росло!

На сенокосе он всегда шел впереди, рассекая поляну надвое, за ним Варвара, а дальше, все суживая прокосья, косили дети. Младшенькая, еще не доросшая до литовки, растрясала валки и старалась успеть за всеми. Она приносила воду из родника-кигуна. Чайник вытягивал ей ручонку, холодная вода плескалась на исцарапанные коленки.

Кирпиков помнит, как он дошел до конца поляны, за ним докосила Варвара, наступавшая на пятки. Кирпиков наточил литовку и хотел начинать новый ряд, на свал. «Вот неналомный,— сдержала Варвара,— дай хоть отдохнуть-то.— Оглянулась и вдруг шепотом: — Отец!»

Он тоже оглянулся — дети догоняли их. Третьим рядом шел Николай, размашисто, по-мужицки укладывая траву; за ним Тоня, берущая нешироко, но чисто; дальше Борис, закусивший губу, нервничающий, чтоб не отстать; последним тюкался Михаил, проко-

сье вел неровно, маленькая литовка прыгала, все кочки были его. Всех сзади мелькало платьице младшенькой.

Варвара не стерпела, побежала помочь. Но никто не уступил ей свой ряд.

8

Почтальонка Вера брала по утрам свою сумку и, придерживая ее рукой, бегом разносила почту. Привычка к бегу осталась от тех времен, когда поселок был еще большой, а дети Веры были маленькие и она торопилась к ним. Стали дети большими, разъехались, разъехались и у других. Подействовало и то, что леспромхоз перевели дальше на север. Поселок сгрудился около станции — и его можно было легко обойти пешком. И в дом не к кому торопиться, пусто, но — инерция — все равно Вера привычно бежала, торопливо махая свободной рукой, как бы увеличивая этим свою скорость. «Куда это я бегу?» — думала она, проскочив поселок насквозь, и бежала обратно.

Вера первой узнала о торжестве у Кирпиковых и первой разнесла эту новость по домам. Зовут тех, говорила она, махая рукой, у кого Кирпиков пахал одворицы.

— Всем пахал дак, — говорили ей, — всех, что ли зовет?

— Велели любому говорить: приползи, да приди.

Деляров долго чистил полуботинки. С утра он не бегал ни рысцой, ни трусцой, потому что из вчерашнего веселого вечера запомнил одно: Кирпиков научил собаку преследовать убегающего. Это надо проверить. Если собака есть, то реагирует ли на убегающего? Вообще Кирпикова за подобные шуточки надо привлечь куда надо.

Дуся тоже прихорашивала свою обувь и вообще всю себя, но цели ее были иные. Пора было доказать дочери, что ее мать умеет жить, и дать наконец дочери возможность произнести слово «папа».

Зюкин обувь не чистил, считая это роскошью. «Если я хуже сабаки, то зачем?»

Ботинки Афони сорок последнего размера почистила жена Оксана.

Из прочих приглашенных явились: почтальонка Вера, суетливо начавшая помогать Варваре и разбившая уже пару стаканов (привыкшая к звону стекла, Варвара удивилась бы, если б ничего не били); фельдшерца Тася, по фамилии мужа Вертипедадь (она тоже начала помогать); ее муж счетовод Павел Михайлович Вертипедадь; буфетчица Лариса, женщина необъятная, но энергичная; и продавщица Оксана. Не явились: жена Зюкина (она вообще сторонилась всяких обществ); лесничий Смышляев (его по причине удаленности не звали); лесник Павел Одегов; стрелочники Зотов Алфей Павлинович и его тихая жена Агура, происхождением староверы (не на кого оставить дорогу), глухой пенсионер Севостьян Ариныч и дочь его Физа и прочие.

В передней комнате хозяин занимал гостей.

— В подкидного! — объявил он.

Сели в дурачка. Трое на трое. Первая команда: Афоня, Деляров, Оксана; вторая: Кирпиков, Зюкин и Дуся. Начались обычные при словья:

— Карта не лошадь, к вечеру повезет.

— Дама, за уши драла.

— Король, за уши порол!

— Туз, по пузе буц!

— Леонтий Петрович, вы карты держите так, что в них выспаться можно, — предупредила Лариса. — Я не играю, но должно быть честно.

— Да кому это надо подглядывать? — возмутилась Дуся.

Она оттого скорее возмутилась, что противная Лариса так-то

фасонисто, по-городскому ломает язык. Пе-ет-ро-вич! Ишь! Дусю осенило — а ведь приберут мужика. Она торопливо подвела свою команду и поздравила Делярова с победой.

— А вы, дурачки,— сказала она партнерам,— тасуйте колоду.

Партнеру Зюкину было привычно сидеть в дураках, а Кирпиков был настроен благодушно. Раздавал карты и шутил:

— С дураков меньше спросу. На умных воду возят. О, козыри крести — дураки на месте.

И точно: Дуся благополучно предала свою команду еще раз. Она подпихнула Делярову козырную крестовую даму — мрачную брюнетку,— и Деляров дал полный отбой.

— Вам, Леонтий Петрович, сплошная везетень, а уж мне не везет в картах, так хоть бы в любви повезло,— пожелала себе Дуся.

Тут уж Лариса увидела в ней соперницу. Но легкомысленно не поняла опасности. Что может дать Дуся? Работу на приусадебном участке? А к Ларисе приходи в буфет и сиди до закрытия и после. Какое может быть сравнение?

Между тем поспел стол. Но женщины вначале пошли навести красоту. На кухне Варвара показала отбитые горлышки с целехонькими колпачками. Оксана попросила их себе. У нее есть процент списания на бой, и эти горлышки пригодятся. Но вообще, конечно, Кирпиков-то как бы не того. Женщины посмотрели на Тасю. Тася объяснила, что того или не того, это устанавливают в области. Даже в районе редко. Но вот она поедет за лекарствами и зайдет к психиатру.

С тем и вышли к столу. Пока разливали, успели поговорить, что погоду крутит, но дождя нет, а хорошо бы, в самый бы раз на посаженную картошечку-то.

Встал хозяин дома. Он готовился сказать красиво, но только и сказал:

— Прошу выпить и закусить.

Надо было ему хотя бы чистой воды в стакан налить, хоть что-то поднять. А то странно получалось — хозяин не пьет, а гости, значит, угощайтесь сами.

— За все хорошее! — сказала Дуся и чокнулась с Деляровым.

Деляров сегодня не сопротивлялся. Красные прожилки на щеках и носу, проступившие вчера, просили освежения. Он выпил, Дуся пригубила. Вася долго озирался и не пил. Но за окном чирикнул воробей, и Вася подумал, что можно ведь и воробья поймать. И выпил. Об Афоне и говорить нечего.

Стали закусывать. Кирпиков не выпил, ему есть не хотелось. Готовая речь вдруг подперла, и он встал.

— Наши дети должны знать, из какого корыта ели первоначальную пищу.— Кирпиков хотел сказать о краях отцов и о дедовских могилах, но сбился: упоминание пищи из корыта прозвучало не к месту.

Вечеринка пока не ладилась.

— Эх,— задорно сказала Дуся.— Девяносто песен знаю, а молитвы ни одной! — Ей хотелось петь, танцевать, веселиться.

Влюбленные как-то забывают, что во все века любовь мешала жить нормальным людям. Например, Варвара очень осудила Дусю. «Доложилась! — подумала она.— Еще не допили, еще не поели, а уж за пляску».

Но любви и кашля не утаишь.

Павел Михайлович Вертипедадь, пришедший с гармоникой, сидя в зауголье стола, степенно наедался. Степенно заметил:

— Вот, Дуся, запомни: сколько здесь за столом посидишь, столько и в раю.

— Голодному цыгане снятся! — крикнул Зюкин.

— К убытку,— сказала Дуся и с вызовом посмотрела на Ларису.

Хорошо мужикам соревноваться — кто кого перепьет, тот победил, а бедным женщинам? Пьешь — осудят, совсем не пьешь — осудят, поешь — значит, выхваляешься, пляшешь — высовываешься. Как себя показать? Как свалить супостаточку-соперницу?

— Ну, громадяне,— Павел Михайлович поднял стакан,— налито всем? Предлагаю за одну горечь.

Дуся заслонила стакан — не надо.

— Тебе для дури запаха хватает,— сказала Лариса как бы в шутку.

И Дуся приняла это как бы в шутку, но мысленно отметила выпад.

Вечеринка пошла нормально. Уже Зюкин пробовал пропеть: «Привезли да и рассыпали осиновы дрова, это все,— он обводил всех рукой,— это все интеллигенция со скотного двора», уже Павел Михайлович Вертипедадь отлаживал звоночки гармоники, Дуся постукивала каблукон, Варвара скатывала к печке половики, а хозяин сидел на кухне.

Не один. Его донимал Афоня.

— Так и запишем,— говорил Афоня.

— Так и запиши,— терпеливо повторял Кирпиков.

— Значит, сработал концевик? Учти, добром не кончишь.

— Учту.

— Значит, ты утром встал и пошел жить, а нам до одиннадцати ждать?

— Никто не заставляет.

В передней зазвенели колокольчики.

Деярову и не снилось, что за него началась борьба. Он сел рядом с Зюкиным и начал втолковывать ему, что в погребе у Кирпикова — взперти! — сидит невинная душа.

— Я тоже от жены в сарае спасаюсь,— отвечал Вася.

— Но это душа не человечья, а животного.

— А она меня тоже за скотину считает.

Первой ударила дробью Лариса и критикнула нынешние нравы.

Раньше были кавалеры —
Утощали карамелью,
А теперь молодежь:
Напинают — и пойдешь.

Дуся вплыла плавненько, начала хитренько, будто совсем не интересуясь любовью.

Председатель на трубе,
Бригадир на крыше.
Председатель говорит:
Я тебя повыше.

Тут и Васина музыкальная натура не стерпела. Он сунулся в ^Пкрут и стал мешаться под ногами. _{3Л}

Где ни пели, ни плясали,
Всюду девки не по нам.
Задушевный мой товарищ,
Лучше выпьем по сту грамм!

Пошли было Вера и Тася, но быстро сшиблись, и остались на кругу две соперницы.

— Отец! — говорила Варвара, придя на кухню.— И ты, Сергей, чего вы здесь, айда-ко-те в комнату, больно добро девки-то распелись.

Радостная, она под музыку вспомнила подходящую ей частушку: «Я плясать-то не умею, покажу походочку. Мой миленок пить забросил распрокляту водочку»,— но осеклась: неизвестно еще, чем с «миленком» кончится.

Состязание в передней накалялось. Грузная Лариса как будто

легчала на килограмм с каждой частушкой. Дуся, наоборот, худая, тяжелела, но не сдавалась.

Лариса пошла в открытую:

Я свою соперницу
Увезу на мельницу.
Мели, мели, мельница,
Вертись, моя соперница.

И лихо рассыпала дробь. Дуся попыталась поправить положение.

Я и пела и плясала,
А меня обидели:
Всех старух порасхватили,
А меня не видели.

Все-таки счастье улыбнулось Ларисе. Она, легко прогибая половицы, подпорхнула к Делярову и стала его вызывать. И хоть он и не вышел, но уважение показал, встал и потоптался.

Дуся подскочила к гармонисту, отбила такт и заявила:

За веселье, за гармошку,
Ой, спасибо, играчок.
Наигралась и напелась,
Так зачем мне мужичок?

И достойно вышла из круга. Лариса же, показывая, что может плясать бесконечно, вызывала по очереди всех кавалеров. Никто не поддался. Вышел, правда, Павел Михайлович. За гармошкой его заменил Афоня. Но плясал Павел Михайлович не азартно, работали только ноги, сам был как деревянный и напряженно смотрел вдаль, будто ждал спасения.

— Туфли ты мне, Оксана, подтакала плохие нарочно, чтобы я ногу сбила.

Вот на что свалила Дуся свое поражение, на туфли, купленные в магазине Оксаны. Дуся жалела, что в пляске не вспомнила частушку, которую так бы в лицо и вылепить этой бочкотаре:

Ты его мани-заманивай,
Я песни буду петь.
На твои колени сядет,
На меня будет глядеть.

Но время было упущено.

Глядя на пляску, Кирпиков испытывал двойное чувство: ишь, напились, скачут, но скачут хорошо.

Пошли за стол по второму заходу. Афоня уселся рядом и продолжил свои разговоры.

— Ты был мужик от и до. От и до. С тобой можно было поговорить и посоветоваться.

— И говори.

Афоня посмотрел на Кирпикова как на ненормального.

— Как же говорить без выпивки?

— Не с кем стало выпить, вот что. Всего-то?

Кирпиков хотел наговорить Афоне упреков, но сдержался, отсел от него и, возвращая естественный ход вечера, запел «Хас-Булат, удалой», а там пошли «Что стоишь качаясь, тонкая рябина?», и, конечно, «Что ты жадно глядишь на дорогу», и, конечно, «На муромской дороге», и, конечно, все ямщицкие, и, конечно, «Враги сожгли родную хату». Тася так звенела, хватала такие верха, так солидно гудел Павел Михайлович, что никто не заметил, что в общем хоре не хватает двух голосов.

На крыльце шел разговор как раз в эти два голоса.

— После обеда полежи, после ужина походи, — говорил мужской голос.

Женский отвечал:

— Конечно, вы мужчина кубатуристый, в вас много войдет, это надо понимать и ухаживать, а то эта корова расплясалась и вас дергает. Надо же понимать, человек — сердечник.

Дусе, это была она, хотелось окончательно уничтожить Ларису перед Деляровым. С ним она стояла.

— Знаете, как ее зовут? Заврыгаловка. Это же ужасно. До такого сраму дойти. А чуть чего — на пару с Оксаночкой через все решета протрясут, обсплетничают, все кости обмоют. А я никого не держу, ни за кем не бегая, но вас, вас жалко, как они хитро вас обурали. А вы еще такой доверчивый. И хозяин, этот пьюха! Вчера бутылки бил, я говорю: Тася, проверь, может, его опасно здесь держать.

Деляров вдруг повернулся к Дусе.

— Это правда, у него есть большая собака?

— Не знаю, — разочарованно ответила Дуся. Она думала, что Деляров решил ее обнять. — Хотите выпить? — интимно спросила она. — Я принесу. Пусть они там сидят. Много им чести с вами сидеть.

Пока она бегала, Деляров боязливо косился в сторону двора. Там была конюшня, и когда мерин переступал на полу, Деляров думал, что это такая порода собак — с копытами.

— Вот она, из Москвы приперлась! — объявила Дуся о своем возвращении. — Сперва я сама проверю, не отравлено ли. Оп! — она отпила. — А теперь отсюда же... тyani! — Она резко перешла на «ты».

Порция была великовата, но в Делярове сработал инстинкт исполнителя. Он выхлебал содержимое.

— Закуси!

Он счавкал то, что дала Дуся, и даже не понял что. Дуся тихо смеялась:

— Мы как нынешние: хлоп — и на брудершарф.

— Что он сделал первым делом? — громко спросил Деляров. — Я спрашиваю, что он сделал первым делом по случаю войны? Он запер в туалете машинистку.

— Простудишься, — ласково говорила Дуся, набрасывая петли шарфа на шею Делярова. — Я как выскочу с голым горлом, так неделю отгрохаю.

Она слегка затянула шарф. Деляров качнулся к ней. И как получилось, непонятно, только они обнялись. «Леонтий!» — сказала она, и он, трусливо трезвея, поцеловал ее. Потекло молчание. Из дома донеслось «Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу...»

— Если мы сказали «а», то должны сказать «бэ», дойти до «вэ», — сказал Деляров, — и вообще проделать всю азбуку.

— Леонтий, — как решенное сказала Дуся, — Кирпикову больше подносить не будем, вспахать ты и сам вспашешь. Ты же с меринном справишься. Вчера в магазин приезжал.

— Конечно, справлюсь.

Из дому через порог выпал Вася Зюкин. Деляров вспомнил свои опасения, поднял Васю и втолковал ему, что у Кирпикова есть собака. Вон там. Стучит лапами.

— Какая собака? — спросила Дуся. — Ты что, Леонтий?

— А стучит?

— Это в конюшне, мерин.

— Все, ребята, — сказал Вася Зюкин. — Мне конец. Эх, если бы хоть бы птичку. — И он стал подсвистывать голубей. Или воробьев. Кого получится.

Пьяные кажутся себе остроумными, способными на житейские и любовные подвиги, но на трезвый взгляд они смешны и придурковаты. А может, они и пьют оттого, что не сильные, не остроумные? Может, это и надо — чтоб человек подумал о себе лучше, чем есть? Как знать. Задолго до смутных времен сказано: «Бог нашей драмой коро-

тает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит». Но у него-то вечность, а у нас?

Напевшиеся женщины пошли обсуждать, как жить Варваре дальше; за столом остались мужчины. Павел Михайлович отключил звончки и подыгрывал только голосами. Он пел сам для себя грустную песню своей молодости:

Еще косою острою трава в лугах не скошена,
Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена...

— Я тебя понимаю, так как уважаю,— говорил Афоня и все придвигался к Кирпикову. Тот, соответственно, отодвигался. Вскоре диавол кончился, и пришлось говорить стоя.— Я тебя понимаю, ты встал на подзарядку. Но ты объясни почему?

Вернулся Деляров, спросил, есть ли чего с морозца. Уже все кончилось. В прежней своей жизни Кирпиков со стыда бы сторел, что гостей не упоил вусмерть, а тут, наоборот, подумал: хватит. Хуже худшего опротивели ему пьяные Афоня, Вася да и Деляров.

— Где женщины? — спросил Кирпиков.— Куда разбрелись? Плясать и петь перестали.

— С чего петь? — нагло спросил Деляров.

— Ты с ним не говори,— заявил Афоня,— у него не все дома.

— Точно, не все,— сиротливо сознался Кирпиков.— Детей нет, внуков нет. Так мне и надо.

Женщины на кухне дотолковались до того, что Варваре теперь будет не жизнь, а каторга, а когда она в простоте душевной показала паспорт с надписью «Свободна», было решено — вот кукиш ему. Не пьет, не курит — это его дело. Такой дуры не найдет, чтоб все его дикости терпеть. И как только ему, седому бесу, дикотолону, не стыдно! Не мог он раньше вывихнуться, нет, он вначале чужую жизнь переехал, все соки выпил, да и вообще все мужики такие. И собрать бы их всех в одно место и бомбу бы бросить. Эх-хо-хо, жена да муж — змея да уж.

— Редко-редко бывают исключения,— вставила Дуся. Она вернулась с улицы посвежевшая от вечерней прохлады.

— Ой, а что это мы мужчин забыли? — сказала Лариса.

Пошли в комнату. Навстречу женщинам, пытаясь их облапоть, пошел Афоня. Все увернулись, только Дуся не успела, застряла, но тут же стала выкручиваться. Афоня положил освободившиеся руки на гармонь. Стало тихо.

— Сейчас Сашка сказал,— объявил Афоня,— что у него не все дома.

— Эх,— сказал Кирпиков,— как смешно, не все дома. А у вас? Вспаханы у вас огороды? Посажено? Что еще? Копать? Выкопать.

Гости начали расходиться. Павел Михайлович ушел с музыкой и увел Веру и Тасю, Афоню увела Оксана. Хоть Оксана публично и осуждала Кирпикова, но втайне мечтала, чтоб и ее муженек взял пример с Кирпикова. Горлышки бутылок с целыми колпачками Оксана не забыла.

Сложнее всех получилось с Деляровым. Он перепугался так, что Дуся предложила ему переночевать у нее. «Домой», — шептал он. Дуся и Лариса подлезли под его руки с двух боков и повели. Далеко у переезда затихала гармоника Павла Михайловича. Деляров сползал с плеча Ларисы и валился на более низкую Дусю. Пришли. Ни одна из женщин не решила бросить его. Обе самоотверженно дежурили всю ночь. Поправляли подушку, совали питье, капли, растирали ноги, делали массаж, клали на лоб мокрую марлю, мерили температуру — словом, заматали Делярова к утру окончательно, замотались сами и только на рассвете уснули.

А с Васей случилось вот что. Жена его при настольной лампе читала книгу «Служебное собаководство». Вся свора дружно дрыхла. В дверь стали робко царапаться и скулить. Жена подумала, что вер-

нулась с улицы последняя собака, и открыла. Вася Зюкин побежал на четвереньках к окну и завыл на луну.

— Фу,— строго сказала жена и стегнула его ремешком. Она прочла в книжке, что излишняя нежность вредит нашим четвероногим друзьям.

А хозяева? Кирпиков сорвал накопившуюся за вечер злость на Варваре. Ну, если чужие не понимают, должна хотя бы жена оценить, понять, каких усилий стоит прекращение одурманивания табаком и выпивкой.

И Варвара, только и ждавшая ухода товаров, чтоб рассказать своему Сане, чего они тут плели, плели, конечно, от зависти, а она не поддавалась, тоже обиделась на мужа. И было с чего. Пошла на ночь лоб перекрестить, а на что? Иконы нет. Выснулась в окно — хоть бы одна звездочка.

— Ну смотри, Саня, все отольется. Ну смотри. Я думала, не пьет мужик, домолилась, допросилась, пусть бог от меня отдохнет, нет, видно, тебе, лешему, ничего не дорого. Да будь ты лучше пьяней грязи да живи по-людски.

— Пил — не считала человеком, перестал пить — опять не человек? Как же! Сашка-конюх да вдруг всегда Александр Иванович.

— Пей, да в меру.

Но что такое мера? Где она? Давно сказано: душа — мера, а душа у нас без берегов.

Ночевал Кирпиков на сеновале. Внизу отдыхал от страды Голубчик, сверху шуршал по крыше мелкий рассеянный дождь. Нет ничего лучше этих ночей. Сколько их было, много, кажется, а ни одна из них не продлилась.

9

Этот легкий, успокаивающий нервы дождь был первым и последним в этом году. Лето выпало нестерпимо жарким.

В зэреке горели торфяники. По утрам небо затаскивало серым дымом. Солнце вставало рано, но поднималось медленно. Сквозь дым оно выказывалось красным. Светло-серые шиферные и выбеленные временем деревянные крыши нехорошо розовели, воздух стоял палевый. Курицы прятались, собаки бесились, старухи предрекали войну.

Но поезда шли точно по расписанию, мчались так же резво, колесные пары промелькивали так быстро, что заслоняли просвет под вагонами. Много пыли поднималось и несло в след.

В лесу было тихо. Шиповник, рябины, елочки и все, что стоит с приходом, было в пыли как в цементе. Пересохшая трава ломалась и сама превращалась в пыль.

— Дождь из Африки? — поддевала мужа Варвара.

Лесник Пашка Одегов, приезжающий за едой, передавал, что огонь понизу идет к питомникам, что остановить его — задача невозможная, что льют жидкую глину, копают канавы, но все без толку.

Лесничий Смышляев с ног сбился, не разувался по неделям — шутка ли, такая жара, были случаи, что хватало искры из-под колеса. Отребали все, что может гореть, от полотна, чистили лесосеки. Курили в рукав. Смышляев исхудал, выскался, по выражению Варвары.

А вот Кирпиков от жары раздался. Он тяжело переносил ее, ничего не мог поделывать, толстел. Это Кирпиков-то, худыр — восемь дыр, раздобрел. Но и вернуться к курению не тянуло. Столько ночей, особенно ближе к утру, он надсадно откашлял. «Опять дрова рубит», — жалостливо думала Варвара. Передвигаться Кирпиков стал медленнее. Лицо разгладилось, видно лишняя кожа ушла на живот. «И с чего тебя так разносит, батюшко? — спрашивала Варвара. — И ешь вроде немного». «С голоду пухну», — отвечал муж.

Из других новостей были такие: всех собак жена Зюкина выгнала. Они разбежались по дворам, лаяли без разбору, от жары беси-

лись. Может, не только от жары, а и оттого, что кончилась беспечальная жизнь. Ночами они перелаивались и корили друг друга — и чего было ссориться у общего корыта? Всем бы хватило. Все жадность наша, все раньше других надо, вот и получай. Нет, не умеем мы ценить хорошее, лаяли собаки и сговаривались пойти к Зюкиным с повинной. Но выгнали их вовсе не из-за грызни у корыта. Это объяснилось тем, что Вася один заменил всех. Он сам занимался по учебнику, вдобавок ему не надо было отдельно готовить, ел то же, что и хозяйка.

Любовный треугольник Дуся — Деляров — Лариса не распался. Деляров ходил по графику обедать то к одной, то к другой. Иногда женщины сговаривались и делали общий обед. Деляров позволял себе капризы. Он бросил бегать и рысцой и трусцой и выцыганивал поочередно у влюбленных по четвертинке.

Любая новость приедается, и к этой привыкли. Оксана даже с радостью: ее подозрения, что муж похаживает к Ларисе, исчезли, и она крикнула и денежкой брякнула — заказала привезти цветной телевизор. Рассчитала точно — Афоня пристрастился смотреть футбол и выписал со второго полугодия несколько спортивных изданий. К нему приходил Павел Михайлович Вертипедадь. За месяц они стали знатоками не хуже Озерова и мечтали почитать мемуары Пеле и Круиффа.

Тася тоже ездила в район за продуктами, заходила к психиатру, но он был на совещании, а ждать было долго. Да и зачем? Кирпиков на людей не бросался, в справке, что ударит и не отвечает, нужды не имел, и Тася, переночевав у деверя, вернулась в поселок.

Главное страдание Кирпикова было даже не в жаре. Не привезли Машу, а ведь это было ее последнее лето перед школой. И хотя и других детей почти не было в поселке, Кирпикову казалось, что невестка специально не пускает Машу к нему. В пивную Кирпиков не ходил, дни казались долгими. Он слонялся по дому, брался за тетрадку, в которой в апреле записал о своем втором рождении. Ему по-прежнему хотелось оставить свое жизнеописание. Начав уважать себя, он и жизнь свою представлял более значительной, чем раньше. Еще бы — он помнил лапти и ходил в них, а вот уж человек ступил на Луну, вот уж и сердце чужое стали вставлять, вот на заморозку людей кладут. Конечно, все эти свершения были достигнуты без него, и на Луне бы побывали, не будь Кирпикова вообще, но взять поближе — он помнил конную вывозку леса по лежневкам и застал лучковую пилу, а уже досыта нагляделся и на могучие трелевочные трактора и на ленточные пилы. А война? Нет, Кирпикову было что рассказать. Но рассказать было некому. А раз некому, могло пропасть. Записать не получалось. «Грамотешку бы мне», — повторял он и наконец нашел занятие, сел учиться.

Книг в доме было немного, остались от ребят в основном учебники. «Собачки» книги — «Каштанка» и «Муму» — Кирпикову не понравились: он не верил, что Герасиму обязательно надо было топить Муму. Ведь он же все равно уходил в деревню. Взял бы с собой, а там-то кто бы ее тронул? Также и в «Каштанке» хотелось поворота сюжета: уж очень фашистская забава была у сына столяра — привязывать мясо на нитку, давать глотать, а потом тянуть обратно. И к этому уходить от хорошего человека? Или уж судьба такая: не угодив хозяину — быть утопленным, а угодив — бежать от него?

Но в руки попала «Занимательная математика». И на ней Кирпиков застрял. И застрял именно на картинке: в разинутый рот великана входит состав, везущий продукты, съедаемые одним человеком в течение жизни. Цифры приводились ошеломляющие. Приходилось верить, хотя вряд ли Кирпиков съел столько тонн сладостей и фруктов, сколько называлось в книге. По картошке, может, и перевыполнил, но это же было в среднем на среднего человека.

Кирпиков не хотел бы, чтоб труд его и результаты труда, которые, в общем, сводились к питанию и одежде, были только в этом питании и одежде. Физический труд означал большее — он был радостью; когда он не давал радости, превращался в тягостную необходимость. Любой труд Кирпиков делал добросовестно, иначе не мог. При его сноровке и смекалке Кирпиков мог бы рассчитывать в жизни на что-то большее, но нужно было учиться, а было не до учебы. Он крепко следовал рассуждению, что если все будут ученые, то кто же будет ученых кормить? Кирпиков знал, что жил честно, а значит, хорошо, но если бы спросили, желает ли он такой жизни детям, он ответил бы: нет. Потому и выучил. И сверстники его учили детей, а те, подумав он с усмешкой, воротили морды от родителей. Но это другой вопрос. Ведь все-таки учили. Страдали, что некому будет на земле работать, но время двигалось, урожаи убирались и длинные составы с продовольствием шли в громадный рот среднестатистического человека. Помогли выученные сыновья — взамен себя послали на землю машины. Изнашивались они быстрее человека, но человек успевал сделать следующую машину. Уважение к машине заменило радость ручного труда, ничтожного в сравнении с машинным. Чего теперь жалеть серп, и косу, и лошадку с сохой, и топор дровосека. И уже пахарей и дровосеков в прежнем тысячелетнем виде можно будет скоро увидеть только в кино, и легко представить, как на них посмотрит Маша. Как на туземцев. А еще сто лет пройдет — кто объяснит? Какой труд приходил на землю во все века, что было на ней, матушке, до железных машин? Не зря же сейчас любую старину тащат в музеи. Вот куда надо завещать сохи и прялки, зачем они детям, куда они с ними в своих квартирах? Но главное в большем — соху-то и прялку сохранить легче всего, но ведь при них человек был, о чем-то думал, при них не день, не два — жизнь проходила.

Икона так и лежала на полатях. Варвара обтерла ее и завернула в целлофан. К старухам она с тех пор ходила один раз. Начиналась жара, и они пугали разговорами о преставлении света.

Это преставление казалось Варваре сплошной чернотой. Она вспомнила свой давнишний сон, который был за ночь до выкидыша. Она тогда надорвалась на сплаве (лето было тоже сухое, вода быстро скатывалась, горизонты ее понижались, и всех мобилизовали «чистить пески»), ей бы только для виду налегать на багор, да она и поберегалась, но под артельную «Дубинушку» забылась — и ночью схватило. Она терпела, думала, пройдет, к утру отпустило, и вот она увидела сон. Будто бы она вынесла ребенка в розовой рубашке (значит, была бы девочка) и подходят будто бы три женщины, все в черной одежде. Вот и весь сон. Теперь он повторился.

Варвара проснулась и отнесла воспоминание на жару. Вышла на крыльцо — горизонт по-прежнему был блеклым, в полном безветрии воздух толокся на одном месте. Деревья, трава, забор казались засыпанными пеплом. Апокалипсическое солнце дожигало сквозь синюю полумглу сухую землю. «Преставление света», — вздохнула Варвара. Понесла пить мерину.

Бедному мерину тоже было тяжело. Исхудавший в посевную, он так и не огладился. Прошлогоднее сено ломалось, было не едкое, сушило горло, а нынешняя трава сохла на корню. Он подолгу стоял у кормушки и ел овес. Но зубы были старые и овес был не в радость. Мог бы хозяин его измельчить, но он совсем перестал заниматься хозяйством.

— Дома ли, нет ли мужик? — спросили из-за забора.

Варвара увидела — лесничий Смышляев. Они поговорили. Варвара поплакалась, что мужик совсем отбилсь от хозяйства, все молчит и как бы неладно не было, ведь бес горой качает. Второй день не видно.

Найти Кирпикова помог мерин. За разговором Варвара не закрыла мерина, и тот вышел. Но на улице было еще жарче, чем в конюшне, и мерин потянулся к Дусиному погребу. Он сунулся в него мордой и услышал родной голос:

— Куд-да, мать-конташка?

Мерина заперли обратно, Варвару Кирпиков попросил удалиться, а с лесничим начал разговор.

— Послушай меня. Ты их всех поумнее,— сказал Кирпиков.— Я тут сижу не только из-за прохлады, я думаю. Вот правильно — по-сохло. Значит, есть наше бессилие, назвали по радио безумие солнца, и где мы с нашей наукой? Трактор сделала наука, а ведь лошадей труднее управлять, чем трактором. Лошадь надо понять, а трактор только смазывать и подвинчивать. Я конюх. Вот я читаю — заносят в Красную книгу зверей, а меня кто занесет? Ведь я вымираю. У всех на глазах.

— Эх, Александр Иванович, и мой возраст подпер. И вроде занимался делом долговечным, а все не больше чем лет на сто. То, что сажал в парнях, после техникума, это уже поспеваает. И вырубят. Сейчас посажу — снова сеча. Эти питомники у меня были с отросточков, как будто с детского сада. Сейчас горит школа, а там были бы университеты. В профессорах под топор.

— Я тебе завидую: тебе есть из-за чего переживать,— искренне сказал Кирпиков,— ты много сделал, а я? Да без меня бы обошлись. Пахать-то? Тыфу! Ради детей жить, так они ой как свободно без меня обходятся. Так мне и надо,— признался вдруг Кирпиков.— Они ведь послевоенные. А я вернулся — грудь в крестах, Россию спасал! Ну, спасал. Не я один, а сколько убитых? Наших-то во сколько раз больше погибло. Спасли. И вот били себя в грудь, вот гордились, а бабы всё волокли да волокли. И детей я прокараулил, а ко внукам сунулся, да они как чужие. Во-от.

— Ты уж очень-то тоже чересчур.

— А уж чересчур не чересчур — толку не дам. Мебель эта в голлову вступила — ведь она переживет березу. Значит, надо все перевести в вещи. Лен сгнил бы на корню, а, смотри, рубаху, если не побрегут, может и сын и внук носить. Надо и мне во что-то перейти.

— В любом случае станем частью природы.

— Я весь запутался,— признался Кирпиков,— и, кажется, то ли рехнусь, то ли пойму. Как башкой о забор. И не прошибешь и щели нет. Вот меня бы Машка Колькина научила. Я не смеюсь. Она рассуждает — о! В ее годы я с четверть ее не знал. А что ж дальше? Она с такой скоростью дальше. И до чего дойдет?

— До чего-нибудь дойдет.

— А вот в книжке написано — запустят ракету, она с год полетает, а вернутся сюда — здесь уже сто лет прошло. А год я бы спокойно полетал.

— Нас уж не возьмут,— засмеялся лесничий.

— И чего Колька думает, шел бы туда...

— Здравствуйте!

Перед ними стояла Дуся. В руках она держала кастрюльки. Кормила Делярова, принесла пустую посуду.

— Хорошо на холодочке?

— Как не хорошо! — простодушно согласились оба.

Дуся отнесла кастрюльки домой. В другое время она погнала бы от своего погреба, только бы пыль полетела, но сегодня состоялся значительный разговор с Деляровым. Лариса ушла на работу, и они посидели вдвоем. Деляров сегодня сказал: «Я избегаю нервных потрясений, а также соцнакоплений,— он хлопнул по животу,— а она все со срыва, со срыва и все мучное и сладкое. А также пиво. Это же вредительство. А почечные лоханки? Она о них думает?» Дуся интуитивно не стала ругать Ларису. Важнее было укрепить родство душ. «Я тоже

зря не расстраиваюсь. Увижу, народ толпится, сразу не бегу, сначала узнаю, может, что дают, а может, кого убили». Еще немного поговорили. «Что на завтра?» — ласково спросила Дуся. «Что хотите, я вам верю». Сговорились на разгрузочном дне. Дуся отскребала кастрюльки и думала, что все-таки забьет Ларису. И будет у нее муж. Работник. Ежемесячная пенсия. Огурцы будет к поезду носить. У мужчин лучше покупают.

Вдруг Дуся подхватила, побежала во двор. Ну точно — дверь в погреб нараспашку. Дуся успела застать фразу лесничего: «Говоришь, позднее понимание. И то слава богу, а если вообще без понимания?»

— Да при этой жаре, — закричала Дуся, — вы у меня погреб в два счета выстудите, тьфу, вытопите! Весь холод выйдет. Некому за меня заступиться. Вы ведь не продукты, зачем вам охлаждаться, а захотите, чтоб молоко не скисло, и некуда поставить...

Уж и погреб закрыла, уже и собеседники ушли, а она все продолжала разоряться, то ли действительно была рассержена, то ли просто щекотала голосовые связки.

Говорили же Кирпиков и Смышляев вот о чем. «Мне с ними со всеми противно, не о чем говорить. К чему? Я, конечно, попробую воспитывать, ведь надо». «Ничего не выйдет», — сказал лесничий. «Почему?» «Если кто-то чего-то понимает, то только сам», — сказал лесничий. И добавил, что хорошо, что хотя бы позднее понимание, а то чаще всего срок дотягивают вообще без понимания. Тут как раз и вышла Дуся.

На развертях простились. Кирпиков помочь в лесу не обещался. «Мне простительно: я этих пожаров перетушил — массу!» — «Конечно, сиди, годы не те». — «Во-от. Только и осталось сидеть да смотреть. И ты перестань скакать, иди на пенсию». — «Да если питомник нарушится, мне хоть в петлю». — «Все равно ведь вырубят». «Для этого и растет», — отвечал лесничий.

— Заходи, — позвал он на прощанье, — я в зимогорах у Пашки Одегова.

10

Раньше или позже, но все понимают простую истину: надо делать добро. Лучше, конечно, понять ее раньше, а то желание делать добро появится, а сил не будет, что толку из бездельного желания. Есть оговорка: деньги. Скопившие их на обманах и спекуляциях к старости сентиментальны и легки на мелкие подачки. Купцы поступали размашистей — бухали состояние на церковь, спасались верой. Но денег у Кирпикова и в заводе не было, да и куда бы он их бухнул. Но сделать доброе дело хотелось. Он решил обойти поселок, ему будет не стыдно поучать — уж теперь-то безупречен. Побрился, бриться было легко, лицо гладкое, надел чистую рубаху и к вечеру отправился.

— Жених! — приветствовал его Деляров.

К нему первому зашел Кирпиков. Держался Деляров надменно, как восточный мужчина. Да, что ни говори, как ни воспевай облагораживающую силу любви, есть у нее и другая сторона. Вот пример — Делярова полюбили. По всем правилам он должен стремиться стать достойным любви, а он? Опустился, стал хуже ленивого кота, в голосе зазвучала руководящая нотка. Даже не встал с лежанки.

— Что ж это, дорогуша, твоя картошечка не растет? На объективные причины спишем? А питаться будем твоими оправданиями? Хе-хе. Если бы мои женщины не поливали...

— Хе-хе, — ответил Кирпиков.

— Бутылочку допить пришел? — продолжал Деляров.

— Подавись, — ответил Кирпиков и, легко вспоминая, как его честила Варвара, отдал Делярова как по печатному. — Запейся ты этой

заразой, захлебнись и пропади с ней вместе пропадом. Ты где был в войну?

И Деляров встал и поправил подтяжки.

— Этого питья, знаешь, сколько в моей жизни было? — сказал Кирпиков. — Было его хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся. Подзывают — стакан в зубы. И я радовался. И что? И дошел, что засыпал и просыпаться не хотелось. Теперь ты горюешь, что меня за стакан не унизишь, а хотелось бы, а? Но я по твоему носу вижу, по твоей лысой башке, что ты всю жизнь пил. Но кончик вылез. И ты скажи — пил? Тайком.

— Пил, — сознался Деляров.

— Чем еще занимался? — Сердце Кирпикова застучало, и он стал глубоко дышать и, как уже приучился за эту весну, тереть левый бок левой рукой. Нет, не годился он в обличители.

Когда Деляров остался один, ему показалось, что о нем что-то знают и что Кирпиков приходил намекнуть. Но о чем? Он стал вспоминать свою жизнь. Был он в этой жизни исполнителем чужой воли, а если делал подлость, то разрешенную, подлость эта прощалась, а прощение он всегда отработывал усердием. Не за что, не за что ему бояться.

Все же он слег.

Огородами Кирпиков прошел к Афанасьевым. Действительно, у Делярова всходы были получше, видно, и вправду поливали. Дело это было невиданное — поливать картошку. До всего дойдем, подумал Кирпиков. На том месте, куда он весной выплеснул водку, был посажен облепиховый куст.

Оксаны не было дома. Афоня ужинал. Не глядя тыкал вилкой и глотал то, что цеплялось. Читал комментарии спортивных обозревателей. Он спешил смотреть встречу на Кубок УЕФА.

— Здорово, Сашка, садись.

Позывные донеслись из передней комнаты. Афоня прыгнул туда. Влетел Павел Михайлович Вертипедадь.

— По другой программе сказка, — печально сказала дочь Афони.

— Давай я тебе сказку расскажу, — насмался Кирпиков. — О живой воде.

— Там настоящие артисты, — печально сказала дочь.

Болельщики принялись за свое — переживать, составлять прогнозы, заключать пари, чья возьмет, словом, зажили так полно и счастливо, что Александру Ивановичу тут делать стало нечего. О нем вспомнили, только когда кончился футбол и Афоня выключил телевизор остывать. Ничья. Так что причиталось с обоих. Включать телевизор Афоня не разрешил.

— Твой отец, — сказал он дочери, — лучше тебя понимает. Главное, — обратился он к Павлу Михайловичу, — понимать мотор, и примут в любой организации. Я мотор понимаю. Дай мне самолет, я взлечу.

— А сядешь? — спросил Павел Михайлович.

— Посмотрим... А где Сашка? А чего он приходил?

А Сашка подходил к дому Васи Зюкина. Помня, сколько тут было собак, он взял палку, тишина во дворе смутила его, он подумал — затаились, и ногой пнул калитку. На траве двора лежал Вася. Кирпиков убрал палку за спину.

— Здорово.

Вася встал, поздоровался и снова лег. История Васи была душевнораздирающая.

— Хуже собаки считала. Ты, говорила, хуже собаки. Я думаю: ладно, до собаки я дотянусь. Получилось. Стал даже лучше. Только это разве по совести — всех распустила, я за всех отдуваюсь. Дом стерегу, на прогулку сопровождаю, выдрессировала дрова колоть и воду носить. Это по совести?

— Надо помогать, Вася,— осторожно сказал Кирпиков,— я тоже никогда в жизни пол не мыл, а тут она прихворнула, я вымыл.

— Ты не пугай,— возразил Вася.— Чтоб заставлять воду носить, этого в книге нет. Там перечисляется: бегать за дичью — ладно, приносить шлепанцы — туда-сюда, ходить за вечерней газетой — терпимо. Но на задних лапах ходить — это издевательство. Дураков нет. А вообще, знаешь, Саш, мне хорошо,— сказал вдруг Вася.— Напьюсь, напьюсь — и спать! Бывай!

— Бывай,— грустно сказал Кирпиков,— плохо ты, Васька, живешь.

— Тебе бы так,— ответил Вася.

Кирпиков побывал у староверов Алфея Павлиновича и его тихой жены Агуры. Но толку не взял. Домик стоял близко к полотну, гремели поезда. Зачем приходил, Кирпиков и сам не понял.

Вот и кончилась душеспасительская деятельность Кирпикова. Медленно, миновав стороной пивную, он вернулся домой. В тетради записал: «Люди еще не доросли до всего понимания». Но что они должны были понять? Что пить нехорошо? Это они знали и сами. Курить вредно? Тоже знали. Что еще? Что надо жить хорошо? А кто спорит?

Напоследок Кирпиков взялся за огород. Поливал особенно усердно то, что любила Маша: горох, бобы, черную смородину. Только зря поливал: кусты горели на корню, крохотные ягоды сохлись, листья свернулись и шуршали под ветром. Не у них одних, у всех тротив прошлогодного было плохо. Огурцы еще в зародышах сморщивались, желтели, чернел неотпавший цветок. Капусту жрали тощие живучие гусеницы. Сколь их ни обирали, даже куриц напускали, эти гвари множились, подтверждая слова Кирпикова, что зараза заводится в тепле. Толщиной со свиный хвостик выросла морковь, свекла затвердела, как мочало, репа и редька почему-то не сидели в земле и, как их ни обсыпали, высывались, побурели, стали жесткими. Лук был мелок, перья вяло стлались по земле. Только семенной, несъедобный, торчал прямыми сизыми прутьями.

Всюду, сказывали, был плох урожай. Но что там ни говори, а картошка-матушка не подвела. И мало ее было, и мелка, и язвиста, а была! Что интересно, на некоторых кустах родилась одна мелочь — белые мягкие завязи, на других же выросло всего по две-три картофелины, но крупные. «Важнее качество, а не количество», — говорил воспрянувший Кирпиков. На пробу на свежоварку он подкопал два куста. Картофелины-семенники не успели израсти, были тверды, только сверху почернели. Чтоб зря не пропадали, Кирпиков отнес их мерину. Тот не заржал, не упрекнул за долгое отсутствие, похрумкал картошку и снова замер. Только вздрагивал кожей, пугая мух. Он захандрил одновременно с Кирпиковым и сейчас был в том же состоянии одиночества, что и хозяин. Только в отличие от хозяина его состояние его не огорчало. «Мне бы лучше с тобой говорить было», — сказал Кирпиков. Мерин даже глаз не открыл.

Вечером Кирпиков затопил баню. Не топили ее уже давно, ходили в казенную. И сам же Кирпиков хотел ее раскатать на дрова.

— Что ты, старый,— прибежала в баню испуганная Варвара,— оштрафуют.

— Да я ольхой, от нее искр нет.

— Зачем?

Кирпиков терпеливо объяснил, что будет коптить мясо.

— Зачем? Осени тебе не будет?

— Мне уже ничего не будет.

— Ой, Саня, сковырнешься, недолгое дело. А все тогда, когда кону вынес.

— Принеси. Я тоже скоро поверю.
Слезы от сладкого дыма ольхи заставили их плакать.

Насушив сухарей, накопив мяса, Кирпиков решил увековечиться. Ни разу не фотографировался он просто так, только на документы, но сегодня, перед «минутой решительной», как сказали бы наши полководцы, было надо. Он решил разослать детям свой снимок и послать отдельно Маше. Надпись будет такая: «Без слов, но от души».

Еле-еле душа в теле поволокся он по улице. Рекламные фотографии на стене мастерской были разноформатны. На самых больших — свадебные: напряженные лица; также много было младенцев: голенькие карапузы поднимали голову; много семейных снимков: женщины с детьми на коленях, мужчины, положив руку женам на плечо. Были и застольные. Фотограф проследил весь человеческий путь — правда, без конечной инстанции. Он, конечно, снимал и ее, но для рекламы не поместил: никак не вписывалось соотношение вертикалей остающихся и горизонтали уходящих.

Все вышло хуже, чем хотелось. Фотограф высунулся:
— Заходи.

Кирпиков постеснялся сказать о большой фотографии. Попросил на паспорт. Он выдержал пытку включенным светом, напрягся, по-дождал, пока щелкнуло. Он думал, что получится на фотографии злой, но на восьми маленьких квадратиках, полученных вскоре, он выглядел просто уставшим, с темными подглазьями и худой шеей.

Никому он этих снимков не послал.

11

В отрывном календаре Кирпиков прочел, сколько людей на земном шаре рождается и умирает в одну минуту, но цифры ничего не сказали ему и не запомнились. Земля-матушка велика, находились чудачки, что шли вокруг нее пешком, и шли непрерывно по два года. И тут же другая скорость — космонавты за одну ночь обкручивались вокруг планеты раз по шесть, по семь. Земля — песчинка рядом с Солнцем, а Солнце — песчинка рядом с другими звездами. Но все эти сопоставления о разных скоростях, об одновременности рождения и смерти были слабыми подступами к тому, что хотел понять Кирпиков. А что он хотел понять? Обошелся ли бы без него этот мир? Тут он уже ответил: вполне. А близкие? Варвара? Дети? Но мог быть другой. Так что он был заменим со всех сторон. А Маша? Что Маша? И была бы Маша и была бы так же кому-то дорога. Ну, может, не так же. А может, даже и больше.

Ну ладно, все бы без него обошлось. Но он-то жил. Он-то жив. Он-то топтал землю, земля носила его шестьдесят лет. За что ему была такая радость — жить, чем он отблагодарил? Да ничем.

Последней точкой, поставленной в решении уйти, была беседа доктора биологических наук, переданная по радио в университете миллионов. Даже не вся беседа — один факт. «Человек, — сказал доктор, — начинает умирать со дня своего рождения. Уже первым своим криком, этим своеобразным сигналом-оповещением о себе, младенец убивает определенное количество нервных клеток коры головного мозга».

Самому Кирпикову горевать было нечего — пожил, но как поверить, что Машенька, которой семь лет, уже семь лет умирает? Он во многом запутался и должен был разобраться.

— Не обессядь, — сказал он Варваре, — ухожу.

— Куда? — испугалась она.

Он показал вниз.

— Господи! Не одно, так другое, не другое, так третье.

— Спросят, скажешь: уехал, не доложился.— Он заторопился, чтоб не слышать причитаний и ругани, а они, конечно, начались.

— Это ведь только сообразить — залезать в подполье. Не пущу!

— Пустишь.

— Через мертвую перешагнешь.

Кирпиков, сохраняя нервы, отодвинул Варвару от крышки подполья. Она отодвинула его. Еще пару раз туда и обратно.

— Это же смешно,— сказал Кирпиков.— Раз я решил... Отойди! Меня нет. Я записал, что умер. В тетради.

Варвара открыла подполье и спустилась первая.

— Как в могиле,— комментировал муж, появляясь следом. Он зажег керосиновую лампу.

— Ведь дом спалишь.

— Если спалю, будешь гореть не в простом пожаре, а в геенне огненной. Огонь с того света. Шутки шутками, я остаюсь. Неужели это трудно понять? Еще не так давно я это с тобой репетировал. Неужели повторять? От похорон избавляю. Приказываю долго жить.

Варвара вылезла.

— Закрой крышку.

— Из-за тебя, ирода,— сказала она,— я от бога отшатнулась, ты же уговорил, думала, грешница, будешь жить по-путевому, эх! Людей ты не совестишься, иудушка ты безголовый.

— О мертвых или хорошо, или ничего.

Это было последнее, что сказал Кирпиков. Крышка захлопнулась.

Вначале (часа полтора) заточника одолевали светские заботы — надо было вытерпеть крики Варвары. Она упрекала, что он и умереть-то по-нормальному не может, что бросил, свинья, на нее все хозяйство — и лесобазу стереги, а такая жара, что нужны глаза да глазки, чтоб как бы чего, и конюшню надо чистить, и еду готовить. И все время ритмически она вставляла вопросы: ты вылезешь? ты перестанешь народ смешить? милицию вызвать?

Кирпиков мог бы возразить Варваре по существу на все наскоки. При чем тут народ и милиция? Он имеет право на отдых? Имеет. Заслужил. Пенсия так и называется: заслуженный отдых. Отдыхаю. Избрал вечный покой. На курорт денег нет; отдыхаю тут. Но любое объяснение спорно, поэтому лучше молчать.

Варвара сменила тактику. Она стала его выкуривать, загля тряпку и сунула вниз. Но он пересидел дымовую атаку около отдушницы. Тряпка догорела, дым сквозь щели поднялся в избу. Варвара проветрила ее и скромно спросила:

— А вода есть у тебя?

Кирпиков откашлялся и не ответил. Варвара обиделась, что даже на заботу муженек не откликается, и притихла. Так они стерегли друг друга еще полчаса. Потом Варваре понадобилось идти кормить куриц.

— Надоест — скажешь! — заключила она.

Он осмотрел хозяйство: мясо, сухари. Из книг — «Занимательная математика» и «История». Взял «Историю».

Красивые слова обозначают потусторонний мир. Потусторонний. Уж лучше, чем бранный. Загробное, но царство. Царствие небесное. Перешел в лучший мир. Лучший. На тот свет не просто идут, а возносятся. Нерешенное здесь мы поневоле откладываем на вечную жизнь, идем туда налегке.

Попытки фараонов и печенежских князей утащить с собой побольше барахла были наказаны — могилы их были разграблены лихими ребятами. А кто польстится на бедный холмик под деревянным крестом или металлической пирамидкой?

«Умер,— думал Кирпиков,— а что изменилось?»

Вот куда загнал его упрямый характер. Но он не жалел. Сам решаясь, надо терпеть. Он прибавил фитиль. Тепло, светло и мухи не

кусают. Тихо. Не холодно, не жарко. Сравнение с тем светом как-то не приходило, скорее его сидение в подполье напоминало гауптвахту. В картофельной яме можно было даже постоять и пошагать туда и сюда два метра. Около лестницы лежали остатки прошлогодней картошки. Они изросли, сморщились, выпустили целые заросли длинных ростков. Кирпиков решил их обобрать и подать наверх, чтоб Варвара не лазила. Раз в неделю он будет также выставлять наверх поллитровую банку варенья. Пусть пьет чай. Все раздумья были житейскими, и незачем было уходить в подполье, чтоб додуматься до таких мелочей. Кирпиков усовестился, но подумал, что не все сразу, время терпит.

В тишине все-таки было слышно железную дорогу. Исчезли ее скрежеты и лязги, она тукалась глухо, как будто трамбовали землю колотушкой. «А если еще глубже? — подумал Кирпиков. — Будет слышно?» Мысли его были дерганые, он вспомнил, как ждали железную дорогу, радовались, было оживление. Стояли и дальние, грузили круглосуточно строевой лес, рудостойку, потом дрова, бумажное сырье и вот сейчас подчищают остатки. И поселок стал не нужен. Еще думалось, что лесничий однажды говорил, что поклонился бы тому в ноги, кто найдет замену дереву. «А разве нет? А пластмасса?» «Она же не разлагается, а сжигать — выделяет удушающий газ». Сейчас лесничему несладко и Афоне несладко, думалось Кирпикову. Хорошие они люди, может, и на Делярова зря наорал, а Вася-то, неужели так и останется?

Он все ловил себя на том, что мысли его крутятся вокруг оставленного наверху. Он великодушно, как пустынный, жалел всех и прощал.

Страшно было спать Варваре. Если бы ей сказали, что в подполье сбежалось сто чертей и домовых, она бы это легче перенесла. Нечистая сила, что с нее взять. Но под полом муж. Если бы хоть Варвара до этого пожила немного в городе, все было бы легче. Там быстро привыкаешь, что ты над кем-то и над тобой кто-то. Перед сном Варвара крепко поговорила с мужем, крепко его отрапортовала. Это была игра в одни ворота — муж не отвечал. «Подох уже?» — спрашивала Варвара, скрывая испуг. Но муж успокаивал — стучал по доске, — и она ругала его удвоенно. Все больше лешим. Она давно и, видимо, до конца застряла на этом ругательстве. Было оно ему как бессрочный паспорт. А ведь было время других прозвищ... Сам Кирпиков ругаться перестал, но жену не осуждал. Ругает лешим, и ладно. Сейчас это очень подходило — сидел он в обители нечистой силы, был после фотографии небрит. И перетерпел: жена отступилась. Напоследок сказала:

— С тобой, лешим, никаких нервов не хватит.

Кирпиков надменно пожал плечами. Он выстоял, не ввязался в ссору и уважал себя. «А будет еще орать, — решил он, — уйду еще дальше».

Настала ночь. Оба не спали. Варваре казалось, что муж спалит дом, а сам пересидит в яме. Или что он будет вылезать и она сойдет с ума. Он-то уже сошел. Это было ясно. Хорошо хоть не буйный. И как она, дура, с ним, паразитом, связалась.

Варваре казалась загубленной своя жизнь. А ведь какие ребята к ней подходили, Витя, Коля, а она, дура, дураку поверила. Да неужели бы кто-то из них, Витя или Коля, полез в подполье? Варвара даже засмеялась.

Внизу Кирпиков насторожился. Слезу, ругань — все можно вынести, но смех? Сама с собой? Как бы чего не случилось. Нет, замолчала. Не дает ни о чем думать, поспать даже нельзя. Кирпиков слышал, что кто-то шебаршится, полез рукой, притихло. «И без меня так, — думал он, — кто-то здесь живет, а кто, не знаю. А я помешал. Всем мешаю.

Нет, шуршит. Наверно, сверчок. Буду терпеть. Говорят, они по сто лет живут. Пусть живет: хлеба не просит. И всегда будет скрестись. Этот дом сгниет — в другой перейдет. Сделает норку, натаскает еды и зашуршит. Вот и смысл.

Ближе к полночи, когда через станцию пролетел скорый номер первый, Варвара решила пойти за помощью. Она крикнула: «Не спишь?.. Считаю до трех, не вылезешь — пойду за народом. Силком выволокут... Раз... два... два... с половиной... три!» Пошла и хлопнула дверь.

«Ружье-то забыл, — подумал Кирпиков, — ну, может, напрямую не пойдут, а осаду выдержу — питание есть. А то подкоп начну рыть. Да она и не ушла, стоит за порогом».

Точно — не ушла. Решила все перепробовать. Вернулась, легла и стала тяжело дышать, потом приставывать. Она знала, что сердце у мужа не ледышка, вот как он суется вокруг нее, когда ей стало плохо, когда бутылки чихвостили. Пять минут, не больше, стонала она, и муж подал голос:

— Чего?

— Плохо.

— Мать!

— Чего?

— Нельзя мне вылезать, поклялся.

— Да и оставайся, меня и без тебя закопают.

— Ведь притворяешься, чтоб вытянуть.

— Вылезь, Саня, не срамайся.

— Мать, я не вылезу. Я записал, что я умер, так и считай.

Я первый об этом сказал.

— Мне и воды некому подать.

— Ты где лежишь? Около печки?

— Да.

— Так вода-то рядом.

— Ой, леший, — сказала Варвара. — Зачем полез?

Кирпиков стал спокойно объяснять:

— Я вначале хотел лечь на заморозку. Написал бы заявку и лег. Только ты ж знаешь Дуську, тем более она связалась с этим пришлым, погреба у нас нет, у нее. Она ж задавится от жадности. Я бы и свой выстроил, получше, но где летом лед взять? Поэтому я и залез. Дошло? Конечно, здесь хуже, не сразу отойду.

Варвара включила все лампочки в доме. Навалила на крышку подполья много тяжестей. Еле высидела до утра.

Утром она поглядела на счетчик. Первая ночь стоила ей пяти киловатт электроэнергии и остатков терпения. Нет, всему положен предел. Еще одну попытку, утреннюю, предприняла Варвара.

— Отец!.. Саня!.. Слышь, чего говорю?.. (Молчание.) Слышь? Пойду в милицию звонить.

— За что?

— Там объяснят за что. Вложат ума-то. Я пошла.

Она протопала над его головой.

Нет, не так, далеко не так представлял он одиночество. Ну что за народ? Радовалась бы — мужик дома, картошку перебирает, нет, надо ей милицию. Он крикнул:

— Радовалась бы! (Молчание.) Иди, иди! (Молчание.) О тебе же думаю!

— Нечего обо мне думать.

— Не ушла.

— Я должен думать над смыслом жизни!

— Да ведь думал уже! Когда весной-то прихватило. Вот досидишься, опять схватит.

— Весной я ни до чего не додумался.

— А чего тебе здесь-то не думалось? В погребе два дня сидел.

— В погребке я хотел на заморозку. Повторяю. Заморозка на сто лет. Чтоб рассказать в точности от очевидца.

— Тьфу!

— Не тьфу! Я должен записать, чтоб стали жить хорошо, не пили бы, не обижали друг друга. Я напишу призыв к мужикам, ночью вылезу, налеплю у пивной. Может, опомнятся. А еще...

— Сказать кому, как с мужиком говорю, не поверят. Ты вылезешь?

— Варя, я должен понять, зачем я жил.

— Живешь — и живи. Я вот живу, и все.

— Женщинам легче. Раз родила, значит, оправдана...

Голос Кирпикова размеренно и глухо доносился из-под земли. Он вещал безадресно, вообще, и Варвара подумала: да есть ли там мужик-то?

— Сань?!

— ...Ты оправдана, дети — твоя заслуга.

Варвара вдруг горестно сказала:

— Спасибо, оправдана. Дети оправдали. А вот хоть осуждай, не осуждай, типун мне на язык, все одно согрешила, одно к одному, думаю иногда, грешница, лучше бы их не было. — Она помолчала. — Нам, Сань, тяжело, а им будет еще тяжелей. И больше, ты меня на куски режь, ничего не скажу. Сгорю, головешкой буду лежать.

— Почему это им тяжелей? Я думаю, обратно. — Кирпиков сказал это торопливо, чтоб отвлечь Варвару. — На-ко! С чего это им тяжелей? Ма-ать?!

— А болезни? — все-таки откликнулась Варвара. — Нервы, да давление, да сердечные, голова болит, сейчас молодые-то все гнилушки.

— А что, раньше болезней не было? Все заразы побеждены: оспа, малярия, тиф. А нервы, мать, это только у тебя, ты все близко к сердцу принимаешь, а молодым на все наплевать. Попробуй невестку расстроить — она тебе вперед глаза выцарапает, ст семи собак отластается. Это мы последние такие жалостливые. Ну, Машка еще. Да и ее, — горько сказал Кирпиков, — могут по-своему поворотить.

Спустя некоторое время Варвара задала все тот же вопрос: «Ты вылезешь?» Но Кирпиков не стал перекоряться, не стал спрашивать, зачем надо вылезать.

— Мы так душевно разговариваем, так хорошо сидим.

— Это ты, идол, сидишь, — устало сказала Варвара.

— А ты чего всю ночь свет жгла?

— Боялась. А ты что, до зимы будешь сидеть?

— Не трогай, может пораньше выйду. Я ж не мешаю. Тише та-ракана... Я только тебе по секрету скажу, никому не говори — я для науки сижу. Проверяю самого себя на совместимость. Космонавты сидели, а мне уж и нельзя? У меня здесь, может, прямой провод кой-куда.

И Варвара махнула рукой.

«Интересно устроен человек, — думал через два часа Кирпиков, — то она мешала мне с разговорами, то давно голоса не слышал».

Потом еще прошло время, и полная тишина восхитила вдруг его — и он возликовал.

Глаза его обтерпелись, и он увидел то, чего не замечал раньше, — со всех сторон его обступило тихое свечение, похожее на мерцание свежего снега под луной. Когда он слегка менял положение головы, свечение вздрагивало, и он боялся его спугнуть. Никогда раньше он не видел этого мерцания, залезал под пол по делу, знать не знал, что здесь идет эта тихая пугливая жизнь. Свечение гнилушек для сверчка все равно как лунная ночь для нас. Здесь его территория, его внимательная подруга, их дети и их хоровое пение.

Додумавшись до таких вещей, Кирпиков сравнил себя с Машей,

которая во всем, даже в трех камешках, видела семью («Побольше — папа, поменьше — мама, а самый маленький — их дочка»), сравнил и подумал: она бы поняла.

Кирпиков заправил лампу и сел за математику. К вечеру она надоела ему смертельно. Все тот же великан с разинутым ртом, те же тонны и центнеры жратвы, а там, где было сосчитано, сколько человек спит, ест, сколько умывается, работает, читать было неинтересно. А где подсчитано, сколько он сидит в туалете? Стоит в очередях? В среднем за жизнь. Почему скрывают? Неправды Кирпиков не потерпел. Выждав, когда Варвара пойдет за хлебом, он сделал вылазку. И забрал все книги, бывшие в доме, — а это были учебники.

Он начал с зоологии и сам себя не мог оттащить за уши — ничего себе, а он и знать не знал, какие интересные книги учили его детей. Он смотрел на ящеров и находил в них сходство с кукурузоуборочными комбайнами. Те так же возвышались над полем, так же выгибали спину. Он проскочил зоологию и сел за ботанику. Папоротник был древнейшим, а он у них растет. И из него каменный уголь. А почему у них нет разработок? Лес вырубил, надо добывать уголь. Запомним, отмечал он, садясь за историю.

История потрясла его окончательно. Он нашел лопату и принялся за раскопки. «Неолитическую стоянку найду, — думал он. — Скребокковые орудия, наскальные рисунки, а нет, так отпечаток папоротника, ну это-то ладно, а каменный уголь надо найти. Или вообще какое ископаемое. Или брызнет фонтан нефти. А если что, — думал он резервно, по-крестьянски, — так хоть подполье расширю».

Вначале он не копал, а как бы окапывался, потом будто отрывал щель, потом взялся за окоп полного профиля. И только когда подошел к штабной землянке в три наката, опомнился и стал внимателен к срезам.

Лопата стучалась о твердое — он вздрагивал, щупал. Камешки откладывал в сторону, щепочки отбрасывал. Докопался до глины. И тут уж, как выразился бы Афоня, сел на дифер: глина оказалась непроворотной.

Пришлось часто отдыхать, глина сверху была твердой, сухой, подальше — сырой, тугой. Никаких щепочек. «Неужели в этом слое не жили? — думал Кирпиков. — А если откопаю, то как назовем государство? Северное Урарту? Ты откопай вначале», — упрекнул он себя. Еще полчаса — и он начал сдаваться. «На хрен оно загнлось?» — думал он про Урарту, но вятское твердолобие, которое пора ввести в пословицу, заставляло копать дальше.

12

Изо дня в день Деляров прощался с белым светом. Он завещал Дусе подшивку журнала «Здоровье» и просил не терять. Он все собирался что-то рассказать. Но Дуся, как заинтересованное лицо, не годилась в исповедники. Интерес ее был в одном:

— Леонтий, разве я для себя? Мне надо, чтоб у дочери был отец. Она тоже имеет право сказать слово «папа».

— У меня уже есть дети, — предсмертно хрипел Деляров.

— Дочь тебе в тягость не будет. Скажет «папа» — и я спокойна. А то она упрекала, что у нее не все как у людей. А я на тебя покажу: полюбуйся, дочка. Ты не умирай, я ей телеграмму отбила. Она ничего девка, — продолжала Дуся, — была непочетница, а теперь пишет: смотри, мама, что из меня вышло — квартира и образование.

— Но я плохой, — хрипел Деляров.

— А кто хороший? — спрашивала Дуся.

— Принеси, — шептал Деляров, и обильные слезы текли из глаз.

Он худел. И если бы не добавлял жидкости, то скоро и плакать ему было бы нечем.

В буфете, куда Дуся шла с черного хода, на нее шипела Лариса: «Опять?» «Тебе хорошо,— отвечала Дуся,— ты на народе, ты от уха да избавилась, так уж давай откупайся». Лариса наливала ей бидончик. Деляров высасывал его в полчаса, снова принимался плакать и все выплакивал. «Принеси»,— шептал он. И так до трех-четырёх раз на дню.

С субботы на воскресенье, была полночь, Дуся запомнила: грохотал дальний скорый номер первый, в полночь Деляров сделал признание:

— Я бежал от жены и детей.

— Правильно,— сказала Дуся,— я ее знать не знаю и знать не хочу, но чувствую: она тебя недооценивала.

Деляров уточнил:

— Вернее, они меня бросили, и заслуженно.

— Ничего,— утешила Дуся,— теперь ты хороший.

Деляров сделал последнее признание:

— Я работал секретным сотрудником.

— Надо же кем-то работать,— ответила на это Дуся.

— Я прощен? — прошептал Деляров.

— Все пьешь, а не ешь,— упрекнула Дуся.

— Я прощен?

— Отвяжись.

— Тогда я умираю.

— Не вздумай!

Деляров красиво откинулся на подушки и замер.

Дуся кинулась за фельдшерницей.

Безотказная Тася не могла прощупать печень и поэтому прописала лечение голодом.

— Принеси,— прошептал Деляров.— Голодом, но не жаждой.

— Брошу я тебя,— сказала Дуся и пошла к Ларисе.

— Скоро умрет,— сказала она Ларисе.

Лариса опечалилась:

— Знаешь, Дуся, брось бидончик, кати целую бочку. Пусть напоследок потешится.

К вечеру Деляров запел строевую походную «Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина...».

Потом, плача и рыдая, спросил, пьет ли Кирпиков. Ему сказали, что пока неизвестно.

13

На другом конце поселка тоже копали. Но цель копания была иная. Если Кирпиков раскапывал прошлое, то здесь закапывали настоящее. Копал Вася Зюкин. Вначале он пробовал рыть по-собачьи, руками, но двигалось медленно. А хотелось быстрее. Вася взял лопату и почуствовал, что становится человеком. Около ямы валялись обреченные вечности пустые бутылки. Были тут разные трофеи: и сквермут, по Васиному выражению, и кисллинг, и солнцедар — все они подлежали уничтожению.

Надо было крепко желать избавления от прошлого, чтобы рыть с таким остервенением. «Поглубже их, поглубже»,— думал Вася о бутылках. Из окна за Васей наблюдали через темные очки. Вот он углубился до пояса, вот скрылся по грудь, вот с головой, а под конец только мелькала выбрасываемая земля.

Вдруг вопль услышала жена Зюкина.

— Тону! — орал Вася.— Дай веревку! Вода!

Он вылез теперь уже не из ямы, а из колодца. Жена велела зачерпнуть жидкость на пробу и отнести Тасе. Тася не взяла на

себя ответственность дать заключение, выехала вечерним поездом в районцентр, ночевала у деверя, утром пошла в аптеку.

Анализ показал: вода необычайно богата анионами и катионами, хотя содержание фосфора ниже нормы, но зато калийные и натриевые компоненты превышают допустимые, азотнокислая составляющая колеблется — словом, вода, открытая Васей, была целебная. Пить можно, купаться подождать.

Вася стал было рыть новую яму, чтоб схоронить-таки бутылки. Но его осенило. Он сделал из бутылок оригинальный сруб. Намешал глины и вмезал в нее пустые бутылки. Красота получилась — стекольные стенки играли отблесками воды, ветер залетал в горлышки бутылок и ворковал. И Васе казалось, что это благодарная душа спасенного голубя. Днем источник сверкал на солнце, ночью дробил лунный свет. Вася сидел около источника, всех просил попробовать, но никто не решался. Только Физа Львовна сказала: «Совсем как в нашем колодце, никакой абсолютной разницы». «Значит, у вас тоже источник», — ответил добрый Вася.

Он первый из всех вспомнил о Кирпикове. Вот ведь кого надо благодарить, вот ведь кто поставил его на ноги.

Меж тем забытый Кирпиков писал в дневнике: «23 июля. Глина. 24 июля. Глина. 25 июля. Второй звонок. Глина». 26 июля лопата его ударилась о кость. Он отскреб глину — череп. Посветил. Собачий. «Жаль, — подумал он. — И рассказать — засмеют: собачий череп. Если бы череп далекого пращура». Стоп! Под черепом глина кончилась, и начались какие-то странные рвущиеся волокна. Вроде трава. Кирпиков вспомнил: трава поднимется до животных, факт налицо! А животные поднимутся до нас. Кирпиков пощупал лоб. Кожа на нем ерзала. Мягкие ткани, сказано о коже в анатомии. Собачий череп он положил сбоку. Стал ковыряться дальше, но шла сплошная свинцовая глина. «Как это ребята росли, — думал он, — читали такие хорошие книги и ничего не откопали. Да я бы знал, все бы перерыл».

А второй звонок, то есть сердечный приступ, у него был накануне. Видимо, от тяжелой глины и от духоты. Но Кирпиков был уже опытный. Когда перехватило дыхание и отнялись ноги и руки, он не стал дергаться, а как повалило, так и лежал, старался терпеть. И вылежал, вдохнул. Потом вполз на лежанку. А потом снова потихоньку разработался.

Он стал выходить тайком, когда не было Варвары, и тайком помогал ей. Она нарочно громко удивлялась, какие это тимуровцы ей дров наготовили, воды натаскали, поганое ведро вынесли. Караулила мужа наверху, но он не попадался.

В это утро он сидел, скреб молодую бороду, смекал насчет проводки электричества и услышал:

— Хозяева!

Голос Веры, почтальонки.

— Сейчас! — откликнулась Варвара. Заскрипела кровать. Варвара отдыхала после ночного дежурства.

— А хозяин-то где? Пенсию думает получать? Сейчас тебе спокойной. Не проплет. Все в сохранности.

— Дак ведь уехал он.

— Гли-ко ты, гли-ко, — удивилась Вера. — Тогда ты, матушка, распишись.

Кирпиков заскрипел вставными зубами. Часть пенсии он хотел истратить на лабораторное оборудование. А Варвара разве выделит?

Женщины сели попить чаю, поговорили о зюкинской воде. Доверия к ней не было, всегда кажется, что исцеление ждет нас за тридевять земель, а не лежит под боком. Ну хоть на ноги встал, и то хорошо, сказали они о Васе.

Перед уходом Вера еще раз спросила:

— Уехал, значит?

— Уехал.

— Ладно, пойду. Таскать почти нечего. Три пенсионера на весь поселок: Деляров, Севостьян Ариныч да твой. Скоро Зотовы, Алфей и Агура, пойдут. Да мы.

— Скорей бы.

Вера ушла.

— Дай деньги,— тут же сказал Кирпиков.

— Бери,— ответила Варвара,— вон лежат, вылезай, все твои.

— Деньги семейные, можешь расходовать, но мне нужно лабораторное оборудование для опытов.

Варвара перекрестилась.

— Дальше ехать некуда! — сказала она.— Дымом я тебя не выкурила, я тебя, как крысу, водой залью. Ты чего там копаешь? Я что, глухая?

— Я копаю бомбоубежище.

Варвара чего-то оглянулась и ужаснулась, как от видения. Дверь, которая всегда скрипела, сейчас была нараспашку и в ней стояла бледней привидения, белей коленкору почтальонка Вера. И надо же было Кирпикову утром вылезти и смазать петли. Ему скрип петель мешал читать. Ему требовалась благоговейная тишина. А Вера была квитанционную книжку и вернулась. Женщины постояли, в страхе глядя друг на друга. Потом Вера убежала.

— Ну вот,— сказала Варвара и села отдохнуть.— Теперь из-за тебя, нехристя, и меня ославят. Сидишь там, как дезертир. Уж хоть бы тогда в лес, что ли, ушел.

— А что это за зюкинская вода?

За окном затрещала сорока. Варвара сказала ей старинную сказенку:

— Сорока, сорока, хорошую весть скажи, плохую дальше неси.

Сорока улетела дальше. Весть и вправду была неважнецкая, не сла ее Вера. Она так быстро бежала, махала руками, что два раза просквозила поселок, пока не заскочила с ходу в магазин. Ударилась о прилавок, сбила с точной регулировки весы (с тех пор они недовешивали на каждом килограмме сто граммов) и... убила всех наповал:

— Кирпиков копает укрытие. Бомбоубежище. Сама слышала!

Спички стали хватать ящиками, соль мешками.

— На всех делает? — слышались вопросы.— Или только на себя?

— А на мерина?

— Какой теперь мерин?

Дуся волновалась всех сильнее:

— А больных будут вывозить? В каком направлении?

Вслед за Верой ушла и Варвара. Кирпиков, думая, что кончилось уединение, решил собираться. Он не удивился, когда услышал Афоню.

— Ты в подполье? — Афоня поднял крышку и спустился.— Ого! Да ты что, тут жить собрался?

— Живу! — ответил Кирпиков, думая, что Вера уже всем рассказала.

Но Афоня ничего не знал.

— Саш, я что прошу — спрячь деньги,— он протянул холщовый мешок.— Не бойсь, мои. От своей прячу. Спрячь. А потом я в гости с ней приду, ты как вроде подполье дочищаешь и крикнешь: «О! Нашел!» А я крикну: «Чур, пополам!» И ты себе сколь-нибудь отсчитаешь. Вроде клад. Мне на деньги — тьфу. Деньги что навоз: сегодня пусто, завтра воз. Далеко не заделывай. Баба дурная, говорит: куплю еще два телевизора. У меня есть, теперь себе и девке. И по комнатам разбежимся. Денег не жалко, но эта же заразную музыку включит,

она ж глухая, я же не услышу комментариев. Эх, жаль, ты не любитель! А может, я победил в телеконкурсе «Предсказатели»? Получу футбольный мяч, и на нем все расписались.

— Давай я распишусь.

Афоня фыркнул и долго смотрел на Кирпикова. Потом постучал себя по лбу и далее постучал по тому, что подвернулось, по собачьему черепу. Отдал деньги и вылез. Даже и не заметил, что Кирпиков бородат, что зачем-то в подполье книги, телогрейка, одеяло.

Кирпиков захоронил собачий череп и стал зарывать яму. Он вспомнил, что уже несколько дней не видел мерцания светляков, потому что забросал нижний венец глиной. Торопливо стал отбрасывать землю. Бревна сруба вновь обнажились. Кирпиков задул лампу и приготовился воспарить в мерцающем окружении. Одиночество казалось неполным без этого мерцания. И оно появилось. Но воспарения, сходства с плаванием в межзвездном пространстве не получилось. Трудно удержаться, чтоб не заметить, что ничего не возвращается.

И еще один посетитель, на сей раз Вася, навестил его.

— Александр Иванович,— закричал он,— плюнь, не мучайся! Я уже все откопал. Я источник откопал.

— У тебя вначале что шло, какой слой? — спросил Кирпиков.

— Песок.

— И у меня песок. А дальше?

— Глина.

— И у меня. А дальше?

— А дальше полилось.

— А у меня все глина и глина,— печалился Кирпиков.

— Радуйся,— утешал Вася,— у тебя бы пошла вода, подполье бы испортила, куда картошку ссыпать? — И он снова в который раз говорил, что анализ воды хороший, что он оборудовал источник и «прошу пожаловать». — А вся благодарность — тебе! — захлебывался Вася.— Иванович! Отец родной! Все отреклись, хуже пропащей собаки считали. Ты сказал: распрямись, Вася! Я распрямился и открыл источник. Пойдем, попьешь. Или сюда принести? Прикажи.

— Если ты распрямился, почему ты ждешь приказа? — заскрипел спаситель.

— Не жду! Я, например, сам, никто не велел, этикетки с бутылок насобираю! Никто не запрещает. Два альбома залепил, вечерами перелистываю...

— Отправляйся,— сухо сказал Кирпиков.

Не обидно ли — один копает сознательно и даже следов костра не отыщет, а другой ткнулся два раза — и источник. Вот и думай над смыслом жизни. Какой смысл, когда никакой справедливости?

— Тебе чего помочь? — спросил Вася.— А то пойдем, посмотри, как я облицевал. Красота.

— Отправляйся,— повторил Кирпиков. И добавил, как совершенный брюзга: — Развел тут хвал, понимаешь. Вода, вода!

— Александр Иванович, я к тебе со спасибом.

Топотанье ног раздалось на крыльце. Сегодня к заточнику паломники шли неустанно. Это были женщины и Афоня, остановивший панику в магазине. «Какое бомбоубежище? — удивился он.— Я только от него». «Проверить!» — раздался голоса. И женщины потекли к лесобазе.

Из подполья вылезал Вася. Делегация смахнула его обратно и спустилась в яму в полном составе. Когда все убедились, что насчет бомбоубежища враки, тогда уселись в холодке по краям ямы и свесили ноги.

— Ну ладно,— сказал Афоня,— ты расширяй, мы вылезем, не будем мешать, а если что, крикни. Пойдем, бабы, работает человек. Но Кирпиков остановил:

— Пришли в гости — и заторопились. Варя! Ты чаю нам не можешь сюда спустить?

— Девушки, что вы мою воду не пьете? — спросил Вася. — Я же даром, а вдобавок целебная.

— От чего?

— От этого самого, — игриво сказал Вася. — Ты ж, Дуся, в невестах запохаживала.

Явился кипящий самовар.

— Гостям я рада, — говорила Варвара, разливая чай. — И за вагеньем не надо лазить. Угощайтесь. Отец, угощай.

— Вас не беспокоят мыши? — спросила Физа Львовна.

— Нынче все мыши в лес ушли. Жара. Кору гложут, как зайцы.

— Стоп! — сказал вдруг Кирпиков.

— Чур, пополам! — крикнул Афоня.

— Совсем не то, что ты думаешь, — сказал Кирпиков. — Я все думал, и вот сказали: лес и кора. Я прочел в «Ботанике» о кактусах. У них колючки такие, что никто не зарится, даже верблюды. А смотри, какая береза беззащитная, даже мышь подьедает. И вот надо скрестить, получится березовый кактус — и никто не тронет.

— Это у вас от жары, — объяснила Физа Львовна. — Конечно, я развожу кактусы и они колючие, их поливает Мопсик...

— А разве я его не утаскивал? — спросил Вася Зюкин.

— Я говорю не с вами, — строго оборвала Физа Львовна. — Александр Иванович, это же надо обдумать, и мы с вами получим патент.

Афоня давно уже ковырял сзади себя и доковырялся до собачьего черепа. Ощупал зубы, испугался и выбросил череп на свет. Женщины стали выметаться наверх. Опрокинули на Васю самовар. Вася завизжал, заскулил и уполз быстрее всех.

И Кирпиков вспомнил, что мешок с деньгами был закопан вместе с черепом. Он сунулся — точно.

— Нашел! — крикнул он.

— У тебя что, кладбище? — спросил сверху Афоня.

— Эх ты, — сказал Кирпиков и выпихнул мешок наверх, — Деньги! — И захлопнул за собой крышку и уже снизу слышал, как Физа Львовна воскликнула:

— Чур, на одну!

— Надо находку сдать государству, — заявила Вера. — Полагается двадцать процентов.

— Это деньги мои, — сказал Афоня.

Когда все убедились, что деньги Афанасьевых, попросили, чтоб сколько-нибудь дали Васе на лечение.

Недолго после гостей высидел Кирпиков — явились наружу книги и лампа, Варвара протянула пару чистого белья.

Кирпиков вышел на крыльцо, и его повело: в голове потемнело, резануло по глазам. Он боялся, что ослеп, нет, только долго казалось ему, что на всем радужные мазутные пятна. Он и мерина увидел разноцветным, как жар-птицу.

— Что, брат? — спросил Кирпиков.

Мерин осторожно переступал и молча тыкался мордой в плечо хозяйина. Перед своей баней он устроил баню мерину — продрал скребком, протер мочалом и прямо в конюшне окатил водой из колодца. И все казалось Кирпикову, что он моет мерина бензином.

Вымылся и сам. Бороду решил оставить. Очень она чесалась, но если сбрить сразу, то Варваре будет повод думать, что сам муж признаёт поход в подполье глупостью.

Он посмотрел в зеркало. Полнота лица исчезла, глаза ушли еще глубже, но выражение было то же — ироническое. «Не отпадет голова, так прирастет борода», — вспомнил он.

С утра он взял топор и полез в подполье. Обстукал бревна — то,

заднее, которое светилось, надо было менять. На дворе вымерил новое бревно, выбрал паз. Вдвоем с Варварой они по покатам втянули бревно, теперь оставалось самое трудное. Кирпиков прогнал Варвару, принес оглоблю, кирпичей. Через три кирпича поддел угол и стал выжеравливать, то есть взнимать целые бревна, освобождая просевшее. Подсунул кирпичи под целые бревна. Так же он поднял и второй угол. Выбил испорченное бревно. В громадную щель хлынуло тепло, пылью.

Новое бревно пришлось хорошо. Он не надеялся, что сделает один, и радовался, что есть еще силенка, хоть и покапшивает на левый бок, хоть и чувствуется, что частит сердечко, но дело сделано.

Это бревно переживает его, это уж точно. И, может, вправду смириться с тем, что память в вещах? Мало, конечно. Это же несерьезно, что кто-то непрестанно поминает добрым словом столяра, садясь на табуретку, крестьянина — покупая капусту, фармацевта — принимая анальгин. Уж хотя бы ценить друг друга, и то ладно. Кирпиков подумал вдруг, что когда специально старался думать о жизни, ничего не выходило, а взялся за работу — и одолевают мысли. Пока тесал бревно, выбирал паз, чего только не вспомнил. И все больше работу. Почему-то фронт реже вспоминался, чем работа. Уж, казалось, никогда не забудет проклятой Померании, где ранило, он тогда в санбате всех насмешил переделкой этого слова: «Помиранией назвали, а мы — хрен-то», — шутил он.

Но он заметил, что опять его заносит, и твердо положил не отвлекаться. Но положить-то положил, а задумываться не перестал. Не от нас зависят наши мысли. Крепко занимало Кирпикова — как понять, что именно он, а не кто другой сидит, например, сейчас с топором и что именно он прожил такую жизнь? Ведь другой мог заменить его в работе. Но вообще-то раз дом его, то ему и полагается. А если бы сил не было, пришлось бы звать. И помогли бы. Но, думал он дальше, если просить все время, то надо благодарить, отработывать, а нет сил — платить. А если нечем платить? Нечего и просить. «Это уж я зря, — подумал он. — Помогут из жалости».

Так в чем же он был незаменим? Ну в самом деле? Может, в том только, что занимал место, а мог бы занять кто и хуже. Но ведь мог кто и лучше!

Измучив себя такими мыслями, он уснул.

Доказано, что сны видят все, только не все их помнят.

Жаль, часто снятся вещи необходимые. Менделееву, например, приснилась Периодическая система элементов. С одной стороны, сон дело призрачное, с другой — реальная вещь: система элементов. Кирпикову, конечно, никакая система присниться не могла. Но могло другое...

14

С Васей произошло чудо. Взвизгивая и скуля, он примчался домой. Одежда жгла, он выскочил из нее и сверзился в свой источник. И что же? Выскочил целехоньким, помолодевшим. И пока милосердная Тася бегала за своей сумкой, пока Оксана отсчитывала деньги на помощь, Вася переоделся и успел причесаться. Не понадобилась сумка, и деньги Оксана не отдала.

Но любое чудо требует подкрепления. И оно было. И не одно. Во-первых, Вася отнес водички Делярову. Тот слабеющим жестом отрицал приношение. Вася влил в него несколько капель насильно. Деляров открыл глаза. Еще. Сел без посторонней помощи, стал пить целебную воду сам. Щеки порозовели, сахар в крови пришел в норму.

Как раз в эту минуту Дуся, повязанная черным платком, ввела за руку приехавшую дочь.

— Вот твой папа, — рыдая, сказала она.

Дочь, готовая присутствовать при излечении души, увидела цветущего мужчину.

— Дуся,— сказал этот мужчина,— я выплеснул из бидона. Попроси Ларису больше не отравлять меня этим пойлом. Отнеси тару. Больше не катайте ко мне бочки.

Ноги в руки понеслась Дуся вдоль по улице. А Деляров пригласил сестр Дусину дочь, попросил Васю еще принести живой воды. Вася ушел. Деляров думал: «Если жениться, так на молодой».

— Как вас зовут?

— Рая.

— Меня Леонтий Петрович. Можно без отчества. Вы любите поэмы Пушкина?

— Вполне,— отвечала ему Рая,— но у меня другая ориентация, я люблю заниматься досугом, следить за новостями, проводить аналогии между ними и силой любви. Ведь рождаемость не следствие влечения, но повод для анкеты социологов. Не так ли?

Через десять минут Рая пришибла Делярова своим интеллектом. Деляров вновь заумирал, но Вася с водой оживил его.

— Руку! — сказал Деляров.— И сердце! Вам, Рая!

— Ну что ты, папашка,— сказала Рая.— Встряхнуться я не против, но в принципе я замужем.— Она сделала глоток.— О! — сказала она.

Решили испытать на мерине. Мерин выглотал ведро и по-жеребчьи заржал, да так, что везомые на выставку кобылицы степных конных заводов чуть не разнесли в щепки товарный вагон. Хорошо еще, были некованы.

Итак, было установлено: вода омолаживает, отвращает от пьянства до нуля, заживляет любые внешние и внутренние раны. Мужики собрались на совет. От Павла Михайловича Вертипедаля сильно пахло амбулаторией, то есть спиртом. Дали ему воды.

— Как рассол,— обрадовался он.

— Захмелиться, поправиться на другой бок хочешь?

— Ни синь пороху!

— Поклянись!

— Мужики!

— Тогда так,— спокойно продолжал Василий Сергеевич Зюкин, это он созвал данный совет.— Тогда так. Надо воду толкать дальше. Только предлагаю изменить название. Зюкинская не очень. Напоминает слово «назююкало».

— Ну и что? — возразили ему.— Тут любое можно применить. Например, наафонился. Верно, Афоня?

— Я еще вашу воду не пил,— ответил Афоня.— И еще подумаю, пить ли. Это, значит, меня отшибет от выпивки, а если я с устатку или с морозу?

— До морозов еще надо дожить, а устатки с нее не будет.

— Вот и доживу, посмотрю,— сказал Афоня.

— Тут супруга, мой серый кардинал, предлагает назвать «Хрустальной». Думаю, не будем слушать женщину и поступать наоборот. Согласимся?

— Зюкинская!

— Я, ребята, не гордый, тут главное — для пользы дела. Голосую. Только, ребята, слово «хрустальная» ставить впереди. Кто за? Все. Кто против? Я. Кто воздержался? Один. Ты почему, Саш, воздержался?

— Она на меня не действует,— ответил Кирпиков.— Вода и вода. На мне не отражается.

— Но в основе ты за?

— Конечно.

— Значит, хрустальная зюкинская. Тогда так...

Для начала мужики отбили от пьянства остальных мужиков. Сделали это хитростью. Взяли бочку с пивом, которая предназначалась Делярову, разбавили пиво хрустальной зюкинской и прикатили в буфет. Лариса в тот же вечер зарядила ее и распродала. Мужики, привыкшие, что пиво разбавляют, не удивились прозрачности напитка. Но вот что интересно — повторять никто не захотел! Задолго до закрытия буфет был пуст.

Один вечер Лариса отдохнула с удовольствием, на второй встретилась, на третий пошла к Оксане.

Всё новые факты могучей силы хрустальной зюкинской узнавал изумленный люд. Староверы-стрелочники Зотовы Алфей и Агура объявили, что заранее отказываются от пенсии и что даже хотят взять ребенка из Дома малютки. Злые языки (ах, эти злые языки, на них пока не действовала хрустальная) утверждали, что ребенка Зотовы ждут сами, так как омолодились.

Еще оказалось, что если смачивать водой рельсы, огибающие поселок, то поезда скользят бесшумно.

Потянулись к источнику и разные твари, как то: птицы и звери. Для них были сделаны специальные поилки. Собаки после воды не просто виляли хвостами, а непрерывно крутили ими по часовой стрелке. Тявканье их стало мелодичным и больше походило на пение. Кошки перестали ловить мышей. Курицы увеличили яйценоскость. Не мудрено, что при такой жаре из яиц досрочно вылуплялись цыплята, мгновенно обсыхали и строем маршировали к источнику.

Без дыма и огня горел план товарооборота. Оксана кусала локти. Когда к ней прибежала Лариса, обе поняли, что беда у них одна. Вся надежда оставалась на Афонию. Волей-неволей пришлось Оксане поить супруга. Это дело ему понравилось. Утром он как следует опохмелился у Ларисы и хотел отдохнуть, но Оксана потребовала в магазин — надо было выполнять план.

Афоня сбежал от нее напрямиком к источнику.

Ночью Оксана и Лариса сделали вылазку с целью засыпать хрустальную зюкинскую, но мужики, предвидя осложнения, именно с этой ночи выставили охрану.

Лазутчиков подвели габариты. Вылазка обнаружилась.

— Милые девушки, — говорил Киршиков, — успокойтесь, выйдите воды, что-нибудь придумаем.

Утром было написано и отправлено с курьером письмо. В нем была просьба снизить план. Курьер вернулся к вечеру — план оставлен прежним. Сели думать. Афоня, жалея жену, выставил мешок денег.

— Афоня! — кричали мужики, хватая его за руки. — Родной, не надо!

— Одново живем! — орал Афоня. — Как пришли, так пусть и уходят!

На деньги спиртное закупали ящиками. Выливали на землю. В одну неделю вымахали в рост человека буйные хмельные травы. Коровы первые распочухали их. Жадно щипали, быстро веселели. Не давались доить. Жители даже не заметили отсутствия молока, пили воду. Ходили подтянутые, поджарые, походка их стала легкая, уверенная.

Вася высказывал тезисы к исполнению: пустить источник в водопровод, чтобы зря не бегать. Далее: выносить воду на платформу. Добиться остановок всех поездов, а так как их идет великое множество, то вскоре по всей стране разъедутся протрезвевшие и здоровые люди. Далее: на базе источника сделать санаторий. Против последнего выступил Киршиков.

Пришлось созвать совет. Вася при всех орал:

— Номер не пройдет! Ты почему лежишь на пути? Откуда ты

взялся? Если на тебя моя вода не действует, значит, ты такой и есть. Поднять руки! Единогласно! Мы тебя изгоняем. Гуляй!

— Мне наплевать,— начал Кирпиков.— Могу и изолировать себя.

— Пусть скажет свои доводы,— потребовал Севостьян Ариныч. Вода вернула ему слух, и он слышал, что сказал Вася, но не слышал возражений.

— Думаешь, твой источник вечный? — спросил Кирпиков Васю.

— Не думаю, а так и есть,— ответил Вася.— Не иссякнет струя. Запишите. Почему никто не ведет протокол? Воду ему не выдавать, все равно бесполезно. Зря не портить.

— Но я прошу оставить меня помогать общему делу,— попросил Кирпиков.— Несмотря на несогласие, я готов работать в любом виде.

Выступил Афоня:

— А вообще, ребята, так хорошо, так хорошо! Состояние удивительное.

— Крылатое состояние! — поддержали его.

— Это такая радость,— ликовал Афоня,— такая радость, что мы не пьем! До того хорошо, что прямо не могу. Кучеряво живем! Надо чем-то отметить. Эх, вышить бы на радостях!

Все, кроме Васи, оценили шутку. Вася сурово заметил:

— Отставить. Вернемся к тезисам. Далее: просить, кроме своих поездов, пустить по линии и зарубежные. Решаем глобальную проблему отрезвления планеты...

Допоздна горел свет в доме Зюкиных.

С заявлением об уходе с работы пришла фельдшерица Тася Вертипедадь. Делать ей стало нечего — все были здоровы и довольны жизнью. И в самом деле: жители поселка стали примерно одного веса (худые пополнили и наоборот), подравнялись в росте, только Вася остался коротеньким. Все стали как будто на одно лицо. И если раньше при описании жителей надо было упоминать, что Афоня — мужик здоровенный, что называется мордохват, что Оксана ему под пару, что Лариса громогласна, а почтальонка Вера суетлива и худа, что у Варвары печальные глаза, а Севостьян Ариныч глух и ждет слуховой аппарат и тому подобное, то сейчас жители были подбористы, глядели бодро, слышали прекрасно, и слуховой аппарат, пришедший по разделу «Товары — почтой», был возвращен, но не по причине, что оказался плох, а ввиду заботы Севостьяна Ариныча о более страждущих. Почтовые издержки Севостьян Ариныч отнес на себя.

Вася, взяв заявление, сказал фельдшерице, что пусть с работы не уходит, но переменит профиль — пусть станет санэпидстанцией.

— Но,— сказал Вася, обращаясь ко всем,— почин работницы Вертипедадь заслуживает всяческой поддержки. Ведь смотрите, друзья, кто такая Вертипедадь? Работник средней руки, а какой большой пласт поднимает неиспользованных ресурсов. И действительно,— говорил Вася, встряхивая шерелюрой, и все тоже встряхнули шевелюрами, потому что было чем встряхивать, у всех отросли кудри, кроме Кирпикова,— действительно, стоит подумать, нет ли где лишних инстанций? Например, мне доложили, что одного строителя ударило по голове балкой. Его обмакнули головой в источник. И что? К вечеру он подал два рацпредложения. А посему нужен ли нам инженер по технике безопасности? Нужен ли парикмахер? Он всегда разбавлял одеколоном водой, теперь же старается хрустальную моего имени разбавить одеколоном. Между тем мы так помолодели, что безусы и юны, а Кирпиков.— Вася клевал Кирпикова где только мог,— Кирпиков пусть будет экспонатом старой жизни и трясет бородой. Как старый козел.

Вася сделал паузу. Деляров заполнил ее аплодисментами. Делярова под бок толкнула Рая Дусина.

— Будь личностью! — сказала она.

— Таким образом,— продолжал далее Вася,— освобождаются людские ресурсы, которые надо направить растапливать льды Антарктики и заодно Антарктиды. Экспедиции снабдить порошком, выпаренным из воды источника.

В заключение Вася объявил:

— А теперь дружно по домам. Ровно в двадцать два делаем глоток воды и гасим свет. Приятных и полезных снов!

Сны снами, а работа работой. Деньги Афони кончились, ведь ничто не вечно. Оксана и Лариса, теперь и сами поверившие в хрустальную зюкинскую, предложили выход. Алкогольные напитки выливать по-прежнему, стеклотару затаривать целебной водой. А с буфетом Ларисы еще проще — заливать бочки хрустальной и приравнивать к газировке с тройным сиропом.

Работа закипела. Шла она под лозунгом «С такой работой запустим всю пьянку!» и напоминала фордовский конвейер двадцатых годов нынешнего столетия: бутылки выливали, ополаскивали внутри (ополаскивали в респираторах, чтоб не слышать запаха этой гадости), отмачивали этикетки, отдавали их Васе, а бутылки заливали хрустальной. На новых этикетках писали «зюкинская хрустальная», дату и девиз «пей для здоровья». Этикетки проверяла на грамотность дочь Афони.

Уже в первые два дня бутылок не стало. Пока Вася думал над выходом из положения, Вера принесла открытку — Афанасьев С. победил в телеконкурсе «Предсказатели». Сообщение подкрепила бандероль: футбольный мяч. Афоня без всякого насоса, своими помолодевшими легкими надул его так, что мяч лопнул. Однако можно было видеть на лоскутах автографы знаменитостей.

Афоня был без ума от радости.

— Пошлю нашим ребятам, всей сборной, всей подгруппе «А», всей высшей лиге по грелке с водой! Всех удадем! Василь Сергеич! Пошлем футболистам воды! Золотая же богиня!

Вася заметил, что порыв Афони патриотический, но не будет ли данная вода квалифицирована как допинговое средство?

— Я узнаю и скажу,— сказал он.— А пока приступайте разрушать сруб. Расцементируйте его.

Расцементировали, бутылки пустили в дело. Новые стены источника выложили цветной плиткой. Стало красивее прежнего. Правда, прекратилось воркование выпущенной на свободу голубиной души, но надо выбирать: или воркование, или польза. Таким образом, в торговую сеть магазина было заброшено зное количество ящичков зюкинской хрустальной.

Когда и эти бутылки кончились, Кирпиков предложил делать свои.

— Найти бы кремнезем,— говорил он.— Финикийцы делали, случайно получилось — везли соду и разожгли костер на кремнеземе.

— Возьми соду и иди жги,— приказал Вася.

Уже стали планировать, какие выпускать бутылки — треугольные (символ: здоровье, долголетие, красота) или четырехугольные (здоровье, долголетие, красота, нравственность), уже стали утверждать первые образцы, как возникло «ню»: Оксана не знала, какую сумму писать на ценнике. Сколько то есть брать? Без посуды.

Поехали в райцентр. Оттуда послали в область и дальше. Люди, зная по опыту ценообразованием, просили подождать, потому что резонно сказали: с одной стороны, льется сама, но, с другой стороны, большой эффект. Даром поить запретили. Источник был опечатан. Васе разрешено было набрать воды в запас и пользоваться приватно.

Стало слышно, как по высохшим горячим рельсам загрели поезд.

Перед тем как воскликнуть: ах, как много планов разрушил этот запрет,— надо, чтоб не было недоразумений, засвидетельствовать, куда делись уже готовые затаренные бочки и бутылки. Их использовали при тушении пожара. Струя из бочек вырывалась со свистом и не столько гасила пламя, сколько раздувала его. Сказалось то, что бочки успели быть нагазованы Ларисой. Зато бутылки показали себя молодцами. Из них заливали отверстия в горящих торфяниках, как будто выживали сусликов. Смышляев следил, чтобы все бутылки были использованы по назначению. Сам не отпил ни глоточка, все откладывал на потом. И вот — последняя бутылка и последний очажок пожара. Лесничий поколебался и вылил воду на тлеющий торф. Пожар был потушен. Дым разнесло ветром, солнце ослабило свою свирепость, климат улучшился.

Лесник Пашка Одегов отпросился на три дня в счет отгулов в город Слободской. Причина была в заметке в газете: слободскую церковь возили во Францию, в Париж, она стояла там три месяца и вернулась с триумфом — восхищению французов не было предела.

— Николаич,— говорил Пашка,— я ее видел, она стояла за кладбищем, я сам плотник, надо посмотреть.

— Но ты же видел.

— Сейчас она на центральной площади города на специальном фундаменте. Я поеду. Я плотник. Значит, чего-то я не разглядел.

— Поезжай,— сказал Смышляев.— Так мы с тобой водички и не выпили.

— Огонь потушили,— ответил Пашка.

Он подпоясался и поехал смотреть слободскую церковь.

Итак, ах, как много планов разрушил этот запрет!

Деляров, помолодевший, как и все, хотел шестерить на Васю, но не дала Рая. Вспомним, как она сказала: «Будь личностью!» А сейчас она сказала:

— Ну, ты видишь?

— Вижу.

— Так вот, если тебе чего от меня и отломится, то только за цистерну этой воды. Сечешь?

— Секу,— ответил мышинный жеребчик и в ту же ночь приступил к работе.

Запасливая Дуся ставила в сумку Делярову бутылочку с соской, точила инструмент, заставляла надеть теплое белье.

— Я же пью воду, мне не страшно.

— Сынок,— отвечала Дуся,— для дочери берегу.

Еще по инерции крутилась беззаботная здоровая жизнь, но инерция затухала. Нет вечного двигателя. Нужно топливо. В данном случае запасы его иссякали. Они были. У кого много, у кого мало.

Началась спекуляция.

Все последние дни Кирпиков искал кремнезем и был так захвачен, что не знал о закрытии источника. Кремнезем он представлял в виде кремня. Он бродил по округе и пробовал любой крепкий камень. Раскладывал на железном противне костерок, совал туда камень и добавлял соды. Сам отбегал, так как уже пару раз досталось разорвавшимся камнем. Приседа, он вспомнил, что в детстве они специально жгли костры и бросали туда плитки дикого камня-трескуна.

Стекло не являлось.

Кирпиков вышел к небольшой речушке. Вода в ней была красноватая от торфа, в спокойных заводях стояла тихая трава. Не оставляя следов, извивался уж, плыла дикая утка, за ней взрослеющие утята. Было тихо. И только чуточку шумел, выбулькивая из-под сосны, род-

ничок-кипун. Песок на дне его и вправду кипел, вода обжигала. Кирпиков напился, разделся и ухнул в речушку. Но вода оказалась такой холоднющей, что он завыл и выскочил как настеганный. Лязгая вставными зубами и ругая себя: уж немолодой со здоровьем шутить,— он торопливо развел костер. Натянул штаны, достал тетрадку, в которой отмечал пробы камней, и записал: «Не нашел». Потом вытряхнул в огонь остатки соды и лег на спину.

Вот так все и уходит, как уходит плывущая под нами земля, когда мы смотрим на облака. Родная земля моя, как спасает меня воспоминание о тебе. Северные моря мои — лесные озера, сладкий виноград мой — горькая рябина, сосны мои — корабельные мачты с натянутым парусом неба, стоящие в земле как в палубе корабля. Укачай меня, судьба, я дитя в корабле-колыбели. «...взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!.. вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синееет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?..»

Догорел костер. Кирпиков еще долго лежал, смотрел в небо. Успокоение пришло к нему. Давно-давно сказал ему отец: «Ты ничего плохого не делал? Не обманывал? Не воровал? Тогда смотри всем прямо в глаза!»

Он встал загасить остатки костра, пошевелил палкой и уперся в какой-то слиток. Вывернул его. Коричневый, он остывал, меняя цвет к зеленому, и вдруг взорвался, и Кирпиков, которому снова крепко досталось, понял, что это и есть стекло, что таинственный кремнезем — это обычный речной песок. Кирпиков изобрел велосипед. Но попробуйте и вы изобрести велосипед. Тем более сейчас, когда люди задыхаются от выхлопных газов.

Ликующий Кирпиков несся в поселок. Вот его вклад, вот его достижение — он организует производство посуды под целительную зюкинскую, и потечет она во все концы.

Известно, что ждало Кирпикова в поселке. Пломба на источнике. Изобретатель сел и подумал: да ведь и стеклотару можно было завозить.

А мимо него ходили одинаково одетые одинаковые люди. «Сашка!» — говорили они, хлопая его по плечу, но он никого не узнавал. Мужчины ничем не отличались от женщин, только разговорами. По словам-паразитам можно было угадать мужчин. Женщины вздыхали по поводу иссякающей воды и дружно приbedнялись. Назывались драконовские цифры за литр. Вася, одетый отлично от всех, разводил руками: «Всюду бюрократы!»

В полной темноте ударились вначале лопаты, потом лбы. Лбы уперлись друг в друга, и примерно полчаса шла игра в упрямые козлики. Но козлики бодались на свежем воздухе, им было хорошо. А это бодание было под землей. Наконец лбы устали.

— Зажги спичку,— сказал один шепотом.

— А фонарика нет? А то, может быть, газ.

— Газ? Ну тупарь! То-то лоб у тебя как чугунный.

— Мы еще незнакомы, а уже на «ты»,— обиделся первый.

— Перебьешься,— сказал второй и зажег спичку.

В первом с некоторым трудом можно было угадать Делярова, второй представился горным техником Михаилом Зотовым, племянником староверов Алфея Павлиновича и его жены Агуры. Супруги Зотovy выписали его, так как помолодели настолько, что решили усыновить кого-либо. В Доме малютки была очередь на пять лет вперед, и супруги вспомнили о племяннике. Он приехал, насмотрелся на чудеса, творимые водой, а тут как раз запрет. Вспомнив специальность, полученную в техникуме, племянник углубился.

Деляров же копал с другой стороны. Вот они и столкнулись.

— Перед спуском в шахту я намечал направление по звездам,— сказал Деляров.— Но сегодня я спустился до звезд.

— А я шел в порядке бреда,— сказал Михаил.— В техникуме я как раз ориентацию завалил, а по компасу не рисковал, тут я пару раз напарывался на железо, на блок цилиндров, на колесо, на целый трактор. А ты?

— Не говорите мне «ты».

— Ты что, секретарь у большого начальника? Моложе меня небось.

Деяров вспомнил, что он теперь только по паспорту в годах.

— Да, я встречал железо,— ответил он.— Коленчатый вал я узнал, а вот такое, с зубьями...

— Хедер от самоходного комбайна? Цельношнековый? — спросил Михаил.— Он мне тоже попадался. По кругу ходим.

— А где вода?

— Спроси ее,— резонно ответил Михаил.

Решили разойтись каждый влево перпендикулярно тоннелю, потом дважды через двадцать метров, сделав повороты под прямым углом, сойтись и еще подумать.

— Я ищу не для себя,— сказал Деяров.— Это не моя идея.

— Это твое личное дело,— отвечал Михаил.

Разошлись.

Копали сутки.

Снова встретились.

— Ты, брат, полысел,— сказал Михаил, зажигая спичку.— Так чья это идея?

— Моей невесты Раи.

— Сколько ей?

— У нас все равны,— ответил Деяров.

— Ладно. Воды-то нет.

— Нет. Но железа — буквально залежи.

— Знаешь, друг,— сказал Михаил,— давай плюнем на эту воду, будем железо добывать. На одном металлоломе озолотимся.

— Есть и целые части. Даже в масле.

— Отсортируем.

Тетка Михаила Агура и вероятная подруга Деярова Рая тоже столкнулись лбами. Они несли обед и заблудились в катакомбах. Агура села и стала плакать. Рая плакать не стала. Она раскрыла сверток и стала есть.

— Не трать жидкость,— сказала она Агуре.— Кто-то должен выжить, так что спасайся. У тебя кто под землей? Муж?

— Племянник.

— Ну и не реви. Если выбирать из двух зол, то надо нас. Ну, спасутся они, и что толку? А мы спасемся и родим. Ты как настроена?

— Рожать,— прошептала Агура.

— Ну и ешь! Открывай кастрюли!

Деяров и Михаил нашли женщин по запаху пищи. Дусина стряпня понравилась Михаилу больше, чем староверские остывшие щи Агуры. А Деяров с удовольствием похлебал щец. Насытился и сообщил:

— Железо будем добывать. Феррум.

— Юноша,— заметила Рая,— это сон в летнюю ночь.

— С кем сон? — спросил Михаил, придвигаясь.

— Утром разглядим,— ответила Рая, не отодвигаясь.

Деяров обреченно думал: «Агуру надо у Алфея Павлиновича отбивать. Агуру. У староверов порядки строгие, заживем дисциплинарно. И Рая будет все же родня».

— Какие у вас щи питательные,— сказал он Агуре.— Сами готовили?

— Сами,— прошептала Агура.

— Вот и славненько,— похвалил Деяров, облизывая дожку и пряча ее за пазуху.— Давайте обмозгуем вот какой вопрос. Так как вода— голый абсурд, то ввиду наличия железа надо скинуться на большой магнит. Думаю, что-нибудь около сотни на брата.

— Разбирается,— одобрил Михаил.

— Ну так! — ответила Рая.

На обратном пути две черные мыши перебежали им дорогу.



В красном углу, где с весны стояла фотография Маши и куда Кирпиков привык поглядывать и желать Маше всего хорошего, вновь стояла икона. Кирпиков вошел, привычно глянул и привычно сказал: «Ну как дела, Мария?» — и обрезался: икона. Кирпиков нашел фотографию Маши на столе. Прислонил ее к слитку нечаянно сделанного стекла. Потом разулся, сгрудил половики, лег. Казалось, будет провальный сон, но когда человек намучился, он не может сразу уснуть. Кирпиков покосился — Маша смотрела на него, и казалось, что она здесь, потому что фотография была сделана в поселке и будто Маша оставила себя здесь, а теперь другая. И прежней Маше, с которой играли в память, хотелось бы рассказать сон, который давно его мучил. Он начал сниться в Померании в санбате, потом в госпитале и после него, да иногда и сейчас. Он думал, что если бы он рассказал его Маше, то она бы быстро забыла, а от него он бы отвязался. Он думал, что это был сон о ранении.

Будто бы есть такое лекарство, которое спасет многих-многих от смерти. Так как Кирпиков знает, где аптека, посылают именно его. Она рядом, и он удивляется, что другие не видят. «Иди,— говорит главный.— Великая тебе будет награда». Кирпиков бежит. Тяжело бежать. Сбрасывает с себя амуницию, разувается и вот-вот добежит, но земля вдруг поднимается у ног стеной, он карабкается, ползет, но стена все круче и вот вертикально уже, и не за что ухватиться. Он срывается и падает. «Стреляйте,— говорит главный.— И этот обманул».

Этот сон Кирпиков рассказывал Варваре, и она ему свой, о трех женщинах. Но ни от нее, ни от него сны не отступились. Видимо, даже после такой жизни они не научились освобождать друг друга. Сейчас, чтобы заснуть, Кирпиков был бы рад и этому сну, он уже испугал бы его, но не спалось. Давило сердце, но он свыкся с болью, надо же от чего-то умирать.

Когда пришли сумерки, показалось, что по всем углам, кроме этого, встали темные люди. «Теперь нельзя засыпать,— думал Кирпиков, ночь-то во что буду спать? Надо свет зажечь. Надо встать и зажечь свет». Но сердце не давало встать, толчками отдавалось в горле, валило обратно. Кирпиков не сердился на него, отнюдь. «Изболелось ты, милое,— думал он,— а я все тебя мучаю. Ноги не держат, руки отнимаются, одна голова жить хочет».

Люди не выходили из углов. но увеличивались, наполнялись темнотой.

— И вот надуваются, надуваются и вот-вот цапнут. Только в свету не лезут. А ведь, думаю, иконы боятся. Но все равно все ближе, ближе. И от них змеи поползли. А одна встала на хвост, как свечка, пасть раскрыла, и язычок горит. Я будто бы в них банками кидаюсь, они кусают за стекло — и будто вода натекает из зубов. Все, все, не иначе карачун.

— А ты не поддавайся. Ты не задумывайся,— говорила Варвара.— Я как чувствовала — бежмя бегу. Помнишь, зимой был крепко выпивши, у крыльца упал, а меня как кто подтолкнул выйти.

— Да, мог тогда замерзнуть.

— Как же!

— И сколько же раз я мог отчалить? Да неисчислимо. Особенно на войне. Может, и лучше бы.

— Типун тебе на язык,— в сердцах сказала Варвара.— Ведь по обрыву ходишь, думай, чего мелешь.

— Я изжился,— тоскливо сказал Кирпиков,— и зачем еще? Я думал жить из интереса, но и это тоже зря. Смотреть, как пихаются свиньи у корыта?

— Ну это уж ты больно,— возразила Варвара.— Воду теперь закрыли. От Василия Сергеевича, пока тебя не было, прибежали.

— От кого?

— От Зюкина. Я ходила, говорит, чтоб ты на него не сердился. Это, говорит, специально так о тебе выражался, чтоб остальных с толку сбить. А так, говорит, он мне первый человек.— Варвара подождала, но муж молчал.— Всех с этой водой переверотило. Ни дела, ни работы. Не знают, чем заняться.

— Читали бы книги,— сказал Кирпиков.— Какая красота. Как хорошо, что мы детей учили, не отдергивали, это такая, мать, красота — книги..

— У нас дети хорошие,— сказала Варвара.

— Есть даже такие острова, где люди говорят свистом. Как птицы. Причем нормальные люди.

— И вот Зюкин,— продолжала Варвара,— налил себе много воды, едва ли не десять бочек. А у других почти и нет, только на уколы осталось.

— Неужели еще не напились?

— Ты ж знаешь людей: чем больше давай, тем больше надо.

— А сама чего не пила?

— Кто бы за меня лесобазу стерег?

— У тебя вода есть? — спросил муж.

Варвара принесла четвертинку.

— Это, Саня, хоть ты ругайся, хоть нет, это я знаю для чего. Вот хоть ты что, а я на тебя с веничка побрызгаю. Подожду, когда уснешь... Ты видел, снова икона? Не ругаешься?

— Да не ругаюсь, не ругаюсь, я и перекреститься могу,— ответил Кирпиков.— Так? Нет, уж поздно, спросит, где раньше был.

— Этой воды, говорит Зюкин, будет у вас море разлитое, только чтоб ты стал ее продавать.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка,— сказал Кирпиков, садясь.— И много запрашивает?

— Ой, много. Тебе, говорит, только доверие, на тебя не действует, говорит, не покорыстишься.

Одним махом встал Кирпиков на ноги. Другим обулся. И третьим поспешил на улицу. Вслед его крестила Варвара.

У ворот зюкинского дома стоял незнакомый парень. Он спросил фамилию и отошел от ворот.

Вася был в сарае.

— Я сделал стекло,— доложил Кирпиков.

— Естественно,— заявил Вася.— Трудисься практически на одном энтузиазме, а сколько вокруг бюрократов. Как нас подсекли! В эмбрионе. На взлете. Тебе Варвара объяснила? Ты сможешь. Уж если не весь мир, то хоть своих поддержим. Ты же не оставишь без помощи людей, у тебя доброе сердце. А? Знаешь приметку: у злых болит желудок, у завистливых печень, у добрых сердце? А эта вода вылечивает печень и желудок. Искореним злых и завистливых. Сердечники нам не в укор.

— Иди, я тут освоюсь,— попросил Кирпиков.

Вася еще поговорил, что трудно пробивает себе дорогу новое, что еще много людей мыслит отжившими категориями, но что идем мы, в общем, куда надо. И ушел.

Первую бочку Кирпиков вылил легко и аккуратно. Подкатил ее к задней стенке сарая и там отвинтил пробку. Со второй он промучился дольше. Вода из первой не успела впитаться, и новая струя растекалась по сараю и вытекла во двор. Ее заметил человек у ворот и доложил Васе. Никакого труда не составило Васе и его помощнику накостылять Кирпикову и запереть его в чулане.

— Ну, ты попомнишь, ты пожалеешь,— повторял Вася.

Созванным по тревоге людям он орал, что Кирпиков посягнул на их здоровье, на их долголетие.

— Я позвал его, чтобы разделить. Женщинам! И старикам! Вот она теперь, пейте ее!

— Был ты собакой, Васька, стал ты, Васька, свиньей! — Это сказал Афоня.

— Взять его! Увести! Никто не помешает мне заботиться о вас! — так кричал Василий Сергеевич Зюкин.

В чулане было не так уж плохо, только топчан был один и очень узкий.

— Спать по очереди,— сказал Афоня.— Выбирай меня старостой и слушай. Ну, чего ты молчишь? Саш! Ты не сердись, обидел я тебя тогда на вечеринке: не все дома, ох, дурак!

В дверь послышались удары, как будто ее долбили. Точно — скоро выскочила небольшая филенка, и в сделанное отверстие заглянул Деляров.

Афоня вздохнул и спросил Кирпикова:

— Сколько Васька власть продержит?

— Пока вода не кончится. Потом ему каюк.

— Пломбу сорвут?

— Не посмеют.

— До тех пор он нас в милицию сдаст. Меня за хулиганство — суток десять, тебя хуже: подведет под хищение частной собственности. Хрен с ним. Отсидим не хуже людей. Но слушай, чего я первый-то раз срок тянул: ведь из-за девчонки.

Кирпиков слабо улыбнулся.

— Ей-богу. Ой хороша была! Оксане куда! У тебя Варвара красивая была? Конечно! А ведь не понимали, да, Сань? Смотрю на нынешних — такие красивые, увертистые, ноги-игрушечки, все нарядные, и какой-то же скотина коснется ее? Ведь он, подлый,— застонал Афоня,— будет доблестью считать... нет, сволочи мужики, и еще какие!

Со двора доносилось звяканье кружек и гуденье толпы. Афоня зажал уши и, как молитву, стал говорить:

— Только потом мы понимаем, какая красота выростала рядом с нами. Боже мой, я гляжу на нынешних — красота, а ведь наши девчонки разве были хуже, да они были лучше! Я ее на крыльце целовал и вот-вот уже прощаться, уж околели оба, уж ноги как деревяшки, нет, давай еще сто раз поцелуемся. Да, еще сто, господи! Мне ли на что-то жаловаться! И я ее обидел. Я выпил...

— Не сидеть! — крикнул Деляров.

— Иди ты, откуда родился. Ну форменный скот. Тьфу, сбил.— Афоня умолк, потом добавил: — В общем, обидел. Эх, дали бы мне, чтобы показали меня по телевизору, я бы сказал: Валя, немолодая ты уже, а я, Валя, все такой же дурак. И если у тебя, Валя, плохой муж, то я разойдусь со своей и приеду. Са-аны!

— Ничего, ничего,— отозвался Кирпиков. Он пошевелился.— А ничего не вернешь, Сергей.

— Ничего, да. Пока самих не коснется.

— Да, да,— оживился Кирпиков,— верно, пока не коснется. А так одно — надо беречь, надо жалеть.

— Не полагается! — закричал вдруг Деляров.

— Отскочи, вертухай,— сказал Афоня.— Заходи, Варвара Семеновна.

— Не больше минуты,— предупредил Деляров.— Передача через меня.— Он выхватил у Варвары узелок и стал его проверять.

Варвара села, подперлась рукой.

— И за что тебе такие мучения? — улыбаясь, сказал Кирпиков.— На старости лет такой срам, ой, да если бы дети увидели, леший ты, леший...

— О, о! — одобрительно сказал Афоня.— Ты его, Варвара Семеновна, вымуштровала.

Деляров, перебиравший вещи в узелке, вдруг воскликнул:

— Побег в женском платье?

— Это мои вещи,— сказала Варвара.— Я тут остаюсь.

— Не полагается.

— Уйди, придурок! — сказал Афоня.

— В такой грязи сидите,— упрекнула Варвара.— Сейчас приберу, заживем по-людски. И все-то у тебя, Кирпиков, жена плохая.

— Оксану бы мою сюда! — размечтался Афоня.— Только если и сядет моя Оксана, то не за меня, а за растрату.— Афоня покрутился по чулану, постучал в дверь и крикнул Делярову:— Ты! Смотри — баланду полностью!

Варвара стала подметать. Чтобы не поднималась пыль, Варвара сбрызнула ее из принесенной с собою четвертинки. Таким образом была израсходована последняя порция хрустальной зюкинской.

Но почему последняя? А бочки в сарае? И бочки во дворе, которые были выставлены щедрым Васей?

На них сначала набросились как испешдые из пустыни. И все-таки был соблюден какой-то порядок, первыми пустили детей. Когда жажда была удалена (или утолена), наступило действие воды-чудесницы. Всем захотелось пи-пи. И только. А уже все нахватали в запас. Рая и Михаил так вообще возили в канистрах на мотоцикле.

Поднялся ропот. Толпа рванулась в сарай, отшибла в сторону Васю Зюкина, освободила узников, раскурочила остальные бочки. Результат тот же самый: пи-пи, и только. Стали замечать, что фигуры возвращаются в исходную полноту, стандартное платье кому стало тесным, а кому просторным. Фотограф уныло щелкал, не заботясь ни о ракурсе, ни о композиции.

Стоящая у окна жена Зюкина поправила очки и произнесла:

— Физа, засветите пленку у этого мальчика.

— Светите сами,— ответила Физа.

Последними кадрами в пленке фотографа были: толстый Деляров и выцарапывающая ему глаза Дуся, Вася Зюкин в луже своей хрустальной, Афоня на крыльце дома в позе оратора. Если бы озвучить пленку, можно было бы услышать, как Вася скулит, как Дуся... нет, Дусю не надо озвучивать: таким набором ядерных фраз она отшпандоривала Делярова, что даже Рая, послушав, сказала: «Годится». Досталось и Рае.

Афоня же говорил вполне литературно нижеследующее:

— Наступил сентябрь. (Аплодисменты.) Так что пора подумать насчет картошки дров поджарить. (Смех в толпе, аплодисменты.) Так что попросим дорогого Александра Ивановича уважить.

— Для справки! — крикнул Вася.— Три минуты.

— Дать,— сказали в толпе.

— Вода была настоящая.

— Настоящая, кто спорит,— крикнули из толпы,— да только не волшебная!

— Чем угодно клянусь — была волшебная.

Рядом с Афоней появилась его дочка.

— Папа, это я.

— Вижу.

— Это я,— сказала дочь и крикнула:— Это я сделала! Я положила в бочки по куску сахара!

Толпа умолкла. Вася Зюкин вытер пот со лба.

— У тебя что, руки чесались? — спросил Афоня.

— Сам учил,— ответила дочь.— Если, говорил, я пьяный, то не давай мне ездить, сунь в бензобак сахару. А они все были как пьяные.

— Выше пояса вся в меня! — гордо объявил Афоня и треснул своим пудовым кулаком по перилам крыльца.— Картошку копаем в порядке общей очереди!

Крыльцо зашаталось, затрещало, дом покачнулся.

— Землетрясение! — завопила Лариса.

— Ты что, больная? — спросила ее Дуся.

Но уже все видели, как повалилась труба, посыпался кирпич. Земля под ногами колебалась, стал слышен подземный гул. Мигом высадили ворота, сломали забор и отбежали на твердое место. И уже издали наблюдали, как переламывается в хребте крыша, оседают дворовые постройки, взвивается пыль.

— Землетрясения доказывают, что земной шар молод,— говорил любопытным Михаил Зотов,— их кривая, которую пока улавливают только специально тренированные рыбки...

Рая держала Михаила под руку. «Союз науки и гармонии»,— говорила она.

Хватились Делярова — нет. Надо искать — никому неохота. Писать акт — никто не требует. Так и плюнули.

И вдруг.

И вдруг зашевелилась земля, раздвинулись покровы. И едва успели отбежать, как с шипением и свистом вырвался из земли и начал расти бесцветный фонтан. Вершиной он успел захватить закатные лучи, и окрашенная ими влага падала обратно. Сверху лилось, лужи росли под ногами.

Фонтан разрастался. И все видели, что этот грибообразный ужас есть спирт.

— Лакай! — закричал Вася, кидаясь на четвереньки.

— Поджигай! — заорал Кирпиков.— Марш отсюда! — Он выхватил спички.— Поджигаю!

Никто не отошел. Вася уже по-собачьи лакал. К нему, тоже на четвереньках, кидались другие. Заплакал чей-то ребенок.

— Ну, тогда прости, господи,— сказал Кирпиков.— Этого мы и заслужили.

Размахнулся и бросил горящий коробок в фонтан. Но спирт, и по всему было видно, что это чистый спирт, не вспыхнул.

— Сашка,— кричал Афоня,— попей! Глотни, Сашка!

— Не хочет он! — отчаянно кричал мокрый Вася.— Мы не можем, а он не хочет. Пропадает добро. Бочки, где бочки?

— Посмейте только! — кричала дочь Афони.— Я снова сахару положу.

— Выпью,— громко сказал Кирпиков, и шипение и свист фонтана притихли. В руках Кирпикова оказался граненый стакан и сразу стал полным от брызг.

— Саня,— говорила Варвара,— Саня, не надо, не пей. Не пей, Саня!

Но муж отстранил ее.

— Разогнитесь! — закричал Кирпиков стоящим на четвереньках, а их уже накопилось порядочно.— Вся горечь ваша в этом стакане!..

И он поднес к губам стакан и только хотел пить, как в стакане ничего не стало. И все осветилось.

Оказалось, что это солнце, и хотя была ночь, оно вышло в зенит и грело так, что фонтан стал испаряться.

— Не щиплись,— говорила Рая,— я и сама вижу: не сплю.

— А лучше бы нам переспать это дело,— ответил Зотов,— тут недолго и до последнего дня Помпеи.

Тяжелая, не охватная взглядом туча закрыла окрестности, заслонила солнце. Медленно разворачиваясь, шевелясь в оплетке молний, она уходила в сторону восхода со скоростью среднестатистического человека.

Прошла ночь.

Утром по радио сообщали о погоде и в конце сказали о невиданном случае резкого испарения воды озера Байкал: «Последняя самая светлая, самая чистая на планете вода поднимается в воздух, образует гигантскую грозовую тучу и движется в сторону заката...»

Когда через три дня прибыла комиссия за контрольными анализами воды, то узрела на месте зюкинского дома обширный провал, куда рухнули и дом Васи, и собачьи конуры, и запломбированный источник. Над провалом лениво извивался дымок. Комиссия установила, что вся площадь под домом в несколько горизонтов была изрыта во всех направлениях, что и послужило, как написано было в акте, причиной одного случая. Провалом, который был уже назван Васькиным оврагом, было разрешено пользоваться как свалкой.

В порядке личной инициативы техник Зотов выговорил себе право искать воду, и это было разрешено, но без оплаты, хотя было обещано: если вода вернется, то Зотова не забудут.

Жена Зюкина уехала, Вася вселился в деляровский дом, и вскоре все привыкли, что вечерами Вася сидит на краю своего оврага, болтает ногами и лепит из глины свистульки. Собаки тоже любили этот овраг, они грызли тут кости, дрались, но ровно в семь сорок какая-нибудь из них, чаще рыжая с черными глазами, замирала на месте, поднимала очи горе и завывала. Ей подвывали. В семь сорок. Ни раньше, ни позже. Жители привыкли к этому и стали проверять в семь сорок свои часы.

Вася таких концертов не терпел и прекращал их свистом.

Пришла к оврагу и Рая Дусина. Она посидела с Михаилом, послушала собак, посмотрела на Васю и решила, что во всем этом есть какая-то сермяга, даже посконность и в чем-то даже ранние Васнецовы, особенно в этих, ну как их, свистуньях. Где-то от Виктора, но и Аполлинарием круто замешено.

— Сечешь! — одобрял Михаил.

Рая сказала ему, что, в общем-то, где-то пора и расползаться.

— Без кайфу нет лайфу. А я в принципе замужем, так что пора ехать. Так что, больше не кадрясь, уезжаю восвоясь. Буду помнить тебя со страшной силой.

— В общем-то, где-то и меня ждут,— соглашался Михаил.— Но, по идее, я еще покопаю. А тебя что, заменить нечем?

В продолжение этой беседы Вася грустно свистел. Над оврагом носились одичавшие голуби.

А что Кирпиков, как Афоня, как остальные? Афоня крутит банкру. За него серьезно взялась дочь. Агура, чуть не изменившая старрой вере (и, добавим, мужу), объявила, что ребенка не будет, что это все злые языки. Супруг ее, стрелочник Алфей Павлович, оформляет пенсию. Почтальонке Вере прибавится работы. Севостьян Ариных вновь выписал слуховой аппарат. Он не жалеет, что вернул прежний: техника движется вперед и появились новые марки. Супруги Вертипедадь — по-прежнему. Тася все такая же хлопотунья и так же ночует у деверя, когда бывает в райцентре. Павел Михайлович уже не ходит на футбол к Афанасьевым, завел свой телевизор и участвует в каждой викторине. В календарные игры он надевает чистую

рубашку, в полуфинальные — костюм, а к финальным чистит ботинки. Афоня же, напротив, про викторины забыл, купил новую дорогую мебель, а старую отдал Васе в пустой деляровский дом. Дочку Афоня за уши не оттащишь от телевизора. «Скоро ослепнешь!» — кричит на нее Оксана. Дочь уже заучила и поет популярные песни — победительницы фестиваля «Песня сезона»: «Если долго мучиться, что-нибудь получится» и «На суше и море, зимою и летом мечтается людям о том и об этом».

Те, кого мы не упоминали, но имели в виду, тоже чувствуют себя хорошо. Работают и отдыхают, занимаются спортом. Или не занимаются. Ничто не мешает им проявлять свои склонности. Два раза в неделю привозят кино, с такой же разовостью топится общественная баня.

Лариса вновь действует. Первым заманила она фотографа. Он запил с горя. Во время землетрясения потерялась отснятая кассета. Лариса налила ему, сказав загадочно: «В счет расчетов». Фотограф накушался и запел с таким надрывом, что его кинулись спасать сердобольные мужики. В одиночку ему было много, а всем как раз. За это время у Ларисы скопилось много привозных вин ближнего разлива. Мужики морщились, но понимали необходимость помогать слаборазвитым странам. Вскоре Лариса уже привычно орала: «Не курить! Не сорить!» — хотя эти же самые слова были на табличке.

Уговор дороже денег — мы говорили: Кирпикова можно бросить на подороге. Сейчас самое время: его зовут по имени-отчеству, он еще бодрится, по-прежнему не пьет и не курит. А ведь это идеально. Например, когда объясняют, что у такой-то замечательный, прекрасный муж, говорят: не пьет, не курит, баб не любит. Но таких, как сказал Афоня, надо брать на учет.

Проснулся Кирпиков, подошел к окну — осень.

17

Помочь выкопать картошку приехала невестка. На этот раз с Николаем. Одни, без Маши. Привезли обратно игрушки, которые Кирпиков посылал весной.

— Она все равно их ломает, у нее их вагон и маленькая тележка. Вы, папаша, деньги больше не тратьте. А эти надо в магазин вернуть.

— Неужели это позориться сдавать пойдешь?

— Очень просто — пойду и дам.

Варвара вздохнула, ушла на кухню.

— Мамаша, — пошла за ней невестка, — вы не беспокойтесь, мы сытые, давайте только чаю.

Варвара, обычно тихая, а в этот раз, как и муж, обиженная, что подарки вернули, возразила:

— Хозяина-то надо кормить.

— Бросили бы вы, папаша, людей обрабатывать, — вернулась невестка в комнату. — Все от вас да от вас, а вам что?

Тем временем Кирпиков завел робота и пустил. Робот замигал лампочками и пошагал.

— Небось при ней и не заводили? — спросил Кирпиков. — Уж увидала, так уцепилась бы.

Сын промолчал, а невестка высказалась:

— Ребенка нельзя давить обилием игрушек. Я понимаю, они дают кругозор, но в меру. Мне не верите — книжку о воспитании покажу.

Робот дошагал до препятствия — кадки с цветком, — уперся в нее и вхолостую терся ногами по полу.

Невестка схватила его. Робот жужжал и сучил ногами в воздухе.

— Вы, папаша, напрасно думаете, что любовь выражается в подарках. Вот вы же сами и мамаша выросли без игрушек.

— Без них,— подтвердил Кирпиков.— Зато, обрати внимание, какие недоразвитые.— Он взял умолкшего робота у невестки, поставил на подоконник.— Хоть теперь кругозора наберемся. Мать! Иди понынчись.— Он взял коробку и покачал ее. Кукла внутри запищала: «Мам-ма, мам-ма».— Мать, слышь, тебя зовет. Нажуй мякиша в тряпочку.

Невестка поглядела на мужа.

— Конечно,— сказала она,— мать строгая — значит, мать плохая, дед добрый — дед хороший.

— Пап,— сказал Николай,— много у нее игрушек, все равно в сад таскала.

— В любимого дедушку,— уколола невестка.— Растащидомка, бессребреница.

— Пойду,— решил Кирпиков.— Мерина кормить да ехать.

— Прямо без вас, папаша, и земля не вертится.

— Точно,— подтвердил Кирпиков.— Пойду.

— С гостечком, Александр Иванович! — закричала Дуся. Она караулила Кирпикова у крыльца.— Пошабашили на сегодня?

— Здравствуйте, тетя Дусь.

— Здравствуй, Коленька. Помочь тятэ-маме приехал? Не забываешь стариков.

— Да надо.

— Как не надо, как не надо. Так, Александр Иванович, себе начнете копать? Или со встречи-то в первый день вроде неудобно гостей запрягать? А я думаю, дай ветвины обстригу, развезжать Александру Ивановичу будет легче. И ветвин-то всего ничего, ссохлые.

— Сейчас раздернем.

Дуся, подавляя радость, шла рядом и спрашивала:

— Вот вы в городе живете, ближе к ученым, скажите, ведь это от космоса такая жара? От спутников?

С удовольствием ожидая завтрашнюю физическую нагрузку, сын оглядывал огород, поглядывал, к чему бы приложить руки и сегодня. Вопрос Дуси насмешил его.

— Мы теперь переживаем период общего понижения. Но бывают и аномалии, как, например, нынче. Жарко. Значит, потом холод.

— И долго этот период протянется?

— Лет сто. Геологическую секунду.

— Сто лет — секунда! — ахнула Дуся.— Мы и по секунде не проживем? Ой! — Она вскинулась, так как Кирпиков появился и уже наставлял плуг.

Мерин выскался за дни уборки и понуро ждал команды.

— Дай, пап, пройдуся,— попросил Николай.

— Попаши-ко, батюшко, попаши,— обрадовался Кирпиков.

Приятно было смотреть на сына. Он шел за плугом прямо, не сгибался, а это признак умелого пахаря. Не давил на ручки, не дергал за ремни, доверялся коню. Пласт выворачивался ровно, ни одной перерезанной картошки не забелело.

— Коля-я! — позвала невестка с крыльца.

Кирпиков подсадовал: только парень вошел во вкус, она уже тут. «Подмяла Кольку,— сердито подумал он,— загнала под каблук».

— Ну, зар-раз! — гаркнул Кирпиков, сменяя сына.

Методично шатавший мерин справедливо обиделся. Вообще ломовая лошадь не сердится на возчика: тот тоже подневольный, но за чем зря-то кричать?

Дуся подскочила и шлепнула мерина по спине, показала Кирпикову готовность помочь.

«Посоветовать Кольке поучить жену? 'А' не хуже ли обернется? Уйдет и дочь заберет. Если б оставила. Эх, это б был выход!» Кир-

ников даже вздохнул: мечтательная мысль, бывшая и прежде, снова мелькнула — уйди невестка от Николая, оставь Машу, тогда Маша, конечно, досталась бы старикам.

Мерин шагал быстро, давая понять хозяину, что и без крика можно найти общий язык, и они скоро закончили Дусину одворичу.

— Айда, пап, в баню,— позвал Николай,— Супруги нас бросили, в магазин пошли. А завтра уедем, не успеем.

— Мерина поставлю, и идем. Веник пополнее достань.

На чердаке на прежнем месте висели веники. Против прежнего они были малы, листья высохли до пепельной ломкости. Николай осторожно отвязал один, хотел слезать, но какое-то воспоминание остановило его.

Около этого окна он готовился к экзаменам в седьмом классе. Разный мальчишеский хлам: проволока, гвозди, шалнеры, всякие железки вызвали улыбку. Зачем-то все надо было, натаскивал. Мечтал что-то построить, да так и промечтал. Четырьмя днями промелькнуло детство: зимним — белым, осенним — золотым, весенним — дождливым и летним — зеленым.

«Так что же вспомнилось-то?» — мучился он. А, вот что. Обида на отца. Он не дал учиться после семилетки. Как ни просился Николай дальше, отец заставил его пойти в колхоз. Десять классов Николай закончил уже в армии, а после службы — вечерний институт.

Сейчас Николай прощал отца. Волей-неволей поймешь его: легче заставить работать остальных людей, когда не жалеешь родных. «Бей своих, чтоб чужие боялись,— усмехнулся Николай.— Ну как было, так и было. Теперь не воротись. А отец уж старик».

Стоял еще день, в бане было свободно. Выбрали скамью возле окна. Оконные стекла, до половины замазанные белилами, еще не запотели, и виднелась лампочка на столбе. Она горела, но тускло.

Отец ошпарил веник. Вода в тазу потемнела, запахло, как лесной прелью после дождя. Николай рывком отодрал разбухшую дверь в парилку. Охнул и, жмурясь, аккуратно пошагал вверх по ступенькам на полок. Там, трудно различимый в пару, лежал человек.

— С успехом трудиться,— пошутил Николай и крикнул, чувствуя, как зябнет от жары, как истомно вживается тело в высокую температуру.

— Дверь-то че нараспашку? На тройке заезжаешь? А-а,— узнал лежащий Кирпикова. Это был Афоня.— Здорово, Сашка. Не выстужай, не выстужай да покрути колесо. Дай газу до отказа и скорости все сразу.

Зашипело — Кирпиков открывал паропровод. С хриплым свистом пошел в щели полка серый пар. Николай заплясал и свирепо стал бить себя. На коже проступили красные полосы.

— На-ко моим,— сказал Николаю Афоня.

— Давай-ка, давай, батюшко,— весело сказал отец, приседая и прижимая к голове горящие уши.— Ну па-ар, самый жаровой пар.

Николай посмотрел на веник Афони и засмеялся:

— Силен, бродяга!

— А твоим только комаров отгонять.

Обычно парятся березовым веником. Кожа от него становится упругой и скрипит под пальцами. Но какой же был у Афони, если он так презрительно отозвался о березовом?

Дубовый? Есть любители и на дубовый. Хлестаться дубовым чувствительно, присадисто, но зато уж и жить после него хочется. Но и не дубовый был у Афони.

Может быть, пихтовый? Этот сортом повыше, встречается в банях редко. Пихтовый пахнет смолой, он тяжел, сбивает с ног. От него глохнешь и хочется убежать невымытым. Нет, и не пихтовый был у Афони.

Какой же тогда? Знатный был парильщик Афоня, явился к первому пару, лежал-подреживал в этом раскаленном воздухе, в котором кольхнуться без ожога трудно, и веник у него был соответственный. Можжевельный был веник. Это зеленый пучок колючей проволоки, это куст азиатских роз без самих роз, с одними шипами. Но всякое сравнение вылетит из головы, когда тебя стегают таким веником. Самому париться можжевельником невозможно — жалко молодой цветущей жизни. Новобранца-парильщика двое держат, один парит, или, вернее, порет. Бедняге кажется, что кожа на нем рвется в лохмотья, ребра исцарапаны, что конец света для него наступил намного раньше, чем назначено судьбой, а всего-то-навсего исполняется выдуманный закон — добро насильственно. Выйдет парильщик с померкшим светом в очах, добредет до крана, сунется под холодную струю, сядет на пол, впадет в небытие, потом потихоньку оклемается, и потихоньку забрезжит ему новый свет, свет того солнца, когда был он молодым, когда будущее было безбрежно, безгрешно и стремительно летело к нему, а не улетало. И вот он окончательно очнулся, и вот он видит...

Не зря, наверное, можжевельником на севере вышаривали всю заразу, а из южного брата его, кипариса, резали кресты — и нательные и могильные...

— Дай-кося,— сказал Кирпиков. Взял, хлестнул.— Нет, Афоня, вышел я из возраста. Ну, Николай! Воскресни!

— Нет, не осилю,— ответил сын.

Допаривались внизу. Афоня все подбавлял пару и все истязал себя, рассуждая, что народ нынче пошел хуже прошлогоднего, вот раньше были парильщики, теперь что! теперь — тьфу! Да и сам он, Афоня, со всеми своими соплями до прежних не достигнет.

Еще ноги попарил Кирпиков, весь взмок, ослабел. Николай похлестал его по спине.

— В стекляшку-то заходи, к Лариске-то! — орал с полка Афоня.— Кольку веди. Колька, слышь, встретимся в пивной. От рубля и выше! Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? — И он поддавал пару и хлестался.— Уходите? — кричал он.— Так придете или нет?

В мыльной уже копился народ. Кирпикова окликали, здоровались, и ему было приятно, что он с сыном. Говорили, что наконец-то собрался первый за все лето дождь, маленький, но все же. Сын сделал еще заход в парилку, отец остался. Налил горячей воды в старый таз, грел ноги. Видимо, ноги первыми откажут ему. Хоть сердце и дало весной и летом знать, но с той поры не тревожило. Ногам больше всего досталось в жизни. Сколько матушки землицы перемерено ими. Но и спасибо им — не давали стареть организму. Ноги городских жителей жалеют автобусы и трамваи, зато первыми отказывают у горожан пищеварение и нервы.

Сын грузнул, это Кирпиков замечал от приезда к приезду. Сейчас его не сравнить с тем, когда он вернулся со службы. Работа у него сидячая — инженер-технолог. Часто засиживается. Это Кирпиков узнал от невестки, когда она при нем упрекала Николая в неумении жить. «За переработку тебе не платят, рабочие получают больше тебя; и зачем тогда было учиться?»

«Эх,— подумал Кирпиков,— как вывела: парень виноват, что учился. Да что я снова о ней?»

Ноги притерпелись к воде, и Кирпиков решил подгорячить ее. Пошел к крану у окна, ладонью протер стекло. На улице уже стемнело, дождь сбрызнул листву — и она радостно горела в свете лампочки.

Сын вернулся из парной. Посмеиваясь, сказал, что Афоня выходить и не думает, что можжевельником попариться он, Николай, природы так и не набрался.

Из парилки доносился перестук веников, будто там молотили в шесть рук.

В углу, как снятые с вооружения, копились выпаренные веники.

— С легким паром,— говорили им в раздевалке.

— А вас с будущим,— отвечал Кирпиков.

— Мы в детстве шутили, отвечали: «С тяжелым утаром». Помнишь, ты мне поддал? — спросил Николай.

— Да как зачем дуром-то шутить?

— А мама маленьких окачивала и приговаривала: «С гуся-лебедя вся вода, с нашего Коленьки вся худоба». — Он хлопнул себя по животу.

После бани дышалось легко, да и воздух после дождя помягчел. Узкие матовые листья акаций перевешивались через палисадник. Деревянные тротуары качались под ногами. Сумерки были прозрачными.

Николай нес сумку с бельем, Кирпиков веник.

— Пускай на квартиру,— пошутил Кирпиков и засунул веник в сумку.

И эта давняя шутка и эта просторная даль вверху напомнили Кирпикову те времена, когда дети уже выросли, но еще не разъехались.

Почему-то вспомнилось, как взяли они двенадцать инкубаторских цыплят. Два назавтра оконечели. Младшенькая завернула их в лопухи и похоронила. Поставила на холмик крестики из лучинок. И — додумалась же! — наготовила еще десять крестиков и выкопала десять ямок. И точно: все крестики пригодились.

— Ну Афоня и исколот,— удивлялся Николай. — На груди крест и написано: «Отец, ты спишь, а я страдаю».

18

За ужином Николай нажимал на материнскую стряпню, невестка ела только зелень.

— Пополнеть боюсь,— наперед объявила она. — Коля разлюбит, к молоденьким свистушкам побежит.

— Из-за пополнения,— подметил Кирпиков. — Теперь уж нет того, чтоб рады любой еде. Уж не думаешь, что на завтра.

— Как это не думаешь? — возразила невестка. — Конечно, купить стало доступнее, но денежки вынь да положи. Сходила в магазин — пятерка выскочила, съездила на рынок — десятки нет. А что купила?

Не хотелось Кирпикову плохо заканчивать день. Все-таки сын приехал, попахал маленько, дождик пробрызнул, в баньку сходили.

— Вот я вам про сушки расскажу.

— Ой,— подскочила невестка,— а ведь сижу, растопша, мужички-то наши, мамаша, всухую молотят.

— А вот он, ваш дорогой! — объявил Кирпиков. — Жив. — Он достал из шкафа коньяк.

Невестка снялась с места и убежала в переднюю.

— Коля! — позвала она оттуда.

— На фронте в сапоге Колькину фотографию носил,— сказал внезапно Кирпиков.

— Ты чего это про сушки-то? Ты плохо не рассказывай,— предупредила Варвара. — Было и было.

Невестка вошла, развернула и встряхнула коричневую кофту.

— Носите, мамаша, на здоровье.

Кофта явно была с плеча, иначе зачем бы Николай стал говорить?

— Не сочти за подарок, носи, и все.

— А много ли я ее носила,— вмешалась невестка,— да она ненадеванная.

— Спасибо, спасибо,— благодарила Варвара.

— Прежние назначаю в утиль,— сказал Кирпиков, глядя, как полнит рюмку скользящая струйка.

— Не нравится— сдайте,— обиделась невестка.— Игрушки приняли и слова не сказали.

— Я к примеру,— объяснил Кирпиков.— Это тоже наболевший вопрос— куда девать тряпки? Раньше подбирали нищие. А не нищим, так на половики. Сидим маленькими, на полоски рвем.

Кирпиков действительно вспомнил половики, эти разноцветные дорожки, по которым он мог бы убежать к началу своей жизни и дальше.

— Мать ткет, цвет подбирает: красное, черное, желтое, перебивки белым. Потом ползаем на коленках, узнаем: это штаны мои, это тяткина рубаха, это дедова еще гимнастерка.

— Что вы, папаша, все про раньше да про раньше? Вы б еще царя Гороха вспомнили.

— Верно,— поддержала Варвара.— Моя бы воля, запретила бы вспоминать.

— Как будто сейчас проблем нет,— добавила невестка.

— Пап, ты чего хотел про сушки-то рассказать?— вмешался сын.

Кирпиков сердито отодвинул рюмку. Рассказать про сушки хотелось. Это бы косвенно извинило его перед Николаем и немного бы дало понять невестке, как тяжело доставалось.

— История дает крепость и святость,— сказал он упрямо.— Вспоминать надо. За два метра ситца год, бывало, настоишься перед матерью.

— Вы говорите не по сезону, папаша. Если есть возможность, почему я должна себе отказывать? Другой жизни не будет. Вы рассчитываете на вторую?

Кирпиков вспомнил про тетрадку.

— Расскажи про сушки,— чуть ли не взмолилась Варвара.

— Сатинетовые штаны мать сошьет, катком выгладит, идешь по деревне, гордишься, а босиком. А про сушки— вот. Было четырнадцать мне, и ушел я тогда за деньгами. С парнем одним, ровня по годам. Возили в Омутной на завод паленгу...

— Поленья такие огромные,— объяснил Николай жене.

— У хозяина жили. Полтинник в день и кормежка его. Кормил хорошо: вечером пельмени с капустой или грибами, утром оладьи. А домой ни писем, ни висем— и считали уж неживым. А кончался период нэпа— деньги были твердые, полтинник много значил. Через какое-то время рассчитал он нас. В обед. Под вечер пошли. Я набрал ситцу на рубаху, фунт сушек маме, двадцать пять рублей за пазухой. Дал хозяин по ржаному ярушнику, нажился же он на нас: возы с дровами, ровно с сеном, высокие, цепями затягивал— заводской человек. «Ночуйте». «Нет, домой надо». Шестьдесят верст. Вышагали двадцать...

Варвара тихонько собирала посуду. Уж и тем была она довольна, что невестка не встречается.

— ...Двадцать верст вышагали. Ярушники съели. Уж поздно. Батюшка милый, лес кругом, ночка темная, по четырнадцать лет. Пиля на плечах, фунт сушек маме несущий. Еще десять верст. Сил идти нет, а ночевать страшно. Сторожка. Теплая еще, но хозяина нет. Постеснялись посидеть— дальше идем. Деревня. И вот не забыть: сидит мужик, лапти плетет, рядом сынок года в четыре, нога на ногу, сидит с самокруткой.

— Дикость какая,— вставила невестка, показывая, что слушает.

— Бедность у них, один чугунак с картошкой, а угостили.

А сушки я не показал, берегу. Был кусочек сахару, опилышек, дал ребенку. Не берет, не понимает, ни разу не видел. Посидели. Утро уже. Дружок взял пиля, а я пять изб обошел с молитвой. Не помо-

лись, так не подадут. Бога-то помнить и голод-батюшка заставлял. Дали два ломтя да три шаньги. Вышел к другу за полевые ворота, поели и пошли. Вышагали к ночи. А меня ведь уж, говорю, не ждали. Сгинул и сгинул, когда жалеть. Достал четвертную. Лошадь стояла двадцать рублей, корова четырнадцать. Отец не берет, не верит: «Где взял? Забирай деньги, уходи, не надо бесчестных». Тятя, говорю, тятя, дак ведь вот и вот что. Работал по полтиннику в день, кормежка хозяйская, маме сушек принес. Она ревет-уливается... Вот ведь как денежки-то доставались. В той же деревне — крынка молока семь копеек, а покупились выпить: семь копеек надо сберечь.

— Вот именно,— сказала невестка.— Сейчас гляжу на этих оболтусов: кино, вино и домино. Дочь одну и погулять опасно выпустить. Правда, если что, и из окна крикну.— Заметив, что сбилась, невестка вернула разговор к деньгам: — Правильно, ценились деньги, это сейчас как был стакан семечек десять копеек, так и остался. В десять раз дороже.

Выдумав заделье попросить закатку для консервов, пришла Дуся. Ее оставили пить чай. И она поддержала невестку, когда та сказала:

— Вы переживаете, что мало учились? А зачем? Не надо учиться, надо уметь жить. Сейчас как раз неученые лучше живут.

— Легкие деньги всегда не в пользу,— сказал Кирпиков,— к хорошему не приведут.

— Что-то я не видела, чтоб умным людям деньги вредили. Конечно, дай пьянчуге хоть тысячу, он и ее просадит.

— Да, да,— поддакивала Дуся.— А официанты?

— О! Это безработь, я их так называю,— сказала невестка.— А перед ними все добрыми хотят показаться. Доброта под градусом. Да если даже они чаевых брать не будут, а по копейке всего с человека, да у них их сто в день — сто копеек. Кто нам дает по рублю просто так? Кто? — Невестка разошлась.— Люди рвут и мечут. Умеют жить. Да даже в театре. У нас у одной сестра в театральной кассе, так там так: наденешь свой перстень, тебе платят, вот играйте вы в этой телегрейке комсомолку тридцатых годов, вам за нее заплатят.

Дуся недоверчиво засмеялась, но и сама вставила пример:

— А могилу копать, так слупят.

— Да! На смерти наживаются. А мясники! Сплошная пересортица, как там угадать, до какого ребра какой сорт? Где зарез, где рулька? — Невестка говорила отработанно.— А в Кисловодске я была по путевке, да поди еще достань эту путевочку, так там нарзанные ванны по четыре-пять рублей. Это уж дальше ехать некуда. Везде, везде так! — заключила она.— А вы говорите.

Получалось, что и Николай думал так же, как и жена, он сидел молча.

— Эти и подобные люди,— терпеливо сказал Кирпиков,— заметь на полях, последними войдут в коммунизм.

— А они уже вошли: живут по потребности.

— Вы тут спорьте,— встал Николай,— а я пойду сюрприз готовлю.

— Хватит уж,— сказала Варвара, неизвестно что имея в виду: то ли хватит спорить, то ли хватит сюрпризов.

Дусе хотелось побольше услышать новостей, и она напомнила:

— Да неужели выкупаться пять рублей?

— Это значит,— сказал Кирпиков,— жизнь такая хорошая, что ничего не жалко, чтоб ее растянуть.

— Живут — будьте уверены,— продолжала невестка.— Меня на курорте один мужчина с Кавказа несколько раз на «Волге» подвозил... Коля, я тебе рассказывала,— повысила она голос,— так вот он говорил, что пока у него был «Запорожец», с ним соседи не здоровались. Так что, папаша, умеют жить, умеют. И без образования. Это не мы.

Мы с Колей, если б не собрали на кооператив, так бы и жили в конуре.

— Четыре метра на человека — это еще не конура, — сказал из комнаты Николай.

— Ну и оставался бы, — отрезала невестка. — Кто как воспитан.

Дуся засобиралась, обещая на завтра помощь, отработку за сегодняшний день, и ушла, вздыхая, как тяжело жить. И Николай сразу же крикнул:

— Попрошу в кино!

— Ой, и точно! — вскрикнула невестка. — Ведь Коля проектор привез. Вы разве не помните, он снимал в прошлом году.

Пошли в комнату.

Николай направил луч на русскую беленую печь, получился хороший экран. Вначале пошли незнакомые места. Невестка стала объяснять:

— Это мы в Ялте. Пристань, это «Шота Руставели», делает круизы, плавает.

— Ходит! — поправил Николай.

— Ладно, моряк. А это подвесная дорога. Коля едет в следующей корзине. Это шашлычная, называется «Грот». Ты засветил? А, нет, там темно. Это еще одна пара, мы вместе отпуск гуляли. Море, ну это не видно, я... памятник в виде кольца погибшим, опять подвесная, вниз...

— Я тут прогоню, — сказал Николай.

— Да, тут вам неинтересно. Тут я на «Метеоре». Я говорила тебе: Коль, давай тебя снимаю.

Экран запестрел, запестрел, вдруг остановился. Зима. Городской двор. Маша!

— Сверху снимали. Кричит: иди сюда. Мама с ней. Варежку ей надевает. Мама из магазина идет, закрывается. Машка опять. Я с ней. Коля говорит: сядь на санки, скатись для кадра. Я и села. Коль, скоро?

— Сейчас.

— Отец! — вскрикнула Варвара.

Их дом был на экране. Их дом. Самый настоящий их дом. Из калитки вышла Варвара и остановилась. Получилось как будто не кино, а фотография. Неподвижно. Потом появился Кирпиков в выпущенной рубахе.

— Папаша гуляет!

— Это ты мне сказал: снимай, Колька, я тебе все крестьянские работы перечислю.

— Выпивши был, — заметила Варвара.

На экране Кирпиков схватил топор и тянул по бревну. Потом схватил соху, подержал за ручки и бросил.

Потом сбегал к конюшне и там стал показывать руками. Камера придвинулась. Кирпиков хватал поочередно вилы, грабли, литовку, лопату и делал ими характерные движения.

— Чарли Чаплин, — сказала невестка. — Помнишь, Коля, ты пускал побыстрее? Мы лежали! Машка прямо укутывалась.

После черно-белой пленки Николай показал цветную — «Пес Барбос и необычный кросс». Словом, вечер получился удачным.

А Кирпиков ночью глаз не сомкнул. Ничего, что наприписывала невестка, не было обидно. Она так жила, но кино его пришло. Он там дерганый, выпивший, клоун, петрушка, дурак дураком. Надо эту пленку сжечь, думал он, непременно. Да неужели останется от него только это, то, что он бестолково и глупо тычется по двору? Стыдища! Позорище! Но Николай-то, эх! Ни раньше, ни позже не спазуило его снимать. А он-то, он-то сунулся, выхвалился, ах, нехорошо. «Неужели я такой, вот этот чужой, неопрятный, лысый поддевай?»

Кирпиков застонал даже. Ну вот снимай бы он сейчас его, трезвого. И главное жгло — они там смеялись! Они пускали побыстрее, он дергался еще бестолковей, как на ниточках. И смотрела Маша. И смея-

лась? А что? Она могла из него веревки вить, может, думает, что он шутит и ее смешит? Надо так и сказать: специально.

Спал честной мир, когда Кирпиков встал, подошел к окну. Воздух уже не отдавал дымом, пожары кончились, редкие огни на столбах помаргивали, стоял туман.

За иконой на божнице лежали куриные косточки. Кирпиков положил их в карман, тихо-тихо вышел на крыльцо. Сильно хотелось курить, но скрепился. В темноте не нашел секретиков. Выкопал щепочкой новую ямку, положил туда свои фотографии, зарыл. Сел на бревна и замер. И как будто теплый последний дождь ждал его, висел на паутинках, сразу стал шелестеть, принизил туман. Легче вздохнулось и легче стало думать, что сейчас все лучше в лесу, все тише, скоро не будет птиц, осядут к подножию листья, и каждая береза будет стоять над ними, как бы отражаясь в них, скоро пойдут снега, растают, снова пойдут. Сиротливо и бесхозно будет в лесу, а наутро по снегу будет видно, как много в лесу живья.

Утро долго потягивалось, как ленивый, но сильный работник. Наконец разошлось, нёто-нёто разгулялось. Обдуло, обветрило пашню, посыпались иголки с лиственниц, запоздало разорались петухи, будто им платили за силу крика, а не за точность его по времени. Петухи шаркали ногами возле каждой пустычной находки. Курочки бормотали благодарности, чинно кушали, но посяганий избегали. Другие курочки с утра пораньше неслись и отмечали это событие парадным кудахтаньем. Каждой из них подкудахтывал петух, напоминая миру и о своей кое-какой заслуге в рождении яйца.

Но раньше солнца, раньше петушиных криков были на ногах в доме Кирпиковых.

— У нас с Варварой, — весело говорил Кирпиков, — сорок лет борьба за первое место, кто раньше встанет.

— И как? — спрашивала невестка.

— С переменным успехом.

— А ты, Коля?

— Я просышался, они уже на ногах.

Невестка работала лихо: трясла мешки, готовила ведра, обстригала ветвины. И кричала:

— Спать долго — встать с долгом!

— Ишь чего знаешь, — похвалил Кирпиков.

— То ли еще!

Оба соблюдали правило — не перекояться перед работой. В начале первого пласта Кирпиков подозвал сына, достал из кармана куриные косточки, отдал одну целую, вторую разломил и большую часть тоже отдал.

— Передай Маше. Она поймет.

Славный был день. Варвара только и просила Николая поменьше сыпать в мешки, чтоб не надорваться, но тот, довольный случаем показать здоровье, ворочал за троих. Невестка так ухватисто собирала обсушенные клубни, так шустро сортировала их на мелочь и крупные, что залюбоваться можно было.

Все мог простить Кирпиков за сноровистую работу. Когда он даже со стороны видел слаженные действия, он оживал, он видел, как хорошеют работающие артельно, как внутренне горды собой. И как плохо, что машины, заменяющие людей, разобщают их.

Не вытерпело и Дусино сердце. И хотя хотела она подтакать к окончанию, взяла и выпла. Даже перекура, который делается в бригаде с приходом нового человека, не устроили. И — смахнули одворицу.

— Как украли день, как украли, — говорила довольная Варвара.

Курицы свободно ходили по пашне, рылись в земле. Рано слепнувшие, они клевали впустую. «Кормить да загонять», — сказала о них

Барвара и тяжело пошла к дому, стараясь незаметно разломать уставшую поясницу.

— Чего это людей смешить? — спросила она.

Она увидела, что Николай укладывает только хозяйственную сумку. Обычно они увозили по три-четыре мешка, договаривались с проводником, а от вокзала брали такси. Невестка подскочила.

— Вам, вам, все вам. Еще не знаем, еще не решено, но, может, подкинем на зиму Машку. Может быть такой вариант, что Колю пошлют за границу. И я с ним оформляюсь. Если что, вы тут с ней поостроже. Если что, можно и ремешком. Разрешаю. А то нынешние много воли чувствуют. Деньги на содержание будем посылать.

Вот она как повернула. Заграница — это ладно, раз надо, хоть на Луну полетайте, но так преподнести, как будто они заранее отработали за дочь, снабдили ее картошкой, будто бы не нашлось чем кормить, — это было обидно. Больше о Маше не сказали ни слова. Игрушек Кирпиков покупать, конечно, не стал. Сели на дорогу. Невестка налила Кирпикову побольше, а мужу сказала:

— Коля, тебе в дорогу.

Николай отставил стакан.

— Допьете, — заметила невестка.

Она накрасила губы. И на станции, когда прощалась, поцеловала Кирпикова и вытерла рукой след поцелуя.

— Да, — спросила она, — что это у вас с водой было? На один колодец ходили?

Как раз на этом поезде приехал Пашка Одегов. Но толком не поговорили, неудобно было отходить от сына и невестки, а он спешил. Сказал только, что церковь, бывшую в Париже, видел, что лесничий крепко переживает.

Поезд ушел.

Вернулись домой. Смеркалось.

— Допей, отец, — сказала Варвара.

Кирпиков взял стакан Николая.

— Мать, что ты думаешь, неужели я дойду до допивок! — И выплеснул под порог.

Свой стакан слил обратно. В бутылке еще было.

— Мать, — сказал он через полчаса.

Она молчала.

19

У Васи не было денег, и за это все его поили.

— Милая, не доливай, — просил он Ларису, — все равно расплещут.

— Выкрою, — отвечала она. — Собирай кружки.

Вася слонялся по пивной и кричал:

— Теперь об этом можно рассказать!

Но всем уже надоело слушать, как жена издевалась над ним («хазила», говорил Вася), как она получила за дом, попавший в землетрясение, страховку, а Вася остался без денег. «Зато я с вами!» — говорил он. «Тяни», — предлагали ему. Он «тянул» и объяснял, что слово «бар» произошло вовсе не оттого, что они сидят-посиживают, как бары, не оттого, что здесь можно разводить тары-бары, хотя и можно. а всего-навсего слово «бар» означает сокращенное слово «бардак». Он, рыдая, убеждал, что пора кончать, что дальше ехать некуда. «Пора! Некуда!» — поддерживали его. «Бар! — кричал Вася. — А переверните — получается раб. Мы — рабы».

Михаил Зотов сидел в компании с парнем, бывшим зюкинским сторожем. Возле стола вертелись собаки.

— Как хотишь, а порядок нужен! — кричал Зюкин.

— Нужон!

— Александр Иванович! — закричали враз и Вася, и Афоня, и остальные.

Пододвинули стул, притащили пива, он не хотел, но все так любовно упрасивали. Он отпил глоток, отступились.

— Ничего, Афоня, не осталось, — сказал Кирпиков, — ничего. Родных надо любить, а получается, чужие люди дороже. А? Свой своему поневоле друг. Поневоле!

— Вчера после бани, — говорил в свою очередь Афоня, — вы-то ушли, я одеваюсь, хватился — нет. А тут фотограф мыться пришел. Говорю: давай. Дали. Он в баню не попал, а я до укола напился. Мотор заглох. Тасю вызывали. Она говорит: больше ни грамма, а то лапти отброшу. Я слышу и думаю: после бани, Суворов велел, украсть, но выпить. Суворов зря не скажет.

Вряд ли генералиссимус мог предвидеть, что ему припишут столь энергичное высказывание о послебанной чарке, вряд ли поощрял пьянство, иначе как бы выиграл столько сражений, но велика ссылка на авторитеты. Вообще производство афоризмов — дело гениев. Изречения простых смертных или недолговечны, или приписываются тем же гениям. В этой же пивной Кирпиков изрек о красоте — природе жизни. И что? И кто помнит?

Собаки, одуревшие от дыма и шума, совалясь на улицу, но каждый раз отскакивали. Уже начинались объяснения в любви и ненависти; уже Вася сказал Кирпикову: «Как хочешь, а порядок нужен»; уже буфетчица устала кричать: «Певцы! Курцы! А ну марш!» — а все не было легче.

— Нищее сердце, не бейся: все мы обмануты счастьем! — кричал Вася и пускал слезу. — Александр Иваныч, маленькая собачка до старости щенок!

— Закури, — предложил Афоня. — Термоядерные, — сказал он о сигаретах. — Живем — и умирать не думаем. Ты смотри, ведь нигде, кроме как у нас, нельзя стрельнуть закурить. В любое время дня и ночи. У незнакомых. Но, — сказал Афоня, резко выдыхая дым и снова затягиваясь, — сделай пачку по рублю и иди стрельни — я погляжу.

— Живем плохо, умирать не хотим. А ведь никуда не денемся, умрем.

— Ну, не сразу, — утешал Афоня. — У меня отец стал помирать, причем окончательно, восемь десятков яиц на поминки купили. «Отнесите в баню!» Отнесли. «Попарьте». Кровь пошла горлом. Ожил. Утром дрова рубил.

К ним подсаживались.

— Одна из гипотез, — говорил техник Михаил Зотов, энергично отбивая такт пальцем, — такова. Техника не нужна, достаточно взгляда. Магнитные силовые линии Земли, наложенные на наши, создают амплитуду. Сто человек взглядом смогут погрузить трактор. Каменные изваяния острова Пасхи...

— Но где же, где? — все спрашивал его друг. — Где исходный икс отношений?

— Наука идет по экспоненте, — говорил Зотов, — взрыв технократии, высвобождение рук при незанятом разуме...

И еще качались и плыли знакомые лица. Кирпиков чувствовал подпирающую тоску. Нехорошо было вокруг. Взвизгнула собачонка, прижатая дверь, отскочила.

— Тут вам не псарня! — кричала Лариса.

Люди окружали Кирпикова, подсаживались, заговаривали, поздравляли с возвращением, а он не отвечал, вздрагивал от хлопков по спине и только раз спросил:

— Помните Деярова?

— Нет, — ответили ему.

— Зря.

— Память отшибло.

Сквозь дым пробирался от прилавка Афоня:

— Саш, а чего мы связались с этим пивом? Нальешься — и водит из стороны в сторону. Сплошной люфт. А водки не купишь — закон. Утром мужики сидят, трясутся с похмелья, ждут одиннадцати. Похмеляются, тогда только работать. Тут обед. Для аппетита надо? Надо: голодные не работники, потом как бы до закрытия успеть. Саш! Ты теперь вольный казак — картошка к концу. Погода шепчет: бери расчет!

В Кирпикове все больше оживлялось мучительное чувство тоски, голова туманилась. Верно, от дыма, ведь почти ничего не пил. Скверно было на душе.

Кирпиков резко отодвинул кружки, вытер мокрую руку. Он хотел уходить, но Михаил Зотов во всеуслышание объявил:

— Концерт!

— По заявкам! — крикнул Зюкин.

— Мелкие люди, — сказал Кирпиков. — Я вас всех по колено вброд перейду.

Он пошел к выходу, открыл дверь, выпустил собак и услышал, как язвительно крикнули:

— Сам-то глубокий!

Он задержался и спокойно ответил:

— Нет.

— Ну так чего? — Он узнал Зотова.

— За всех вас столько горя приняли.

— Я не просил, — ответил Зотов.

— Такую чашу выпили.

— Мы, может, побольше выпьем, откуда ты знаешь? — ответил Зотов.

— Ты побольше и пьешь! — одернул Зотова Афоня, указывая на стадо пустых кружек на столе у молодых.

Кирпиков снова открыл дверь, и та же самая собака, которая только что рвалась на улицу и которую он только что выпустил, вбежала обратно.

— Не сдаемся, — кричал ему в спину Зюкин, — хоть мы и мелкие, а не сдаемся! Возили на лошадях, потом на машинах, уничтожали! Сейчас вагонами возят — не страшно!

Новолуние стояло над поселком. Но полной темноты не было. Обозначались крыши, деревья, столбы. Даже провода угадывались. Стоял какой-то морозящий свет. Если бы Кирпиков знал его название, он бы сказал: астральный.

Началась и медленно шла вторая бессонная ночь. Кирпиков вывел мерина. Взнуздal. Подвел к штабелю дров, завалился мерину на спину. Неизвестно только, что тот подумал, уже лет пятнадцать на него не садились. Сразу за поселком Кирпиков стал понужать, и мерин не вдруг, не сразу разошелся и побежал. Не голопом, уж куда, даже не собачьей рысью, а тем нестандартным бегом, который именуется треньком. Кирпиков хлестал по бокам, шее, потом бросил поводья, а мерин все бежал, все потряхивался, боясь остановиться, чтоб не упасть. Только в лесу Кирпиков услышал перехватистое дыхание мерина и перевел на шаг. Мерин споткнулся о корни, потом еще, и Кирпиков повел его в поводу.

Лес был беспорядочен и жесток в этом месте. Никто не озаботился вырубить какие-то деревья, чтоб за их счет дать волю остальным, и росли все, выживая друг друга, и если бы сейчас решить их проредить, то было уже поздно — и корни и стволы переплелись и зависели друг от друга. Но, может быть, это было лучше: внизу было болото — и какой-никакой лес, а это болото держал.

Они шли долго и оба устали. Остановились. Кирпиков захлестнул повод уздечки за дерево, сам привалился к другому и закрыл глаза.

Мерин вначале громко дышал, потом затих, будто его и не было. И слышался только шум вверху, как будто что-то все время приближалось. Спиной Кирпиков чувствовал, как ветер сгибает дерево, дерево сопротивляется, но ветер снова сгибает его. И снова что-то приближается, будто без конца подъезжает большая машина. И вдруг — откуда взялась — крикнула птица. Испуганный хриплый звук. Кирпиков вздрогнул и встал. И уже отвязав повод и пошагав, усмехнулся: «Страшно? Значит, жить хочешь? Что ж ты раззванивал, что изжился?»

У дерева, которое качалось и покачивало его, ему показалось, что он давно сидит тут и знает течение времен года и их вечность, что он чувствует погоду, не угадывает по приметам, а чувствует, то есть все ближе подходит к природе, перед тем как перейти в нее. Например, завтра будет последний в эту осень солнечный день. Если бы он знал, что человек — часть природы, он бы не согласился, хотя прожил именно по законам природы — от рождения, через расцвет, к старению.

Он подумал еще, что что-то исчезло, и понял: не слышно поездов. И если сейчас все идти на север, то их не будет слышно до самого океана. Какая-то мысль, важная для него, все ускользала, ему все хотелось связать концы, но все ползло под руками и некуда было ткнуть иголкой. «Да, да,— подумал он,— вот это — я бил мерина, я торопился. Мне надо было торопиться, но свое надо всегда кому-то во вред. Но нельзя же жить, чтоб ничего не надо...»

Кирпиков стал улаживать коня. Лесник Одегов вышел на крыльцо.

— Кто?

— На постой-то пустишь ли?

— За постой деньги платят.

— А у меня натурой.

— Я как знал,— обрадовался Одегов,— ужинать не садимся.

Лесничий щурился на этикетку, надел очки.

— Французский коньяк! — сказал он.— Здесь? Оригинально.

Кирпиков тянул к огню вовсе не замерзшие руки, совался помочь. Сели. Одегов все говорил:

— Думали, поедим да спать, а тут на-ка. Еще и выпьем. И не грех. Верно, Николаич? Такое лето скачали.

— Не грех, не грех.

Выпили за прошедшее лето, за потушенные пожары. Сколько подросту погибло, сколько гектаров уже проделанных рубок ухода и санитарных смахнуло. Лет на пять... Какой! Считать с посадкой, на десять отдернуло.

— Главное, конец моим питомникам,— уже с привычной грустью сказал лесничий.— Уж так жалко — снизу подъело, думал, ничего; хожу, нет, желтеют. Вот тебе, Пашка, и резонансная ель. Вот тебе, Александр Иваныч, и карандашный кедр и карельская береза. А ведь такие породы на такой широте.— Он улыбнулся вдруг.— Это природа сердится. Легко ли — все нам. А ей?

— Это безобразие и невнимательность,— сказал Кирпиков.

— Вредительство,— заключил Одегов. Он разочарованно крутил в руках бутылку.— Саш, ты ее оставь, или заберешь? А то масло в ней буду держать.— Он полез на печь и стал укладываться.— Попили, поели,— бормотал он,— пойти бы кого найти. Сейчас бы бабу — и полный порядок. Чего еще надо крещеному человеку?

— Чего ж от тебя жена ушла? — спросил лесничий.

— Не хочу, говорит, дичать. Хочу, говорит, к народу. А я, говорю, в лесу сижу для кого? Ну, говорит, и сиди. Может, чего высидишь. Встречаемся. Даже лучше. Захочет попилить, а я не ее, я бы тоже где и сорвался, а тоже нельзя. Будь твое питье, Саш, покрепче, ей-богу бы, к ней побежал.

— А чай? — спросил лесничий.

Одегов свесил голову.

— А не будет ли ваша такая милость, чтоб подать мне его на печку?

— Будет, будет! — весело сказал лесничий.

— А кто будит, всех раньше встает. Ну так, господа хорошие, слушайте мой отчет. Как я съездил в Слободской. Этому монаху, ребята, было легче. Кто его гнал? Кто над душой стоял: скорей, скорей? Сам подрядился и тюкал потихоньку. А там эта бабочка объясняет — и вот, главное, все на то прет, что без единого гвоздя. Так это же разве достижение? Это он специально. У гвоздей же дерево гниет. А вот днем выдьте, гляньте, какая у меня ошалевка, обшивка, гляньте! Не было в хозмаге трехдюймовки, я делал в паз, бока в зарез, тоже без гвоздя. Вы там не больно топайте, мою избу тоже в Париж повезут.

— Через триста лет?

— Хотя бы. Слышь — три альбома тетрадей отзывов. Но вообще, ребята, — сказал Пашка энергично, — если французов такой пустяк восхищает, то я даже не знаю. Там дуракам только не видно, переводы уже сбили скобками и под коньком и у стропил. Теперь ей недолго осталось. Интересно, сколько бы он заработал? Даже по шестому разряду. За три года... На хлеб бы не заработал. Очень медленно.

— Значит, сделал бы? — спросил лесничий.

— А почему нет? Это ж красота — три года тюкайся, в душу не лезут, еду приносят. Не, ребята, зря монаха хвалят. Французы кой-чего недопоняли. — Видно, лавры монаха возмущали Пашку. — Эка невидаль: без гвоздя! Он же нарочно, чтоб подольше стояла. Зато долго и делал. Никто же не гнал. Так и я могу. Да и вы сможете, нет, Николаич, ты вряд ли, ты отбился от топора, а Сашка хоть бы хрен.

— Не больно-то, — сказал Кирпиков, — я тут сруб поднимал, с бревном сколь возился.

— Так ты из-за бревна лазил? Нам говорят — Сашка в подполье сидит, с ума сошел. А меня чего не позвал?

Одегов первый уснул, а Кирпиков все ворочался и все не мог понять, зачем его сюда потянуло. «Ребята, — сказал бы он детям, — я пришел и ушел, а вам жить».

— Не спишь ведь, — сказал в темноте лесничий.

— Не сплю. Мы с тобой летом говорили, я думал и ни до чего не додумался. И в подполье был не из-за бревна. Я переживал, что малограмотный, а оказывается, ничего и не надо, надо только уметь жить.

— Всего-навсего, — сказал лесничий. — Тогда уж закурим. — Он сел, закурил.

Одегов услышал запах дыма и проснулся.

— А вот нынешняя пацанва, — сказал он, будто и не спал, — уже все, уже без мотора никуда. Товарищ Смышляев, отпустишь меня на три года? Через три года всех удивлю. Отпусти.

— На пенсию уйдешь — хоть на десять уходи.

— Тогда поздно, тогда сил не будет, нет, сейчас отпусти.

— Точно! — обрадовался Кирпиков. — Надо раньше. А то я соображать стал, а поздно.

— Я еще подумаю-подумаю и уйду, — сказал Одегов.

— И никто не скажет, что зря жил, — подхватил Кирпиков, — а я признаю — зря! Меня везде можно было заменить, и даже лучше.

— Не ври, — оборвал лесничий, — не наговаривай. То, что ты жил и живешь, это большой плюс для всего человечества.

— Но меня ж можно было заменить!

— Кем?

— Да хоть Пашкой.

— А его кем?

— Да хоть кем, — сказал Пашка. — Ой, ребята, давайте спать.

Они умолкли. Кирпиков не рассказал что хотел: как было плохо в пивной, как обидели его сын и невестка этим дурацким кино. «А так мне, лешему, и надо,— зло подумал он.— Чему я их научил? Какой пример дал? Вот мне и вымстилось. Ладно,— вздохнул он,— лишь бы они не нажглись. А Машку пусть везут. Хоть увидит, как сохой па-шут. Но разве без этого не проживет? Спокойно проживет». И это он собирался сохранить, ложиться на заморозку?

— Вот уж действительно поверишь,— заговорил лесничий, снова садясь и снова закуривая,— поверишь, что человек распространяет вокруг себя магнитное поле. Ты ведь не спишь?

— Нет.

— И тем более сильное, чем напряженнее он думает. А вообще хорошо, Александр Иванович, что ты приехал,— сказал лесничий.— Именно ты. Я очень тебе благодарен. Вот, пожалуйста, тебе ответ, в данном случае тебя никто не мог заменить.

— Николаич,— сказал Кирпиков после молчания,— а ведь я хреновиной занимался — надо было мне здесь быть, пожар тушить, может быть, и спасли бы чего.

— Может быть.

21

Светало. Роса, похожая на иней, захладила ноги.

Изгородь, поленница, баня, копейки сена барахтались в тумане. По пояс в тумане стоял лес. Лес был неподвижен, тяжел, но что-то дрогнуло вдруг в его вершине. Кирпиков вернулся в избу, присел на лавку, потом тихо лег, и сразу и неприятно вспомнилось, как он издевался над Варварой, спрашивая, как ему лежать в гробу. Он знал, что, несмотря на его плохое отношение, Варваре будет горе, и ему захотелось на будущее, чтобы предчувствие конца не обошло его и чтоб он, как кошка, заранее ушел. Он сел на лавке. Было душно, может, оттого, что он хватил свежего воздуха. «Это плохо, что из-за меня будут переживать. Я не заслужил». Вдруг как будто кто окликнул его. Он надернул сапоги и вышел.

За минуту ухода и возвращения многое переменилось. Туман стал рваться, вершины леса высветились.

И как кто поддразнил, подтолкнул Кирпикова, он полез по лестнице на крышу. Он подсмеивался над собой: старый дурак, куда тебя понесло,— а сам лез все быстрее и чуть не задохнулся, когда достиг верха. Из трубы тянуло горьким запахом сгоревшей сосины: хорошие дрова Одегов берег на холода. Кирпиков укрепился и посмотрел на лес.

Он успел.

Ах, с какой скоростью вылетело и стало расти солнце. Здоровенный красный зверь выгибал хребтину. Но это было первое впечатление. Не солнце выскочило, увидел Кирпиков, а вся Земля впереди обваливается, уходит вбок, чтобы скорей подставить, согреть все, что намерзлось ночью.

Земля упала влево и вниз, а неподвижное солнце, к которому наконец-то она прилетела, росло и росло. Пока на него было не больно смотреть. Кирпиков оглянулся назад: сумрачно, холодно, но все уже ободрялось, готовилось к рассвету — и там начинали мелькать разводы, и в плывущем тумане обозначались лиловые пятна. Пришел со спины ветер, будто и он помогал пододвигаться к теплу, деревья дрожали, будто боялись не успеть. Земля все неслась к солнцу, подлезая под него снизу, как вижоватый ребенок подлезает под руку матери и заглядывает в лицо. Земля торопилась так ощутимо, что вздрагивала от скорости.

Наконец Земля поднырнула под солнце и быстро поскользился, стараясь побольше своего места подставить под тепло, раз уж нельзя земному шару расстелиться, чтоб согреться враз. Туман разлетался,

открывалась глубокая зелень хвойного леса, пестрели березы, роса на поле блестела. И все то, что передумалось Кирпиковым в это лето, все то, что было в давней и случайной его фразе: красота есть природа жизни,— было в одном начале дня. И таких начал у всех бывает не десять, не сто, а тысячи.

Солнце вознеслось и замерло, сияние его, приглушенное восходящим и бледнеющим туманом, перешло в тепло, и Кирпиков стал согреться. Холодило спину, и он привалился к печной трубе и подумал, что вот уже своя кровушка и не греет и надо ей помогать. И вот, согреваемый с двух сторон — солнцем и кирпичами,— он понял вдруг, что наступило самое счастливое время в его жизни — старость. Ведь ему ничего больше не нужно, он никому не в тягость, а сам он знает, что нужно другим, и будет стараться помочь. И пока не было третьего звонка, он успеет еще многое. Он переберет, не откладывая на последнее озарение, свою жизнь, он постарается понять, почему у него была такая жизнь, а не другая. Он был благодарен памяти, что она жалеет его и вспоминает ему хорошее. Может быть, эта его память не только его, а всех родных и близких, и Варвара, и дети, и особенно Машенька не вспомнят его плохим и этим он спасется.

Приедет Машенька, и он еще многое успеет ей рассказать. Где и приврет, не без этого.

Но ведь помнит же он, как сидели мужики на бревнах, на солнышке и они, ребятишки, тут же, как кто-то из мужиков говорил о живой воде, как другой не согласился и проспорил и как подозвали Саню и сказали: «Ну чего, Санька, пахать ты мал, боронить велик, а за вином бегать в самый раз». И как он, Санька, летом летел в деревню. Маша сама скоро прочтет, как убитых русских богатырей исцеляли живой и мертвой водой. Приносили эту воду спасенные ими птицы.

Тут вдруг действительно откуда-то сверху принеслась птица и села на крышу.

— Поздненько встаешь, голубка,— сказал ей Кирпиков.— Солнце-то уж вон где.

Но птица, видно налетавшись досыта, спрятала голову под крыло.

А день уже всю разошелся, будто и не было ночи. Никакая тучка не мешала солнцу греть землю и все, что есть на ней. Но такие дни посылаются не только для радости, они и для работы. Надо обязательно делать что-то хорошее и нужное, чтобы делом своим, пусть маленьким, отблагодарить за такой день. Но самое смешное, что делать в такие дни ничего не хочется. Так бы сидел да грелся на солнышке. А к ногам бы потихоньку падали листья, и земля бы потихоньку становилась золотой. Некоторым из листьев повезет упасть в воду, и они будут долго плавать по ней. Становишься на колени перед родником и видишь такой кораблик, а в нем уже маленький паучок — и ползает там, и боится, чтоб его не тронули. Когда вырастают дети и внуки, надо приводить их к таким родникам.

И было бы тихо. И никто бы не ссорился. И было бы спокойно думать, что те, кто был до тебя, видели такие дни, и хорошо бы, чтобы те, кто будет после, увидели бы их тоже.



ВЗЛЕТ



ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ

Строки и голоса

Раскрываю книги прошлых лет,
слышу голоса живущих нынче..

...Солнцем весны
взлелеяны почки деревьев.
Славный закон:
чем ближе к любому светилу,
тем больше ты светом обласкан.
(Это голос Итофудзи Есиндо.)

...Взошло солнце.
Как будто вырвал из тумана вихрь
кусочек мяса.
(Это голос Таки Харуити.)

...Спите спокойно. Это не повторится.
(Надпись на надгробной плите
в Хиросиме.)

...Это был восход,
каких еще не видел мир.
Огромное зеленое сверхсолнце
за ничтожную долю секунды
поднялось до облаков,
с немыслимой яркостью освещая
вокруг себя небо и землю...
(Это голос Лоуренса, обозревателя газеты
«Нью-Йорк таймс»,
единственного журналиста,
допущенного на испытания «Толстяка»,
первой бомбы с плутониевым зарядом,
16 июля 1945 года
в штате Нью-Мексико.)

...Если блеск тысяч солнц
разом вспыхнет на небе,
человек станет смертью,
угрозой Земле...
(Строчки из священной индийской книги
«Бхагавад Гита».)

...Командир 509-й авиагруппы полковник Тиббетс
за сутки до гибели Хиросимы

дал машине, несущей бомбу,—
сверхкрепости «Б-29» —
имя своей матери: «Энола Гэй».
(Хроника сорок пятого года.)

...Гомера сокрушительный глагол,
как в масло нож, входил в сердца людские.
И чуть скрипел поэмы гулкой ствол,
раскачивая замыслы другие.
Из крайней башни льется рваный свет —
Кассандра там, пророчествуя, плачет.
И мы глядим — и через сотни лет
ее слеза для нас так много значит.
С нас много спросится
и много нам дано.
Взгляни, над головой какие звезды плещут!
Но неизвестностью прельщает нас вино,
и женские глаза нам вслед с порога блещут.
Над рощей разлился шутовый аромат.
Кленовые листья еще покоя просят.
И где-то вдалеке чуть слышен Летний сад,
что ни высоких слов, ни фальши не выносит.
Что с чем сравнить? Сровнять высотный дом
с сырой землей? Иль новый град воздвигнуть?
Пускай душа печалится о том,
чего никак рассудку не постигнуть.
Но Хиросима падает, клубясь,
и в мире нет трагичнее примера...
О память, память! Как нарушить связь
меж стронцием и строфикой Гомера?..

...Выбор момента
сделал тепловой эффект взрыва
максимальным.
(Надпись в музее Хиросимы.)

...Голос Кэрона, стрелка,
члена экипажа «Энолы Гэй»,
6 августа 1945 года:
«Это вышло похлестче,
чем за четверть доллара съехать
на собственном заду
с горы на Кони-Айленд!»

...Святой Иисус!
Если бы люди знали,
что это будет за зрелище,
мы могли бы продавать билеты
по 100 000 долларов за штуку!
(Это голос Джепсона, летчика,
члена экипажа «Энолы Гэй».)

..Где-то там, в небесах,
опрокинули чашу яда.
На дымящийся город
пролился он черным дождем.
(Строчки из рукописи Синое Сиода,
размноженной в количестве
150 экземпляров
на тюремном станке.)

...Как мы живем?.. Цепочка древних связей
как молния пронизывает нас.
Вот конь. Взгляни — канава, море грязи.
Но полночь бьет, и тот же конь — Пегас!
Как в песню, в мир приходит человек,
надежда матерей, волнение вдовье...
Но Хиросима — тысячи калек! —
уже как тень стоит у изголовья.
И крик слепой, новорожденный крик,
планету покачнув, уходит в небо...
А ты опять листаешь гору книг,
столешню отряхнув от крошек хлеба.
Когда же мы в тиши своих квартир
вдруг просышаемся, почуяв отрешенность,—
какая боль охватывает мир,
как он клянет свою незавершенность!
Гудит земля, как будто голова.
В твоих висках — дневное напряженье.
Но в тишине рождаются слова:
младенчество, надежда, продолженье...
И ты, певец, подобием узла
гордиева свяжи свои стенанья
и стой на том, что нету в мире зла
страшней, чем этих слов непониманье.

...Спите спокойно. Это не повторится.
(Надпись на надгробной плите
в Хиросиме.)

ЕВГ. БЛАЖЕВСКИЙ

Памяти бабушки

За стеклами хлопья витали,
Разъезжая площадь пуста...
В ночные безбрежные дали
Вокзал отпустил поезда.
И с богом!
Когда отъезжали
Тоску за границей лечить,
Дома Петербурга бежали,
Стремясь на подножку вскочить.
Красавица в шубке, ужели
Грядущего груз по плечу?..
Железной верстой Викжеля
За вашим составом лечу.
А вы улыбаетесь тонко
Какому-то звуку в себе...
Всего вам, родная, но только
Не думайте о судьбе.
Живите в беспечном угаре
На грани любви и греха...
Пусть после на грязном базаре
И кольца уйдут и меха.
Летите сквозь промельк несчастный
Огней за кромешной чертой...
Пусть после ваш мальчик несчастный
Оставит меня сиротой.
Я буду, как ангел сусальный,
Незримый полет совершать,

Над вашим сидением спальным
 Стараясь почти не дышать.
 Живите, пока еще рано
 Платить за парчу и атлас...
 Я после Ахматову Анну
 Прочту как посланье от вас.
 А нынче, безмолвие края,
 Свистит вылетающий пар
 И, словно забрызганный кровью,
 Во мраке летит кочегар...

Знакомство

Цветаева, и Хлебников, и Рильке!..
 Одолевая дивный сопромат,
 Ты счастлива, ты выходишь из курилки
 В тот незабвенный, в тот далекий март.
 Пока еще по человечьим школам
 Не выпало мытариться тебе,
 Еще библиотека — дом Пашкова —
 И молодость сопутствуют судьбе.
 Осевший снег, за тротуарной кромкой
 В начальной луже ежится закат...
 И от прекрасного лица знакомой
 Исходит свет, слегка голубоват.
 Отброшенная челка, гордый профиль
 И обрывает разговора нить:
 «А дома у меня отличный кофе,
 И можно о стихах поговорить...»
 И день многоголосый, уплывая,
 Томительно-нетороплив уже,
 И лестница летит, и угловая
 Квартира на последнем этаже,
 И разговор, в котором было тесно
 Из-за смущенья, из-за суеты,
 Волнует ощущением подтекста:
 Любимая... Мой милый, это ты?..

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

* * *

В дыму табачном, неживая,
 Буксует стрелка часовая.
 Не утихает пьяный ор.
 И никуда уже не деться —
 Пошел в прихожую одеться,
 Веду напрасный разговор.

Она, как водится, филолог,
 А спор, томителен и долог,
 Как птица, делает круги.
 Имеем сходство в интересах.
 Ее диплом — «Сатира в «Бесах».
 Ей нравятся мои стихи.

Она: «Писал же Достоевский...»
 А я: «История не Невский,
 И нам уж нет пути назад,
 Что было — то непоправимо».

Слова проходят мимо, мимо,
И улыбаются глаза.

Сказала медленно и глухо:
«Ну боже мой, как это глупо —
Спор о политике вести,
И с кем бы — с женщиной». Но снова
Себе — не ей: «Как ни крути,
Но не было пути иного,
Иного не было пути...»

* * *

Бывало, пальцы о железо —
Они недолго поболят.
Как странно память я порезал
О всепрощающий твой взгляд.

И этой боли удаление —
Лишь удвоенье, утроенье
В пустынных сумерках стиха,
И это было б искупленье,
Но зреет тихое прозренье —
Неискупление греха.

СЕРГЕЙ МАЛЬШЕВ

* * *

Давно тесна для человека
навырост сшитая природа:
бегут отравленные реки
в чистилище водопровода;
бредут растерянные лоси
в трескучем зареве рекламы;
коса найдет на сенокосе
на стеклопластик — не на камень.
А все ж не кажется нелепым
в минуту мудрости короткой
лежать в траве, смотреть на небо
и быть беспомощным и кротким.

* * *

Время спросит с тебя и с меня,
в самый тихий пошлет санаторий...
Подойдем ли к порогу, звеня
мелочишкой житейских историй?
Жил такой-то — и вот перестал,
не вернул человечеству долга...
Или встанем на пьедестал
чьей-то памяти — хоть ненадолго?

ВЛАДИМИР НОСКОВ

Родина

На обочине века бурного,
Сухоборьем обнесено,
Угнездилось село Табунное,
Край смородинный и сенной.

Здесь обычаи обязательны:
 Женам — верность, отцам — поклон.
 Здесь на матице да на матери
 Дом покоится испокон.
 В дальнем промысле затоскуется,
 Выйду к людям почаявать,
 В палисаднике, в чистой улице
 Первой встретится чья-то мать.
 Встанет, пристальная, с завалинки,
 Глянет знающе и красно:
 — Ах ты яблочко! Что ж от яблоньки
 Далеко тебя унесло?
 Вышла, думаю — может, Леша мой,
 Может, вспомнил родную ветвь... —
 И торопится, хоть непрошенный,
 Самым лакомым разговеть.
 Скатерть белая, чай смородинный,
 Деревенское «о» да «о».
 И с любовью глазами родины
 Смотрит сухонькое лицо.

ВАЛЕНТИНА ХАНАДЕЕВА

* * *

Еновь у меня в окне реклам сиянье,
 Мне ненавистное уже четвертый год.
 И отпуска, как срочные свиданья,
 С родной земли подстегивают взлет.
 Я жду дишпочту чуть не со слезами,
 Грызу глазами по ночам петит,
 И что колхоз «Заря» богат овсами,
 Строкой волшебной музыки звучит:
 Все грезится домишко в Прихопёрье,
 И женщина с ребенком на руках,
 И солнце — рыжий заяц — на подворье,
 И вольный запах хлеба в колосках...

ИВАН ПАНКЕЕВ

Остров Ратманова

На Ратманова падают,
 как капли весенние,
 сотни льдинок-морзянок,
 разбиваясь, звеня.
 А меня они радуют,
 я считаю везением
 их, похожих на зябликов,
 согреть у огня.
 Здесь, на маленьком острове,
 звезды кажутся острыми,
 когда вдруг затихает,
 засыпает пурга.
 Я иду кромкой берега,
 и мне стелются под ноги
 эти самые долгие
 и родные снега.

В твоём городе зелено,
по-весеннему солнечно,
и капли в веселости
близ окошка звенят...
Под ратмановской полночью,
где луна в невесомости,
силуэты у берега
еле зримо парят.

ИРИНА АНТОНОВА

В автобусе

До свиданья, чужестранцы,
Ветер Севера в лицо...
Под Москвой полей пространство.
Золотых лесов кольцо...
Немцы курят сигареты,
Разом громко говорят...
На исходе бабье лето,
Краски осени горят...
И под музыку мотора
В эти тихие часы
Открываются просторы
Среднерусской полосы.
Неприкаянны и близки,
Вдоль дороги кольцевой
Все мелькают обелиски —
След сражений под Москвой.
Из московских провожатых
Переводчица одна,
В кулачок рука зажата,
Примостилась у окна.
И взирают иностранцы
Сквозь надменные очки,
Как впиваются в пространство
Азиатские зрачки.
Как глядит она тоскливо,
От движенья захмелев,
На разметанные гривы
Жарко убранных дерев.
И глаза ее и плечи —
Как последнее прости,
Как порыв славянской речи,
Им нельзя перевести.

ВЛАДИМИР ШАРОВ

* * *

За озерными окнами дождь моросит,
Там летают нешумные рыбы,
И на дне, словно тучи, замшелый гранит —
Ледником занесенные глыбы.
И дорога до них так ясна и близка,
И так просто достигнуть предела.
Здесь, как рама воды, тонкий обруч песка
Замыкает текучее тело.

* * *

Как хозяин пасу свою тень,
 Где стоит станционный фонарь.
 Одевает домам набекрень
 Шапки белые снежный январь.
 Привокзальный буфет занесен
 И засыпан до самых стропил.
 В тупике одинокий вагон
 Формировщик составов забыл.
 Осторожно, как стадо коров,
 Наступает на рельсы метель.
 Среди ряда фонарных столбов
 И моя удлиненная тень.
 И пока я стою на свету,
 Свое малое стадо храня,
 Целый вечер звенят на ветру
 Провода, зазывая меня.

ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВА

* * *

Любить иных — тяжелый крест..

Б. Пастернак.

Да, бабы сердобольные всегда и есть и были.
 Уж испокон веков так на Руси велось —
 Здоровых, удалых ценили и любили,
 Ничтожным и дурным не хуже их жилось.
 Любовь уж больно зла: чудовище, да милый...
 — И тащит тяжкий крест, как щепку муравей,
 Упорно, зубы сжав... О боже, дай ей силы!
 Куда ж его девать? — Он нужен только ей...

ДМИТРИЙ НЕЧАЕНКО

* * *

Кровавый потек над горою,
 листок похоронки в семье...
 Моих нехвастливых героев
 убили вчера на войне.
 Я с ними не встретился даже,
 я с ними махры не делил.
 Что горестней этой пропажи,
 пронзительней этих могил?
 Никто их уже не заменит,
 не снять им тяжелых сапог,
 никто им уже не отменит
 комкастый блокадный паек.
 Как долго им будет и будет
 далекая сниться война!
 Какие высокие люди
 тебя прикрывали, страна!
 Спасибо, что есть о них память,
 что в мае на клумбах страны
 стране не хватает тюльпанов
 на эти холмы и холмы.
 Что эти простые могилы
 для нас — как высокая связь.

Я вижу и лица, и взрывы,
и лошади падают в грязь,
я слышу их дикое ржанье
и, кажется, чувствую вновь
на коже затылка дыханье
бегущих в атаку бойцов.

* * *

Нерешительный поезд в Подольск.
Крошечный снег у тебя на ресницах.
Запорошенные стекла и лица
и под ногами — раздавленный воск.
Только секунду пожатие рук.
Сядешь усталая возле окошка.
Если захочешь — продышишь дыру,
чтобы заметить начало Подольска.
Поезд устанет качаться и плыть —
в белом безмолвье зеленая лента.
Я не устану тебя любить,
как не устанут сменяться столетья,
как не устанут валиться снега
и поезда прижиматься к вокзалам.
Жизнь отзвучит и начнется сначала
с тоненькой ноты, с движенья смычка.
Но не устанут слагаться стихи
в нас, вдохновленные ликами женщин.
Мы не останемся. Каждый не вечен.
Новое время искупит грехи.
Что же останется? Поезд в Подольск,
имя, звенящее нежностью, — Инна,
томик поэзии или картина,
у изголовья пылающий воск...

КАРЭН ДЖАНГИРОВ

Жизнь

В автобусе, трамвае и метро,
в кинотеатре, дома и на службе
мне преподносят кипы фотографий
больших, огромных и миниатюрных
с улыбкой, злобой, горем и надеждой
и уверяют, будто это я,
и я беру их, память заполняя,
но каждый раз бываю изумлен.

ЗИНАИДА ТАКШЕЕВА

Выгрузка

Стоит «Архангельск» у причала,
Торопит выгрузку: скорей!
Пружиня ноги, трап качают
Матросы тяжестью своей
И в трюмы, как парашютисты,
Ныряют с грузом на плечах.
А солнце нынче огневисто —
Жарынь-жара, как в ста печаях!
Да, выгрузку не славят в одах,
День пропотелый напряжен!
Зато потом как сладок отдых,
Как вкусен чай, как сладок сон!

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

Только дорога

Дверцы в гармошку — не лучше ль пешком!
 Сумка обнимет плечо ремешком.
 Сколько потоков белых и алых!
 Ветер раздул угольки стоп-сигналов.
 Как мне при этих огнях здесь мечталось!
 Буря промчалась, но море осталось...
 Вдоволь подвалы хлебнут половодья.
 Спрыгну с подножки на улицу: вот я!
 Счастливы, что выжили, распахнутым вышел.
 Ни одного телефона на память.
 Ни одного... А зачем? Для чего?
 Каждый согрелся своим чагом.
 Счастье, как девушка, виснет на парне.
 Радость, ты где, мой забытый напарник?
 Грустно живущему не на потребу.
 Рельсовый путь — словно лестница в небо.
 Было былое? Обиды хороним..
 Прошлые помнятся самым хорошим.
 Самым хорошим... Иду отрешенно
 Под проводами, налитыми током,
 Что ожидает, не знаючи толком.
 Только б дорога. Дорога, и только!

Летописец при Зевсе

Имя что, коль его не поддержат дела.
 Имена столь же бренны, как наши тела.
 Предстает вся Эллада при слове «Гомер».
 Мне всегда он казался таким, например:
 Не широк, не высок и, конечно, лобаст,
 И себя никому он в обиду не даст.
 Сын садовника — до смерти любит цветы
 И на море глядит, воздевая персты.
 Хитромудрый певец далеко не старик,
 Это — ветер и чаек пожизненный крик,
 Это — пена прибоя, раскаты валов,
 Это — шепот вакханки, мычанье волон...
 Это — жажда желанья познать и успеть,
 Это — страх, что всего не удастся воспеть.
 Имя — больше, чем имя! Гомер — это жизнь¹.
 Ну так что же, Гомер, бесконечно вершись!
 ...Так постигший людей пусть послужит богам!
 Летописец при Зевсе садится к ногам.
 Он при Зевсе несмело садится у ног.
 Летописец в веках станет выше, чем бог!
 Почернел он от солнца, от дум побелел,
 Кто же песни всю жизнь ему петь повелел?
 Свою Трою он строит, чтоб кинуть к ногам
 Вечной страсти, что нам постигать по слогам..
 Доны юной Эллады, Аид и Олимп
 Его слышат с утра до вечерних молитв.
 Он поет, как бы взор от людей отвратив,
 Бесконечную песнь на античный мотив.

¹ Гомер — жизнь (тюрк.).

ЕВГ. МАНФАНОВСКАЯ**День Победы**

И замирает Земля
В священном молчанье минуты.
И дрогнут сердца,
Только губы сомкнуты.
И душу пронзило,
Озноб за спиною.
Какою ценою!
Какою ценою!..
Просторно и чисто.
Холмы чуть вдали..
Леса и поля..
У весенней земли
Раздольный, спокойный
И свежий наряд.
Светло и достойно
Погибшие спят.
Пусть вечно так чисто,
Спокойно так будет,
Слезами, что в горле,
Клянемся же, люди.

ЕВГЕНИЙ МУРАВЛЕВ

* * *

Иду я полем к белым колкам
И радуюсь, что привелось
Родиться на Руси, в поселке,
Продутом временем насквозь.
Пускай в нем избы поредели
И тихо глохнут вишняки,
Живут в нем при крестьянском деле
Мои родные старики.
И что, казалось, в век наш значат
Проселок, роща, крик грачей...
А вот иду и чуть не плачу
От этих самых мелочей.

ВИКТОР СМАГИН**Сянева**

Сухарь на всех, последняя махорка,
И нету сил, хоть падай на пути,
А ты бури до самого Нью-Йорка,
Но нефть достань и Север освети.
Обогревая души человечьи,
Туда, в Европу, трубы протяни.
Пускай горят мартеновские печи
И памятников вечные огни.
И мы сквозь синь с высоковольтным гудом
Пробили теплотрассы в города.
И если я об этом позабуду,
То нас не позабудут никогда.

ВЛАДИМИР ЧУРИЛИН**Магнитогорску**

Как далека уральская зима,
 Сугробы у запущенной запруды.
 Я, кажется, и впрямь сойду с ума,
 Коль завтра же не выеду отсюда.
 А впрочем, тут не климат виноват —
 Мартенами, как звездами, мерцая,
 Зовет меня любимый комбинат
 И люди с очень сильными сердцами.
 Там ждут меня ребята-слесаря,
 Там звездными высокими ночами
 Вполнеба разливается заря
 Над нашими багровыми печами.
 Люблю тебя, трудяга городок,
 И, уходя в суровые походы,
 Я верю, что любая из дорог
 В конце концов ведет меня к заводу.

ВИКТОР ЩЕГОЛЕВ**Разве этот солдат неизвестен...**

Разве этот солдат неизвестен,
 Если столько безоблачных лет
 Он, воскресший в легендах и песнях,
 Заслоняет планету от бед?
 Пусть упал он от дома неблизко,
 Посреди подмосковных полей,
 Но приходят к его обелиску
 Сотни тысяч родных матерей.
 И для каждой из них он, для каждой,
 Поседевшей от ранних кручин,
 Алексей, Василек или Саша,
 С той войны не вернувшийся сын.

НИКОЛАЙ УРВАНЦЕВ

* * *

Молодые и совсем еще зеленые,
 Дав усладу бойким языкам,
 Влазим мы в свои комбинезоны
 И идем к машинам и станкам.
 День начнется, суетлив и жарок,
 С каждым часом будто горячей,
 Цех цветет в огнях электросварок,
 Что поярче солнечных лучей.
 Нам как будто нечем и гордиться —
 Мы из начинающих ребят.
 Но и наши молодые лица
 Гордостью и удалью горят.
 И порой, как высшая награда,
 Крикнет мастер: «Так держи, сынок!»
 Знаешь, что работаешь как надо
 И в своем труде не одинок.

ЛЮДМИЛА СОСНОВСКАЯ**Озеро Тургояк**

Слева тучи плетутся,
Справа горы стоят.
Ветер лижет из блюда
Голубой Тургояк.
И в любую погоду
Крики чаек: ты чья?
Родниковую воду
Лоси пьют из ручья.
Ветер сосны наклонит,
Чтоб в воде сполоснуть...
Я могу здесь в ладони
Целый мир зачерпнуть.

СЕМЕН ПЕЧЕНИК

* * *

В Сибирь тянулись тысячи дорог.
Такой нагрузки не знавали шпалы —
Сибирский хлеб, сибирский уголек
И танки из кузнецкого металла.
И был тогда крутой беда посол.
И похоронка в каждый дом — не новость.
И вот тогда кто и куда пошел —
Решали военком и совесть.

* * *

Памяти В. Мартемьянова.

Рыданье летчиков... Ты видел или нет?
Когда глаза наполнены слезами
И молча улыбается портрет,
Оправленный бумажными цветами.
Пусть скорость иногда сильнее нас,
Но на каком-то внутреннем пределе
Мы грудью рвем намеченные цели
И в землю входим, не смыкая глаз.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ**Конец века**

Уже не быть любимцами России.
Уже прошла младенчества пора.
Венков лавровых не совьют витии
при помощи бумаги и пера.
А остальные способы не годны,
от них, как тленом, тянет суетой...
Прав будет всякий летописец твердый,
кто в удивлении опишет годы,
какие знал и подпирал собой.

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ

* * *

Кто-то бродит в доме втихомолку,
и часы замедленные бьют,
книгами заваленные полки,
кабинета кожаный приют.

Здесь размером менее ладони
в нише мягкой, где рассеян свет,
в бледном, полустертом медальоне
на стене эмалевый портрет.
И казался мне игрушкой взрослых,
странно схож с подзорною трубой,
микроскопа одинокий корпус
на винтах с латунною резьбой.

Здесь топили печи в непогоду,
когда северо-восточный ветер дул,
деревом таинственной породы
со степным названьем саксаул.
Бабочки на бархате в футлярах
под стеклом. И черный махаон
светел, как в египетских подвалах
неподвижный царь Тутанхамон.
Воздух детства — баночка эфира,
папоротник белый, филигрань.
Под блестящей сетью микромира
шевелится дымчатый Тянь-Шань.

Я с трудом переверну страницу
рукописи. Сдвину карандаш.
И темнеет ярко сквозь ресницы
казахстанским золотом пейзаж.

* * *

Тот голос пел. Пустынный, безмятежный
И чистый в одиночестве своем,
Он надо мной расправил крылья нежно
И заслонил зеленый окоем.

И звоны были в нем ночного свода,
И сны озер в предутренней тиши,
Гавайских струн протяжная свобода
И бесприютность белая души.

Казалось, снова звездными дождями
Пронизаны затихшие сады
И под луной нестройными ветвями
Поют деревья голосом беды.

Тот голос пел. Стекали струны звоном,
Текли мониста, звеньями звеня,
И в полумгле серебряных затонов
Мелькала тень плывущего коня.

И в звуках тех нечаянность отрады
Смешалась с беспричинностью тоски,
Как долгие мгновенья снегопада
И вечности поющие пески.

СЕРГЕЙ СЕМЯННИКОВ

* * *

Мои соседи — выше этажом, —
Веселые от водочки с грибками,
Всю ночь долбили пол свой каблуками,

Забыв, что мне он служит потолком.
А утром, извиняясь и шутя,
Оправдывались тем, что и над ними,
Как вечер, отмечает именины
Соседей «многодетная» семья.
Как часто, не желая быть в ответе,
Мы так юлим, кивая на других.
Глядят на это молча наши дети,
А мы все ждем хорошего от них.
И мне порой от взвинченности дел,
Придя домой, так хочется затопать,
Оправдываясь тем, что я не робот,
Что кто-то надо мной не так галдел.
Но я молчу. Я сдерживаю нервы
С болезненным сознанием того,
Что кто-то в этом гаме служит первым
И кто-то продолжением его.
Невежество не знает снисхожденья,
Когда мы снисходительны к себе.
Быть может, подо мной как разрешенья
Ждет кто-то топотни на потолке.
Всегда кому-то ты живой пример,
Живой запрет, живое разрешенье,
Не будь чужих пороков продолженьем —
И станут исчезать они, поверь.
Я это в жизни постигал хребтом.
Где б ты не жил, отдельно жить не можешь,
Всегда кому-то служит потолком
То, по чему ты топaeшь и ходишь.

НАТАЛИЯ ГРАЧЕВА

Рама

И солнце коснулось далеких домов,
Но запах смолы склеит губы и руки,
И мать побледнела от долгой разлуки,
Но ветер скользит у прозрачных стволов.
И мать обернулась, но словно во сне
Ко мне приплывут и черты и чертоги,
Не вынуть увязшие тонкие ноги
Деревьев моих, проступивших во тьме.
Преломится свет в помрачневшем окне,
А снег ожидал и вчерашний и белый,
Побелкою влажной пропахшие стены
И соль на раскинутом круглом столе.
Преломятся ветви, и словно во сне,
Как звук одинокий в лесу безголосом,
Оставленность эта внезапно и просто
В сосновую раму вписалась вполне.



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!*

Роман

Они отправились в Новый Орлеан. Ясным студеным рождественским утром они подъехали к Реке, где сели на пароход, и Генри всю дорогу шел впереди — так будет до самого конца, когда, впервые за все время их знакомства, впереди пойдет Бон, а Генри последует за ним. Генри совсем не нужно было ехать. Он добровольно стал нищим, а ведь он мог бы пойти к деду. Нет, ему совсем не нужно было ехать. Бон скакал верхом рядом с ним, пытаясь выведать у него, что же случилось. Бон, конечно, знал, что Сатпен обнаружил в Новом Орлеане, однако ему хотелось узнать, что именно и сколько тот рассказал Генри, но Генри ничего ему не говорил. Генри, без сомнения, уехал на новой кобыле, вероятно, зная, что ему придется отдать, принести в жертву и ее вместе со всей своей жизнью и наследием; он ехал быстро, держался прямо, он окончательно и бесповоротно повернулся спиной к родному дому, к привычному миру детства и юности, которые отринул ради друга, с кем, несмотря на жертву, только что принесенную им на алтарь верности и любви, он все еще не мог быть до конца откровенным. Ведь он знал, что Сатпен сказал ему правду. Он, без сомнения, понял это в ту самую секунду, когда обвинил отца во лжи. Поэтому он не смел попросить Бона это опровергнуть, понимаешь, просто не смел. Он не боялся стать нищим, лишиться наследства, но услышать ложь от Бона было для него нестерпимо. И тем не менее он поехал в Новый Орлеан. Он поехал прямо туда, в то единственное место, где его ждало неопровержимое доказательство, что он напрасно обвинил отца во лжи. Он поехал туда именно с этой целью, именно чтоб это доказать. А Бон ехал рядом с ним, пытаясь выведать, что сказал ему Сатпен, — Бон, который уже полтора года наблюдал, как Генри подражает его манере говорить и одеваться; он уже полтора года видел в себе предмет такой полной и беззаветной преданности, что только юноша — но отнюдь не женщина — может подарить другому юноше или мужчине; он уже целый год видел, как сестра покоряется чарам, которым уже покорился брат, меж тем как сам соблазнитель не сделал для этого ровно ничего, даже и пальцем не двинул, и получилось, будто сестру зачаровал, соблазнил брат, как бы переселившись в тело Бона. Однако вот письмо, отосланное четыре года спустя; оно было написано печным лаком, захваченным на складах янки, на листе бумаги, взятом из разграбленного дома в Каролине, и это после того, как Джудит четыре года не получила о нем (о Боне) никаких известий, лишь Генри порою извещал ее, что тот еще жив. Словом, знал Генри о другой женщине или не знал — он неминуемо должен был узнать про нее теперь. Бон это понял. Я даже представляю себе, как они едут — Генри все еще разгорячен отчаянной схваткой за честь друга; Бон, более мудрый, более хитрый хотя бы только потому, что обладал большим жизненным опытом и был на несколько лет старше, выведывает у простодушного Генри, о чем рассказал ему Сатпен. Ибо теперь Генри уже это знал. И я не думаю, что Бон просто хотел удержать Генри при себе на случай каких-нибудь осложнений в будущем. Бон не только по-своему любил Джудит, он любил также и Генри, и, я думаю, гораздо глубже, чем просто «по-всеми». Быть может, в своем фатализме Бон любил Генри даже сильнее, быть может, он видел в сестре всего лишь тень, женскую особь, на которую ему пришлось излить любовь, чьим истинным предметом был

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

юноша,— быть может, этот рассудочный Дон Жуан, наперекор естественному порядку вещей научившийся любить то, что сам же ранил, любил даже нечто большее, чем Генри или Джудит, а именно: их существование, самый их образ жизни. Кто знает, какую мирную картину увидел он в этой унылой провинциальной глуши; какое облегчение и избавление нашел в этом скромном сельском, одетом в гранит роднике томимый жаждой путник, что слишком молодым проделал слишком долгий путь.

Я представляю себе, как Бон сообщил, рассказал это Генри. Могу также представить себе Генри в Новом Орлеане — Генри, который не бывал даже в Мемфисе, Генри, все знакомство которого с внешним миром сводилось к посещению других плантаторских домов и усадеб, почти ничем не отличавшихся от его собственных, где царил тот же издавна заведенный порядок, что и дома,— та же охота, те же пегашные бои, те же неумелые скачки по разбитым ухабистым дорогам на лошадях хотя и чистых кровей, но не приученных к этому спорту и, наверное, лишь полчаса назад выпряженных из двуколки или даже из кареты; та же кадрили с совершенно одинаковыми, как две капли воды похожими друг на друга провинциальными девицами, под музыку точь-в-точь такую же, как дома; то же шампанское, несомненно наивысшего сорта, но неуклюже поданное неотесанными, карикатурно расфранченными лакеями-неграми — ни дать ни взять персонажи ярмарочного балагана, — они (равно как и гости, глотавшие его залпом, словно неразбавленное виски, под пошлые и выпренные тосты) точно так же обошлись бы и с простым лимонадом. Я вижу, как этот юноша, воспитанный в пуританских традициях, в чисто англосаксонских традициях неистового гордого мистицизма и стыда перед своей неопытностью и неискушенностью, попадает в этот чужеземный, полный противоречий город, в атмосферу одновременно женственно-мягкую и твердую, как стальной клинок, одновременно гибельную и томную; я вижу, как этот угрюмый грубоватый парень из суровой, как гранит, страны, где даже дома, не говоря об одежде и поведении, сработаны по образу и подобию завистливого и злобного Иеговы, внезапно очутился в краю, обитатели которого создали своего Всемогущего вкупе с его иерархическим сонмом благообразных святых и обворожительных ангелов по образу и подобию своих домов, своих роскошных украшений и сладострастной неги. Да, я могу себе представить, как Бон подводил Генри ко всему этому, к этому потрясению; как искусно и расчетливо готовил к нему пуританский ум Генри — так земледелец готовит к вспашке и посеву скудное каменистое поле, надеясь вырастить на нем богатый урожай. Обряд бракосочетания — не важно, какой именно — вот что должно было возмутить Генри, и Бон это знал. Не любовница, не ребенок, даже не любовница-негритянка с ребенком: ведь Генри и Джудит сами выросли вместе со сводной сестрой-негритянкой; само по себе существование любовницы не смущало Генри, а то, что эта любовница черномазая, и вовсе не имело значения для юноши из такой среды, выросшего и живущего в обществе, где слабый пол делится на три четко разграниченные категории, разделенные (по крайней мере две из них) пропастью, которую можно перейти только один раз и только в одну сторону: благородные дамы, женщины и девки — девственницы, на которых джентльмены рано или поздно женятся; куртизанки, которых они посещают по воскресеньям в городе; рабыни, без которых первая каста не могла бы существовать и которым она в известных случаях безусловно обязана своей девственностью, — не это смущало Генри, здорового крепкого юношу, чью кровь горячили верховая езда и охота, целомудренные забавы, в которых вынуждены проводить время он сам и ему подобные, для кого девушки их собственного круга нечто запретное и недоступное, женщины второй категории столь же недоступны из-за недостатка денег и дальности расстояния, и остаются лишь рабыни: служанки, приученные к чистоте и опрятности белыми хозяйками, а то и потные работницы с полей; и вот молодой человек едет верхом в поле, подзывает надсмотрщика, велит ему прислать Юнону, Миссилену или Хлори, а потом скрывается в роще, спешивается и ждет. Нет, без сомнения, думал Бон, тут все дело в обряде бракосочетания, правда с негритянкой, но все же в обряде. Я представляю себе, как он это делает, как он берет невинную душу и разум провинциала Генри и постепенно подвергает их воздействию этой экзотической среды, словно художник, мазок за мазком нанося на эту чистую доску картину, которую она согласно его замыслу должна принять и сохранить. Я вижу, как он постепенно завлекает Генри в тенета роскошной жизни; как без объяснений, без предупреждений, показывая сначала

следствие, а уж потом причину, открывает ему лишь внешнюю сторону — строение несколько причудливой, женственно пышной и потому на вкус Генри чересчур роскошной, чувственной и греховной архитектуры; огромную легкую добычу, что изморяется грузом в трюмах пароходов, а не изнурительным трудом людей, обливающихся потом на хлопковых полях; блеск и сверканье колес проносящихся вихрем бесчисленных экипажей, в которых женщины, величественно неподвижные, словно на живописном портрете, восседают рядом с мужчинами — сорочки на них чуть более тонкие, костюмы чуть более щегольские, бриллианты чуть более чистой воды, шляпы чуть более лихо заломлены, лица чуть более самодовольные, нежели все, какие Генри доводилось встречать прежде; меж тем как наставник — человек, ради которого Генри отрекся не только от родного дома, но и от хлеба насущного, крова и одежды, чью манеру одеваться, ходить, говорить, равно как обращение с женщинами и понятия о гордости и чести, он пытался перенять, — наблюдает за ним с холодным непроницаемым расчетом, словно кошка; наблюдает, как эта картина становится четкой и ясной, и говорит Генри: «Но это еще не главное. Это лишь основание, фундамент. Это может получить каждый», а Генри говорит ему: «Ты хочешь сказать, что главное не это? Что оно еще выше, значительнее и важнее?» «Да, — продолжает Бон. — Это лишь фундамент. Это доступно каждому» — диалог без слов, речь, которая закрепит и потом, не стирая ни единого штриха, удалит с картины задний план, и вот доска уже опять чиста, опять готова принять новое изображение; податливая доска с пуританским смирением перед всем, что относится к чувству, а не к логике, не к фактам, а за всем этим стоит человек со страждущей душою, задыхаясь, он твердит *Я хочу верить! Хочу! Хочу! Правда это или нет, я все равно хочу верить!* а между тем доска ждет следующей картины, которую наставник, совратитель уже для нее задумал; когда эта следующая картина будет воспринята и закреплена, наставник снова произнесет, быть может, на этот раз уже словами — все еще наблюдая это бесстрастное задумчивое лицо, он все еще уверен, что этот пуританин не удивится, не упадет в отчаянье, а выкажет только неодобрение или не выкажет ровно ничего, лишь бы его осуждение не истолковали как удивление или отчаянье, — наставник произнесет: «Но даже и это еще не главное» — и тогда Генри спросит: «Ты хочешь сказать, что оно даже выше этого, что оно превосходит даже и это?» Ведь теперь Бон будет говорить — лениво, чуть ли не таинственно, он теперь будет сам рисовать задуманную им картину; я даже вижу, как он это делает: точный расчет, ловкость и холодная отчужденность хирурга; мажки быстрые, настолько быстрые, что кажутся отрывистыми, таинственными; доска еще не знает, какова будет картина в законченном виде; картина еще едва намечена, но ее уже нельзя смыть: двуколка и верховая лошадь остановились перед закрытыми воротами, удивительно похожими на монастырские, в квартале несколько ущербном, даже несколько зловещем; Бон мимоходом называет имя хозяина — совращение продолжается, он искусно внушает Генри, будто они беседуют как два светских человека, и потому он уверен, что Генри поймет его с полуслова, а Генри, пуританин, остается невозмутимым — лишь бы не выказать своего удивления или недоуменья, — глухой фасад с закрытыми ставнями дремлет в туманной дымке солнечного утра; тихий таинственный голос намекает на тайные, странные, неизъяснимые наслаждения. Генри не понимал, что он видит; казалось, будто эта глухая замшелая преграда, исчезая, открыла нечто недоступное разуму, интеллекту, привыкшему взвешивать и отвергать, нечто, мгновенно и безошибочно быющее прямо в цель, в самую первооснову слепых и бездумных желаний и надежда всякого молодого мужчины — ряд лиц, словно выставленные на прилавок цветы: наивысший апофеоз рабства, торговли человеческим телом, которое посредством смещения двух рас специально вырастили на продажу, длинный ряд обреченных, трагически прекрасных, как цветы, лиц, стесненный с одной стороны шеренгой свирепых старух дуэний, с другой — строем молодых щеголей, элегантных, хищных и (в эту минуту) сильно смахивающих на козлов, — все это Генри видит мельком, картину быстро открывают и тут же снова закрывают; голос наставника все еще звучит вкрадчиво, мягко, таинственно, он все еще изображает дело так, будто один светский человек беседует с другим о чем-то, им обоим хорошо известном; он все еще надеется, рассчитывает, что провинциал-пуританин побоится выказать удивление или неведение, — он знает Генри неизмеримо лучше, чем Генри знает его, но и Генри тоже ничем не выдает себя, он все еще подавляет этот первый крик ужаса и горя *Я хочу верить! Хочу! Хочу!* Да, картина появляется и исчезает мимолетно, прежде чем Генри

успевает понять, что он увидел, но теперь темп замедляется, теперь должен наступить тот миг, ради которого Бон столько трудился: перед ним неприступная стена, ворота, запертые тяжелым засовом; бесстрастный задумчивый деревенский юноша ждет, смотрит, он еще не спрашивает что и почему; ворота сделаны из массивных балок, а не из тонкого железного кружева; они подходят ближе, Бон стучится в маленькую калитку, появляется смуглый человек, напоминающий фигурку с гравюры времен Французской революции, встревоженный, даже несколько ошеломленный, он смотрит на дневной свет, потом на Генри и обращается к Бону на французском языке, которого Генри не знает; зубы Бона на мгновение блеснули, и он отвечает тоже по-французски: «С ним? С американцем? Он мой гость, мне следовало бы предоставить ему право выбрать оружие, но я не хочу драться на топорах. Нет, нет, только не это. Всего лишь ключ». Всего лишь ключ; и вот массивные ворота закрываются не перед ними, а за ними, высокие толстые стены скрывают город и заглушают городской шум; непроходимые заросли олеандров, жасмина, лантаны и мимозы окружают полосу голой земли, прилегающую и посыпанную толчеными ракушками, она тщательно подметена и безукоризненно чиста, вот только не успели засыпать свежие бурые пятна; голос наставника — он теперь отошел в сторону и наблюдает сумрачное лицо провинциала — звучит небрежно, непринужденно: «Обычно поступают так: становятся спиной к спине, в правой руке ты держишь пистолет, а в левой — конец плаща противника. Затем по сигналу ты идешь вперед и когда почувствуешь, что плащ натянулся, оборачиваешься и стреляешь. Правда, те, у кого кровь слишком уж горячая, — они по большей части из крестьян — предпочитают пару ножей и один плащ. Завернувшись в плащ, они стоят лицом к лицу, и каждый левой рукой держит запястье противника. Но я никогда к этому способу не прибегал...» — понимаешь, так это легко, небрежно; он ждет вопроса медлительного провинциала Генри, а тот, еще не успев спросить: «А зачем тебе... зачем им надо драться?» — уже знает ответ.

Да, Генри теперь уже знает или думает, что знает; более того, он, наверное, сочтет все остальное менее важным, хотя на самом деле это не так — это последний удар, штрих, мазок, последний смелый надрез хирургических ножниц, которого усыпленный наркозом больной даже и не ощутит, полагая, что после первых грубых вторжений самое худшее уже позади. Ведь оставался еще этот обряд. Бон знал, что именно его Генри не сможет стерпеть, проглотить и переварить. О, он был хитер, этот человек, которого Генри, как ему за эти недели стало ясно, понимал все меньше и меньше, этот чужестранец, который, теперь забыв обо всем на свете, занялся тщательными, почти ритуальными приготовлениями к предстоящему визиту, словно женщина, дотошно обсуждая фасон нового костюма, который он для этого случая заказал и чуть ли не насильно заставил Генри от него принять, и потому впечатление, которое этот визит должен был на Генри произвести, составилось еще прежде, чем они успели выйти из дому, прежде, чем Генри увидел эту женщину, а Генри, сельский житель, окончательно сбитый с толку, уже чуял под собою едва заметное течение, которое несло его туда, где ему придется либо изменить самому себе, всем своим привычкам, убеждениям и взглядам, либо лишиться друга, ради которого он уже отрекся от родного дома, от семьи и от всего остального; сбитый с толку и (в эту минуту) совершенно беспомощный, он хотел верить, но сомневался, сможет ли, а друг, наставник уже вводил его через непроницаемые, глухие ворота наподобие тех, перед которыми он видел лошадей и двуколку, вводил прямо туда, где, по его провинциальным пуританским понятиям, мораль перевернута с ног на голову, а честь безвозвратно утрачена, — в обитель сладострастья, созданную сладострастьем и бесстыдной, беззащитной чувственностью; и вот уже этот деревенский парень с его простым, дотоле непоколебимым представлением о мире, где женщины лишь благородные дамы, блудницы или рабыни, взирает на апофеоз смешения двух обреченных рас; здесь царствует его же собственная жертва — женщина с лицом трагически прекрасным, как цветок магнолии, воплощение вечной женственности, вечная страстотерлица, а ребенок, мальчик, хотя и спит в шелках и кружевах, все же остается рабом того, кто уже во время зачатия безраздельно владел его телом и душой и (при желании) мог продать его, как теленка, ягненка или щенка; между тем наставник опять за ним наблюдает, быть может, даже как игрок, стараясь угадать *Выиграл я или проиграл?* теперь, когда они вышли и возвращались на квартиру к Бону, тот на время лишился дара речи, лишился даже хитрости; он уж больше не рассчитывал на это пуританское свойст-

во ни под каким видом не выказывать ни удивленья, ни отчаянья; теперь он мог рассчитывать (если оставалось на что) лишь на любовь совращенного им Генри, спросить: «Ну как? Что ты на это скажешь?» — он не мог. Он мог только ждать, а ведь один Бог знает, каких выходов можно ожидать от человека, который руководствуется не разумом, а инстинктом, — ждать, пока Генри скажет: «Но ведь это продажная женщина, блудница» — и тогда Бон, на этот раз даже ласково, возразит: «Нет, не блудница. Не говори так. Никогда не называй их так в Новом Орлеане, иначе не меньше тысячи мужчин заставят тебя кровью заплатить за эту вольность» — и, возможно, все еще ласково, возможно, теперь даже отчасти и с жалостью — с горькой, насмешливой, рассудочной жалостью умного человека ко всякой людской несправедливости, глупости или страданию: «Нет, они не блудницы. Не блудницы благодаря нам, благодаря этой тысяче. Мы — эта тысяча, белые мужчины, — создали их, сделали их тем, что они есть; мы даже издали законы, согласно которым одна восьмая крови определенного сорта должна превысить семь восьмых крови другого сорта. Я это признаю. Но ведь та же белая раса тоже сделала бы из них рабынь, служанок, кухарок, быть может, даже заставила бы их работать на полях, если б не эта тысяча, не эти несколько мужчин, таких, как я, на твой взгляд, быть может, лишенных принципов и чести. Мы не способны, возможно, даже не хотим спасти их всех, возможно, мы спасаем не более одной тысячной доли. Но эту тысячную долю мы спасаем. У Господа Бога каждая пичужка на счету, но ты пойми, что никто из нас не претендует на роль Бога. Возможно, никто из нас даже и не хочет быть Богом — ведь каждому нужна всего одна пичужка. И, быть может, загляни Господь Бог в обитель, подобную той, какую ты видел сегодня вечером, он не пожелал бы сделать Богом никого из нас, особенно теперь, когда он уже стар. Хотя, конечно, когда-то и он был молод, даже наверное был и, наверное, прожив столько лет, сколько он, и насмотревшись на то, как люди безудержно, безрассудно и бесстыдно предаются грубому беспорядочному греху, каждый захочет наконец насладиться зрелищем того (хотя подобные случаи встречаются реже одного на миллион), как принципы чести, благопристойности и добра распространяются на совершенно нормальный человеческий инстинкт, который вы, англосаксы, упорно называете похотью и которому по воскресеньям предается в первобытных пещерах; при этом ваше отпадение от так называемой благодати затмевается и затуманивается богопротивными словами извинений и оправданий, которыми вы дерзко бросаете вызов Всевышнему, а возвращение под сень благодати сопровождается воплями пресыщенного самоуничижения и самобичевания, которыми вы пытаетесь задобрить Всевышнего; но ни в том, ни в другом — ни в дерзком вызове, ни в самоуничижении — Всевышний не находит ничего интересного, а после двух-трех раз даже ничего забавного. Так, может быть, коль скоро Господь уже стар, ему неинтересно даже и каким способом мы служим ему, что вы называете похотью; может быть, он даже не требует, чтобы мы спасали одну эту пичужку или хотя бы ту, которую мы действительно спасаем ради его похвалы. Но ведь эту-то мы действительно спасаем, а иначе ее продадут любому негодяю, у которого достанет денег, и продадут не на одну ночь, как белую проститутку, а на всю жизнь, душой и телом, и притом человеку, который безнаказанно будет обращаться с нею хуже, чем со скотиной — коровой или кобылой, а потом выбросит, продаст или просто убьет, когда она станет ни на что не пригодной или когда расходы на ее содержание превысят ее рыночную цену. Да, пичужку, которую не заметил сам Господь Бог. Ведь хотя люди, белые люди, ее создали, Господь Бог им не помешал. Он посеял зерно, из которого она выросла и расцвела, — белую кровь, которая придала форму и цвет тому, что белый человек зовет женской красотой, тому женскому началу, что, исполненное царственного совершенства, тайлось в жарких тропических чреслах земли задолго до того, как наши белые прародительницы спустились с деревьев на землю, потеряли свою шерсть и побелели; вечной женственности, податливой, мягкой, как воск, и изначально наделенной способностью дарить изысканные, древние как мир, неизъяснимые плотские наслаждения (и это все, ничего другого не существует), от которых ее белые сестры, эти высоко нравственные выскочки, шарахаются в ужасе и возмущении; женственности всемогущей и мудрой, что, как на троне, царит, распростершись на закрытом от солнца шелковом ложе, тогда как белая ее сестра тщится превратить свои женские чары в некий капитал — подобно кому-то, кто захотел бы поставить в магазине прилавок или купить весы или сейф, а за это потребовал бы свою долю прибыли. Нет, они не блудницы. И даже не куртизанки эти

создания, которых с раннего детства отбирают, воспитывают, холят и лелеют куда более заботливо, чем любую белую девушку, любую монахиню, даже любую чистокровную кобылу, и окружают такой неусыпной заботой и вниманием, на какую не способна ни одна родная мать. Разумеется, за плату, но эту плату предлагают, принимают или отклоняют по правилам куда более строгим, нежели те, по каким продают белых девушек, потому что они товар более ценный, чем белые девушки; каждая из них прекрасно вышколена и обучена выполнять единственную цель и назначение женщины — любить, блистать красотой и развлекать; она не видит ни одного мужского лица до тех пор, пока ее не привезут на бал и не выставят на продажу, до тех пор, пока ее не выберет какой-либо мужчина, который со своей стороны не то чтобы может или хочет, а просто обязан поместить ее в соответствующее окружение, где она будет любить, блистать красотой и развлекать; мужчина, который ради этого права обычно ставит на карту свою жизнь или, во всяком случае, свою кровь. Нет, они не блудницы. Порою мне кажется, что они единственные по-настоящему целомудренные женщины во всей Америке, и они хранят верность и преданность тому мужчине не только до тех пор, пока он не умрет или не даст им свободу, а до тех пор, пока не умрут они сами. А где ты найдешь блудницу или порядочную женщину, на которую ты мог бы настолько положиться?». А Генри: «Но ведь ты на ней женился. Ты на ней женился»; и Бон — на этот раз быстрее, резче, голос звучит все еще мягко, все еще терпеливо, но в нем уже появляются железные, стальные нотки — игрок еще придерживает свой последний козырь — Бон отвечает: «А, ты вот о чем. Об этом брачном обряде. Но ведь он не более чем формула, заклинание, бессмысленное, как детская считалка, его совершает первый, кто попадет под руку, когда в том возникает необходимость: старая карга в подземелье, освещенном клоком горящих волос, бормочет что-то на языке, которого не понимает ни девушка, ни, может статься, даже и сама карга, все это не имеет никакого практического смысла ни для нее, ни для возможного потомства: ведь наше молчаливое согласие участвовать в этом фарсе было для нее единственным доказательством и подтверждением того, что сам обряд подтвердить не может, ибо он не облакает никого никакими новыми правами и не лишает старых, — ритуал столь же нелепый, как тайное ночное собрание студентов, и даже с теми же архаическими, давно утратившими всякий смысл символами, и ты называешь это женитьбой, если ночь медового месяца и случайная встреча с проституткой, в сущности, совершенно одинаковы: ты точно так же получаешь во временное распоряжение отдельную комнату, точно так же снимаешь одежду и точно так же совокупаешься на односпальной кровати? Почему бы не назвать женитьбой и это?» И тут Генри: «Да, я знаю. Знаю. Ты умножаешь два на два и говоришь мне, что получились пять, и действительно получается пять. Но женитьба все равно остается. Допустим, я беру на себя обязательство по отношению к человеку, который не знает моего языка, обязательство изложено на его языке, и я на это соглашаюсь, так разве я обязан меньше оттого, что случайно не знаю языка, на котором он облек меня своим доверием? Нет, наоборот, больше, больше» — и теперь Бон идет с козыря, теперь его голос звучит даже ласково: «Ты забыл, что эта женщина и этот ребенок — черномазые? Ты, Генри Сатпен из Сатпеновой Сотни в штате Миссисипи? И ты будешь тут толковать мне о женитьбе, о свадьбе?»; а Генри — теперь это крик отчаянья, последний горький вопль бесповоротного непораженья: «Да. Я знаю. Знаю. Но свадьба все равно была. Это нехорошо. И даже ты не можешь этого исправить. Даже ты».

Вот и все. Так и должно было быть: то, что случилось четыре года спустя, должно было случиться на следующий день, эти четыре года, этот промежуток был всего лишь провололочкой; давно созревшую развязку отсрочила и задержала Война, нелепая и кровавая ошибка, заставившая Соединенные Штаты уклониться от своего высокого (и несбыточного) назначения; быть может, ей способствовал злой рок семьи — как и все в жизни, он тоже отличался странным несоответствием причин и следствий, которое всегда характерно для судьбы, если ей приходится в качестве своих орудий и материала использовать людей. Как бы то ни было, Генри ждал четыре года, держа всех троих в состоянии неопределенности и напряжения; он ждал, надеялся, что Бон бросит эту женщину и расторгнет брак, который, как он (Генри) признавал, был во все и не брак, но который, как он, наверно, сразу понял, стоило ему увидеть эту женщину и ребенка, Бон никогда не расторгнет. В сущности, с течением времени Генри начал привыкать к мысли об этом обряде, который все равно не был женитьбой, и если его теперь что-то смущало, так это не два обряда, а две женщины — не то, что

Бон намеревался стать двоеженцем, а то, что он хотел сделать его (Генри) сестру чем-то вроде младшей жены в гареме. Но как бы то ни было, он четыре года ждал и надеялся. Весной они возвратились на север, в штат Миссисипи. Уже произошло сражение при Булл-Ране, и студенты университета сформировали роту. Генри с Бонем в нее записались. Генри, вероятно, сообщил Джудит, где они находятся и что намерены делать. Как видишь, они вступили в армию вместе, Генри сторожил Бона, а Бон позволял себя сторожить: это было испытание, искус — Генри не смел спустить глаз с Бона не из опасения, что тот женится на Джудит, а он, Генри, не сможет этому помешать, а оттого, что Бон женится на Джудит и тогда он (Генри) до конца дней своих будет жить с сознанием, что ему нравится быть обманутым, как трус, торжествующий при мысли, что сдался, не потерпев поражения, а Бон по той же причине — ведь Джудит без Генри была совершенно ему не нужна, он никогда не сомневался, что сможет жениться на Джудит когда захочет, наперекор и брату и отцу, потому что, как я уже говорил, и Бон любил не Джудит и Генри вовсе не о ней заботился. Она была всего лишь пустою оболочкой, полым сосудом, в котором каждый из них стремился сохранить не собственное иллюзорное представление и о себе и о другом, а то, что каждый считал мнением о себе другого — мужчина и юноша, обольститель и обольщенный; оба отлично друг друга знали, взаимно друг друга обольстили, принесли друг друга на закланье — победитель пал жертвой собственной силы, побежденный сразил противника своею слабостью еще прежде, чем Джудит хотя бы одним лишь именем появилась в их общей жизни. И кто знает? Ведь шла Война, и кто знает, быть может, и сам рок и его жертвы равно думали, надеялись, что Война все решит, освободит одного из двух непримиримых противников: ведь уже не первый раз молодость принимает мировую катастрофу за акт Провидения, единственная цель которого — разрешить ее личные проблемы, которых сама она разрешить не умеет.

Ну а Джудит? Как еще можно объяснить ее поведение? Едва ли Бон мог за каких-нибудь двенадцать дней совратить ее своим фатализмом, коль скоро он не только не покушался ее совратить, но даже и не пытался заставить ее послушаться отца. Нет, кем-кем, а фаталисткой она не была, ведь из двоих детей Сатпена настоящим Сатпеном, усвоившим жестокий сатпеновский закон: бери что хочешь, если достанет силы, — была именно она, Генри же был Колдфилдом, одержимым колдфилдовской моралистической абракадаброй и колдфилдовскими понятиями о добре и зле; и в тот вечер, когда Генри плакал и его тошнило, Джудит смотрела с чердака, как полуголый Сатпен борется с одним из своих полуголых негров, смотрела с таким холодным напряженным вниманием, с каким сам Сатпен следил бы за борьбой Генри с негритянским мальчиком его возраста и веса. Ведь она не могла знать, почему отец возражает против свадьбы. Генри не стал бы ей объяснять, а отца она бы не спросила. Да если б она и узнала, это ничего б не изменило. Она поступила бы так, как Сатпен поступил бы, если бы кто-нибудь посмел ему перечить, — она бы все равно взяла Бона. Я уверяю, что в случае необходимости она бы даже убила другую женщину. Но она уж во всяком случае не стала бы сперва наводить справки, а после пускаться в рассуждения о том, как примирить желаемое со своими моральными принципами. И все-таки она ждала. Она ждала четыре года, не получая от Бона никаких вестей, кроме сообщений Генри, что Бон еще жив. Это было испытание, искус; они все трое на него согласились, и я не думаю, что Генри с Бонем были связаны каким-нибудь обещанием. А Джудит и подавно: она ведь не могла знать, что и почему произошло... Замечал ли ты, как часто, пытаясь восстановить причины, толкнувшие людей на те или иные поступки, мы с изумлением приходим к выводу, к единственному возможному выводу, что они коренятся в одной из вечных добродетелей? Вор совершает кражу не из алчности, а из любви, убийца убивает из жалости, а не из вожделенья. Безоглядное доверие Джудит к тому, кому она отдала свою любовь, ее безоглядная любовь к тому, кто дал ей жизнь и гордость — не ложную гордость, которая презирает и оскорбляет то, чего не может сразу понять, и таким образом находит себе выход в обидах и терзаниях, нет, истинную гордость, которая без всякого унижения может сказать себе *Я люблю, я не приму никакой замены; что-то произошло между ним и моим отцом; если отец был прав, я больше никогда его не увижу, если отец был не прав, он придет или придет за мной; если можно, я хочу быть счастливой, если мне суждены страдания, я могу взять их на себя.* Ведь она ждала; она не пыталась делать ничего другого: ее отношения с отцом не изменились ни на йоту: посмотреть на них вместе, Бона будто никогда и не было на свете — те же спокойные непроницаемые лица, сле-

дующие несколько месяцев их можно было видеть в карете, когда они вдвоем приезжали в город после того, как Элен слегла, между Рождеством и тем днем, когда Сатпен уехал со своим и Сарторисовым полком. Они не разговаривали, понимаешь, они ничего друг другу не сказали: Сатпен о том, что он узнал про Бона, Джудит о том, где Генри и Бон теперь находятся. Они не нуждались в разговорах. Они были слишком похожи друг на друга. Такими порой становятся два человека, которые, очевидно, настолько хорошо друг друга изучили или настолько друг на друга похожи, что способность и необходимость общаться посредством речи от неупотребления атрофируется и, постигая смысл сказанного без помощи слуха и разума, они перестают понимать самые слова. Поэтому она не сказала ему, где находятся Генри и Бон, и он не узнал об этом до ухода университетской роты, потому что Генри с Бонем в нее записались, а потом куда-то спрятались. Они наверняка оставались в Оксфорде ровно столько, сколько требовалось, чтобы записаться, а потом уехать — ведь в то время никто из их знакомых ни в Оксфорде, ни в Джефферсоне не знал, что они состоят в роте, а скрыть это как-либо иначе было бы просто невозможно. Потому что теперь люди — отцы, матери, сестры, родичи, возлюбленные всех этих юношей — собирались в Оксфорд из мест гораздо более дальних, чем Джефферсон; они приезжали семьями, привозили провизию, постели и слуг, останавливались у жителей Оксфорда и приходили любоваться учебными маршами и контрмаршами, в которых участвовали их доблестные сыновья; и всех до единого — богачей и бедняков, аристократов и простолюдинов — неодолимо притягивало зрелище, способное самым глубочайшим образом взволновать огромные массы людей, зрелище много более волнующее, чем даже вид толпы девственниц, влекомых на заклятие какому-нибудь языческому божеству, какому-нибудь Приапу, и все они заворожено смотрели, как эти обманутые юноши, гибкие и стройные, пылкие и смелые, в воинственном блеске меди и разноцветных плюмажей торжественным маршем отправляются в бой. А вечерами музыка, звуки скрипки и треугольников, мерцание свечей, трепет и колыханье занавесок на высоких окнах в темноте апрельской ночи, шуршанье кринолинов в вихрящемся кругу серых мундиров — гладкие обшлага солдат, золотые нашивки офицеров, — если это и не война аристократов, джентльменов, то, во всяком случае, армия джентльменов, где рядовой и полковник обращаются друг к другу по имени — не как два фермера в поле за плугом, не как продавец и покупатель в лавке возле ящиков с сыром, кусков ситца и бочонков с колесной мазью, а как джентльмены — либо поверх округлых напудренных плеч своих дам, либо за бокалом домашнего вина или привозного шампанского — музыка, последний вальс каждый вечер, пока в ожидании отправки на фронт проходят дни; нарядный суетный блеск в черной ночи — она еще не катастрофа, а всего лишь темный фон; извечная благоуханная последняя весна юности; но все это без Джудит, без романтика Генри, без фаталиста Бона, ибо они в каком-то укрытии сторожат друг друга; напоенные ароматом цветов бесчетные рассветы того апреля, мая и июня; звуки рожков врываются в сотни комнат, где, разметав локоны черных, каштановых и золотистых волос, спят беззаботным сном праведниц сотни обреченных на вдовство невест, но Джудит нет среди них; пятеро солдат из роты, в новой, сиглочки серой форме, верхами, в сопровождении фуражной повозки, с лакеями и конюхами уже едут по всему штату; они везут флаг, ротное знамя, составленное из сметанных на живую нитку, но еще не спитых шелковых лоскутьев, везут его из дома в дом, и возлюбленная каждого солдата делает на знамени несколько стежков; но Генри и Бона нет и среди них — ведь они присоединились к роте лишь после того, как она отправилась на фронт. Они, наверное, вышли из своего тайника и, когда рота проходила мимо, незаметно появившись из придорожных кустов, встали в строй — юноша и зрелый мужчина; юноша, теперь уже дважды лишившийся права первородства, которому следовало быть там, среди свечей и скрипок, среди поцелуев и горьких слез, он должен был вместе с другими знаменщиками везти по штату неситое ротное знамя; и мужчина, которому там вообще нечего было делать, ибо он был для этого слишком стар и по годам и по жизненному опыту: обреченный на интеллектуальное и духовное сиротство, на прозябание где-то на поддороге между тою частью пространства, где пребывала его телесная оболочка, и той, куда влекли его интеллектуальные и нравственные побуждения, — недоучившийся великовозрастный студент, в силу своего старшинства вынужденный посещать дополнительный юридический семинар, состоящий всего-навсего из шести слушателей, а на Войне в силу того же обстоятельства отделенный от остальных офицерским чином. Его произвели в лейтенанты даже

прежде, чем рота вступила в первую перестрелку. Я не думаю, чтобы он желал получить этот чин, я почти уверен, что он пытался от него уклониться, отказаться. Но так случилось, и то самое положение, на которое и в силу которого он уже заранее был обречен, еще раз его осиротило; и вот они оба — теперь уже солдат и офицер, но все еще сторож и тот, кого сторожат, ждут, сами не зная чего — то ли перста судьбы, рока, то ли непреложного приговора некоего Судии или Арбитра, который только и может решить, кто из них прав, кто виноват, ибо ни на что меньшее, ни на какие полумеры они не согласны — офицер, лейтенант, обладающий сомнительным преимуществом командовать и хотя бы изредка оставаться позади вверенного ему взвода; солдат, который вынес с поля боя этого офицера, раненного в плечо, когда их полк отступал под огнем янки в битве при Питтсбург-Лендинге, и доставил в безопасное место, по-видимому, с единственною целью сторожить его еще два года, после чего написал Джудит, что они оба живы, и только. И еще Джудит. Она теперь жила одна. Быть может, она жила одна с того самого Рождества год, два, три и, наконец, четыре; ведь хотя Сатпен уехал со своим и Сарторисовым полком, а негры — дикари, чьими руками он создал Сатпену Сотню, — сбежали за первыми же войсками янки, которые прошли через Джефферсон, она никогда не оставалась в одиночестве: в затемненной комнате лежала прикованная к постели Элен, словно малый ребенок, требующий неусыпных забот, она в изумлении и полной растерянности ждала смерти; она (Джудит) и Клиты возделывали какое-то подобие огорода, чтобы не умереть с голоду; в пойме реки, в заброшенной полуразвалившейся рыбацкой хижине, построенной Сатпеном, когда первая женщина — Элен — вошла в его дом, а последний охотник на медведей и оленей из него вышел, теперь с разрешения Сатпена жил с дочерью и маленькой внучкой Уош Джонс, который выполнял тяжелую работу на огороде и иногда приносил Элен и Джудит, а позже одной только Джудит рыбу и дичь; теперь он даже не был вхож в дом — до отъезда Сатпена он никогда не появлялся ближе виноградной беседки за кухней, где воскресными вечерами они с Сатпеном пили виски из большой оплетенной бутылки, заливая ключевой водою из ведра, которую Уош приносил с родника чуть ли не за милю, при этом Сатпен лежал в гамаке, сделанном из бочарных досок, и разглагольствовал, а Уош, прислонившись к столбу, сидел на корточках, фыркал и ухмылялся. Нет, Джудит не знала одиночества, а праздности и подавно, ее лицо, как всегда непроницаемое, невозмутимое, лишь чуть-чуть осунулось, чуть-чуть постарело с тех пор, как стало известно, что ее жених и брат ночью покинули дом и исчезли; не прошло и недели, как она с отцом появилась в карете в городе. Теперь, когда она приезжала в город в перешитом старом платье, какие ныне носили все южанки, все еще в карете, но теперь запряженной мулом — его сейчас только выпрягли из плуга, а потом снова впрягут в плуг, — без кучера, который бы этого мула погонял, запрягал и распрягал, она (эта девица, воспитанная в освященной обычаем полнейшей праздности) вместе с другими женщинами в импровизированном лазарете — в Джефферсоне уже появились раненые — обмывала грязные вонючие тела убитых незнакомцев, перевязывала раны и щипала корпию из занавесей, простыней и скатертей, взятых в домах, где они родились и выросли, и ни одна из этих женщин, рассказывавших друг другу о братьях, сыновьях и мужьях, быть может, с тоской и со слезами, но по крайней мере нечто, известное им наверняка, ни одна из них не спрашивала ее о женихе и брате. Джудит подобно Генри и Бону тоже ждала, сама не зная чего, но в отличие от Генри и Бона, не зная даже и зачем. Потом умерла Элен, бабочка забытого лета, которой уже два года не было среди живых, — пустая бесплотная оболочка, тень, из-за самой своей невесомости не подвластная ни измененьям, ни распаду, и не было тела, чтобы предать его земле, а была лишь форма, воспоминание, которое мирным летним вечером без погребального звона и катафалка перенесли в кедровую рощу, где оно превратится в прах, эфемерное ничто под тысячефунтовым мраморным надгробьем, которое Сатпен (теперь уже полковник Сатпен, потому что годом раньше на ежегодных выборах полковых офицеров Сарторис был смещен со своей должности) привез в полковом фуражном фургоне из Чарльстона, что в штате Южная Каролина, и водрузил над небольшим, поросшим травой углублением, где, по словам Джудит, была могила Элен. А потом на заколоченном гвоздями чердаке собственного дома умер с голоду дед Джудит, и она, наверное, предложила мисс Розе переехать в Сатпену Сотню, но мисс Роза отказалась, вероятно тоже ожидая этого письма, первой за все четыре года вести от самого Бона, письма, которое она (Джудит), похоронив Бона

рядом с памятником матери, через неделю самолично привезла в город в двухместном экипаже, запряженном мулом, которого они с Клити теперь научились ловить и запрягать, и отдала твоей бабушке, по собственной воле отдала твоей бабушке; Джудит, которая теперь ни к кому не ездила, у которой теперь не было друзей, наверное, как и твоя бабушка, не смогла бы объяснить, почему выбрала хранительницей этого письма именно ее; она теперь не просто похудела, а совсем отошла, и под иссохшей колдфилдовской плотью ясно проступал сатпеновский череп; лицо, давно забывшее молодость, было совершенно непроницаемым, совершенно невозмутимым, ни траура, ни даже скорби; и твоя бабушка спросила: «Я? Вы желаете, чтобы его хранила я?»

«Да,—отвечала Джудит.— Вы можете его уничтожить. Как хотите. Хотите — прочитайте, не хотите — не читайте. Видите ли, человек не оставляет по себе почти никаких следов. Рождаешься на свет, пытаешься что-то делать, сам не зная почему, но все равно продолжаешь свои попытки; родившись одновременно со множеством других людей, ты связан с ними, и потому, пытаешься двинуть рукой или ногой, как бы дергаешь за веревочки, но те же веревочки привязаны к рукам и ногам всех остальных. и все они тоже пытаются за них дергать и тоже не знают почему, знают только, что все веревочки перепутались и мешают друг другу, все равно как если бы пять или шесть человек пытались соткать ковер на одном ткацком станке, причем каждый хотел бы вплести в него свой собственный узор; но ты знаешь, что это не имеет значения: иначе те, кто сотворил этот станок, устроили бы все гораздо лучше, и все же это не может не иметь значения — ведь ты продолжаешь свои попытки, во всяком случае должен их продолжать, а потом вдруг оказывается, что все конечно и от тебя осталась всего лишь каменная глыба, на которой что-то нацарапано — если, конечно, кто-нибудь удосужился этот мрамор поставить и что-то на нем нацарапать, и вот на него льет дождь и оветит солнце, и вскоре никто уже не помнит ни имени, ни что эти царапины означают, и это тоже не имеет значения. Так вот, если ты можешь пойти к кому-нибудь, лучше всего к совсем чужому, и дать ему что-нибудь — хотя бы клочок бумаги, не важно, что именно, пусть даже оно само по себе не имеет никакого смысла, а этот человек не станет даже его читать, хранить, не удосужится даже выбросить его и уничтожить, все равно это будет нечто хотя бы только потому, что когда-то случилось и запомнилось пусть даже только тем, что перешло из рук в руки, из одной головы в другую, и пусть это будет хотя бы царапина, хотя бы нечто, оставившее след на чем-то, что когда-то было, было хотя бы лишь по одному тому, что однажды оно может умереть, тогда как с каменной глыбе нельзя сказать, что она есть, ибо о ней нельзя сказать, что она была — ведь она никогда не может ни погибнуть, ни умереть...»

И твоя бабушка, глядя на нее, на это спокойное, непроницаемое, совершенно невозмутимое лицо, воскликнула: «Нет! Нет! Только не это! Подумайте о нашем...» — и хотя на этом все еще невозмутимом лице не было даже и тени горечи, убедилась, что Джудит ее поняла.

«А, вот вы о чем. Нет, нет, этого не бойтесь. Ведь кому-то надо позаботиться о Клити, а скоро и об отце — ему надо будет что-то есть, когда он вернется домой: ведь теперь, наверное, осталось недолго, раз они уже начали стрелять друг в друга. Нет, нет, этого не бойтесь. Женщины из-за любви так не поступают. Я даже не верю, что так поступают мужчины. Во всяком случае, не теперь. Ведь теперь там, где бы это место ни находилось, если оно вообще существует, будет слишком тесно. Там уже и так все переполнено. Набито до отказа. Как в театре, в опере, если ты ищешь забвения, развлечения, забавы; как в постели, в которой уже кто-то лежит, если ты хочешь спокойно лечь и спать, спать, спать...»

Мистер Компсон задвигался. Квентин привстал, взял у него письмо и под тусклой, засиженной мухами лампочкой развернул бережно и осторожно, словно этот листок, этот иссеченный складками квадратик был не бумагой, а лишь сохранившим прежнюю форму и содержание пеплом; между тем голос мистера Компсона все еще звучал, а Квентин не слушая все еще слышал:

— Теперь ты видишь, почему я сказал, что он ее любил. Ведь были и другие письма, их было много — изящных, высокопарных, небрежных, похожих друг на друга, неискренних писем, которые посыльный привозил за сорок миль из Оксфорда в Джефферсон начиная с того первого Рождества — праздные, изысканные (и для него, несомненно, лишённые всякого смысла) комплименты, которые столичный фат

расточает наивной деревенской девице, и эта наивная деревенская девица спокойно, терпеливо, с глубоким, совершенно необъяснимым женским ясновиденьем, по сравнению с которым претенциозное позерство этого столичного фата кажется просто кривляньем глупого мальчишки, получает письма, ничего в них не понимает и, невзирая на все их изящные, тщательно продуманные метафоры и фигуры речи, не хранит ни одного даже до прихода следующего. Однако это письмо, которое после четырехлетнего перерыва, казалось, свалилось на нее как гром среди ясного неба, она хранит, она считает его таким важным, что отдает совершенно чужой женщине, предоставляя той по своему усмотрению хранить его или не хранить, читать или не читать, лишь для того, чтоб нанести ту царапину, оставить тот бессмертный след на пустом и гладком лице забвенья, которому, по ее словам, мы все обречены..

Квентин слушал краем уха; он разбирал эти письма, бледные, тонкие, как паутина, словно их оставила на бумаге не рука некогда жившего на земле человека, а тень — упав на бумагу, она рассеялась за секунду до того, как он на нее взглянул, и, пока он читает, может в любое мгновение раствориться и окончательно исчезнуть; до него доносился голос умершего, который четыре года, а потом еще пятьдесят лет назад язвительно и мягко произносил замысловатые, исполненные неизбывной горечи слова без обращения, без подписи, без даты:

Я думаю, что не оскорблю ни себя, ни Вас, утверждая, будто к Вам зывает голос одного из побежденных, а тем более мертвых. В самом деле, будь я философом, я вывел бы из этого письма, которое Вы сейчас держите в руках, любопытные и исчерпывающие выводы касательно нынешних времен, а также предсказание на будущее — из этого листа почтовой бумаги с превосходнейшими, как Вы сами можете убедиться, французскими водяными знаками семидесятилетней давности, найденного (или, если угодно, похищенного) в разграбленном имени разоренного аристократа и исписанного превосходнейшим, произведенным не более года назад на одной из фабрик Новой Англии печным лаком. Да, печным лаком. Мы его реквизировали, но это особая история. Представьте себе нас, сборище совершенно одинаковых огородных чучел, не скажу голодных, ибо женщине, будь то аристократка или простолюдинка, находящейся за пределами линии Мейсон — Диксон в нынешнем благоустроенном 1865 году, это слово, несомненно, показалось бы попросту излишним, все равно как если б я сказал, что мы дышим. Не скажу также оборванных или даже босых, ибо мы так долго ходим в лохмотьях и без сапог, что могли бы уже к этому привыкнуть; но слава Богу (и это восстанавливает мою веру — если не в человеческую природу, то по крайней мере в людей), человек, в сущности, не привыкает к нужде и лишениям; к ним привыкает только его дух, грубая, всеядная, пресытившаяся падалью душа; само же тело, слава Богу, никогда не забывает прежнего приятного ощущения мыла, чистого белья и чего-то такого между ступнею и землей, что отличает его ногу от лапы дикого зверя. Итак, скажем, что мы просто нуждались в амуниции. А теперь вообразите, как мы, огородные чучела, носимся с одним из тех планов, какие только могут зародиться в головах отчаявшихся чучел, и не только должны, но и не могут не утаться — по той простой причине, что ни у Бога, ни у человека нет иного выбора, а на земле и под землей нет места, где в случае поражения можно было бы либо остановиться и передохнуть, либо сойти в могилу; и вот мы (чучела) беремся за дело с величайшим пылом, чтобы не сказать с шумом; и теперь представьте себе нашу добычу и награду — десять тяжелых беззащитных маркитантских фургонов; вообразите, как чучела сбрасывают один за другим великолепные ящики, на которых по трафарету выведены буквы С и Ш — четыре года они были для нас символом трофеев, принадлежащих побежденным, символом рыб и хлебов, как во время оно пылающее чело, осиянное нимбом тернового венца; и вот чучела взламывают эти ящики камнями, штыками и даже голыми руками, в конце концов их открывают и находят — что бы Вы гдумали? Печной лак. Галлоны, галлоны и галлоны наилучшего печного лака; все ящики сработаны не больше года назад и, очевидно, все еще догоняют генерала Шермана во исполнение какого-то запоздалого приказа, предписывающего ему покрыть лаком печку, прежде чем поджечь дом. Как мы смеялись! Да, мы смеялись, ибо за эти четыре года я, по крайней мере, понял одно — смеяться можно лишь на голодный желудок, и лишь когда ты голоден или напуган, ты можешь извлечь некую квинтэссенцию из смеха: так пустой желудок извлекает квинтэссенцию из алкоголя. Но, по крайней мере, у нас теперь есть печной лак. У нас его очень много. Даже слишком много, ибо, как Вы сами можете убедиться, для того,

что я имею Вам сказать, много не потребуется. И потому, даже не будучи философом, я вывожу нижеследующее заключение и предсказание:

Мы ждем уже достаточно долго. Заметьте, я не обижаю Вас, говоря, что я жду достаточно долго. И потому, коль скоро я не обижаю Вас словами, что жду только я один, я не добавляю: ожидайте моего возвращения. Ибо я не могу сказать, когда вернусь. Ведь то, что было — это одно, и теперь его нет, ибо оно мертво, оно умерло в 1861 году, и поэтому то, что есть... (Ну вот. Они снова начали стрелять. Впрочем, упоминать о последнем так же излишне, как о том, что мы дышим или нуждаемся в амуниции. Ибо порою мне кажется, что стрельба никогда не прекращалась. Разумеется, она не прекращалась, но дело не в этом. Я хочу сказать, что никакой стрельбы больше не было с тех пор, как четыре года назад был произведен первый залп; он прогремел и умолк; жерло одного орудия в изумлении и ужасе от содеянного поднялось ввысь и, словно замороженное гилнозом, остановилось и застыло против другого: залп больше никогда не повторялся, и теперь до нас доносятся лишь жуткие раскаты эха от дребезжанья мушкета, выпавшего из рук усталого часового, или глухой стук от падения изможденного тела — они гулко отгаются в воздухе, окутавшем землю галл, где залп впервые прозвучал и где он должен оставаться, ибо нет для него иного места под небом. Итак, это значит, что вновь наступает рассвет, и потому я должен кончать. Кончать что? — спросите Вы. Ну, например, думать, вспоминать — заметьте, я не говорю: надеяться... снова очутиться вне времени и пространства, снова стать безумным неразумным спутником и обитателем тела, которое даже спустя четыре года с каким-то понурым, непоколебимым, достойным величайшего восхищения постоянством, презрев действительность, все еще самозабвенно грезит о прежнем мире и довольстве — правда, я даже не уверен, помню ли еще хотя бы названия тех запахов и звуков, — тела, которое даже не замечает, что у него оторвана нога или рука и что ему грозит опасность их лишиться, словно кто-то по секрету дал ему слово и уверил в том, что оно бессмертно. Однако пора кончать.) Я не могу сказать, когда вернусь. Ведь то, что есть — это что-то другое, ибо его в то время даже не было на свете. И коль скоро этот лист бумаги содержит все лучшее, что осталось на старом Юге, который уже умер, а слова, которые Вы читаете, написаны на нем лучшим (на каждом ящичке было сказано: наилучшим) из того, что есть на новом Севере, который победил и которому теперь, хочет он того или не хочет, придется выжить, я уверен, что мы с Вами, как это ни странно, включены в число тех, кто обречен жить.

— Вот и все, — сказал мистер Компсон. — Она получила это письмо и вместе с Клити принялась шить подвенечное платье и фату из лоскутков и обрезков, которые скорее всего должны были пойти на корпию, но почему-то не пошли. Она не знала, когда он вернется, потому, что этого не знал он сам, и, может быть, он сообщил об этом Генри и показал ему письмо, прежде чем его отослать, а может быть, и нет; может быть, Генри все еще его сторожил, и оба ждали, и он сказал Генри Я жду уже достаточно долго, а Генри спросил его Значит, ты отказываешься? Отказываешься? и он ответил Я не отказываюсь. Я четыре года предоставлял судьбе возможность сделать это за меня, но мне сдается, что я обречен жить, что мы с нею обречены жить — ультиматум и отказ прозвучали у костра на биваке; ультиматум предъявлен у ворот, к которым оба, вероятно, подъезжали почти рядом — один спокойно и непреклонно, быть может, он даже не сопротивлялся, оставшись фатальным до конца; другой беспощадно, с жестоким неизбывным отчаяньем и скорбью..

(Квентину казалось, будто он видит, как они стоят друг против друга у ворот. Некогда ухоженный парк, теперь заросший, запущенный и жуткий, как небритое сонное лицо больного, просыпающегося после наркоза, простирается от ворот до огромного дома, где в подвенечном платье, шитом из утаенных лоскутков, ждет молодая девушка; в доме тоже царит запустение, он не пострадал от вторжения неприятеля, но напоминает раковину, выброшенную на берег и случайно уцелевшую после шторма, — пустой каркас, из которого мало-помалу удалили мебель и ковры, белье и столовое серебро, чтобы облегчить смерть измученным и израненным людям, которые, даже умирая, понимали, что уже много месяцев их жертвы и мучения напрасны. Сидя на тощих изможденных лошадях, эти два человека смотрят друг на друга; они еще молоды, они прожили на свете еще слишком мало, жизненные бури еще не успели их состарить, но они уже смотрят на мир глазами стариков; волосы у них всклокочены, изможденные, обветренные лица словно отлиты из бронзы чьей-то су-

ровой скупою рукой, потрепанные, выцветшие серые мундиры приобрели цвет палой листвы; один с потускневшими офицерскими галунами, другой без всяких знаков различия; пистолет, пока ни на кого не нацеленный, еще лежит на луке седла, лица спокойны, голоса звучат ровно: *Не переступай тень этого столба, этой ветки, Чарльз, и Я ее переступлю, Генри..* а после Уош Джонс верхом на неоседланном муле остановился против дома мисс Розы и на всю залитую солнцем, тихую и мирную улицу прокричал: «Вы будете Розы Колдфила? Тогда езжайте поскорей туда. Генри убил этого треклятого француза. Пристрелил, как собаку».

V

Вам, конечно, уже рассказывали, как я велела этому Джонсу отвести на конюшню этого чужого мула и запрячь его в нашу повозку, а сама надела шляпу и шаль и заперла дом. Вот и все, больше делать было нечего; ведь вам, конечно, уже рассказывали, что мне не нужен был ни сундук, ни саквояж, потому что весь мой гардероб — теперь, когда одежда, доставшаяся мне в наследство от тети благодаря ее доброте, забывчивости или поспешности, давно износилась, — состояла из платьев, которые Эллен время от времени приходило в голову мне подарить, а ведь Эллен уже два года не было в живых, и потому мне осталось только запереть дом, сесть в повозку и проехать двенадцать миль, чего я после смерти Эллен еще ни разу не делала, рядом с этим тупым скотом, которого при жизни Эллен даже не подпускали к парадным дверям, с этим скотом и прародителем скотов, чья внучка впоследствии займет мое место если не в доме моей сестры, то, по крайней мере, в ее постели, к чему (как вам скажут) стремилась я сама; с этим скотом (с этим тупым орудием справедливости, что правит делами людскими, — она до поры до времени действует незаметно, не царапает когтями, а только гладит бархатной лапкой, но стоит кому-нибудь ее раздразнить, как она, беспощадно попирая общепризнанную истину и право, подобно раскаленной стали сокрушит на своем пути всех — и слабых правых и виноватых сильных, и победителя и невинную жертву), с этим скотом, который будет не только сопутствовать всем обличьям и волощениям судьбы этого дьявола Томаса Сапена, но погонец еще предоставит ему женскую плоть, которая положит предел земному существованию его имени и рода; с этим скотом, который, казалось, счел свою миссию выполненной, когда, остановившись возле моего дома, принялся во все горло орать о крови и о пистолетах, но, очевидно, решил, что дальнейшие подробности, которые он может мне сообщить, настолько скудны, пусты и незначительны, что ради них не стоит выплюнуть табачную жвачку, и потому за все двенадцать миль не удосужился даже объяснить мне, что же, собственно, произошло.

Конечно, вам рассказали и о том, как я еще раз проехала эти самые двенадцать миль спустя два года после смерти Эллен (но, может быть, это случилось спустя четыре года после исчезновения Генри или даже спустя девятнадцать лет после того, как я родилась на свет?), ничего не зная, не имея возможности узнать ничего, кроме следующего: две женщины, две молодые женщины, одни в обветшалом доме, где уже два года не раздавался звук мужских шагов, услышали далекий, непонятно откуда донесшийся слабый выстрел, а потом, после обмена леденящими кровью предположениями и догадками над шитьем, которым они занимались, топот ног в прихожей, затем по лестнице — торопливых, бегущих мужских ног, и едва Джудит успела прикрыть недошитым платьем свою ногу, как дверь распахнулась и перед нею предстал ее брат, оголтелый убийца, которого она не видела четыре года и про которого думала, что он (если он вообще еще жив и не испустил последний вздох) находится где-то за тысячу миль; и вот они оба, эти двое отягощенных проклятием детей, кого лишь в эту минуту поразил первый удар их дьявольского наследья, стоят и смотрят друг на друга поверх недошитого подвенечного наряда. Эти двенадцать миль я ехала рядом с диким зверем, который мог преспокойно вопить в многолюдную, навострившую уши пустыню на улице возле моего дома, что мой племянник сейчас убил жениха своей сестры, однако не мог себе позволить погонять плетущегося шагом мула, потому что животины-то не моя, да и не евонная тоже, и как следует не жрамши аж с самого февраля, когда кукуруза кончилась, и которому, когда мы наконец въехали в ворота, непременно понадобилось остановить этого мула, махнуть кнутом и, предварительного слюнув жвачку, пробормотать: «Эвон где оно было». «Что было, осел ты здакий?» —

крикнула я, а он все твердил свое: «Эвон где», пока я не взяла в руки кнут и не вытянула им мула.

Но вам не могут рассказать, как я проехала по аллее мимо истоптанных, заросших сорняком цветочных клумб Эллиен, остановилась возле дома, возле этого (как мне казалось) похожего на гроб или кокон брачного ложа юности и скорби, и поняла, что явилась не слишком поздно, как мне показалось вначале, а, напротив, слишком рано. Передо мною высились облупившиеся стены и полуразвалившийся портик никем не тронутого и не разграбленного жилища; в него не залетала вражеская пуля, его не пирали железная пята солдат; казалось, будто ему была уготована иная, еще более страшная участь, какое-то жуткое безнадежное запустенье, словно жестокое пламя объявшего весь мир пожара, стихая, убедилось в собственном бессилье и в последний, решающий миг отступило, не смея поглотить этот несокрушимый железный остов; огненная ступенька прогнила и даже чуть не провалилась у меня под ногой (и провалилась бы, если бы я не догадалась ее перепрыгнуть), когда я взбежала по лестнице и очутилась в прихожей, не застланной ковром — вместе с постельным и столовым бельем он давно уже пошел на кормлюю,— и увидела лицо Сатпена, но, едва успев воскликнуть: «Генри! Генри! Что ты наделал? О чем этот болван мне тут толковал?» — убедилась, что приехала не слишком поздно, как мне показалось вначале, а, напротив, слишком рано. Потому что это было совсем не лицо Генри. Лицо было совершенно сатпеновское, но это было не лицо Генри; в тускло освещенном холле лицо кофейного цвета, казавшееся совершенно сатпеновским, загораживало лестницу; ворвавшись в оглушительное молчанье этого зловещего дома с яркого дневного солнца, я сначала не могла ничего разобрать, но постепенно передо мной возникло это лицо, лицо Сатпена; оно не приближалось, не выплывало из мрака, оно просто там было, твердое и несокрушимое, как скала, древнее самого времени, дома, судьбы и всего на свете, оно ждало (о да, он сделал удачный выбор, он превзошел самого себя, создав по своему образу и подобию безжалостного цербера своего собственного ада) — это лицо без признаков возраста и пола, которых оно никогда не имело, то самое лицо сфинкса, с которым она родилась, которое в тот вечер смотрело вниз с чердака рядом с лицом Джудит — она сохранила его и по сей день, в свои семьдесят четыре года; оно смотрело на меня не дрогнув, ничего не выражая, словно с точностью до секунды рассчитало, когда я должна появиться; оно ожидало здесь, пока я тащилась все эти двенадцать миль на лениво плетущемся муле, смотрело, как я подъезжаю все ближе и ближе и наконец вхожу в дверь, как будто заранее знало, что я в эту дверь войду (а может, даже и заставило меня в нее войти — ведь существует справедливость, чье жирное, прожорливое, как у Молоха, брюхо не отличает хрустящих костей от нежного мяса)... При виде этого лица я остановилась как вкопанная (остановилось не тело: оно все еще двигалось, бежало вперед, а мое Я, та сокровенная внутренняя жизнь, которую мы ведем и для которой движенье наших рук и ног всего лишь неумелый, запоздалый аккомпанемент,— как если бы доморощенные музыканты кто во что горазд исполняли какую-то мелодию на множестве ненужных инструментов) в этой пустой прихожей, перед голой лестницей (тоже без ковра), поднимавшейся к тускло освещенной площадке второго этажа, где гулко отдавалось эхо — не моего голоса, а голоса того, что могло бы быть, но не сбылось,— такие безвозвратно погибшие голоса обитают во всех домах, во всех замкнутых стенах, возведенных руками человека не ради крова и тепла, а лишь для того, чтобы скрыть от любопытных взглядов толпы извилистые темные пути старых, но вечно юных обманчивых иллюзий надежды, гордости, честолюбия (да и, конечно, любви). «Джудит! — позвала я.— Джудит!»

Ответа не было. Я его не ждала, наверное, я уже тогда не ожидала, что Джудит мне ответит,— так ребенок, еще не успев понять, что именно его напугало (прежде чем ужас окончательно лишит его способности рассуждать), зовет на помощь родителей, хотя совершенно точно знает, что их здесь нет и они его не слышат. Я взывала не к кому-то, не к чему-то, я пыталась (криком) пробиться сквозь что-то, сквозь это противодействие, сквозь эту яростную, недвижимую, твердую, как скала, враждебную мне силу, которая заставила меня остановиться, сквозь это виденье, это знакомое кофейное лицо, сквозь это тело (кофейные босые ноги неподвижно застыли на голом полу, а позади поднимался изгиб лестницы) не больше моего, которое совсем не шевелилось, ничуть не перемещалось в пространстве (она даже не отвела от меня взгляда, потому что смотрела не на меня, а сквозь меня, очевидно все еще раздумывая о том, как мое вторжение нарушило цельность четырехугольника открытой дзе-

ри), а, казалось, растягивалось, отбрасывая вверх что-то непостижимое — не душу, не дух, а скорее нечто такое, что с напряженным вниманием прислушивалось к чему-то для меня недоступному и негвоззвенному, постигая и воспринимая какую-то невидимую тайну, унаследованную от расы более древней и чистой, нежели моя, и именно благодаря этому в разделяющей нас пустоте возникло то, что я ожидала здесь найти (да, непременно должна была найти, а иначе — хоть я там и была и дышала, мне пришлось бы усомниться, родилась ли я вообще когда-либо на свет) — эта давным-давно запертая душная спальня, эта незастанная постель (супружеское ложе любви и скорби), бледный окровавленный труп в залатанном выцветшем сером мундире, алая кровь на голом матрасе, коленопреклоненная невенчанная вдова — меж тем как я (вернее, моя телесная оболочка) еще не остановилась (для этого требовалось прикосновение, рука), я, безрассудная жертва самовнушенья, все еще верила: то, что должно быть, будет, не может не быть, а иначе мне пришлось бы усомниться не только в своей жизни, но и в своем здравом уме; я бегу, бросаюсь на это непроницаемое кофейное лицо, на эту холодную, беспощадную, бессмысленную (нет, только не бессмысленную, все что угодно, только не бессмысленную — ведь оплотворив погатылившую черную кровь, он в своем провидческом упорстве сумел создать некий абсолют безнравственности и зла) копию его лица, которую он породил и которой повелел распоряжаться здесь в его отсутствие, бросаюсь, как обезумевшая ночная птица, что стремглав несется на роковой свет железного фонаря. «Постой, — сказала она, — не ходи наверх». Но я еще не остановилась — для этого нужна была рука: я все еще бежала, стремясь преодолеть последние несколько футов, через которые мы смотрели друг на друга — не как два человека, а как два противоположных отвлеченных понятия, какими мы, в сущности, и были; ни та, ни другая не повышала голоса, словно наш разговор велся независимо от речи и от слуха. «Что ты сказала?» — спросила я. «Не ходи наверх, Роза». Она проговорила это так спокойно, так тихо, что мне опять почудилось, будто эти слова произнесла не она, а самый этот дом, который он построил, который вырос на нем как гнойник, — таким же образом из его собственного пота могла бы образоваться какая-то (пусть даже невидимая) оболочка, кокон, в котором Эллен пришлось жить и умереть чужой для всех, в котором Генри и Джудит придется быть пленниками, жертвами или умереть. Дело было не в слове, не в имени, не в том, что она назвала меня просто Розой. Когда мы были детьми, она называла просто по имени не только меня, но и Генри и Джудит; я знала, что даже и теперь она называет Джудит (да и Генри, если речь заходит о нем) просто по имени. И она вполне могла бы все еще называть меня Роза, а не мисс Роза: ведь для всех моих знакомых я все еще оставалась ребенком. Дело было не в этом. Она совсем не хотела меня обидеть — ведь, в сущности, в ту секунду, когда мы стояли лицом к лицу (за секунду до того, как мое все еще бегущее тело минует ее и взбежит на лестницу), она выказала мне больше почтительности и уважения, чем кто-либо из моих знакомых, я знала, что с той секунды, как я появилась в дверях, для нее, единственной из всех, кто меня знал, я перестала быть ребенком. «Роза? — вскричала я. — Ты смеешь называть меня Розой?» Тут она коснулась меня рукой, и тут я наконец остановилась. Возможно, мое тело не остановилось даже и тогда — мне показалось, будто я чувствую, как оно слепо бросается на тяжелый, но невесомый ступок той воли (не ее воли, я и поныне утверждаю, что она служила лишь орудием), которая не подпускала меня к лестнице, возможно, еще прежде, чем оно (мое тело) могло успеть остановиться, нас отведирил, отбросил друг от друга звук другого голоса, одно-единственное слово, раздавшееся с верхней площадки. Не знаю. Знаю только, что все мое существо слепо ринулось вперед и со всего размаху натолкнулось на что-то чудовищное и неподвижное, и изумление, возмущение, которые я испытала, были слишком неожиданны и сильны, чтобы их могло вызвать простое прикосновение черной руки, которая, желая меня остановить, бесстрашно коснулась моей руки — руки белой женщины. Ведь соприкосновение плоти с плотью мгновенно перерезает, парализует хитроумно переплетенные провода, по которым передаются токи благопристойности и приличий; это хорошо знают и любовники и враги, ибо именно оно делает их тем, что они есть; оно, это обоюдное прикосновение к самому средоточию, к самой твердыне нашего сокровенного внутреннего Я, а вовсе не к душе, не к духу: жадный и своенравный разум готов отгаться первому встречному в любом темном закоулке нашего земного обиталища. Но стоит только плоти соприкоснуться с плотью, и вы увидите, как отпадет скорлупа всех преградуков касты и цвета кожи. Да, я остановилась как екопанная — мне преградила путь

не рука женщины; не рука негритянки, а невидимая рука того, кто держал в узде эту свирепую непреклонную волю, и я взывала не к ней, а к нему, к нему обращалась я через эту женщину, эту негритянку — на меня словно бы нашел столбняк, который еще не вылился в возмущенье, но скоро должен был превратиться в ужас, я не ждала и не получила ответа — ведь мы обе знали, что не к ней были обращены мои слова: «Руки прочь, черномазая!»

Ответа не было. Мы просто стояли — я как бы замерла на бегу, она застыла в злобещей неподвижности; и эта рука, словно туго натянутая пудовина, держала нас обоих как двух близнецов — сестер породившей ее жуткой тьмы. Ребенком я не раз выгела, как она, Джудит и даже Генри возились и грались (возможно, так играют все дети, я просто этого не знаю), и она и Джудит (как мне говорили) даже спали вместе в одной комнате, только Джудит спала в кровати, а она, по всей вероятности, на соломенном тюфяке на полу. Но я слышала, что Элен не раз находила их обоих на тюфяке, а однажды нашла вместе в кровати. Но со мной ничего подобного быть не могло. Даже ребенком я ни за что не хотела играть теми игрушками, которыми играли они с Джудит, словно уроговое спартанское одиночество, которое я называла своим детством, научившее меня слушать (и, пожалуй, больше ничему), прежде чем я начала что-либо сознавать и понимать слова еще до того, как я их услышала, научило меня не только инстинктивно бояться ее и того, чем она была, но избегать даже вещей, к которым она прикасалась. Вот так мы там и стояли. И вдруг я поняла, что кричу не от возмущения, не от ужаса, а от накопившегося во мне, бьющего через край отчаянья. Я помню, что когда мы там стояли, соединенные этой безвольной рукой (да, эта рука была такой же страдающей жертвой, как я и как она), я крикнула — быть может, не вслух, не словами (и, заметьте, я обращалась не к Джудит; быть может, едва я вошла в этот дом и увидела это лицо — одновременно и нечто большее и нечто меньшее, чем Сатпен,— быть может, даже тогда я уже знала то, чему не могла, не хотела, не должна была верить), я крикнула: «И ты тоже? И ты тоже, сестра, сестра?» Чего я ждала? Я, безрассудная жертва самовнушенья, приехавшая сюда за двенадцать миль,— чего я ждала? Быть может, я ждала, что Генри сейчас появится из какой-нибудь двери, знакомой с его прикосновением, возьметса рукой за щеколду, переступит через порог, знакомый с тяжестью его ног, и найдет в прихожей маленькое, жалкое, испуганное существо, на которое еще никто на свете не взглянул дважды, которого он сам уже четыре года не видел, да и раньше встречал лишь изредка, но которое тотчас же узнает, хотя бы по изношенному коричневому шелковому платью, некогда принадлежавшему его матери, и еще потому, что это существо назовет его по имени? Что Генри появится и скажет: «Да ведь это Роза, тетя Роза. Проснись, тетя Роза, проснись»? И я, спящая, что все еще цепляется за сон — так тяжелой болью иступленно цепляется за последний скоротечный миг невыносимой смертной муки, чтобы острее вкусить восторг, когда боль отпустит,— я пробужусь к действительности и даже более того, не к неизменным, нетронутым старым временам, а к новым, что изменились под стать моему сну, и сон, слившись воедино со спящей, пожертвует собою и вознесется к славе: «Мама и Джудит с детьми, а папа и Чарльз гуляют в саду. Проснись, тетя Роза, проснись»? Но, может быть, я ничего не жду, ни на что не надеюсь, даже не вижу никаких снов, потому что сны не приходят парами, и разве не приехала я сюда, за двенадцать миль, не на живом, подвластном смерти муле, а на кошмарном химерическом отродье самой ночи? (Да, проснись, Роза, проснись, пробудись ото сна — не о былом, а о том, чего не было и не могло быть никогда; проснись, Роза,— не к тому, что будет и могло бы быть, а к тому, чего быть не может и не будет; проснись, Роза, оставь свои надежды; ведь ты верила, что существует видимость скорби, даже если самой скорби нет; ведь ты думала, что нужно спасать — если не любовь, не счастье и не мир, то хотя бы безутешную вдову, и нашла, что спасать тебе здесь нечего; ты надеялась спасти ее, как обещала Элен (не Чарльза Бона, не Генри — никто из них не нуждался в защите от него или даже друг от друга), но было уже слишком поздно; живи ты там даже с тех пор, как вышла из чрева матери, или достигни уже полного расцвета сил человеческих, когда родилась на свет она,— все равно было бы слишком поздно; ты преодолела путь длиной в двенадцать миль и девятнадцать лет, желая спасти нечто, не нуждавшееся в спасении, и вместо этого потеряла самое себя.) Не знаю, знаю только, что этого я не нашла. Я была как во сне, когда, не двигаясь с места, бежишь от ужаса, в который невозможно верить, к безопасности, которая не

внушает ни малейшего доверия, и в этом состоянии меня держали не зыбкие сыпучие пески кошмара, а лицо, ставшее мучителем собственной души, рука, сама пригвоздившая себя к кресту; держали до тех пор, пока тот самый голос не нарушил эти чары и нас не разъединил. Он произнес всего одно лишь слово: «Клиги» — вот так, так холодно, так тихо, но хотя голос принадлежал Джудит, им говорила не она, а опять сам этот дом. О, я отлично это знала, я, верившая в видимость скорби, знала это не хуже, чем она — Клиги. Она не шевельнулась, не стало лишь руки — даже прежде чем я осознала, что руку отняли. Я не знаю, то ли руку отняла она, то ли я сама из-под нее выбежала. Только руки не стало, а вот что было дальше, вам тоже не смогут рассказать: как я помчалась, взбежала по лестнице и нашла не скорбную молодую вдову, а Джудит — она стояла перед закрытой дверью в ту комнату, на ней было то самое бумажное платье, в котором она всегда ходила после смерти Эллен, стояла и держала в опущенной руке какую-то вещицу, и если она испытывала боль и горе, она их спрятала — совсем или частично, я не знаю — вместе с недошитым погвечным платьем. «Что, Роза?» — произнесла она тем же голосом, и я опять застыла на бегу. Хотя мое тело, эта кучка слепого, бесчувственного, обманутого дыхания и праха, все еще двигалось вперед. Вам не расскажут и о том, что в этой вялой, безучастно повисшей руке я увидела фотографию, ее собственный портрет в медальоне, который она сама ему погарила; она держала его бездумно и небрежно, как держат захлопнутую на полуслове пустую развлекательную книжку.

Вот что я нашла. Быть может, я этого ожидала, знала (я сказала бы, что знала даже в девятнадцать лет, если бы речь шла не о моих особых девятнадцати годах), что должна это найти. Быть может, ничего большего я не могла бы желать, ничего меньшего не могла бы принять: ведь даже в девятнадцать лет я наверно уже знала, что жизнь — одно лишь непрерывное и бесконечное мгновение, когда пестрая завеса, скрывающая неизбежное будущее, покорно и даже с радостью жжет легчайшего небрежного рывка, который, стоит нам лишь только захотеть, набраться смелости (не ума, ум здесь вовсе ни при чем), тотчас бы ее прорвал. Но, быть может, дело не в недостатке смелости, не в трусости, которая упорно не дает признаться, что где-то в фундаменте, в самой первооснове бытия таится порча, из чьих зловонных испарений пленница души вечно тянется вывсь, к солнцу; дергая опутывающие ее артерии и вены, она в свою очередь берет в плен ту искру, ту мечту, что, как блестящий невесомый шар, отражает и повторяет (повторяет? нет, создает, превращает в переливчатую, легкую, словно само дыхание, сферу) пространство и время и всю землю, оставляя далеко внизу кипящую, клокочущую парами бесформенную массу; за все неисчислимые годы не успев познать благотворящей смерти, а научившись только создавать и обновлять, мечта уходит, умирает, гаснет, и вот уже не остается ничего... но можно ли назвать истинной мудростью нечто, способное постигнуть, что существует некая несбывшаяся возможность, более истинная, чем сама истина, о которой спящий, пробудившись, не скажет: «Неужто это был всего лишь только сон?» — а, осуждая сами небеса, возопиет: «Зачем же я проснулся, коль никогда уж больше не усну?»

Однажды... Чувствуете ли вы, как аромат глициний, прижатых солнцем к наружной стене, проникает, сочится к нам в комнату, словно его (без помехи света) вносит сюда незаметное глазу движение, трение бесчисленных мельчайших частичек тьмы? Это и есть сущность воспоминания — чувство, зрение, обоняние, мышцы, посредством которых мы видим, слышим, осязаем, — не сознание, не мысль: памяти не существует, мозг воспроизводит только то, что слепо нащупывают мышцы, не больше и не меньше, и результат, как правило, неверен, ошибочен и достоин называться лишь сном... Посмотрите, как протянутая во сне рука, коснувшись стоящей у постели свечи, отдергивается в инстинктивном стремлении избавиться от боли, меж тем как и мозг и сознание продолжают спать и воспринимают этот жар лишь как некий знак спасенья от реальной угрозы, или как ту же руку, соприкоснувшуюся во сне с какой-либо нежной и гладкой поверхностью, то же спящее сознание и мозг превращают в такой же лишенный материальной субстанции плод воображенья, находящийся за пределами всякого чувственного опыта. Да, горе проходит, угасает, мы это знаем, но спросите слезные протоки, разучились ли они плакать... Однажды летом (об этом вам тоже вряд ли кто-нибудь расскажет) буйно цвели глицинии. Везде струился аромат глициний (мне было тогда четырнадцать лет), как будто каждая весна и лето грядущего соединились, слились воедино в одну весну, в одно-единственное лето — в весну и лето, достояние каждой женщины, что когда-либо дышала над земным тленом, — и

вновь зазеленели, зацвели, чтоб наверстать каждую упущенную в глубине веков, обманувшую надежды необратимую весну. Год выдался на редкость богатный для глициний; погода, час появления побегов из корней, их бурного порыва и цветенья соединились в редкостной удаче, но я (мне было четырнадцать) не стану говорить вам о цветенье, ведь на меня еще ни разу ни один мужчина не взглянул — и никогда не взглянет — дважды; я не ребенок, а нечто меньшее, чем ребенок, не женщина, а нечто даже меньшее, чем существо женского пола. Не стану говорить я и о листьях — я, жалкий, бледный, хрупкий, полураспустившийся листок, чересчур пугливый и робкий, чтобы привлечь к себе нежного майского мотылька, товарища любовных детских игр, или дать отдых сладострастным хищникам — пчелам и осам. Однако о порыве и корне я упомяну — ведь разве не была и я наследницей каждой лишенной сестер Евы со времен искусителя змея? Да, я распускалась — жалкий бутон неведомого семени, ибо кто станет утверждать, что какой-нибудь кривой забытый корень в один прекрасный день не пустит ростков и не покроется роскошными и яркими цветами лишь потому, что этот шишковатый корень не погиб, а просто, позабытый всеми, спал?

В то лето моей бесплодной юности (этого короткого мгновенья, этой короткой, скоротечной, неповторимой весны женского сердца) мне довелось играть роль не женщины, не девушки, а скорее мужчины, которым мне, наверно, следовало бы родиться. Я была тогда четырнадцатилетней девочкой, четырнадцатилетней по годам, если можно назвать годами проведенное в нехоженных закоулках время, которое я звала детством, но которое было не жизнью, а скорее все тем же эмбриональным существованием в лишенном света материнском чреве; мне, уже готовому родиться, созревшему, хоть и немного запоздалому плоду, недоставало лишь кесарева сечения, холодных слепых щипцов беспощадного времени, которые должны были вырвать меня оттуда на свободу, — я ожидала не света, а того удела, что зовется победой женщины, но означает лишь терпенье, терпенье, терпенье без смысла, без надежды на награду — и опять терпенье; я как подземная слепая рыба, как одинокая искра, о чьем происхождении эта рыба давно уже забыла; искра, что с вечной и бессонной жаждой жизни трепещет, бьется о стены своего сумрачного, обьятого глубоким сном жилища, не ведая иных слов, кроме: «То называлось светом, это запахом, а то прикосновеньем», а вот то, другое, не передаст потомству ни слова, ни даже звука, чтобы как-нибудь назвать пчелу и птицу, аромат цветка, свет, солнце и любовь, — я даже не росла, не развивалась, не любила света и не была любима им, и, разъезжаемая той коварной, зловредной язвой одиночества, что заменяет все чувства лишь огнем всепожирающим и безрассудным слухом, я, вместо того чтобы размеренно и постепенно проходить все ступени детства, никем не замеченная, окутанная сырою бархатною тишиной материнского чрева, не вытесняя воздуха, не издавая ни единого прегательского звука, крадась от одной запертой и запретной двери к другой и так приобретала познания о свете и пространстве, в котором движутся и дышат люди, — точно так же я (этот же ребенок) могла бы получить понятие о солнце, разглядывая его сквозь закопченное стекло, — я была четырнадцатилетней, на четыре года моложе Джудит; я на четыре года опоздала к тому мгновению, которое уже познала Джудит: оно известно лишь гевственницам, это неуловимое мгновенье бесконечной духовной свадьбы двух безмяннх, бесполох и нетронутых существ, это не еженощное глумление неодоухотворенной плоти над обездоленной женщиной — награда двадцати-, тридцати- и сорокалетней, а животворное слияние, единение в мире света и воздуха, которым она дышит. Однако то лето не было летом неудовлетворенных девичьих порывов и тревог; щипцам еще не настало время вырвать меня — мертворожденной или даже эмбрионом — из числа живых или, совершив насилие над плотью, сформировать и вооружить меня (сосуд скудельный, женщину) как мужчину.

Это было лето после того первого Рождества, когда Генри привез его в Сатпену Согню, лето после тех двух дней июньских каникул, что он провел там, прежде чем отправиться к Реке, чтоб ехать пароходом домой, лето после того, как убежала тетя, а папа уехал по делам и меня отправили к Эллен (возможно, отец остановил свой выбор на Эллен потому, что в то время Томас Сатпен тоже отсутствовал), чтобы она за мною присмотрела, — родившись слишком поздно, когда в жизни моего отца произошел какой-то странный перелом, и оставшись на руках у этого (теперь уже дважды) овдовевшего человека, я к тому времени умела лишь достать что-либо с кухонной полки, сосчитать ложки, поглубить простыню и отмерить молоко в масло-

бойку, и хотя не гогилась больше ни на что, была все же существом столь драгоценным, что меня нельзя было оставлять без присмотра. Я никогда с ним не встречалась (я вообще ни разу его не видела, да же не видела его мертвым. Я слышала имя, видела фотографию, я помогала рыть могилу — и все), хотя он однажды посетил мой дом — это было в день Нового года, когда Генри, как почтительный племянник, возвращаясь в университет, заехал вместе с ним ко мне, но меня не оказалось дома. До этого я да же не слыхала его имени и понятия не имела о его существовании. Однако в тот летний день, когда я туда поехала, казалось, будто эта случайная остановка у дверей моего дома оставила в моей подземной норе какой-то легкий след, какое-то крошечное живучее семя, и оно породило, быть может, не любовь (я не любила, как я могла его любить? Я никогда да же не слыхала его голоса и лишь со слов Эллен знала, что на свете есть такой человек) и да же не подсматриванье и подслушванье, как вы, конечно, это назовете; нет, за следующие шесть месяцев между тем Новым годом и тем июнем оно придало некую материальную основу тени с именем человека, возникшей из глухой хвастливой болтовни Эллен, тени пока еще безликой, потому что тогда я да же еще не видела фотографии, тени, что отразилась в брошенной украдкой мечтательном взгляде юной девушки, и потому я, ничего не зная ни о какой любви, да же о родительской — об этом настойчивом и нежном насилии над личностью, над распускающимся, как цветок, неисправимым Я, что составляет право и награду всех рожденных от женщин, — я стала не любовницей, не возлюбленной, а как бы возвысилась над любовью и превратилась во всеведущего гермафродита, порбника всех разновидностей любви.

Наверное, он все же оставил какое-то семя, иначе пустая детская мечта не ожила бы в этом саду. Ведь я вовсе не шпионила, когда ходила за нею по пятам. Я не шпионила, хоть вы и скажете, что шпионила. А если я и шпионила, то вовсе не из ревности, потому что я его не любила. (Да и могло ли это быть, ведь я ни разу его не видела.) А если я его и любила, то не так, как любят женщины, не так, как его любила Джудит, во всяком случае не так, как, нам казалось, она его любила. Если это и была любовь (а я все еще спрашиваю: могло ли это быть?), то я любила так, как любит мать, когда, наказывая своего ребенка, шлепает не его, а как бы соседского мальчишку, с которым он только что погрался, или когда, лаская своего ребенка, ласкает не его, а скорее безымянного незнакомца, который в награду сунул ему в ручонку влажное от пота пенни. Но не так, как любит женщина. Видите ли, я ничего у него не просила. И более того: я ничего ему не давала, а ведь это и составляет всю суть любви. Я да же по нем не скучала. Я и теперь не уверена, сознавала ли я когда-нибудь, что ни разу не видела его лица, а видела лишь ту фотографию, ту тень, тот портрет в спальне девушки, обыкновенный портрет в рамке на беспорядочно заставленном туалетном столике, но (как мне казалось) увитый и украшенный белыми розами девичьих грез: ведь еще ни разу не видев фотографии, я могла бы узнать, и не только узнать, а да же описать его лицо. Но я никогда его не видела. У меня нет да же никаких доказательств, что Эллен когда-нибудь его видела, что Джудит его любила, что Генри его застрелил, и потому кто станет со мною спорить, если я скажу: а вдруг я сама его придумала, сочинила? Я знаю лишь одно: на месте Господа Бога я сотворила бы из этого бурлящего потока, что мы зовем прогрессом, какую-нибудь вещь (например, машину), которая украсила бы все пустые зеркала, эти алтари всех некрасивых девушек, чем-то подобным этому портрету; это очень мало, но ведь нам и нужно очень мало. И совсем не обязательно, чтобы за ним скрывался череп; пусть это будет любое безымянное лицо, смутный намек на какое-то живое существо, предмет желаний другого существа, хотя бы да же только в призрачном мире сказки. Портрет, подсмотренный украдкой (мое детство научило меня не любви, а скрытности, и она сослужила мне добрую службу: любовь едва ли была бы мне такой надежной опорой), когда я во время обеда тайком пробралась в опустевшую комнату. Не для того, чтоб грезить: ведь я и без того жила во сне, — а чтобы еще раз повторить уже затверженную роль — так неуверенный, но рьяный дилетант прокрадывается в укромный уголок за кулисами, откуда лучше слышен голос суфлера. А если это была ревность, то не ревность мужчины, не ревность влюбленного и да же не ревнивый взор влюбленного, который шпионит из любви, в надежде прикоснуться к одинокой девичьей грезе: ведь при этом впервые начинает раскрываться та завеса, которую мы называем девственностью, но не для того, чтоб вызвать краску стыдливости, непременный спутник любовных излишаний, а лишь чтоб

насладиться видом нежной девичьей груди, уже порозовевшей в богатой легкой дреме, когда стыдливости еще не время просыпаться. Нет, дело совсем не в том; я не шпионила, я бродила по саду, по дорожкам, разровненным граблями, посыпанным песком, и думала: «Здесь был его след, и хотя его стерли эти грабли, он все равно еще остался здесь, а рядом ее след; они здесь проходили в том медленном согласном ритме, когда ни сердцу, ни сознанию нет нужды следить за послушными (да и покорными) ногами; я размышляла: «Каким вздохам двух слитых воедино душ внимали эти уединенные кустарники и лозы? Какие клятвы, обещанья, какие жаркие и пламенные страсти увенчал сиреневый ливень этой глицинии, мириады опавших лепестков этой розы?» Но лучше, много лучше этого всего настоящая жизнь и дремотная нега самой плоти. О нет, я не шпионила, когда, притаившись в своем убежище под лозой или кустом, грезила, как, наверно, грезила она на уединенной скамейке, что еще хранила невидимый отпечаток его тела; подобно этому сыпучий песок, миллионы нежных листьев и ростков, солнце, мириады задумчивых созвездий, которые взирали на него с небес, всепроникающий воздух — все они хранили следы его ног, его промелькнувшую тень, его лицо, его голос, его имя: Чарльз Бон, Чарльз Добрый, Чарльз Будущий Супруг. Нет, я не шпионила, я даже не пряталась, я все еще была ребенком, и потому мне незачем было прятаться; я бы даже не помешала, если бы они были одни; однако я была настолько взрослой, чтобы пойти к ней, надеясь, что она (быть может, даже радостно и благодарно) посвятит меня в свои тайны без всякого стыда, как девушки говорят о любви... Да, еще настолько ребенком, чтобы пойти к ней и сказать: «Позволь мне спать с тобою», — но уже настолько взрослой, чтобы сказать: «Давай ляжем вместе в постель, и ты расскажешь мне, что такое любовь»; но я этого не сделала, ведь тогда мне пришлось бы сказать: «Не говори мне о любви, я сама расскажу тебе о ней — ведь мне уже известно о любви больше, чем тебе когда-либо суждено узнать и чем тебе потребуется знать». Потом отец вернулся; он приехал и забрал меня домой, и я опять превратилась в нескладного переростка, уже не девочку, но еще не женщину: одетая в несуразное платье, оставленное теткой, я вела хозяйство в несуразном доме; и я не шпионила, не пряталась, я наблюдала и ждала — не благодарности и не награды: ведь я не любила его в обычном смысле слова, потому что такая любовь не может существовать без надежды; я любила его (если то была любовь) такой любовью, о какой не пишут в пошлых романах, такой любовью, что отгадывает все, чем никогда не обладала, — тот жалкий грош, что составляет все достойное дающего, но ничего не добавляет предмету его любви, — и тем не менее я это отдала. Но отдала я это не ему, не ей; казалось, я ей говорила: «Возьми себе и это. Ты не можешь любить его так, как следует его любить; и хотя он не ощутит всей тяжести этого дара, как не заметит и его отсутствия, однако в вашей совместной жизни, может быть, наступит такая минута, когда он найдет эту крохотную частичку, этот атом, — так на знакомой клумбе ты вдруг находишь какой-то жалкий, бледный, сморщенный росток и спрашиваешь: «А это как сюда попало?» — и отвечаешь самой себе: «Не знаю». А потом я возвратилась домой, прожила там пять лет, услышала эхо далекого выстрела, как в кошмаре взбежала по призрачной лестнице и увидела...

Ну да, всего лишь женщину в бумажном платье — она стояла перед закрытой дверью в комнату и не пускала меня туда, — женщину, чуждую мне даже больше, чем горе, потому что я его не разделяла, женщину, которая спокойными словами: «Что, Роза?» — остановила меня на бегу; этот бег (как я теперь знаю) начался пятью годами раньше, с тех пор, как он побывал и в моем доме и не оставил там следов так же, как в доме Эллен, где он прошел как оболочка, тень чего-то — не человека, не живого существа, а лишь какого-то диковинного предмета, вазы, шифоньера или кресла, который Эллен хотела бы приобрести; словно отпечаток, оставленный (или не оставленный) им на Колдфилдовых и Сатпенновых стенах, таил в себе какое-то злое предвестье грядущего... Да, я выбежала из того первого года (года перед началом Войны), когда Эллен беспрерывно толковала мне о приданом (а ведь это было мое приданое), о сказочном убранстве, необходимом, чтоб отгаться, а отгаться предстояло мне, хоть я и могла отдать всего лишь малость — все свое достояние, ибо существует нечто, что могло бы быть, единственный утес, за который мы цепляемся, чтоб уцелеть в водовороте жестокой действительности... И еще четыре года прошло, когда, как я думаю, она ждала подобно мне, когда все устои, в незыблемость которых нас приучили верить, рушились в огне и дыме и наконец погибло все — мир, безо-

пасность, гордость и надежда, остались только изувеченные ветераны чести и любви. Да, на свете должны, непременно должны быть и любовь и верность — ведь их оставили нам отцы, мужья, возлюбленные и братья, которые высоко несли знамя гордости и надежды на мир, — они должны быть, а иначе за что воюют мужчины? и за что еще стоит умирать? Да, умирать не ради суетной чести, не ради гордости и даже не ради мира, а ради той любви и верности, что они оставили нам уходя. Ибо ему суждено было умереть — я это знаю и знала тогда, — суждено, как гордости и миру, а иначе чем доказать бессмертие любви? Но любовь и верность умереть не могли. Разве только любовь без надежды и верности, которой нечем гордиться; но все равно любовь и верность должны были остаться превыше убийства и безумия, чтобы из жалкого, отягощенного виною праха спасти хотя бы что-то от прежнего очарования души... Да, она стояла перед закрытой дверью в комнату, куда мне было не позволено войти (и, насколько мне известно, куда она сама тоже больше не входила, пока Джонс и его помощник не внесли наверх гроб), стояла с фотографией в опущенной руке, лицо ее было совершенно спокойно, она окинула меня быстрым взглядом и, слегка повысив голос, ровно настолько, чтобы его можно было слышать внизу в прихожей, сказала: «Клиту, мисс Роза останется обедать, раздобудь еще какой-нибудь еды», — и потом: «Может быть, мы сойдем вниз? Мне нужно поговорить с мистером Джонсом о досках и гвоздях».

Вот и все. Или, вернее, не все, потому что не существует такого понятия, как все, конец; нам причиняет боль не сам удар, а его отражение, томительное последствие, жалкий мусор, который нужно смести с порога отчаяния. Понимаете, ведь я его ни разу не видела. Я даже не видела его мертвым. Я слышала не выстрел, а только эхо; я видела закрытую дверь комнаты, но внутрь не входила; я помню, как в тот вечер, когда мы вынесли гроб из дома (Джонс и второй белый, которого он раздобыл, извлек невесту откуда, скотили этот гроб из досок, сорванных с каретника; помню, что пока мы ели обед, приготовленный Джудит — да, Джудит с тем же спокойным, холодным, невозмутимым лицом варила его на плите, — ели его в той комнате, над которой он лежал, было слышно, как они стучат молотками и пилят на заднем дворе; помню, как Джудит в выцветшей бумажной шляпе, под стать платью, дает им указания; помню, как весь этот бесконечный солнечный день они стучали и пилили прямо по окнами выходящей во двор гостиной; помню однообразный, доводящий до безумия визг пилы — вжик, вжик, вжик; глухие, ровные удары молотка — кажется, вот это уж последний, но нет, он вовсе не последний, он повторяется снова, и как раз в ту секунду, когда наступает тишина, с новой силой бьет по едва успевшим расслабиться, усталым, отупевшим, до предела натянутым нервам; и наконец, я выхожу во двор (по дороге возле сарая мне встретилась окруженная стайей кур Джудит с полным передником только что собранных яиц) и спрашиваю: почему, почему здесь? почему надо делать это именно здесь? И тут они оба останавливаются и перестают стучать; это длится довольно долго, достаточно долго, чтобы Джонс мог обернуться, дважды слюнуть и ответить: «Потому что отсюда ближе тащить ящик», — и не успела я еще отойти, как он, один из них, добавил, очевидно по какой-то тупой инерции неожиданно для самого себя отыскав логическое объяснение происходящему: «Уж чего бы проще оттащить его вниз да и обколотить вокруг досками. Вот только мисс Джудит, наверно, не понравится»)... Помню, когда мы несли его вниз по лестнице к стоящему в ожидании фургону, я старалась взять на себя всю тяжесть гроба, желая убедиться, что он и в самом деле там. И все равно уверенности у меня не было. Я несла вместе с остальными его гроб, но все же не могла, не хотела верить в то, чего, как я знала, не могло не быть. Ведь я никогда его не видела. Понимаете? С нами порой случается нечто такое, чего наши чувства и разум не в состоянии принять — так желудок иногда не принимает пищи, что показалась нам съедобной, но наш организм не в состоянии ее переварить, — происшествия, которые внезапно воздвигают перед нами какую-то неосознаваемую преграду вроде стеклянной стены; мы останавливаемся как вкопанные и смотрим сквозь нее на все последующие события — едва успев возникнуть, они уходят, исчезают, словно растворившись в беззвучной пустоте, а мы, не в силах двинуться с места, беспомощно стоим и остаемся там стоять до самой смерти. Так было и со мной. Я была там; какая-то часть моего существа двигалась размеренным шагом в ногу с Джонсом и его помощником, с Теофилусом Маккаслином, который, каким-то образом узнав о происшедшем, приехал из города, и с Клиту, мы несли громоздкий неуклюжий ящик

по узкой тесной лестнице, Джудит поддерживала его сзади, и так готащили до фургона; какая-то часть моего существа помогла поднять и взвалить на стоявший внизу фургон нечто, чего я не смогла бы поднять одна, но во что все еще отказывалась верить; какая-то часть моего существа стояла в сумеречной тени кедров возле зияющей щели в земле, слушала, как комья с глухим стуком ударяются о доски, и вместе со всеми ответила нет, когда Джудит, стоя в головах могильного холмика, спросила: «Он был католиком. Знает ли кто-нибудь из вас, как католики...» — на что Теофилус Маккаслин сказал: «К черту католиков, он был солдат. А уж я как-нибудь сумею прочесть молитву за конфедерата», — а затем хриплым старческим голосом прокричал: «Эге-гей, Форрест! Эге-гей, Джон Сарторис! Эге-гей!» И какая-то часть моего существа вместе с Джудит и Клити пошла обратно по освещенному закатным солнцем полю и в каком-то странном невозмутимом оцепененье отзывалась на невозмутимо спокойный голос, толковавший о вспашке земли под кукурузу и о заготовке гров на зиму, а потом на кухне при свете лампы помогала стряпать ужин и даже вместе со всеми ела его в той самой комнате, над потолком которой он уже больше не лежал, после чего пошла спать (га, взяла свечу из этой твердой, недрогнувшей руки и подумала: «Она даже не плакала», — а увидев в тускло освещенном лампой зеркале свое лицо, подумала: «Но ведь и ты тоже») в том самом доме, где он провел еще одно короткое (на этот раз последнее) мгновенье и не оставил по себе ни следа, ни даже слез. Да. Сначала его не было. Потом он был. Потом его не стало. Все было слишком коротко, стремительно, поспешно, все длилось только шесть часов, один короткий летний день: мгновенье было слишком мимолетным и потому не оставило даже отпечатка тела на матрасе, а мало ли откуда может взяться кровь, если она вообще там была, ведь я его не видела, так что сказать не могу. Судя по тому, что мне позволили узнать, не было ни трупа, ни даже и убийцы (в тот день не было даже и речи о Генри; никто из нас о нем не заикнулся; я, тетка, старая дева, даже не спросила, как он выглядел — хорошо или плохо? Я не произнесла ни одного из той тысячи банальных слов, при помощи которых неукротимый женский инстинкт отгораживается от мира мужчин, где родственник может выказать смелость или трусость, безрассудство, вожделенье или страх, за что другие мужчины его наградят или казнят); не было убийцы, который явился, с шумом распахнул дверь, объявил о своем преступлении и исчез, убийцы, который, хоть и остался жив, казался еще более призрачным, чем бестелесное ничто, которое мы заколотили в деревянный ящик; был только выстрел, га и то не самый выстрел, а лишь эхо, была тощая одичавшая кляча с уздечкой, но с пустым седлом; в седельной сумке был пистолет, изношенная чистая рубашка и твердый, как камень, кусок хлеба — эту клячу два дня спустя в четырех милях от Сагленовой Сотни поймал какой-то фермер, когда она пыталась забраться в его конюшню. И более того: он отсутствовал, и он был, он возвратился, и его больше не было; три женщины зарыли что-то в землю, и его вообще как не бывало.

Теперь вы спросите, зачем я там осталась. Я могла бы сказать — не знаю, могла бы привести десять тысяч пустячных причин, все до единой ложные, и вы бы мне поверили — сказать, что осталась ради хлеба насущного, хотя могла бы точно так же, как и здесь, выполоть на клумбах сорняки и развести огород у себя в саду, не говоря о соседях, грузах, чьи приношения могла бы принимать, ибо нужда умеет пре небречь чрезмерной щепетильностью в вопросах гордости и чести; сказать, что осталась ради крова, хотя теперь-то у меня была крыша над головой в собственном родовом поместье; или сказать, что осталась ради общества, хотя дома могла общаться с соседями, которые по крайней мере принадлежали к моему кругу, знали меня со дня рождения и даже больше в том смысле, что разделяли все мнения и мысли — не только мои, но и моих предков; тогда как здесь я находилась в обществе одной женщины, которую, несмотря на наше кровное родство, я совсем не понимала и, если выводы, вытекавшие из моих наблюдений, были верны, даже и не хотела понимать, и другой женщины, которая была настолько чуждой мне и всему тому, что составляло мое существо, словно мы принадлежали не только к разным расам (так оно и было), не только к разным полам (а уж чего не было, того не было), но даже к разным биологическим видам; мы говорили как бы на совершенно разных языках, и даже самые простые слова, которыми нам приходилось каждый день обмениваться, выражали мысли и намерения, имевшие еще меньше общего, чем звуки, какие издают звери и птицы. Но я вам ничего такого не скажу. Я осталась ждать возвраще-

ния Томаса Сатпена. Да. Вы скажете (или подумаете), что я уже тогда надеялась выйти за него замуж, и если бы я стала это отрицать, вы сочли бы, что я говорю неправду. Тем не менее я это отрицаю. Я ждала его так же, как Джулит и Клити,— теперь он был всем, что у нас еще осталось, единственным, что придавало смысл нашему дальнейшему существованию, что заставляло нас есть, спать, снова просыпаться и вставать; мы знали, что мы ему понадобимся; мы (зная его) знали, что он тотчас же примется спасать и заново строить то, что еще осталось от Сатпеновой Сотни. Я вовсе не хочу сказать, что мы сами в нем нуждались. (Я никогда ни на секунду не глумилась о замужестве, никогда ни на секунду не воображала, что он на меня взглянет и меня увидит — ведь он никогда на меня не смотрел. Вы вполне можете мне поверить, потому что в свое время я не постесняюсь рассказать вам, когда именно я об этом подумала.) Нет. Нам не потребовалось и дня совместной жизни, чтобы понять: он нам не нужен, нам вообще не нужен ни один мужчина, пока Уош Джонс жив и остается здесь,— ведь я при жизни отца почти четыре года вела его хозяйство, Джулит занималась тем же здесь, а Клити могла нарубить гров и вспахать борозду не хуже (и, во всяком случае, быстрее) самого Уоша Джонса... И вот что печально, печальнее всего: безотрадное уныние, которое охватывает душу и сердце, когда им больше не нужно то, что нуждается в них самих. Нет. Нам не был нужен ни он, ни даже кто-то, кто мог бы его заменить: ведь мы даже не разделяли его неукротимого желания (почти безумного намерения, с которым он вернулся домой и которое, казалось, начал распространять, излучать, еще не успев спешиться), желания восстановить свою плантацию, вновь сделать ее тем, ради чего он принес в жертву сострагание, нежность, любовь и все человеческие чувства — если считать, что он ими когда-либо обладал, ведь иначе он не мог ни жертвовать ими, ни ощущать в них недостатка, ни желать возбудить их в грудах. Нет, дело и не в этом. Ни я, ни Джулит этого не хотели. Вероятно, мы просто считали это невозможным, но, что гораздо важнее, мы обрели покой, нас охватило безразличие, напоминавшее слепую бесчувственность самой земли, что даже и не грезит о распускающихся листьях и цветах, не внемлет божественному шелесту молодых побегов, которые она сама питает.

Итак, мы ждали его возвращения. Мы вели хлопотливую, однообразную жизнь трех монахинь в опустелом нищем монастыре; окружавшие нас стены были достаточно надежны и неприступны, хотя они равнодушно взирали на то, есть у нас пища или нет. Мы жили гружно — не как две белые женщины и одна негритянка, не как три негритянки или три белые и даже не как три женщины, а просто как три живых существа, которые все еще испытывают потребность в пище, хоть и не получают от нее никакого удовольствия, испытывают потребность в сне, хоть и не ощущают радости от возможности отдохнуть и вновь набраться сил, и у которых все признаки пола атрофировались, подобно рудиментарным жабрам, известным под названием миндали, либо большому пальцу ноги, все еще отделенному от остальных, как у наших предков, которые лазали по деревьям. Мы поддерживали порядок в той части дома, где мы жили; мы убрали комнату, куда должен был водвориться Сатпен,— не ту, которую он покинул супругом, а ту, куда он должен был вернуться вдовцом, потерявшим сына, лишенным потомства, которого он без сомнения желал, кель скоро всеми силами и средствами старался произвести на свет детей и поместить их среди привезенной издалека мебели, под хрустальными люстрами,— точно так же, как мы, то есть Джулит и Клити, убрали комнату Генри, словно в тот летний день он не промчался сначала вверх, а потом вниз по лестнице; мы своими руками сажали, выращивали и собирали продукты, которыми питались; мы обрабатывали огород, варили и ели овощи, которые на нем росли; разница в возрасте и цвете кожи тут роли не играла, важно было лишь, кто, сберегая время и силы, нужные для других дел, сумеет быстрее разжечь огонь в очаге, помешать вареву в горшке, вылопотить грядку или отнести на мельницу фартук кукурузы, чтоб намолоть муки. Казалось, будто мы, совершенно одинаковые и легко взаимозаменяемые, составляем одно существо, которое копаются на огороде, прядет пряжу, тклет ткань, чтобы прикрыть свою наготу, собирает по придорожным канавам жалкие лекарственные травы на случай, если б кто-нибудь из нас осмелился или нашел время захворать, подгоняет и улещивает все того же Джонса, чтобы он вспахал поле под кукурузу или заготовил гров для нашего пропитания и обогрева зимой,— мы трое, три женщины: я, которую обстоятельства слишком рано заставили дрожать над каждым пенсом и вести такое ску-

ное хозяйство, какое с успехом можно было вести на маяке, на затерянном в море одиноком утесе; я не умела даже сажать цветы на клумбе, не говоря об овощах на огороде, и привыкла к тому, что топливо само собою появляется в ящике для дров, а мясо на полке в кладовой; Джудит, которую обстоятельства (обстоятельства? отнюдь! — сто лет тщательного воспитания, если не кровь и даже не колдфилдовская кровь, то уж во всяком случае традиция, в которой неумная воля Сатпена сумела отыскать какую-то щелку) создали для того, чтобы она тихо и мирно проходила все стадии, назначенные кокону: юная девушка, окруженная поклонением многодетная королева, а затем всемогущая благодетельная матрона, купающаяся в лучах довольства спокойной и бодрой старости; Джудит, жертва того, что для меня было всего лишь несколькими годами неведения, тогда как для нее десятью поколениями железных запретов; она не усвоила даже первого закона нищеты, а именно — скупиться и скаредничать ради скупости и скаредности; она (с благословения Клити) готовила вдвое больше еды, чем мы могли съесть, и втрое больше, чем мы могли себе позволить, и разгавала ее каждому встречному и поперечному, каждому незнакомцу, который ее об этом просил, меж тем как округа уже кишмя кишела оставшими от своих частей солдатами; и наконец, последняя по счету, хотя игравшая отнюдь не последнюю роль, Клити. Клити не тупица, все что угодно, только не тупица: строптивая, загадочная, полная непостижимых противоречий, она была свободна, но совершенно не приспособлена к свободе, хоть никогда не называла себя рабыней; она не хранила верности никому, как ленивый медведь или волк (да, она была дикаркой: в ее жилах текла наполовину неукротенная черная кровь, наполовину кровь Сатпена; и если слово «неукротенная» — синоним слова «дикая», то слово «Сатпен» означает молчаливо и злобно подстерегающую свою жертву хлыст укротителя), чья обманчивая внешность изображает покорность и страх, которых на самом деле нет; а если это верность, то лишь своей же дикой необузданной натуре; Клити, самим цветом своей кожи олицетворявшая ту катастрофу, что довела меня и Джудит до нашего теперешнего состояния, а ее (Клити) сделала тем, чем она отказывалась быть — точно так же она отказывалась быть и тем, от чего эта катастрофа ставила себе целью ее освободить; казалось, с высоты своего величия взирая на новое, она упорно стремилась олицетворять для нас зловещую угрозу старого.

Мы трое были друг другу чужими. Я ничего не знаю о мыслях Клити, об ее жизни, что поддерживала в ней пища, которую мы все вместе выращивали и варили, одежда, которую мы пряли и ткали. Но я ничего другого и не ожидала — ведь мы с ней были открытыми непримиримыми врагами. Но и о мыслях и о чувствах Джудит я тоже ничего не знала. Мы все трое спали в одной комнате (и не только потому, что берегли дрова — ведь нам самим приходилось их носить. Нет, ради безопасности. Приближалась зима, и уже начали возвращаться солдаты, оставшие от своих частей, — нельзя сказать, что все это были бродяги и бандиты, это были просто люди, которые всем рисковали и все потеряли, которые терпели нечеловеческие лишения и теперь возвращались на разоренную землю другими, не такими, какими ушли; и что самое ужасное — это последняя степень падения, до какой войны доводят душу и сердце, — они уподобились человеку, которого отчаянье и жалость заставляют оскорблять любимую жену или подругу, в его отсутствие ставшую жертвой насилия. Мы боялись. Мы их кормили, мы отдавали им все, что у нас было; мы охотно взяли бы себе их раны, лишь бы они остались невредимы. Но мы их боялись); мы просыпались и вставали; мы выполняли бесконечные нудные обязанности, без которых нельзя было жить; после ужина мы сидели у очага, все трое до того усталые, что кости и мышцы уже не могут отдыхать, когда истощенный, но все же непобедимый дух и в безнадежности способен отвлечься мыслью о какой-нибудь прорехе в одежде, и тут мы говорили, мы говорили о тысяче вещей — о нашей тяжкой, однообразной и убогой жизни, о тысяче вещей, о чем угодно, кроме одного. Мы говорили о нем, о Томасе Сатпене, мы говорили о конце Войны (теперь нам было ясно, что он близок) и о том, что он станет дельцем, когда возвратится домой, как он возьмется за свой поистине достойный Геркулеса труд; мы твердо знали, что он за это дело возьмется и непременно — хотим мы того или нет — беспощадно вовлечет в него и нас (да, мы и это знали); мы говорили о Генри — сдержанно, с обычной бесполезной беспомощной тревогой слабых женщин за отсутствующего мужчину — как ему живется, не голоден ли он, не страдает ли от холода; говорили о нем точно так же, как об его отце, словно и они и мы все еще продолжали жить в том времени, которому положил предел тот самый выст-

рел, с которым навеки покончил бешеный топот ног по лестнице; говорили так, словно того вечера вовсе никогда и не было. Но мы ни разу не упомянули о Чарльзе Боне. Поздней осенью Джудит два раза днем куда-то исчезала и возвращалась к ужину спокойная и невозмутимая. Я ни о чем ее не спрашивала, не ходила за нею следом, но я знала, и Клити несомненно тоже знала, что она убирала палую листву и сухие иглы кедров с могилы — с холмика, что постепенно сравнивался с землей, в которой мы его похоронили. Нет, никакого выстрела не было. Это был просто резкий стук раз навсегда захлопнувшейся двери, за которой осталось все, что было и что могло бы быть, — как будто мы, три слабые, но непреклонные женщины, упорно не желая примириться с тем, что уже произошло, остановили неуловимый бег событий, заставили застыть одно мгновение и повернули время вспять; как будто мы похитили у брата его добычу, вырвали из рук убийцы жертву пули. Так прошло семь месяцев. А потом, это было в январе, Томас Сагпен вернулся домой; одна из нас погнула голову, склоненную над грядкой, которую мы готовили для посадок на будущий год, и увидела, как он верхом на лошади едет по аллее. А потом однажды вечером я с ним обручилась.

На это мне потребовалось всего лишь три месяца. (Вы заметили, что я говорю «мне», а не «ему»?) Да, именно мне. и всего лишь три месяца, а ведь я целых двадцать лет смотрела на него (когда мне случалось или приходилось на него смотреть) как на чудовище, на сказочного зверя, каким пугают маленьких детей; я видела, как его отпрыски, плоть от плоти моей покойной сестры, уже начали уничтожать друг друга, и тем не менее в тот полдень, когда он, двадцать лет не угоставший меня взглядом, погнул голову, остановился и посмотрел на меня, я сразу побежала к нему, как собачонка, которую свистнул хозяин. Нет, я не оправдываю себя, хотя и могла, и хотела бы, и даже привела — и привела бы — тысячу благовидных предлогов, вполне достаточных для женщин, от природной женской непоследовательности до желания (или надежды) разбогатеть, занять положение в обществе или просто страха умереть, не познав мужчин: таким страхом (как вам, без сомнения, скажут) одержимы все старые девы — и, наконец, жажды отомстить. Нет. Я ничем себя не оправдываю. Я могла бы уехать домой и не уехала. Наверное, мне надо было уехать домой. Но я не уехала. Вместе с Джудит и Клити я стояла перед полуразвалившимся портиком и смотрела, как он подвезжает к дому на тощей заезженной кляче; казалось, будто в седле сидит не он, будто перед нами только мираж, лишь его отражение — оно вырвалось вперед, застыло в яростном безумном нетерпенье, которое передавалось его тощей кляче, его седлу, сапогам, потрепанному, выгоревшему до цвета палого листа мундиру с оборванными потускневшими золотыми нашивками, висевшему на этой живой, но бесчувственной оболочке; казалось, еще прежде, чем он успел слезть с седла, эта оболочка приблизилась к нам, и из нее раздался голос: «Здравствуй, дочь», после чего он наклонился и коснулся бородой лба Джудит, которая все это время стояла неподвижно, молча, с застывшим лицом, и они обменялись четырьмя фразами, четырьмя короткими, простыми фразами — в них, над ними и за ними ясно слышался тот самый голос крови, который почувствовалась мне, когда Клити не подпускала меня к лестнице: «Генри не...?» «Нет. Его здесь нет». «Так. А...?» «Да. Генри его убил». И тут она разразилась слезами. Да, слезами, а ведь она ни разу не плакала; ведь с того самого дня, когда она спустилась с лестницы все с тем же спокойным каменным лицом, которое остановило меня на бегу перед той самой запертой дверью и с тех пор не менялось; да, она разразилась слезами, словно все, что накопило за эти семь месяцев, одним немислимым потоком само собою хлынуло наружу (а она при этом не шевельнулась, ни единый мускул не дрогнул в ее лице), хлынуло и так же внезапно исчезло, испарилось, словно сухой опаляющий жар бесплодной пустыни, которым от него пахнуло, мгновенно высушил ей слезы; все еще не снимая рук с ее плеч, он взглянул на Клити, проговорил: «Ну как ты тут, Клити?» — и тогда посмотрел на меня — то же лицо, которое я видела последний раз, только чуть-чуть осунувшееся, те же жестокие глаза, волосы, теперь чуть-чуть тронутые сединой, и ни малейшего признака, что он меня узнал, пока наконец Джудит не сказала: «Это Роза. Тетя Роза. Она теперь живет у нас».

Вот и все. Он въехал на аллею и снова вошел в нашу жизнь, не оставив на ней никакого следа, кроме этих внезапных невероятных слез. Ведь его самого здесь не было; в этом доме, где проходили наши дни, он, в сущности, совсем не появлялся. Здесь пребывала его оболочка; она занимала комнату, которую мы для него убрали, сла

пищу, которую мы добывали и варили; казалось, он не способен насладиться ни мягкой постелью, ни вкусом или качеством еды. Да. Его здесь не было. Какое-то существо ело с нами за одним столом; мы задавали ему вопросы, и оно нам отвечало; по вечерам оно сидело вместе с нами у очага и, внезапно пробудившись от глухой глубокой дремы, обращалось с речью — не к нам, не к трем парам ушей, не к троим наделенным слухом и разумом существам, а к воздуху, к притаившемуся где-то в пустоте угрюмому призраку, духу своего полуразвалившегося дома; оно говорило словами, напоминавшими безумный бред одержимого, который в самых стенах собственной гробницы возводит сказочные замки, исполинские Камелоты и Каркассонны. Не то чтобы его не было здесь, на этом случайном квадратном клочке земли, который он назвал Сатпеновой Согней, нет. Его не было только в этой комнате, и то лишь потому, что какая-то неведомая сила влекла его отсюда, потому, что он распался на отдельные частицы и они витали над каждым заросшим сорняками полем, над каждой обвалившейся изгородью, над рухнувшей стеною каждой хижины, амбара и конюшни; подобно электрическому току, проходящему сквозь раствор электролита, все эти частицы держало в неистовом и неослабном напряжении сознание того, что время коротко, что надо торопиться; казалось, он лишь сейчас, сию минуту, родился на свет, огляделся вокруг и понял, что он уже стар (ему было пятьдесят девять лет), и им овладела тревога (не страх, а именно тревога), что старость отнимет у него не силы, а время, и он не успеет завершить задуманное, прежде чем наступит его смертный час. Мы верно угадали его намерения, мы поняли, что он даже не остановится передохнуть, а тотчас примется за работу, стараясь по возможности вернуть свой дом и плантацию в их прежнее состояние. Мы не знали, как он к этому приступит; я думаю, что он не знал и сам. Да он и не мог этого знать — ведь он вернулся ни с чем, в ничто, в оставшееся за четыре года меньше чем ничто. Но это его не остановило и не испугало. Он обладал холодным расчетом и одержимостью игрока, который знает, что всегда можно проиграть, но проигрывает непременно, если хоть на секунду ослабит неистовое напряжение воли, и потому при помощи лихорадочных комбинаций с картами или костями откладывает решающий ход до той минуты, покауда заглохшие источники и каналы удачи не исторгнут новую струю. Он не остановился, не дал своим пятидесятигивагилетним мышцам и костям передохнуть день или два — день или два, когда он мог бы поговорить не о нас и не о том, как мы все это время жили, а о себе, о прошедших четырех годах (судя по тому немногому, что он нам рассказывал, никакой войны могло вовсе и не быть, а если она и была, то где-то на другой планете и он ничем в ней не рисковал, а его плоть и кровь в ней совсем не пострадали) — естественном промежутке времени, необходимом, чтобы жестокая горечь поражения могла избыть себя в чем-то вроде мира, вроде передышки — в неистовом, немислимом рассказе (лишь он один позволил уцелевшему мириться с жизнью) о том, на сколь невероятно тонком волоске висит победа или катастрофа и сколь невыносимо поражение, когда оно обращается против самого человека, но не стирает его с лица земли, а оставляет ему жизнь, однако жить с этим сознанием он не может.

Мы его почти не видели. Он уходил на рассвете и возвращался затемно, он, Джонс и еще двое мужчин, которых он где-то разыскал и которым чем-то платил — возможно, тем же, чем чужеземному архитектору: улещаниями, посулами, угрозами и, наконец, силой. Этой зимой мы узнали, что такое саквожники, и люди — во всяком случае, женщины — стали по ночам запира́ть окна и двери и пугать друг друга рассказами о восстаниях негров; этой зимой заросшие, уже четыре года не знавшие плуга, заброшенные поля оставались в еще большем небрежении, меж тем как белые мужчины, вооруженные пистолетами, каждый день собирались в городах. Его с ними не было; помню, как однажды ночью, пробравшись по непролазной мартовской грязи, они явились к нему целой депутацией и потребовали от него ответа — да или нет, с ними или против них, друг или враг, а он отказался, уклонился, дал им понять (ни единый мускул на его исхудалом свирепом лице не дрогнул, ровный голос не повысился), что ему не до них и что если каждый южанин последует его примеру и позаботится о своем достоянии, то вся земля и весь Юг будут спасены, после чего выпроводил их из комнаты и из дома, поднял над головою лампу, остановился на виду у всех в дверях, выслушал последние слова их вожака: «Значит, война, Сатпен» — и ответил: «Я к ней привык». Да, да, конечно, я следила за ним, следила, как одинокий неистовый старик вступил в жестокое единоборство не с упрямой, но постепенно подгадывающейся землей, как было прежде, а с новым тяжким грузом самого времени, слов-

но пытался запрудить реку голыми руками и одним-единственным камушком — и все это в погоне за прежней неверной мечтой об успехе, которая уже однажды его обманула (обманула? нет, предала, а на этот раз его погубит); теперь я сама ясно вижу эту аналогию — двигаясь по роковому кругу, его неумная гордыня и суетное пристрастие к пустому величию все быстрее и быстрее влекут его к концу. Аналогию, которая тогда от меня ускользнула. Да и как могла я ее увидеть? И в двадцать лет я все еще была девочкой, все еще пребывала в том узком, как материнское чрево, коридоре, куда не проникал не только живой отзвук окружающего мира, но даже его мертвая загадочная тень, откуда я с невозмутимым незамутненным изумлением ребенка смотрела на призрачный хоровод, в котором кружились мужчины и женщины — мой отец, моя сестра, Томас Сатпен, Джудит, Генри, Чарльз Бон, — наблюдала их шутковские ужимки, называемые честью, принципами, бракосочетанием, любовью, горем, смертью; правда, девочка, что наблюдала за Сатпеном, была уже не девочкой, а частью триумвирата, который составляли мы трое — Джудит, я и Клити; мы, как единая женщина-мать, кормили, одевали, согревали эту застывшую оболочку, таким образом давая простор и волю его безумному пустому заблуждению, и каждая из нас говорила себе: «Наконец-то моя жизнь обрела какой-то смысл; пусть даже он заключается лишь в том, чтоб охранять и ограждать дикие выходки неразумного гитяти». А однажды за полдень (я вскапывала мотыгой грядку в том месте, где проходила тропинка от конюшни к дому) я подняла голову и увидела, что он на меня смотрит. Он двадцать лет меня видел, но теперь он на меня смотрел. И ведь вот что любопытно — что это должно было произойти именно среди бела дня, и хотя в это время ему следовало находиться совсем не возле дома, а где-то за тридевять земель, на этой сотне квадратных миль, которые у него еще не угосужились отнять, возможно даже не в той или иной их точке, а везде и всюду (он не рассеялся, не растворился, не растаял, а, наоборот, увеличился, колоссально разросся, словно каким-то нечеловеческим усилием сумев на одно бесконечно долгое мгновение охватить и удержать в целости и сохранности весь этот квадрат глиной и шириною в десять миль, остановился на краю разверстой пропасти и, непобежденный, бесстрашно взирал на свое, как он теперь уже, конечно, понимал, неотвратимое и окончательное поражение), он вместо этого стоял на тропинке и смотрел на меня каким-то странным непонятным взглядом, словно в ту минуту, как он меня увидел, двор и тропинка были болотом, из которого он вышел, не погодравая, что вот-вот выберется на солнце, а потом двинулся дальше... лицо, то самое лицо: это была не любовь, я этого совсем не говорю, не жалость или нежность, это была просто внезапная вспышка света, озаренье; ведь этот человек, узнав, что сын его совершил убийство и исчез, сказал только: «Ага. Ну как ты тут, Клити?» Он пошел дальше, к дому. Но это была не любовь: я этого не утверждаю, я не ищю себе ни извинений, ни оправданий. Я могла бы сказать, что он и раньше во мне нуждался, что он меня использовал, так чего мне было возмущаться, если он хотел использовать меня еще больше? но я этого не сказала; я могла бы на этот раз сказать: «Не знаю» — и сказала бы правду. Потому что я действительно не знаю. Он ушел; я не заметила даже и этого — ведь существует не только метаболизм тела, но и метаболизм духа, в котором то, что копилось долгое время, сгорает, возрождается, создает и разрывает некую девственную плеву разбушевавшейся плоти; да, в какую-то долю секунды, в какой-то миг пылающего забвения унеслись и рассыпались в прах все сокровенные заклатья — не могу, не хочу, ни за что, никогда. Эта секунда еще принадлежала мне, я еще могла бежать, но я осталась; я заметила, что его нет, но не помнила, как он ушел; я увидела, что моя овощная грядка вскопана, хотя и не помнила, когда успела ее закончить; в этот вечер я сидела за ужином со знакомой, погруженной в глухую дрему оболочкой, к которой мы постепенно привыкли (за едой он ни разу на меня не взглянул; я могла бы сказать тогда: какую же фальшивую мечтою нас обманет, в какую сточную канаву сновидений нас завлечет неисправимая предательская плоть? но я этого не сказала), а когда мы по обыкновенной сидели у очага в спальне Джудит, он появился в дверях, посмотрел на нас, сказал: «Джудит, ты и Клити...» — и умолк, а затем, войдя в комнату, продолжал: «Впрочем, все равно, Роза не обидится, если вы обе тоже об этом услышите; ведь времени у нас в обрез, а дел по горло», после чего подошел, остановился, положил мне на голову руку (я не знаю, на что он смотрел, когда говорил, но судя по звуку его голоса, он не смотрел ни на нас, ни на что-либо другое в комнате) и сказал: «Ты, вероятно, думаешь, что я был не очень хорошим мужем твоей сестре Эден. Ты наверняка так думаешь. Но если ты

гаже не сделаешь скидку на то, что я теперь постарел, я, пожалуй, могу обещать, что буду, во всяком случае, не худшим мужем тебе».

Таков был мой роман. Мимолетный обмен взглядами на огороде, рука у меня на голове в спальне его дочери, указ, повеление, холодная самоуверенная речь, как приговор (он стоял так, как стоят, читая приговор), который не произносят и не выслушивают, а читают вырубленным на гладком камне, что служит подножием забытой безымянной надгробной статуи. Я этого не извиняю. Я не прошу ни оправдания, ни жалости; я не ответила: «Да, я согласна», не потому, что меня об этом не просили, и не потому, что для ответа не нашлось ни времени, ни места и никакой возможности. Ведь я могла ответить. Ведь стоило мне только захотеть, и я бы силой вырвала возможность сказать в ответ не кроткое: «Да», а в слепом отчаянии обрушить жестокий сокрушительный удар любым оружием, доступным женщине, чья зияющая рана вопиет: «Нет! Ни за что! Спасите! Помогите!» Нет, я не прошу ни оправданий, ни жалости — ведь я не шевельнулась, я сидела под тяжестью бесчувственной руки людоеда из моего детства; я слышала, как он сказал что-то Джудит, слышала ее шаги, потом увидела ее руку — да, не Джудит, а только ее руку, по которой, как по печатной хронике, я прочтала всю ее историю — сиротство, лишения, погибшую любовь, четыре года неблагодарного и тяжелого труда; натруженную лагонь, на которой оставили неизгладимый след ткацкий станок, топор, мотыга и другие орудия, назначенные в удел мужчинам; и на этой лагони лежало кольцо, которое он тридцать лет назад дал Элен в церкви. Да, аналогия, парадокс, а в придачу еще и безумие. Я сидела и не глядя чувствовала, как он теперь надевает это кольцо на палец мне (он теперь тоже сидел на том стуле, который обычно занимала Клити, а она стояла у камина, там, куда не достигал свет горящих поленьев), и слушала его голос, как тридцать лет назад в апрельский день своей юности слушала его Элен; он говорил не обо мне, не о любви и не о свадьбе и даже не о себе; это была не речь нормального человека, он обращался не к другим нормальным людям, а к темным силам рока, которые он сам же вызвал к жизни и которым теперь бросил дерзкий вызов; это была неумная похвальба безумца, одурманенного сном о прежней целой Сатпеновой Сотне, которой теперь не существовало (и больше никогда не будет существовать в действительности), как это было в тот день, когда Элен впервые о ней услышала, как будто, снова надев кольцо на палец живой женщины, он повернул время на двадцать лет назад, сумел его остановить и заморозить. Да. Я сидела, слушала его голос и говорила себе: «Ведь он сошел с ума. Он назначит эту свадьбу на сегодня; сам и священник и жених, он совершит свой собственный обряд и со свечой в руке произнесет свое безумное благословенье; но и я тоже сошла с ума, ибо я дам согласие, покорюсь, стану его сообщницей и брошусь в пропасть». Нет, я не ищу себе оправданий, не взываю о жалости. Если в ту ночь я спаслась (а я действительно спаслась: мне была уготована иная, еще более горькая участь, которая постигнет меня позже, когда у нас... то есть у меня не будет никаких оснований ссылаться на захваченную врасплох докучную прегательскую плоть), это была не моя заслуга, я не сделала для этого ровно ничего, это случилось просто потому, что, возворив на место кольцо, он тотчас перестал на меня смотреть или, вернее, смотрел так же, как все предыдущие двадцать лет: словно он на короткое время вновь обрел рассудок, как это бывает с безумцами, да и нормальных людей тоже порою охватывают приступы безумия, чтобы они не забывали о своем здравом рассудке. И даже более того. Он уже три месяца ежедневно меня видел, хотя вовсе на меня не смотрел, ибо я попросту составляла часть триумвирата, принимавшего его молчаливую грубоватую мужскую благодарность если не за жалкие спартанские удобства, которые мы ему доставляли, то, по крайней мере, за возможность и дальше жить в своем безумном сне. Однако следующие два месяца он меня даже и не видел. Скорее всего потому, что был слишком занят, а после обручения (если предположить, что именно этого он и хотел) ему уже незачем было со мною видеться. Разумеется, незачем — ведь даже день свадьбы не был назначен. Казалось, будто того дня вообще никогда не было, не существовало. Меня могло вообще не быть в доме. Хуже того, я могла уехать, возвратиться к себе домой, а он бы этого даже не заметил. Я (не знаю, что ему было от меня нужно, во всяком случае не я сама, не мое присутствие, скорее чтобы я просто существовала; ему было все равно, кто сыграет эту роль — Роза ли Колдфилд или любая другая молодая женщина, не состоящая с ним в кровном родстве; однако и тут я должна отдать ему должное: он ни разу не подумал о том, что позже предложил мне сделать, ни разу до той мину-

ты, когда он сам об этом объявил — я знаю, что он не стал бы откладывать это предложение не только на два месяца, но даже и на два дня)... мое присутствие было для него всего лишь отсутствием черной трясины, густых непроходимых дебрей и лиан для человека, который пробирался сквозь болото без всякой надежды, без света, руководимый и движимый одной лишь несокрушимой стойкостью непораженья, и вдруг наткнулся на твердую сухую землю, увидел солнце, вдохнул воздух — если для него вообще существовало солнце, если кто-то или что-то могло затмить ослепительное сияние его безумия. Да, он был безумен, но не настолько уж безумен. Ибо и злодейство имеет свои законы: вор, жулик, даже убийца руководствуется правилами более строгими, чем сама добродетель, так почему бы не иметь их безумию? Если он был безумцем, то сумасбродной была лишь его неотвязная мечта, а не образ действий; тот, кто посулами и улещаньем мог заставить людей вроде Джона трудиться в поте лица, не был безумцем; тот, кто чурался белых балахонов и скачущих в ночи галопом лошадей, при помощи которых его прежние знакомцы, если не дурья, пытались избавиться от разведавшей их гнилостной язвы поражения, не был безумцем; а разве безумным был план, посредством которого он ухитрился по самой дешевой цене заполучить единственную женщину, способную стать его женой, и притом единственным способом, сулившим успех? — нет, только не безумцем, ибо ведь и в безумии и даже в маниакальной одержимости есть нечто, чего, ужаснувшись дела рук своих, бежит сам сатана и что вызывает сострадание Господа Бога,— какая-то ничтожная искорка, какая-то частичка, способная облегчить участь и искупить грехи наделенной гаром речи, зрением, слухом, обонянием и вкусом живой плоти, которую мы называем человеком. Но все равно. Я расскажу вам, что он сделал, а вы судите сами. (Или, вернее, попробую вам это рассказать: ведь есть вещи, для которых три слова на три больше, чем нужно, а три тысячи слов ровно настолько же меньше, и это — одна из них. Об этом можно рассказать: я могу произнести ровно столько же фраз, повторить грубые, бесстыдные и дерзкие слова, которые произнес он, и внушить вам такой же ужас, возмущение и смятение, какие охватили меня, когда я поняла, что он имеет в виду; я могу произнести три тысячи фраз и оставить вам лишь тот же вопрос: почему? почему? и еще раз — почему? который я задаю себе и который звучит в моих ушах уже почти полсотни лет.) Но я хочу, чтобы вы судили сами и сказали, была ли я права; чтобы вы были судьей и сказали мне, права я или нет.

Понимаете, я была солнцем или гумала, что я им была,— ведь я верила, что в безумии есть хоть искорка, хоть частичка божественного огня, если даже само безумие не знает слов для обозначения ужаса и жалости. Был на свете людогед моего детства; еще до моего рождения он утащил в свое мрачное логово мою единственную сестру и породил двоих маленьких чудовищ; меня не поощряли, да я и сама не хотела с ними дружить, словно мое запоздалое рождение и одиночество внушили мне предчувствие того рокового сплетения судеб, предупредили о той роковой зловещей катастрофе еще прежде, чем я узнала слово «убийство»,— и я его простила; был призрак, который ускакал верхом под знаменем и (был то демон или нет) мужественно нес свой крест; и я не только простила, я его уничтожила, ибо пять лет спустя людогед возвратился в своем прежнем обличье, таким, каким он жил в памяти, протянул руку и сказал: «Поди сюда», как говорят собаке, и я к нему пошла. Да, то же тело, то же лицо, с тем же именем и памятью: он даже правильно запомнил, кого и что (кроме меня; и разве это не было еще одним доказательством?) он покинул и к чему возвратился, но теперь то был уже не людогед — бесспорно злодей, но смертный, способный ошибаться злодей, внушающий скорее жалость, чем страх, но не людогед; бесспорно безумец, но я сказала себе: разве безумец не жертва собственного безумия? Быть может, это вовсе не безумие, а отчаяние одиночки, вступившего в титаническую схватку с одиноким, обреченным неукротимым духом, но уж никак не людогед, ибо он погиб, исчез, быть может, поглощенный парами серы и огнем, среди унылых скалистых утесов воспоминаний моего одинокого детства, воспоминаний, а может быть, забвенья; я была тем солнцем, я гумала, что он (после того вечера в комнате Джудит) не забыл о моем существовании, а просто сам не отдаст себе отчета в своих чувствах, как вырвавшийся из болота путник, который снова почуял под собой землю, увидел свет и солнце, но понял лишь, что больше нет болота и тьмы; я гумала, что в чужой, не родственной крови таятся чары, которые мы называем бледным словом «любовь», что она станет, сможет стать ему солнцем (хоть я была моложе и слабее), в лучах которого ни Джудит, ни Клиты не смогут отбросить ни малейшей тени; да, я

была моложе их всех, но зато мой не исчисляемый временем, не поддающийся изменению возраст придал мне силы, и потому я, и только я одна, могла сказать ему: «Безумный сумасбродный старик, я сделана не из того, о чем ты гредишь, но я дам тебе воздух и вольный простор для твоих лихорадочных снов». А потом как-то среди дня — да, то была сама судьба: среди дня, среди дня, среди дня — понимаете? — умерли надежда и любовь, умерли гордость и достоинство, умерло все, и остались только вечное негодование, ужас и негоумение, которые глятся вот уже сорок три года: он вернулся домой и позвал меня, стоя на заднем крыльце, он громко звал меня, кричал до тех пор, пока я не спустилась вниз; да, да, я вам уже говорила, что он вовсе не думал об этом до той самой минуты, бесконечно долгой минуты, вместившей в себя все расстояние между домом и местом, где он находился, когда это пришло ему в голову; и вот еще одно совпадение — это было в тот самый день, когда он определенно и точно узнал, какую часть своей сотни квадратных миль он сможет спасти, удержать и назвать своею в свой смертный час и что теперь (что бы с ним ни случилось) он по крайней мере сохранит оболочку Сатпеновой Сотни, хотя теперь бы было правильнее называть ее Сатпеновой Егиницей, он кричал и звал меня до тех пор, пока я не спустилась вниз. Он даже не успел привязать лошадь; он стоял, небрежно накинув на руку поводья (на этот раз он не положил руки мне на голову), и говорил со мной такими грубыми бесстыдными словами, точно советовался с Джонсом или с кем-нибудь еще насчет кобылы, коровы или суки.

Вам, наверное, уже рассказали, как я вернулась домой. Да, да, я знаю: «Роза Колдфилд зарыдала, был мужчина — потеряла»; да, да, я знаю (но добродетельно, они исполнены добродетельства): Роза Колдфилд, несчастная, жалкая, одинокая сиротка по имени Роза Колдфилд наконец обручилась и тем избавила город и округ от необходимости ее кормить; вам, наверное, уже рассказали, как я отправилась туда жить до конца дней своих, якобы усмотрев в преступлении племянника перст божий, повелевающий мне исполнить последнюю волю умирающей сестры и спасти хотя бы одну из двоих детей, которых она сама обрекла на гибель уже при зачатии, на самом же деле чтобы находиться в доме, когда он вернется — будучи демоном, он неуязвим для пуль и ядер и потому непременно вернется; они вам рассказали, что я ждала его, потому что была еще молода (и мои надежды не были преданы земле под сенью знамен и под звуки горна), что я созрела для замужества именно здесь и теперь, когда большая часть молодых людей погибла, а все, кто остался в живых, либо стары, либо давно женаты, либо устали, слишком устали для любви; меж тем как он самый завидный и единственно возможный для меня жених; ведь в том окружении, где даже в лучшем случае и в мирное время мои виды и так были бы ничтожны, потому что я отнюдь не была богатой и знатной южанкой, а, напротив, весьма скромной молодой особой, чье происхождение и состояние недвусмысленно говорили сами за себя — будь я дочерью богатого плантатора, я могла бы выйти чуть ли не за кого угодно, но как дочь мелкого лавочника не могла даже позволить себе принять в подарок букет цветов почти ни от кого и потому была обречена в конце концов выйти замуж за первого попавшегося приказчика из лавки своего отца... Да, они, наверное, уже рассказали вам: она была молода и похоронила свои надежды лишь на ту ночь, что длилась четыре года, когда при свете затененной бессонной свечи увековечивала Войну и завещанные ею страдания, несправедливость и горе на обратной стороне страниц старого гробсбуха, тайком вдыхая вместо воздуха смертоносные миазмы вожделенья, ненависти и убийства; они, наверное, уже вам рассказали: ночь тыловой крысы, человека, которому суждено было стать злодеем, демоном, она имела все основания ненавидеть своего отца — ведь если б он не умер у себя на чердаке, ей не пришлось бы искать в Сатпеновой Сотне защиты, крова и хлеба; а если бы ей не пришлось есть хлеб Сатпена и прикрывать свою наготу его одеждой (даже если она и помогала работать на огороде и ткать) до тех пор, пока простая справедливость не потребовала уступить ему во всем, что не угрожало ее чести, она не обручилась бы с ним; а если бы она с ним не обручилась, ей бы не пришлось сорок три года подряд бессонными ночами спрашивать себя: почему? почему? почему? словно она даже ребенком бессознательно была права в своей ненависти к отцу, и потому эти сорок три года бессильного невыносимого возмущения коварная, глумливая, бесплодная природа мстила ей за ненависть к тому, кто дал ей жизнь. Да, Роза Колдфилд наконец обручилась, а ведь если б сестра не оставила ей в наследство хоть какое-то подобие крова и родни, она могла бы стать обузой для города; и вот теперь Роза Колдфилд зарыдала, был мужчина —

потеряла: Роза Колдфилд, которая, возможно, была права, да только женщинам мало того, что они правы; они скорее предпочтут быть неправыми, нежели удовлетвориться только своею правотой; им надо, чтобы свою неправоту признал мужчина. И именно этого она ему не может простить — не оскорбленья, не того, что она его бросила, а того, что он умер. Да, да, я знаю, знаю, как два месяца спустя в городе стало известно, что она собрала свои пожитки (то есть снова надела шляпу и шаль) и возвратилась в город жить в пустом доме, где умерли ее родители и куда время от времени будет заглядывать Джудит, чтоб привезти ей кое-что из тех съестных припасов, которые имелись в Саптеновой Сотне и которые лишь крайняя нужда, лишь присущая плоти необъяснимая, упрямая животная воля к жизни заставляли ее (мисс Колдфилд) принимать. Что и говорить — действительно крайняя, ибо теперь весь город — приезжие фермеры, чернокожие служанки, спешащие поутру на кухни белых, — увидит, как она задолго до рассвета будет собирать зелень в чужих огородах, будет вытаскивать ее сквозь щели в заборах, потому что у нее нет ни своего огорода, ни семян, чтобы его засеять, ни орудий, чтобы его обрабатывать, даже если бы она толком и знала, как это делается: ведь поработав всего лишь год на огороде, она была в этом деле сущим новичком и к тому же вряд ли стала бы разводить свой собственный огород, да же если б и умела; она будет просовывать руку сквозь забор и собирать овощи, хотя соседи охотно пригласили бы ее зайти и взять их, они да же собрали бы овощи и прислали их ей сами, потому что не только судья Бенбоу, но и многие другие по ночам оставляли у нее на крыльце корзинки с едой. Но она им этого не позволяла; она да же не пользовалась палкой, чтобы достать овощи, до которых нельзя было дотянуться рукой: она грабила лишь на длину невооруженной руки и этот предел никогда не переступала. Она выходила на добычу, пока город еще спал, но не из страха, что кто-нибудь увидит, как она ворует овощи, ведь если б у нее был черномазый слуга, она отправила бы его средь бела дня и на любой огород, как воспетые ею в стихах герои-кавалеристы отправляли на фуражировку своих солдат. Да, Роза Колдфилд зарыдала, был жених, но потеряла (да, да, они вам это расскажут); нашла жениха, но он ее оскорбил, услышала что-то и не простила — не столько за то, что это было сказано, сколько за то, что кто-то посмел про нее такое подумать, и потому когда она это услышала, ее словно громом поразило и она поняла, что он, наверное, носился с этой мыслью целый день, неделю, возможно да же целый месяц, что он каждый день смотрел на нее с этой мыслью, а она да же и не знала. Но я его простила. Вам будут говорить совсем другое, но я его простила. А почему бы нет? Мне было нечего прощать; я его не потеряла, потому что он мне никогда не принадлежал — какой-то комок грязи вошел в мою жизнь, сказал мне нечто такое, чего я никогда не слыхала прежде и никогда не услышу вновь, а потом вышел вон, и все. Он никогда мне не принадлежал, и уж во всяком случае в том гнусном смысле, который вы этому слову придаете и, быть может, думаете (но тут вы ошибаетесь), что придаю и я сама. Это не имело значения. Суть оскорбления заключалась совсем не в том. Я хочу сказать, что он никогда не принадлежал никому и ничему на этом свете, ни раньше, ни позже, он не принадлежал да же Эллен, да же внучке Джонса. Потому что никак не выразил себя на этом свете. Он был хогячей тенью. Он был отображеньем собственных терзаний, летучей мышью, ослепленной зловещим светом гьявольского фонаря, что пробивается из-под земной коры; он вышел из бездны темного хаоса и возвратился в бездну вечной тьмы; обрушившись в бездну (вы замечаете эту последовательность?) по эллиптической кривой, он хватался, цеплялся своими призрачными слабыми руками за все, что, как он тщетно надеялся, могло его удержать, спасти, остановить, — за Эллен (вы замечаете эти вехи?), за меня и, наконец, за эту безотцовщину, за это дитя единственной дочери Уоша Джонса, которая, как я однажды слыхала, умерла в каком-то мемфисском борделе, — и в конце концов к нему пришло избавление (если не мир и покой) с ударом ржавой косы. Об этом меня то же оповестили, поставили в известность — правда, на этот раз не Джонс, а кто-то другой, кто из любезности зашел ко мне сказать, что он умер. «Умер? — вскричала я. — Ты умер?! Ты лжешь, ты не умер; небеса не смогут, преисподняя не посмеет тебя принять!» Но Квентин ее не слушал, ибо в ее рассказе также было нечто, чего и он не мог переступить, — эта дверь, а за дверью топот бегущих по лестнице ног словно продолжение того глухого выстрела; эти две женщины, негритянка и белая девушка в одной рубашке (спитой из мешков из-под муки, если в доме еще была мука, из оконных занавесок, если ее уже не стало), они оцепенели, они глядят на дверь; на кровати аккуратно расстелен кусок затейливо затканвого старинного ат-

ласа в пене кремовых кружев; белая девушка поспешно хватается за него, прижимает к груди; дверь с грохотом распахивается, и перед нею предстает ее брат — с непокрытой головой, лохматые, расчесанные штыком волосы падают на небритые впалые щеки; залатанный выцветший мундир; пистолет в небрежно повисшей руке; и вот они оба, брат и сестра, как две капли воды похожие друг на друга, словно разница полов лишь подчеркивает это порожденное общностью крови, до ужаса странное, почти невыносимое сходство, сошлись грудь с грудью, как два борца, и бросают друг другу в лицо короткие, резкие, словно пощечины, фразы, и ни тот, ни другая не делает даже попытки отвести удар.

Теперь ты не можешь выйти за него замуж!

Почему я не могу выйти за него замуж?

Потому что он умер.

Умер?

Да. Я его убил.

Он (Квентин) не мог через это переступить. Он даже ее не слушал; он только проговорил: «Сударыня? Что? Что вы сказали?».

«В этом доме что-то есть».

«В этом доме? Так ведь это Клити. Разве она...»

«Нет. В нем что-то живет. Оно там прячется. Оно уже четыре года живет спрятанное в этом доме».

VI

На рукаве пальто Шрива был снег, снег таял; Шрив был без перчаток, и его квадратная, заросшая светлыми волосками рука покраснела от холода. Потом на столе под лампой на раскрытом учебнике забелел прямоугольный конверт. Квентин увидел сначала знакомый расплывчатый штампель *Джефферсон, Миссисипи, 10 янв. 1910*, а затем, развернув письмо, написанные тонким наклонным отцовским почерком слова *Дорогой сын*, они напомнили ему то унылое пыльное лето, когда он готовился в Гарвард, и вот теперь письмо, написанное рукою отца, легло на освещенный лампой чужой стол в Кембридже и, преодолев чужие суровые снега Новой Англии, принесло из Миссисипи сюда, в эту чужую комнату, те унылые летние сумерки — глицинию, запах сигары, светлячков:

Дорогой сын,

вчера похоронили мисс Розу Колдфилд. Почти две недели она была без памяти и два дня назад умерла, не приходя в сознание и, говорят, не испытывая боли, хотя непонятно, что это значит — мне всегда казалось, что безболезненную смертью можно назвать только ту, которая отнимает рассудок, нападая неожиданно, так сказать, с тыла,— ведь если смерть нечто большее, нежели короткое своеобразное эмоциональное состояние и скорбь оставшихся в живых, она должна быть коротким и столь же своеобразным состоянием самого умирающего. И если что-либо может причинить любому рассудку, превосходящему рассудок ребенка или кретина, страдание более сильное, чем медленное и постепенное приближение того, что этот рассудок за долгий период смятения и ужаса научился считать безвозвратным и непостижимым концом, то я такого не знаю. И если можно обрести покой либо избавиться от боли, освободившись от непреодолимого чувства жестокой обиды, которое сорок три года было спутником, хлебом насущным, огнем и всем прочим, то и такого я тоже не знаю...

...письмо принесло с собой тот сентябрьский вечер (и ему скоро придется сказать, объяснить: «Нет, не тетка, не кузина, не дядя, просто Роза. Мисс Роза Колдфилд, старая дама, которая умерла молодой от жестокой обиды однажды летом в 1866 году»,— а потом Шрив спросил: «Значит, она тебе не родня, никакая не родня; значит, на Юге все-таки был хоть один Бьярд и хоть одна Джиневра, которые тебе не родня? Тогда почему она умерла?»— причем Шрив спрашивал это уже не в первый раз; начиная с сентября все в Кембридже уже не раз его просили *Расскажи о Юге. Что там происходит. Что люди там делают. Почему они там живут. Почему они вообще живут*), тот самый сентябрьский вечер, когда мистер Компсон наконец перестал говорить и он (Квентин) смог наконец уйти от отцовских рассказов, потому что пора было ехать, а вовсе не потому, что он уже все выслушал— ведь он даже и не слушал, ведь все еще оставалось что-то, чего он так и не мог переступить,— та дверь, то изможден-

ное, трагически самозабвенное юное лицо, словно трагическая маска в студенческом спектакле, словно университетский Гамлет, которого пробудил от беспамятства опустившийся занавес и он, спотыкаясь, бежит с пыльной сцены, откуда вся труппа ушла еще в день прошлогоднего выпуска; сестра, что смотрит на него, прикрывшись подвечным платьем, которое она никогда не наденет и даже не сможет дошить, и оба, словно пощечины, бросают в лицо друг другу двадцать пять слов, большая часть которых повторяется по нескольку раз, так что суть составляют всего лишь каких-нибудь десять—двенадцать.

На ней (на мисс Колдфила) была шаль, как и следовало ожидать, и шляпка (некогда черная, она теперь выцвела и отливала металлической прозеленью старых павлиньих перьев), в руках она держала огромный черный ридиколь размером с хороший саквояж, со всеми ключами, какие только были в доме,— от буфета, чулана и входной двери; одни ключи уже не поворачивались в замках, которые, впрочем, мог бы открыть шпилькой или куском жевательной резинки любой ребенок, другие теперь даже не подходили к замкам, для которых предназначались, совсем как престарелые супруги, которым давно уже нечего друг с другом делать и не о чем говорить и у которых не осталось ничего общего, кроме массы воздуха, который они вытесняют и которым дышат, и равнодушной многотерпеливой земли, что несет на себе их тяжесть... Тот вечер, те двенадцать миль позади упитанной кобылы в пыли безлунной сентябрьской ночи; деревья вдоль дороги не стоят, не тянутся ввысь, как подобает деревьям, а осели, прижались к земле, словно гигантские птицы; их тяжелые, покрытые толстым слоем двухмесячной пыли лохматые листья трепыхаются словно перья клохчущих кур; придорожные кусты тоже покрыты тягучей, как резина, слышшейся от жары пылью, и если посмотреть на них сквозь пыльное облако, окутавшее лошадь и повозку, они кажутся сгустками какого-то твердого вещества, что стойко и неуклонно поднимается вертикально вверх в некоем древнем вулканическом, лишенном кислорода жидком празементе; туча пыли, в которой движется повозка, не рассеивается, потому что ее поднял не ветер и держит ее на весу не воздух, она возникла, материализовалась вокруг них мгновенно и навеки — один кубический фут пыли на один кубический фут лошади и повозки,— она ползет под окаймленной ключьями ветвей бескрайнею далью плоских, черных, густо утыканных свирепыми звездами небес; облако пыли движется вперед, окутывая их — оно не то чтобы грозит, оно скорее мягко, ласково, чуть ли не дружески предупреждает, словно говорит *Езжайте, если хотите. Но я приду туда раньше; сгустившись перед вами, я приду первым; я поднимусь, тихонько заберусь под копыта и колеса, и вы не достигнете цели, а просто скатитесь в долину, и перед вами развернется глухая непроницаемая ночь, и тогда вам не останется ничего другого, кроме как возвратиться назад, и потому советую не ехать, а сразу же повернуть обратно, и пусть все остается, как прежде*; он (Квентин) был с этим совершенно согласен, он сидел в повозке рядом с неукротимой, маленькой, как кукла, старухой, сжимавшей в руках ситцевый зонтик; он вдыхал сгущенный зноем запах старого женского тела, сгущенный зноем запах нафталина в слежавшихся складках старой шали; у него было такое чувство, словно он превратился в электрическую лампочку и состоит из одной только крови и кожи,— повозка приводила в движение так мало воздуха, что он не давал никакой прохлады, вызвала у него внутри так мало движения, что кожа перестала выделять пот; он думал *О Господи, не допусти, чтоб мы нашли того человека или то, что там находится; не допусти, чтоб мы хотя бы даже попытались, рискнули нарушить его покой* (и опять голос Шрива:

— Подожди. Подожди. Ты хочешь сказать, что эта старушенция, эта тетушка Роза...

— Мисс Роза,— поправил Квентин.

— Ладно, ладно... что эта старая дама, эта тетушка Роза...

— Говорят тебе, мисс Роза.

— Ладно, ладно, ладно... что эта старая... эта тетушка Ро... Ладно ладно ладно ладно... что она там не была, что она сорок три года не переступала порога этого дома и, однако, не только утверждала, будто там кто-то скрывается, но нашла человека, который ей поверил, который в полночь отправился на повозке за эти двенадцать миль, чтобы узнать, права она или нет?

— Да,— отвечал Квентин.

— И этой старушенции, которая выросла в доме, напоминавшем битком набитый мавзолей, только и было заботы что тихо и мирно ненавидеть своего отца, тетку и

мужа сестры в ожидании дня, когда они докажут не только самим себе, но и всему свету, что она была права. И вот в одну прекрасную ночь тетка спустилась по водосточной трубе и удрала с барышником, и, значит, насчет тетки она была права, и тут все вышло, как она хотела; потом ее отец заколотил себя гвоздями на чердаке, чтобы его не забрали в армию бунтовщиков, и умер с голоду, и, значит, тут тоже все вышло, как она хотела, не считая неизбежной возможности, что когда для него настанет время признать ее правоту, он окажется не в состоянии говорить или не найдет себе слушателя, и вышло, что насчет отца она тоже была права: ведь если бы он не разозлил генерала Ли и Джефа Дэвиса, ему не пришлось бы заколачивать себя гвоздями и умирать, а если бы он не умер, он не сделал бы ее сиротою и нищей и не поставил бы в такое положение, в котором ей могли нанести эту смертельную обиду; и насчет зятя она тоже была права: ведь не будь он демоном, его детей не нужно было бы от него защищать и ей не пришлось бы туда ехать, и тогда старик не обманул бы ее, и вместо вдового Агамемнона она, эта Кассандра, нашла бы дряхлого подагрического Пирама, который в тот апрельский день не смог бы сделать ей, этой сгоравшей от нетерпения, хотя и неопытной Тисбе, непрощенное гнусное дьявольское предложение — для опыта и проверки родить от него ребенка, и если это будет мальчик, то они поженятся, — и тогда первый порыв негодования и ужаса не унес бы ее обратно в город и ей не пришлось бы на рассвете воровать овощи сквозь дыры в дощатых заборах, что было для нее горше полыни и желчи. Но тут все вышло совсем не так, как она хотела, и притом навсегда — она ведь даже не могла про это рассказать, и все из-за того, кем была ее преемница, не потому что стоило ему оглядеться по сторонам, как он в тот же день нашел ей преемницу, а именно из-за того, кем эта преемница была; из-за того, что она вообще могла попасть в такое положение, при котором возникла бы возможность или необходимость отказаться от обязанностей, какие ее преемница, пусть даже по мнению демона, была достойна выполнять; нет, вышло совсем не так, как она хотела, ибо когда для него настало время признать свою неправоту, с ним получилась бы та же незадача, что и с ее отцом, — он тоже был бы мертв; ведь она, без сомнения, предвидела эту косу хотя бы по одному тому, что коса будет последним оскорблением и афронтом, как молоток и гвозди в случае с ее отцом; эту косу, эти символические лавры, увенчавшие победоносного цезаря, эту ржавую косу, которую сам же демон двумя годами раньше одолжил Джонсу, чтобы тот мог скосить сорную траву у дверей лачуги и тем расчистить дорогу для случки, — это ржавое лезвие, которое ежедневно украшалось новой яркой лентой или дешевыми бусами, в которых она (как бишь она ее называла? потаскушка? нет, еще как-то) щеголяла, — эта коса, этот символический образ, из-за которого он, даже мертвый, когда сама земля отказалась его носить, все еще продолжал над нею глумиться?

— Да, — сказал Квентин.

— Что этот Фауст, этот демон, этот Вельзевул удрал от мимолетного огненного взгляда своего разгневанного и возмущенного сверх всякой меры Кредитора, удрал и укрылся в респектабельности, словно шакал под кучею камней, — так ей показалось сначала, пока она не поняла, что он вовсе не скрывался, даже и не думал скрываться, а просто строил свои последние козни и совершал последние пакости, перед тем как Кредитор снова, на этот раз уже окончательно, его настигнет; этот Фауст, который в одно прекрасное воскресенье явился с парой пистолетов и двумя десятками подсобных демонов, и выманил у несчастного невежественного индейца сто квадратных миль земли, и построил на этой земле самый большой дом на свете, и уехал с шестью фургонами, и вернулся с хрусталем, гобеленами и веджвудскими стульями для этого дома, и никто не знал: то ли он ограбил еще один пароход, то ли просто выкопал из тайника еще небольшую часть прежней добычи; который прятал рога и хвост под человеческой одеждой и касторовой шляпой; который выбрал (купил, перехитрив при этом своего будущего тестя, так ведь?) себе жену, после того как три года изучал, взвешивал и сравнивал — не из самых родовитых местных фамилий, а из менее знатных, чье положение в обществе было подорвано настолько, что он не рисковал получить в приданое за невестой магию величия, которую еще не готов претворить в действительность, однако и не настолько подорвано, чтобы она не сумела разобраться в купленных им новых ложках, ножах и вилках, жену, которая не только укрепит его убежище, но сможет, захочет и в самом деле родит ему двоих детей, чтобы они сами и их потомство стали щитом и опорой хрупких костей и утомленной плоти старика в тот день, когда Кредитор в последний раз его настигнет и ему не удастся уйти; и

вот пожалуйста, дочь влюбляется, а сын, орудие и живая преграда между ним (демоном) и рукою кредитора шерифа, пока сын не женится и тем не застрахует его вдвойне и втройне; и после всего этого демон вдруг ни с того ни с сего делает полный поворот кругом и выгоняет из дому не только жениха, но и сына и настолько его развращает, обольщает и гипнотизирует, что тот берет на себя роль вооруженной пистолетом негодующей отцовской руки, когда возникает угроза прелюбодеяния, так что пять лет спустя демон возвращается с Войны и видит: то, чего он добивался, свершилось окончательно и бесповоротно — сын бежал навсегда под угрозой петли, дочь обречена остаться старой девой, — и, не успев еще вынуть ногу из стремени, он (демон) берется за дело и снова обручается, чтобы заместить потомство, надежды на которое он сам же уничтожил?

— Да, — сказал Квентин.

— Он возвращается домой и видит, что его надежды на потомство рухнули — о чем позаботились его дети; что его плантация разорена, на невспаханых полях пышно разрослись сорняки; что судебные исполнители Соединенных Штатов засеяли их налогами, сборами и штрафами; что все его черномазые сбежали — о чем позаботились янки; и можно подумать, что теперь он наконец угомонится, но не тут-то было: не успев еще вынуть ногу из стремени, он не только предпринимает попытку восстановить свою плантацию — возможно, надеясь сбить с толку Кредитора, чтобы тот думал, будто он тешит себя иллюзией, что время еще не вышло и ничто не изменилось, хотя ему скоро стукнет шестьдесят, а тем временем родить себе для опоры новую ораву ребятишек, но выбирает для этой цели последнюю женщину на земле, какую он только мог бы к этому склонить, эту тетушку Ро... ладно ладно ладно... которая его ненавидит, которая всю жизнь его ненавидела; однако он выбирает именно ее с какой-то невероятной дерзостью, словно отчаянная уверенность в собственной неотразимости или неуязвимости составляет часть платы за что-то, проданное им Кредитору, что именно — неизвестно, но только не душу, ибо, по словам старухи, души у него не было никогда; он делает ей предложение и получает согласие, а три месяца спустя, хотя дата свадьбы так и не была назначена, да и о женитьбе с тех пор тоже ни разу не заходила речь, в тот самый день, когда он точно выясняет, что сможет сохранить по крайней мере часть своей земли и какую именно, он подходит к ней и предлагает вместе родить парочку щенят, с дьявольскою хитростью прибегнув к уловке, к которой мужа и женихи пытаются прибегнуть уже десять миллионов лет, к уловке, которая, не причиняя ей вреда и не давая оснований возбудить против него судебное преследование, не только сдует с голубятни эту маленькую обитательницу мира грез, но окончательно и бесповоротно свяжет ее супружескими узами (а ему, жениху или супругу, она благополучно наставит рога, еще не успев опомниться) с бестелесным призраком негодования и мести. Он произнес эти слова и освободился, навеки освободился от угрозы или вмешательства со стороны кого бы то ни было — ведь теперь он наконец избавился от последнего родственника своей покойной жены, теперь он был свободен: сын бежал в Техас, в Калифорнию, может даже в Южную Америку; дочь обречена остаться старой девой и до самой его смерти (после это уже не будет иметь значения) жить в этом гниющем доме, заботиться о нем и кормить его, разводить кур и выменивать яйца на одежду, котсрую они с Клиты не могли сами шить, так что теперь ему незачем даже быть демоном, теперь он стал просто безумным и бессильным стариком, который наконец понял, что его мечты о восстановлении Сатпеновой Сотни не только тщетны, но то, что от нее осталось, никогда не сможет прокормить ни его, ни его семью, и потому он открыл придорожную лавчонку, где торговал лемехами для плугов, вожжами, керосином, ситцем, дешевыми лентами и бусами, где покупателями были освобожденные негры и... (да, как же это, напомни мне это слово — белая...? — ах да, белая шваль), а приказчиком Джонс, и кто знает, может, он и лелеял мечту посредством этой лавки разбогатеть и возродить свою плантацию: ведь он уже дважды сумел спастись — один раз он попался, но потом его выпустил на свободу Кредитор, который заставил его детей уничтожить друг друга, прежде чем у него появилось потомство, и он решил, что, может, зря вырвался на свободу, и потому снова залез в кабалу, а потом решил, что это напрасно, и снова выбрался из кабалы, после чего сделал крутой поворот и заплатил за новую кабалу бусами, ситцем и полосатыми леденцами со своих же собственных прилавков и полок?

— Да, — сказал Квентин. Он говорит совсем как отец, подумал, бросив ми-

молетивный взгляд (лицо его было спокойно, безмятежно, даже, как ни странно, угрюмо) на Шрива, который всем своим лоснящимся обнаженным торсом, розовым и гладким, как у ребенка или херувима, почти лишенным растительности, наклонился к лампе, и на его круглом, как луна, румяном лице блеснули близнецы-очки; при этом он (Квентин) услышал запах сигары и глицинии, увидел, как в сентябрьских сумерках, вспыхивая, мигают светлячки. В точности как отец, если бы накануне той ночи, когда я туда поехал, отец знал об этом столько, сколько наутро после моего возвращения, думал он. Этот немощный безумный старик наконец понял, что даже демону поставлен предел в его способности творить зло; он наверняка увидел, что находится в положении статистки, танцовщицы кордебалета, которой вдруг стало ясно, что музыку, под которую она выдывает свои антраша, исполняют вовсе не труба, барабан и скрипка, а календарь и часы; сам наверняка увидел, что напоминает старую изношенную пушку, которой вдруг стало ясно, что она может произвести всего лишь один оглушительный выстрел, а потом неизбежно рассыплется в прах от своей же взрывной волны и отдачи; он осмотрелся вокруг насколько достало сил и увидел, что сын его исчез, пропал, стал для него теперь еще более недосыаемым, чем если бы находился на том свете, ибо теперь (если сын еще жив) он наверняка изменил свое имя, и называют его этим именем чужие люди, а та поросль зубов дракона с Сатпеновой кровью, какую сын мог посеять в теле безвестной чужой женщины, будет продолжать традицию наследственной скверны и зла под другим именем и среди людей, которые никогда не слышали и не услышат его настоящего имени; что гочь, обреченная остаться старой девой, избрала этот угол еще прежде, чем появилась некто по имени Чарльз Бон,—ведь тетка, приехавшая ее погдержать, не нашла следов ни беды, ни скорби, а всего лишь спокойное, совершенно непроницаемое лицо женщины в домотканом платье и широкополой шляпе, сперва перед закрытой дверью, а потом в клубах пыли среди стаи кур, когда Джонс сколачивал гроб; оно оставалось неизменным весь тот год, что тетка там прожила, когда они, три женщины, сами ткали и шили себе одежду, сами добывали пищу и сами рубили гроба, чтобы ее сварить (не считая помощи Джонса — он с внучкой жил в заброшенной рыбацкой хижине с прохудившейся крышей и сгнившим крыльцом; к стене этой хижины два гога будет прислонена ржавая коса, которую Сатпен огоджил, навязав Джонсу, чтобы тот скосил сорняки у входа, и в конце концов заставил его ею воспользоваться, хоть и не с целью скосить сорняки или, во всяком случае, не сорняки, принадлежащие к растительному миру), не изменилось и после того, как возмущение тетки унесло ее обратно в город, где единственным ее пропитанием станут краденые овощи и припасы из корзинок, которые неизвестные лица будут по ночам оставлять у нее на парадном крыльце; все три — две дочери, негритянка и белая, и тетка за двенадцать миль от них — наблюдали, как старый демон, грядлый, погарический, отчаявшийся Фауст, уже чувствуя на своем плече руку Кредитора, ставит свою последнюю ставку и, чтоб заработать себе на хлеб, открывает маленькую деревенскую лавчонку, торгуясь за каждый грош со скаредными, нищими белыми и неграми; он, который в былые времена, не пересекая границ своих владений, мог проскакать десять миль в любую сторону, теперь с помощью своих скудных запасов дешевых лент и бус и залежалых ярко раскрашенных конфет, какими даже старик способен соблазнить пятнадцатилетнюю девчонку, лишает невинности внучку своего компаньона Джонса — этого долговязого, замученного малярией белого, который четырнадцать лет назад с его разрешения поселился вместе с годовалой внучкой в заброшенной рыбацкой хижине,— Джонса, компаньона, грузчика и приказчика, который по велению демона собственноручно снимал с прилавка (а может, даже и доставлял по назначению) конфеты, ленты и бусы, отмерял тот самый ситец, из которого Джудит (она никого не оплакивала и ни по кому не носила траура) помогла его внучке сшить платье: в нем та будет щеголять под косыми взглядами болтунов, сплетников и бездельников, пока растущий живот не начнет внушать ей смущение, а может быть, и страх,— Джонса, которому до 1861 года не разрешали даже близко подходить к парадным дверям и которого еще четыре гога не подпускали дальше кухонного крыльца, да и то лишь в тех случаях, когда он приносил гичь, рыбу и овощи, поддерживавшие жизнь жены и дочери будущего соблазнителя (а также Клити, единственной оставшейся служанки, негритянки, той, что не позволяла ему являться на кухню с его приношениями), но теперь входил прямо в дом в те (ныне нередкие) дни, когда демон вдруг ни с того ни с сего с бранью разгонял покупате-

лей, запира лавку, угаялся в заднюю комнату и таким же тоном, каким прежде обращался к своему ординарцу или к домашней прислуге, пока она у него еще была (и каким он, без сомнения, приказывал Джонсу взять с прилавка ленты, конфеты и бусы), послал Джонса за бутылью, и они оба (Джонс теперь даже сидел, а ведь в былые времена в унылые глухие воскресенья давно отошедшего в прошлое мира, которые они проводили в виноградной беседке на заднем дворе, демон лежал в гамаке, а Джонс сидел на корточках, прислонившись к столбу, время от времени поднимался и подливал демону виски из бутылки и рогниковую воду из ведра: он приносил ее с рогника больше чем за милю от дома, потом снова садился на корточки, фыркал, кричал и, всякий раз как демон умолкал, вставлял: «Так точно, мистер Том»), они оба по очереди прикладывались к бутылке, и демон теперь не лежал и даже не сидел, а уже после второго или третьего глотка, охваченный бессильной старческой яростью — он никак не мог примириться с поражением, — вскакивал и, шатаясь и спотыкаясь, требовал подать ему лошадь и пистолеты, чтобы ехать в Вашингтон и там собственноручно пристрелить сразу и Линкольна (правда, тут он примерно на год опоздал) и Шефмана, выкрикивая: «Бей их! Пристрели как собак, собаки они и есть!» «Так их, полковник, так их», — отзывался Джонс, он подхватывал валившегося с ног Сатпена, останавливал первую попавшуюся повозку, привозил его домой, втаскивал на парадное крыльцо и, пройдя сквозь некрашеную парадную дверь, увенчанную веерообразным окном, куда были вставлены стекла, выписанные в свое время из Европы (дверь открывала Джудит, причем ее спокойное, застывшее четыре года назад лицо ничуть не изменилось), вносил его по лестнице наверх, в спальню, укладывал в постель, как малого ребенка, а сам ложился на полу возле кровати, но не спал, потому что задолго до рассвета старик начинал ворочаться и стонать, и Джонс говорил ему: «Я здесь, полковник. Все в порядке. Они нас еще не побили, верно?» — тот самый Джонс, который, когда Сатпен уехал со своим полком (внучке в то время было всего восемь лет), говорил соседям, что майор оставил его присматривать за домом и черномазыми, еще прежде, чем они успевали спросить, почему он не в армии, и, возможно, постепенно и сам поверил в свою ложь, а когда демон возвратился, одним из первых его приветствовал, встретив у ворот со словами: «Ну что ж, полковник, они нас убили, но не побили, верно?» — который в тот первоначальный период неистовства, когда демон думал, что одним лишь усилием своей неукротимой воли сможет восстановить утраченную, но не забытую Сатпену Сотню, по повелению демона работал, трудился в поте лица своего, без всякой надежды на награду или плату и задолго до того, как сам демон это увидел (или признал), понял, что задача эта безнадежна, — слепой Джонс, который, несомненно, все еще видел в этой свирепой и распутной старой развалине того представительного мужчину, что некогда верхом на чистокровном вороном жеребце скакал по своим владениям, настолько необъятным, что глаз ни с какой точки не мог охватить две их границы одновременно

— Да, — сказал Квентин.

И вот настало то воскресное утро, и демон поднялся на рассвете и ускакал, и Джудит думала, что знает почему — в то утро у вороного жеребца, на котором он уехал в Виргинию и вернулся обратно, родился сын от его жены, кобылы Пенелопы; однако демон встал в такую рань не ради этого прилода, и лишь через неделю удалось отыскать и изловить старую негритянку, повитуху, которая в то утро сидела на корточках возле разостланного на полу стеганого одеяла, между тем как Джонс сидел на крыльце, где уже два года стояла ржавая кеса, и старуха рассказала, как услышала, что подъезжает лошадь, а потом демон с хлыстом в руке вошел, постоял над подстилкой, посмотрел на мать с ребенком и сказал: «Да, Милли, жаль, что ты не кобыла, как Пенелопа. Тогда я отвел бы тебе хорошее стойло на конюшне», повернулся и вышел вон, а старая негритянка, все еще сидя на корточках, услышала их голоса — его и Джонса: «Отойди. Не смей меня трогать, Уош», «А я возьму да и посмею, полковник»; потом она услышала, как щелкнул хлыст, но ни свиста воздуха, ни звона косы, ни удара слышно не было, ибо наказание всегда вызывает крик, но то, что вызывает последнее молчание, совершается в молчанье. В ту же ночь они в конце концов его нашли, отвезли на повозке домой — неподвижный и окровавленный, он все еще скалил зубы из-под усов (его борода и усы были лишь чуть-чуть тронуты сединой, хотя волосы уже почти совсем побелели) — и при свете сосновых веток и фонарей понесли наверх по ступеням парадного входа, где ночь с каменным лицом,

без единой слезинки в глазах открыла дверь, чтобы пропустить того, кто когда-то любил галопом скакать в церковь; он поскакал туда галопом и на этот раз, да только до церкви он так и не добрался, ибо гочь решила отвезти его в город, в ту самую методистскую церковь, где он венчался с ее матерью, а уж потом предать земле в кедровой роще. Джудит теперь было тридцать лет, но выглядела она гораздо старше; она постарела не так, как стареют слабые люди — когда уже почти безжизненная плоть либо заключена в неподвижную, раздутую, как воздушный шар, оболочку, либо постепенно сжимается, причем отдельные ее частицы прикреплены не к какому-то железню, все еще несокрушимо остоу, а друг к другу, словно живут какой-то оболоченной, замкнутой общиной вроде колонии личинок, — а так, как постарел сам демон: когда в процессе мучительного затвердения тканей вновь выступает наружу изначальный негибачаемый костяк, который нежные тона и прозрачный ореол юности могли только временно смягчить, но никак не скрыть. Старая дева в бесформенном гомотканом платье, чьи руки умели собирать куриные яйца и твердо держать плуг в борозде, всягла в займы пару полудиких молодых мулов, впрягла их в повозку, и он, лежа в самодельном гробу в полной парадной форме, с саблей и в перчатках с вышитыми крагами, галопом поскакал в церковь, но далеко не уехал, так как молодые мулы понесли, повозка опрокинулась, и он вместе со своею саблей, плюмажем и прочими регалиями вывалился в придорожную канаву, откуда гочь его извлекла, отвезла обратно в кедровую рощу и сама свершила погребальный обряд. И на этот раз тоже не было ни слез, ни скорби по усопшем, быть может, оттого, что ей некогда было соблюдать траур: теперь она сама торговала в лавке, покуда не нашелся на нее покупатель; лавку она не отпирала, а носила в кармане фартука ключи, и покупатель кликали ее с огорода или гаже с поля, потому что теперь им с Клити пахать тоже приходилось самим — ведь Джона теперь тоже не было. Не прошло и двенадцати часов, как он в то самое воскресенье отправился вслед за демоном (и, возможно, туда же, куда и тот; возможно, для них там имеется гаже и виноградная беседка и они не знают нужды ни в хлебе насущном, ни в честолюбии, ни в блуде и мести; а возможно, им незачем гаже и выпивать, только порой они нет-нет да и соскучатся по выпивке, хотя и сами не поймут, чего это им негостает, и не слишком часто; там будет тихо, уютно, не будет ни времени, ни непогоды; лишь изредка набежит какая-то тень, повеет легким ветерком, и тогда демон перестанет говорить, а Джон перестанет гоготать, они посмотрят друг на друга недоуменно, пристально и строго, и демон скажет: «Что это было, Уои? Что-то случилось. Что это было?» — а Джон в свою очередь посмотрит на демона недоуменно и спокойно и ответит: «Не знаю, полковник. А что?» — и они еще долго будут вглядываться друг в друга. Потом тень рассеется, ветерок утихнет, и Джон наконец скажет — невозмутимо и гаже без всякого торжества: «Может, они нас и убили, но они нас еще не побили, верно?»). Ее кликали женщины и дети с корзинами и ведрами, и тогда либо она, либо Клити шла в лавку, отпирала ее, обслуживала покупателя, снова запирала и возвращалась обратно, пока наконец не продала лавку и не истратила геньги на могильный камень.

{«Как это было? — спросил Шрив. — Ты мне рассказывал; как это было? Вы с отцом охотились на перепелов, день был пасмурный, всю ночь шел дождь, и лошади не могли перейти через канаву, и тогда вы с отцом спешили и отдали поводья этому, как его звали? этого черномазого на муле? Ластер. Отдали поводья Ластеру, чтобы он объехал канаву») и когда они с отцом перебрались через канаву, снова пошел дождь — серый, неторопливый, густой и беззвучный, и Квентин не сразу понял; куда они заехали, потому что, когда начало моросить, он опустил голову, а потом, подняв глаза, увидел, что впереди простирается склон, поросший мокрой желтой осокой — окутанная пеленою дождя, она переливалась, как жидкое золото, — и на гребне холма растет роща, небольшая купа кедров; деревья расплывались под дождем, словно были нарисованы на мокрой промокашке, а за кедрами, за одичавшими полями, где-то за всем этим должна быть дубовая роща и в ней огромный серый полуразвалившийся брошенный дом — до него оставалось еще с полмили. Мистер Компсон остановился и через плечо взглянул на Ластера — тот сидел верхом на муле, обернув голову мешком, который прежде заменял ему седло, и, подтянув к груди колени, вел лошадей вдоль канавы в поисках места, где бы ее перейти.

— Давай-ка лучше спрячемся от дождя, — сказал мистер Компсон. — Он все равно ближе чем на сто ярдов к этим кедрам не подойдет.

Они двинулись вверх по склону. Обе собаки совсем скрылись из виду, и только по качающейся траве можно было понять, где они рыскают, пока наконец одна из них не подняла голову и не оглянулась. Мистер Компсон показал рукой на деревья, и они с Квентином пошли за собаками. Под кедрами было сумрачно; свет казался темно-серым; легкие жемчужные капли дождя ложились на стволы ружей и на пять надгробий, словно еще не застывший воск, пролитый на мрамор с погасших свечей; две гладкие тяжелые закругленные плиты стояли прямо, три другие немного покосились; слабый свет, который дождевые капли частицу за частицей приносили и роняли во мглу, порой ненадолго выхватывал из мрака то отдельную букву, а то и целое высеченное в камне слово; вскоре появились обе собаки; они вплыли в рошу словно дым, их мокрые шкуры прилипли к телу, и, чтобы было теплее, они свились в один сплошной, безнадежно запутанный клубок. Обе плоские плиты под собственной тяжестью треснули посередине (и в яму, куда рухнула кирпичная кладка одного склепа, вела еле заметная узкая тропинка, протоптанная каким-то мелким зверьком, скорее всего опоссумом или, вернее, несколькими поколениями этих зверьков, потому что в могиле уже давно не осталось ничего съедобного), но надписи еще можно было разобрать: *Эллен Колдфилд Сатпен. Родилась 9 октября 1817 года. Умерла 23 января 1863 года*, и другая: *Томас Сатпен, полковник, 23 Миссисиппийский полк, К. А. Ш. 1. Умер 12 августа 1869 года*; эта дата, грубо вырубленная зубилом, была добавлена позднее — даже и после смерти он не открыл, где и когда родился. Квентин спокойно смотрел на камни и думал *Не Любимая жена такого-то. Нет. Просто Эллен Колдфилд Сатпен.*

— Я никогда бы не подумал, что в 1868 году у них могли быть деньги на мрамор,— сказал он.

— Он покупал их сам,— сказал мистер Компсон.— Он купил эти два камня, когда его полк находился в Виргинии и Джудит известила его о смерти матери. Он заказал их в Италии — самые лучшие, самые дорогие, какие только можно было достать, причем на памятнике жены надпись была полная, а на своем он велел оставить место для даты; и все это он делал, находясь в действующей армии, в которой не только была такая высокая смертность, какой не бывало нигде ни прежде, ни после, но и обычай ежегодно переизбирать полковых офицеров (по этой системе он в те дни имел право именовать себя полковником — как раз прошлым летом его выбрали, а полковника Сарториса забаллотировали), и потому он совершенно не мог быть уверен, что до тех пор, пока заказ не будет выполнен или хотя бы получен, он не утратит на тот свет, а его могила не будет отмечена (если ее вообще как-либо отметят) воткнутым в землю ломаным мушкетом, а если он даже и уцелеет, то вполне может стать младшим лейтенантом, а то и просто рядовым — разумеется, если у его солдат достанет храбрости сместить его с должности, и тем не менее он не только заказал эти камни и ухитрился за них заплатить, но, что еще удивительнее, ухитрился доставить их на побережье, зажатое в тисках такой жестокой блокады, что даже прорывавшие ее контрабандисты не хотели брать на борт своих кораблей ничего, кроме боеприпасов..

Квентину казалось, будто он их видит: голодные, раздетые и разутые солдаты — изможденные, почерневшие от пороха лица, глаза горят неукротимой яростью непораженья,— оглянувшись назад через едва прикрытые лохмотьями плечи, смотрят на темный недоступный океан, по волнам которого, погасив огни, несется одинокий мрачный корабль; в трюме его вместо двух тысяч фунтов драгоценных пуль или хотя бы съестных припасов мертвым грузом лежат две спесивые, неповоротливые, высеченные из камня тысяchefунтовые глыбы; на весь ближайший год зачисленные в состав полка, они поедут за ним в Пенсильванию, побывают при Геттисберге, следуя за полком в фургоне, чей кучер, демонов слуга, провезет их через горные проходы, через болота и равнины, в фургоне, который полку приказано не обгонять; оголодавшие изможденные люди и изможденные тощие лошади, пробираясь по колону в ледяной грязи и в снегу, обливаясь потом и изрыгая проклятья, поволочут его через топи и грязины, словно артиллерийское орудие; они будут называть эти камни «Полковник» и «Полковница»; фургон пройдет сквозь Камберлендское ущелье, спустится с Теннессиийских гор; он будет двигаться по ночам, обходя патрули янки и поздней осенью 1864 года въедет в Миссисиппи, где демона ожидает дочь, на свадьбу

¹ Конфедерация Американских Штатов.

которой он наложит запрет и которая следующим летом станет вдовой, хотя не будет никого оплакивать; где умерла его жена, а сын сам себя предал анафеме и изгнал; демон поставит один камень на могилу жены, а другой прислонит к стене прихожей; там на него, по всей вероятности (а может, и несомненно), каждый день смотрела мисс Колдфилд, словно это был его портрет; по всей вероятности (может, и в этом случае несомненно), она извлекла из этой надписи гораздо больше девических надежд и ожиданий, чем поведала о том Квентину,— ведь она вообще ни разу ему об этом камне не заикнулась; а он (демон) напился кофе из поджаренной кукурузы, съел кукурузную лепешку, которую испекли ему Джудит и Клити, поцеловал в лоб Джудит, сказал: «Пока, Клити» — и снова уехал на Войну — и все за одни-единственные сутки; Квентин все это видел; казалось, он и сам при этом был. Потом он подумал *Нет. Если бы я там был, я бы не мог так ясно все увидеть.*

— Да, но это не объясняет, откуда взялись остальные три,— сказал он,— они ведь тоже, наверное, стоили немалых денег.

— Кто мог за них заплатить? — отозвался мистер Компсон. Квентин чувствовал, что отец на него смотрит.— Подумай.

Квентин взглянул на три одинаковых надгробья с надписями, выведенными одинаковыми буквами; они слегка покосились в мягком суглинке, густо усыпанном гниющими иглами кедров; пристально взглядевшись в первый, он разобрал: *Чарльз Бон. Родился в Новом Орлеане, Луизиана. Умер в Сатпеновой Сотне, Миссисипи, 3 мая 1865 года 33 лет и 5 месяцев от роду.* Он чувствовал, что отец за ним наблюдает.

— Это она заплатила,— сказал он.— Деньгами, вырученными от продажи лавки.

— Да,— подтвердил мистер Компсон.

Чтобы прочесть следующую надпись, Квентину пришлось нагнуться и разгрести кедровые иглы. При этом одна из собак встала, подошла к нему и вытянула шею, чтобы узнать, на что он смотрит,— совсем как человек, словно от общения с двуногими приобрела любопытство, свойственное лишь людям и обезьянам.

— Убирайся,— сказал он, отталкивая одной рукой собаку, а другой сметая иглы с высеченных в камне еле заметных слов: *Чарльз Этьен Сент-Валери Бон. 1859—1884;* все время чувствуя, что отец за ним наблюдает, он поднялся и заметил, что на третьем камне стоит та же дата: 1884.— Этот она уже не могла купить на деньги, вырученные от продажи лавки. Ведь лавку она продала в семидесятом году, и, кроме того, на ее камне тоже стоит 1884 год,— продолжал он, думая, как ей, наверное, стало бы страшно, если б она захотела написать на первом камне *Любимый муж.*

— Верно,— отозвался мистер Компсон.— Об этом камне позаботился твой дед. Джудит однажды приехала в город и привезла ему деньги, часть денег, откуда она их взяла, он так никогда и не узнал; возможно, они остались от лавки, которую он по ее поручению продал; привезла деньги и надпись, составленную в тех самых выражениях, которые ты тут видишь (разумеется, кроме даты смерти); это было как раз в то время, когда Клити на три недели уезжала в Новый Орлеан разыскивать мальчика, чтобы привезти его сюда, хотя твой дед, разумеется, ничего об этом не знал; привезла ему деньги и надпись — не для себя, а для него.

— Вот как,— сказал Квентин.

— Да. Удивительную жизнь ведут они — женщины. Жизнь не только оторванную от действительности, но и совершенно ей чужую. Поэтому хотя смерть, самый миг кончины, ровно ничего для них не значит, ибо перед лицом боли и уничтожения они выказывают такую стойкость и силу духа, рядом с которой самый суровый спартаец-мужчина выглядит плаксивым мальчишкой, однако же похороны и могилы это жалкое утверждение мнимого бессмертия над местом их вечного покоя, приобретают для них неизмеримую важность. Одной из твоих теток (ты ее не помнишь, да я и сам никогда ее не видел, а только слышал эту историю) предстояла серьезная операция, которую она боялась не пережить, а в то время ближайшей ее родственницей была женщина, с которой она уже много лет находилась в состоянии жестокой и (для мужского ума) непостижимой дружбы-вражды, которая бывает между кровными родственницами, и единственной ее предсмертной заботой было избавиться от одного коричневого платья, о котором той родственнице было известно, что она терпеть его не может, и потому его следовало сжечь — не подарить кому-нибудь, а именно сжечь — на заднем дворе под окном ее комнаты, чтобы она,

приподнявшись на постели (что доставляло ей невыносимые страдания), могла собственными глазами увидеть, как оно горит, а иначе она не сомневалась, что родственница, естественная ее душеприказчица, непременно ее в этом платье похоронит.

— И она умерла? — спросил Квентин.

— Нет. Не успел огонь поглотить платье, как ей стало лучше. Она перенесла операцию, поправилась, и на несколько лет пережила ту родственницу. Потом в один прекрасный день она мирно скончалась неизвестно от чего и была похоронена в своем подвенечном наряде.

— Интересно, — сказал Квентин.

— Да. Но однажды летом 1870 года одну из этих могил (их тогда было всего лишь три) и в самом деле залили слезами. Твой дедушка сам это видел; это было в год, когда Джудит продала лавку; твой дедушка, которому она поручила вести ее дела, поехал переговорить с ней по этому поводу и стал свидетелем этого драматического представления, этой живописной картины безутешного вдовства. Тогда он еще не знал, как окторонка сюда попала, откуда Джудит вообще про нее узнала, чтобы написать ей, где похоронен Бон. Однако она была здесь с одиннадцатилетним мальчиком, которому едва ли кто-нибудь дал бы больше восьми. Все это, вероятно, напоминало сцену в саду этого ирландского поэта, Уайльда, — вечер, темные кедры в низких лучах заходящего солнца, даже освещение точь-в-точь такое, как нужно, и могилы, три мраморных надгробья (твой дедушка ссудил Джудит деньгами для покупки третьего камня под сумму, которую даст продажа лавки), выглядели так, словно их почистили, отполировали и расставили по местам рабочие сцены, которые с наступлением темноты возвратятся, поднимут этот пустотелый, хрупкий, невесомый реквизит и унесут его обратно на склад, где он будет лежать, покуда не понадобится снова; это пышное зрелище, этот спектакль — на сцену выходит женщина с лицом магнолии, теперь чуть-чуть расплывшаяся, женщина, созданная тьмой и для тьмы, одетая по рисунку, который мог бы создать Бердслей, — в ниспадающем мягкими складками одеянье, долженствующем не столько внушить мысль о тяжелой утрате и вдовстве, сколько символизировать роковую страсть и неумолимые вожделенья ненасытной плоти; она идет под кружевным зонтиком, в сопровождении огромной бойкой негритянки, которая несет шелковую подушку и ведет за руку мальчика, какого Бердслей мог бы не только одеть, но и нарисовать: тоненький хрупкий ребенок с гладким, лишенным признаков пола лицом цвета слоновой кости; когда его мать отдала негритянке зонтик, взяла подушку, преклонила колени у могилы, оправив свои юбки и залилась слезами, мальчик вцепился в фартук негритянки, молча стоял рядом и щурился: родившись и прожив всю жизнь в некой шелковой темнице, освещенной вечно затененными свечами, дыша вместо воздуха молочно-белым, физически осязаемым сиянием, что излучала его мать, он почти никогда не видел солнечного света, не бывал на воле, не видел трав, деревьев и земли; а позади шла еще одна женщина, Джудит (она никого не потеряла и потому не нуждалась в трауре, подумал Квентин. Да, мне пришлось слушать слишком долго, сказал он про себя); она остановилась под кедрами в своем бесформенном выцветшем ситцевом платье и в такой же шляпе — спокойное лицо, руки, умевшие пахать, рубить дрова, ткать одежду и стирать, сложены на груди — и стояла в позе равнодушной служительницы музея, стояла и ждала, наверное, даже не глядя. Потом негритянка подошла к окторонке, протянула ей хрустальный флакончик с нюхательной солью, помогла ей встать, подняла с земли шелковую подушку, вручила окторонке зонтик, и все двинулись обратно — мальчик все еще цеплялся за фартук негритянки, негритянка поддерживала ее за руку женщину, а Джудит с лицом, напоминавшим мрамор или маску, замыкала шествие; они миновали высокий облупившийся портик и вошли в дом, где Клети варила яйца и пекла кукурузные лепешки, которыми они с Джудит кормились.

Она прожила у них неделю. Остаток недели она провела в единственной комнате, где еще оставалась кровать с полотняными простынями, провела его лежа в постели, в новых кружевных, шелковых и атласных пеньюарах мягких розовато-лиловых и сиреневых тонов, приличествующих трауру, в душной закупоренной комнате с закрытыми провисшими ставнями, пропитанной тяжелым неумолимым запахом ее тела, ее одежды, смоченного одеколоном платочка на лбу и хрустального флакончика; негритянка, сидя у постели, то давала ей нюхать этот флакончик, то обмахивала ее веером, в промежутках подходя к дверям, чтобы принять из рук Клети подносы, которые та приносила из кухни по приказу Джудит; Клети таскала их по лестнице

вверх и вниз, хотя наверняка догадалась, даже если Джудит ей и не сказала, что та, кому она прислуживает, тоже негритянка, и тем не менее прислуживала этой негритянке с таким же усердием, с каким, время от времени выходя из кухни, разыскивала по всем комнатам нижнего этажа одинокого чужого мальчика, спокойно сидевшего на прямом жестком стуле в полутемной сумрачной библиотеке или гостиной, мальчика, наделенного четырьмя именами и одной шестнадцатой долей негритянской крови, одетого в дорогие изысканные наряды, словно маленький лорд Фаунтлерой,— скованный неборимым ужасом, он смотрел на светло-коричневую женщину, которая подходила босиком к двери, впереяла в него угрюмый взор и приносила ему не печенье, а самые что ни на есть грубые кукурузные лепешки, намазанные столь же грубой патокой (да и те тайком — не потому, что мать или дуэнья возражали, нет, просто еды в доме хватало лишь на завтрак, обед и ужин); она давала ему эти лепешки, с трудом сдерживая ярость, совала их ему в руки, а однажды, застигнув его на дороге за воротами, где он играл с негритенком примерно одного с ним роста, она, не повышая голоса, жестко изругала негритенка, а ему приказала вернуться в дом таким тоном, который казался еще холодней и страшнее оттого, что в нем не было ни тени злости или гнева.

Да, Клити, которая безучастно стояла возле фургона в тот последний день, когда, торжественно посетив второй раз могилу с шелковой подушкой, зонтиком и нюхательной солью, мать, ребенок и дуэнья отбыли в Новый Орлеан. И твой дед так никогда и не узнал, сама ли Клити следила, сторожила, каким-то образом держала с кем-то связь в ожидании дня, часа, когда мальчик осиротеет, после чего сама за ним отправилась, или же следила и ждала Джудит и той зимой, в декабре 1871 года, послала за мальчиком Клити — Клити, которая за всю свою жизнь никогда не уезжала из Сатпеновой Сотни дальше чем в Джефферсон и тем не менее одна совершила это путешествие в Новый Орлеан и привезла оттуда мальчика — ему теперь было двенадцать лет, но выглядел он десятилетним, костюмчик маленького лорда Фаунтлероя был ему теперь мал, но поверх него была напялена новая, не по росту огромная парусиновая роба, которую ему купила Клити (и заставила его эту робу носить — от холода или просто так, дедушка тоже сказать затруднялся), а узелок с его цожитками был завернут в пестрый носовой платок — этот мальчик, который не знал ни слова по-английски, так же как женщина, которая нашла, выследила его во французском городе и увезла оттуда, не знала ни слова по-французски; этот мальчик с лицом не то чтобы старообразным, а просто лишенным возраста, словно у него не было детства, но не в том смысле, как, по ее же собственным словам, не было детства у мисс Розы Колдфилд, а словно он родился не как все люди, а появился на свет без участия мужчины, без родовых мук женщины и стал сиротой, хотя не лишился ни отца, ни матери. По словам твоего дедушки, никто не спрашивал, даже не задумывался о том, что случилось с его матерью: умерла ли она, сбегала ли с любовником или вышла замуж; она не переходила из одного состояния — греха или небытия — в другое, унося с собой копившийся годами мусор, который мы называем памятью, и свое неповторимое Я, а изменялась постепенно, от фазы к фазе, как меняется бабочка, сбросив кокон, — она не переносит ничего, что было, в то, что есть, не оставляя позади ничего сущего, а целиком, нетронутая и покорная, принимает свое следующее обличье и, подобно тому как распутившаяся роза или магнолия одного роскошного июня увядает и возрождается в другом, не оставляя нигде между землей и солнцем ни костей, ни чего-либо вещественного, ни единой частицы праха, ни малейшего, пусть даже неодоушевленного мертвого следа прежнего великолепия. Мальчик появился в этом перенасыщенном ароматами, закупоренном шелковом лабиринте готовым и законченным, не подверженным воздействию никаких микробов, словно излишний порочный дух-символ, словно бессмертный паж бессмертной праматери Лилит, он явился в этот мир в возрасте не одной секунды, а двенадцати лет, когда изысканный наряд пажа был уже наполовину спрятан под бесформенной дерюгой, какие шьют по железному шаблону и продают миллионами штук, — под этой бурлескной униформой и в регалиях трагического бурлеска сынов Хама; его, этого молчаливого хрупкого ребенка, который не умел даже говорить по-английски, неожиданно подобрала среди развалин единственно знакомой ему жизни, рухнувшей в какой-то неведомой катастрофе, женщина, которую он однажды видел и с тех пор смертельно боялся, но от которой не мог убежать, подобрала и держала, беспомощного и бессильного, в состоянии, очевидно, представлявшем собою некую невероятную смесь ужаса

и доверия — ведь хотя он даже не мог с ней разговаривать (они провели, должны были провести целую неделю на нижней палубе парохода среди тюков хлопка, где ели и спали с неграми, и он даже не мог сказать своей спутнице, что он голоден или хочет в уборную) и потому мог только подозревать, догадываться, куда она его везет, мог знать наверное только то, что вся знакомая ему прежде жизнь исчезла, улетучилась, рассеялась, как дым. Однако он не сопротивлялся, он покорно и кротко вернулся в полуразвалившийся дом, который уже когда-то видел, где свирепая угрюмая женщина, которая нашла и привезла его сюда, жила вместе с другой, спокойной белой женщиной, даже не свирепой, а лишь спокойной и больше никакой, которая для него еще даже не имела имени, но почему-то была связана с ним так тесно, что именно ей принадлежало то единственное место на земле, где он в первый и последний раз в жизни видел, как плакала его мать. Он переступил этот чужой порог, этот рубеж, откуда не было пути назад; суровое неумолимое существо не привело, не притащило, а, как теленка, пригнало его в этот убогий опустелый дом, где даже оставшиеся у него шелковые наряды, тонкие сорочки, чулки и туфли, все еще напоминавшие ему, кем он некогда был, слетели, исчезли с его тела, с его рук и ног, словно химеры, сотканые дымом... Да, он спал на низенькой передвижной кровати возле кровати Джудит, женщины, которая обращалась с ним и смотрела на него с неизменной холодностью и отчужденной лаской, что обескураживало его гораздо сильнее, чем неустанная свирепая и жестокая опека негритьянки, с каким-то упорным нарочитым смирением спавшей на соломе на полу; лежа между ними без сна, погруженный в бездну бессильного и безнадежного отчаяния, мальчик ощущал все это — присутствие женщины на кровати, чьи взгляды и поступки, чьи умелые руки, стоило им только прикоснуться к нему, тотчас теряли все свое тепло и, казалось, насыщались холодной и беспощадной неприязнью, и женщины на соломенном тюфяке — он уже привык смотреть на нее так, как маленький, слабый, лишенный клыков и когтей звереныш, который, скорчившись в клетке, отчаянно и тщетно силится притвориться кровожадным, мог бы смотреть на кормящего его человека (тут твой дедушка привел цитату: «Пустите детей приходите ко Мне и не препятствуйте им» — и добавил: интересно, что Господь Бог хотел этим сказать? Если Он хотел сказать, что детей к Нему не пускают, то какую же землю Он создал? А если они сами к Нему не идут, то каково тогда Царствие Божие?), — женщины, которая его кормила, совала ему куски, как он сам видел, лучшие из всего, что у них было, пищу, как он отлично знал, приготовленную только для него ценою сознательных жертв, совала со странной смесью жалости и злобы, ненависти и горькой тоски — она его одевала, умывала, заталкивала его в лохань с водой то слишком горячей, то слишком холодной, что он, однако, терпел, не смея возражать; сдерживая ярость, она изо всех сил терла его мылом и жесткой мочалкой, словно хотела смыть с его гладкой кожи еле заметную окраску, — так ребенок порою все еще трет стену, хотя от нацарапанного на ней мелом обидного бранного слова давно уж не осталось и следа; лежа без сна в темноте между ними, он чувствовал, что и они не спят, чувствовал, что они думают о нем, о его будущем, и в оглушительной тишине его одиночества и отчаяния эти их мысли звучат громче всяких слов: *Ты не лежишь со мною в кровати, где тебе следовало бы лежать, хоть не твоя в том вина и воля; ты не ляжешь со мной на полу, где ты должен и будешь лежать, хоть не твоя в том вина и воля, и не наша вина и воля, что мы не хотим того, чего не можем.*

Твой дедушка не знал также, которая из них сказала ему, что он негр и должен быть негром. Он, разумеется, не мог еще ни слышать, ни понимать значения слова «нигрер, черномазый», ибо на его родном языке такого вообще не существовало, ибо он родился и вырос в обитой шелком непроницаемой камере — она могла бы с успехом висеть на тросе в океане на глубине в шесть тысяч футов, — где цвет кожи с точки зрения морали имел не больше значения, чем обтянутые шелком стены, благовония и розовые абажуры над свечами, где даже абстрактные понятия, с которыми ему приходилось сталкиваться — единобрачие, верность, благопристойность, привязанность и нежность, — были такими же чисто физиологическими отправлениями, как процесс пищеварения. Твой дедушка не знал, то ли его в конце концов попросили уйти с низенькой кровати, то ли он оставил ее по собственной воле и желанию; притерпелся ли он постепенно к своему одиночеству и горю настолько, что сам ушел из спальни Джудит, или его отослали спать в прихожую (куда перенесла свой соломенный тюфяк и Канти), хотя и не на полу, как она, а на складной койке, все-та-

ки приподнятой над полом, и, быть может, вовсе не по приказанию Джудит, а лишь из-за яростного непреклонного нарочитого смирения негритянки. А потом койку перенесли в мансарду, где в углу за прибитой гвоздями занавеской, которую он смастерил из обрывка старого ковра, висела его убогая одежонка — остатки костюма из шелка и тонкого сукна, в котором он приехал, грубые штаны и домогканые рубахи, которые обе женщины ему покупали и шили — он принимал их молча, без единого слова благодарности, точно так же, как принял комнатуху на чердаке; он не просил и, насколько им было известно, не делал никаких изменений в ее спартанском убранстве: лишь через два года, когда ему исполнилось четырнадцать, одна из них — то ли Клити, то ли Джудит — нашла у него под тюфяком осколок зеркала; и кто знает, сколько часов провел он перед этим зеркалом без слез, в недоуменье и отчаянье рассматривая свое отражение в лохмотьях щегольского костюма, из которого он давно вырос и едва ли даже помнил, как прежде в нем выглядел, рассматривая спокойно, недоверчиво и недоуменно. А Клити спала внизу в прихожей, загородив все подступы к лестнице на чердак; она, как испанская дуэнья, неукоснительно следила, чтобы он не мог ни выйти, ни сбежать, она учила его рубить дрова, сажать на огороде овощи и пахать, но это позже, когда он набрался силы. Или скорее выносливости, потому что он так навсегда и остался деликатного, даже хрупкого сложения; этот хрупкий мальчик с женскими руками неустанно воевал со своим неразлучным спутником и товарищем по несчастью, безымянным представителем строптивого племени мулов, этих бесплодных трагических шутов, как и он сам отмеченных проклятием предков, от века тяготеющим над всеми существами смешанной крови; шаг за шагом приобретая сноровку, связанные воедино грубо сработанным из дерева и железа символом мужского плодородия, они добывали из распростертой перед ними тучной самки-земли кукурузу, которой оба кормились. А Клити его сторожила, с яростной угрюмой неослабной ревнивой заботой ни на минуту не спуская с него глаз, и чуть только кто-нибудь — все равно, негр или белый — задерживался на дороге, словно ожидая, когда мальчик, проведя борозду, остановится и простоит достаточно долго, чтобы с ним можно было заговорить, тотчас торопливо стсылала его прочь одним-единственным тихим словом, а то и просто жестом, однако во сто крат более свирепым, чем негромкая брань, которой она прогоняла прохожего. Поэтому он (твой дедушка) был уверен, что ни одна из женщин не была повинна в том, что он начал водиться с неграми. Ведь Клити сторожила его, словно испанскую девственницу; ведь даже еще не подозревая, что он когда-нибудь может у них поселиться, она прервала его первую встречу с каким-то черномазым и отправила его обратно в дом; а что касается Джудит, то она могла в любое время запретить ему спать в своей комнате на детской кроватке, на какой спят белые мальчики, а если б она даже не могла допустить, чтоб он спал на полу, сумела бы заставить Клити уложить его с собой в другую кровать; она могла бы сделать из него монаха, давшего обет безбрачия, хотя, пожалуй, и не евнуха; она, быть может, не позволила бы ему выдавать себя за иностранца, но уж конечно бы не стала принуждать его яхшаться с неграми. Твой дедушка ничего этого не знал, хоть он и знал больше, чем знали в городе и в окрестностях, а именно, что там живет какой-то странный мальчик, который, по всей видимости, впервые вышел из дома в возрасте двенадцати лет и чье присутствие в городе и округу вовсе не казалось непонятным — они теперь были убеждены, что знают, почему Генри застрелил Бона. Они только не могли понять, где и как Джудит и Клити ухитрились все это время его прятать; они теперь были убеждены, что Бона хоронили именно его вдова, хотя у ней и не было на то никакой бумаги; и лишь твой дедушка в недоуменье (и ужасе) строил догадки (хотя у него в сейфе к тому времени уже лежали сто долларов и написанное рукою Джудит распоряжение об этом четвертом надгробье, он все еще никак не связывал этого мальчика с тем, которого видел двумя годами раньше, когда окторонка приезжала плакать на могиле), уж не сын ли это Клити, прижитый его отцом от собственной дочери. Мальчик, которого всегда видели около дома, причем неподалеку всегда была Клити; потом подросток, который учился пахать, и Клити снова была где-нибудь неподалеку; и скоро всем стало известно, с какой суровой и неослабной бдительностью она обнаруживала и пресекала любую попытку с ним заговорить, и только твой дедушка в конце концов догадался, что этот подросток и есть тот самый мальчик, который тремя или четырьмя годами раньше приезжал на могилу.

К дедушке в ксигтору и явилась Джудит пять лет спустя, и он никак не мог

вспомнить, когда в последний раз видел ее в Джефферсоне; она, теперь сорокалетняя женщина в том же бесформенном ситцевом платье и выгоревшей шляпе, упорно отказывалась сесть и, несмотря на непроницаемую маску, заменявшую ей лицо, не могла скрыть страшное волнение и требовала, чтобы он тотчас же пошел с нею в суд, а в чем дело, она расскажет по дороге; и когда они вошли в битком набитую народом комнату, где заседал уголовный суд, твой дедушка увидел его, этого мальчика (только теперь это был мужчина), прикованного наручниками к полицейскому, — другая его рука висела на повязке, а голова была забинтована, потому что его сначала отвели к врачу; и твой дедушка постепенно понял, что произошло, полностью или хотя бы частично, потому что сам судья не так уж много мог извлечь из показаний свидетелей — тех, что убежали и позвали шерифа, и тех (кроме одного, которого он так изувечил, что тот не мог даже явиться в суд), с кем он дрался. Это случилось на негритянской вечеринке в хижине за несколько миль от Сатпеновой Сотни; он там присутствовал, и твой дедушка так никогда и не узнал, часто ли он туда ходил, пришел ли он туда потанцевать или поиграть в кости на кухне, где и началась драка — эту драку, по словам свидетелей, затеял именно он, а вовсе не негры, и притом без всякого повода, и даже не потому, что кто-то жульничал, а просто ни с того ни с сего. Он ничего не отрицал, ничего не подтверждал, он попросту отказывался говорить; бледный и угрюмый, он сидел в судебной камере и молчал, и в итоге вся истина, свидетельские показания потонули в беспорядочном клубке негритянских голов, тел и черных рук, хватавших поленья, сковородки и бритвы, а центр всего этого являл собой белый человек, который неумело, неуклюже, но весьма решительно и с неожиданной для его хрупкого сложения силой — она объяснялась, очевидно, только отчаянным упорством и полным равнодушием к последствиям — размахивал во все стороны невесть откуда взявшимся ножом, казалось, совершенно не замечая ответных ударов и колотушек. Для этого не было ни причин, ни оснований; никто так никогда и не узнал, что же в конце концов произошло; из ругани и криков невозможно было понять, что заставило его ввязаться в драку, и только твой дедушка как будто начал смутно осознавать, догадываться, что это был яростный протест, бунт против предначертаний свыше, вызов, брошенный в лицо действительности с таким яростным и отчаянным безрассудством, какое мог бы выказать сам демон, словно оно передалось этому мальчику, а потом юноше от стен, в которых демон жил, от воздуха, которым он дышал до той минуты, когда его собственная судьба, которой он в свою очередь тоже бросил вызов, нанесла ему ответный удар; и один лишь твой дедушка ощутил этот протест — судья и все остальные попросту его не узнали, не узнали этого хрупкого человека с перевязанной рукой и головой, с бесстрастным, угрюмым (а теперь еще и бескровным) оливковым лицом, который отказался отвечать на вопросы и не сделал никакого заявления, так что когда твой дедушка вошел, судья (эту должность исполнял в то время Джим Хэмблет) уже начал обвинительную речь, воспользовавшись случаем блеснуть своим красноречием перед собравшимися; глаза его уже остекленели и утратили способность что-либо видеть, как это бывает с людьми, которые любят слушать свои собственные публичные выступления: «В настоящий момент, когда наша страна стремится поднять голову из-под железной пяты угнетателя и тирана, когда будущее Юга — если мы хотим сделать его местом, где наши женщины и дети смогут вести достойную жизнь, — зависит от трудов наших рук; когда орудия, которые мы должны использовать, — это гордость, мужество и стойкость черных, равно как гордость, мужество и стойкость белых; в этот самый момент вы, белый, да, повторяю, белый...» — а твой дедушка пытается подойти, остановить его, пытается пробиться сквозь толпу, повторяя: «Джим. Джим. Джим!» — но слишком поздно, и тут как будто собственный голос Хэмблета в конце концов его разбудил или кто-то щелкнул его по носу, но только он смотрит на задержанного, опять говорит: «Белый», но голос его замирает, как будто приказ замолчать прозвучал короткое замыкание, и все повернулись к задержанному, услышав, как Хэмблет воскликнул: «Кто вы такой? Кто вы и откуда сюда пришли?»

Твой дедушка его вызволил, замял дело, уплатил штраф, привел его к себе в контору, и пока Джудит ждала в приемной, попытался с ним поговорить. «Вы сын Чарльза Бона», — сказал он. «Не знаю», — хрипло и угрюмо отвечал тот. «Вы не помните?» — спросил твой дедушка. Он ничего не ответил. Тогда твой дедушка сказал, что он должен уехать, исчезнуть, и дал ему денег. «Кем бы вы ни были, когда вы

окажетесь среди чужих людей, которые вас не знают, вы сможете стать кем захотите. Я об этом позабочусь, я поговорю с... Как вы ее зовете?» Он зашел слишком далеко, но останавливаться было уже поздно; он сидел и смотрел на это спокойное лицо — как и лицо Джудит, оно не выражало ровно ничего: ни надежды, ни боли, оно было просто непроницаемым и угрюмым; опустив глаза, он смотрел на свои мозолистые женские руки с домаными ногтями, в которых держал деньги, меж тем как твой дедушка думал о том, что не может сказать: «Мисс Джудит», ибо это только лишний раз подчеркивало бы его происхождение. Потом он подумал *Я же не знаю, хочет он это скрыть или нет*. И потому он сказал: «Мисс Сатпен». «Я скажу мисс Сатпен — разумеется, не куда вы поедете, ибо этого я и сам не буду знать. Я просто скажу ей, что вы уехали, что мне об этом известно и что для вас так будет лучше».

И он уехал, а твой дедушка отправился в Сатпену Сотию известить Джудит, и Клити вышла к дверям, окинула его долгим пристальным взглядом и, не сказав ни слова, пошла звать Джудит, а твой дедушка остался ждать ее в этой полутемной, мрачной, как склеп, гостиной, понимая, что ему не придется ничего говорить ни той, ни другой. И действительно не пришлось. Вскоре появилась Джудит; остановившись в дверях, она посмотрела на него и проговорила: «Я полагаю, вы не хотите мне ничего сказать». «Не то что не хочу, а просто не могу, — ответил твой дедушка. — Но не из-за того, что я ему, обещал. У него есть деньги, и ему...» — тут он умолк, и тогда между ними, невидимый, возник тот несчастный маленький мальчик, который восемь лет назад приехал сюда в парусиновой робе, натянутой поверх лохмотьев шелка и тонкого сукна; мальчик, который превратился в подростка, облаченного в рваную шляпу и комбинезон — форменную одежду своего наследственного проклятья; он превратился в мужчину с мужской силой, но все равно остался тем же одиноким заброшенным ребенком во власнице из пергамента и дерюги, и твой дедушка лепетал жалкие слова, произносил пустые лицемерные софизмы, которые мы называем утешением, а сам думал *Лучше бы он умер, лучше б он совсем не родился на свет*; потом ему пришло в голову, что если б он сказал это вслух, для нее это было бы пустым, излишним повтореньем, ибо она наверняка не раз уже говорила, думала то же самое, только в другом роде и числе. Он возвратился в город. А потом, в следующий раз, за ним больше не присылали; он узнал об этом так же, как узнал весь город, — из слухов, что передают из уст в уста негры; он же, Чарльз Этьен Сент-Валери Бон, был уже здесь (не дома, просто здесь); о том, как он вернулся, твой дедушка узнал позже; он появился с утально-черной обезьяноподобной женщиной и самым настоящим брачным свидетельством; вернее, эта женщина его привезла — незадолго перед тем его так сильно избili и изувечили, что он едва сидел на своем неоседланном коаченом муле, и жена шла рядом и поддерживала его, чтобы он не свалился; он подъехал к дому и, по всей вероятности, швырнул в лицо Джудит это брачное свидетельство с тем же беспросветным отчаянием, с каким бросался на негров во время игры в кости. И никто так никогда и не узнал, какие невероятные события произошли в тот год, что он отсутствовал, — сам он никогда о них не говорил, а женщина, которая даже год спустя, после рождения их сына, все еще пребывала в том же состоянии, в каком явилась, — оцепеневшая от ужаса, она действовала как автомат, ничего об этих событиях не рассказывала, а возможно, и не умела рассказывать, но постепенно они каким-то жутким непонятным образом начали выделяться из ее пор, словно капли холодного пота, вызванного страхом и болью; как он ее нашел, вытащил из какого-то неведомого двухмерного захламления (был ли это город или деревня и как это место называлось, она либо никогда не знала, либо от потрясения, вызванного исходом отсюда, название его навсегда выскочило у нее из головы), где даже она со своим слабым умом могла добыть себе кров и пропитание, и как на ней женился — он, без сомнения, водил ее рукой, когда она старательно рисовала крест в книге метрических записей, еще не успев узнать ни как его зовут, ни что он не белый (никто не мог с уверенностью утверждать, что она знает это даже теперь, даже после того, как она родила сына в одной из полуразвалившихся лачуг, где прежде жили рабы, — он перестроил ее, после того как взял у Джудит в аренду маленький участок земли); как прошел еще примерно год, состоявший из периодов полнейшей неподвижности — словно порвалась кинолента, — когда белокожий человек, который на ней женился, лежал на спине, приходя в себя от последних затрещин, полученных им в грязных вонючих труппах каких-то больших и малых городов, чьих названий она

тоже не знала; они сменялись другими периодами или промежутками бешеного, непонятного и явно бессмысленного движения, перемещения в пространстве, водоворотом лиц и тел, сквозь которые он прорывался, увлекая ее за собой,— куда или откуда он бежал, какое безумие лишало его мира и покоя, она тоже не знала, и каждый такой рывок кончался, завершался тем же, чем и предыдущий, так что это уже превратилось в некий ритуал. При этом он явно искал случая похвалиться, похвастать своей обезьяноподобной угольно-черной спутницей перед каждым, кого это непременно должно было привести в бешенство: перед чернокожими портовыми грузчиками и матросами на пароходах или в городских притонах — они принимали его за белого и не верили ему тем больше, чем упорнее он это отрицал; перед белыми — услышав от него, что он негр, они решали, что он врет для спасения своей шкуры или, еще хуже, что он окончательно свихнулся от половых извращений, и в обоих случаях результат был один: тоненький и хрупкий, как девушка, почти всегда безоружный, он, невзирая на численное превосходство противника, всегда первым лез в драку с неизменной яростью и презрением к боли и при этом не бранился, не задыхался, а только хохотал.

И вот он показал Джудит свое свидетельство, привел свою жену — она была уже почти что на сносях — в развалившуюся лачугу, которую он выбрал себе для жилья и отремонтировал; он поместил, посадил ее туда, как собаку в конуру, и возвратился в дом. И никто не знает, что произошло между ним и Джудит в одной из не застланных ковром комнат, где еще оставались стулья и другая мебель, которую не успели разрубить и сжечь, чтобы сварить еду, истопить печку или вскипятить воды, когда время от времени кто-нибудь хворал; между женщиной, которая овдовела, не успев обвенчаться, и сыном ее покойного жениха и потомственной наложницы-негритянки; женщиной, которой его черная кровь претила куда меньше, чем ему его белая, причем он отрицал ее наличие со странно преувеличенным упорством, тем более яростным, чем более он осознавал невозможность ее изринуть — точно так же, наверное, вел бы себя и сам демон.

(Потому что это была любовь, сказал мистер Компсон. Было письмо, которое она принесла и отдала на сохранение твоей бабушке. Он (Квентин) видел его, видел так же ясно, как то письмо, что лежало открытое на открытом учебнике перед ним на столе — белое в темной руке отца на фоне его полотняной штанины в сентябрьских сумерках, благоухающих сигарой, глицинией и полных мечущихся светлячков; он думал Да. Я слышал слишком много, мне рассказывали слишком много, мне пришлось слушать слишком долго, слишком много. Да, думал он, Шрив говорит почти так же, как отец: это письмо. И кто знает, о каком нравственном возрождении она размышляла в уединении этого дома, этой комнаты, этой ночи; о каком преодолении железных традиций — ведь чуть ли не все остальное, что она привыкла считать незыблемым, прямо у нее на глазах исчезало, как соломинки, развеянные ураганом,— она сидела там возле лампы на прямом жестком стуле, прямая, в том же ситцевом платье, только теперь без шляпы, с непокрытой головой. с седьюю в некогда черных как смоль волосах, а он стоял и смотрел на нее. Он ни за что не хотел сесть; быть может, она ему даже и не предложила; и ее холодный, ровный голос звучал немногим громче, чем трепет пламени горячей лампы: «Я была не права. Я это признаю. Я считала, что есть вещи, которые до сих пор имеют значение просто потому, что они имели значение прежде. Но я была не права. Ничто не имеет значения, кроме джжжания, крометого, чтобы дышать, и знать, и жить. Но ребенок, брачное свидетельство, документ. Как быть с ним? Этот документ связывает тебя с женщиной, которая что ни говори, а негритянка; его можно спрятать, никто не посмеет о нем вспомнить, как о любой грубой выходке необузданного пылкого юноши. А что до ребенка, это не страшно. Разве мой отец не родил такого же ребенка? и разве кто-нибудь посмел сказать ему хоть слово? Если хочешь, мы можем оставить у себя эту женщину с ребенком, они могут жить здесь, и Клити будет...» — говоря это, она следила за ним, вглядываясь в него; все еще не двигаясь, не шевелясь, она сидела прямо, руки неподвижно лежали на коленях, она едва дышала, словно он был какой-то дикой тварью или птицей, которую может вспугнуть легчайшая дрожь ее ноздрей или трепет ее груди. «Нет, я. Я буду его воспитывать, я позабочусь, чтобы он... ему не надо никакого имени; тебе не надо больше ни видеть его, ни о нем беспокоиться. Мы попросим генерала Компсона продать часть земли; он ее продаст, и ты сможешь уехать. На север, в большие города, где не будет иметь значения, даже если... Но они этого не сделают. Они не посмеют. Я скажу им,

что ты—сын Генри, и кто сможет или посмеет это оспаривать...» — а он стоял, и смотрел он на нее или не смотрел, она не знала, потому что он опустил голову и лица его — ничем не выдававшего его чувств, тонкого лица — не было видно; она следила за ним, боясь пошевелиться, она прошептала вполне ясно, вполне четко, но так, что звуки ее голоса едва достигали его слуха: «Чарльз» — а он ответил ей: «Нет, мисс Сатпен»; и она, все еще не шевелясь, не дрогнув ни единым мускулом — казалось, будто она стоит возле зарослей, куда ей удалось заманить какое-то животное; она его не видит, но знает, что оно за ней следит; оно не пригальось, не испугалось, не встревожилось, а просто пребывает в легком возбуждении, всегда сопутствующем свободным существам, что не оставляют даже следа на земле, которая их носит, и, не смея протянуть руку, чтобы его коснуться, — она обращается к нему мягким, замирающим голосом, исполненным того небесного соблазна, что составляет главное оружие женщины: «Называй меня тетя Джудит, Чарльз». Да, кто знает, сказал ли он что-нибудь или, вовсе ничего не сказав, повернулся и вышел из комнаты, а она все еще сидела, не шевелясь, не двигаясь с места, смотрела на него, все еще видела его, и взор ее, проникая сквозь стены в ночную тьму, следил за тем, как он шел обратно по заросшему травкою проулку между заброшенными полуразвалившимися хижинами к лачуге, где ждала его жена, шагал тернистым каменным путем к Гефсимании, что сам себе определил и создал, где сам себя распял и, на мгновение сойдя со своего креста, теперь вновь к нему возвращался.

Да, может, кто и знал все это, но только не твой дедушка. Он знал лишь то, что знал весь город и весь округ: что чужой мальчик, за которым Клиты присматривала и которого учила работать на огороде и в поле, который уже взрослым мужчиной сидел в тот день перед судом — голова перевязана, одна рука висит на повязке, на другой защелкнуты наручники, — который исчез, а потом снова вернулся с законной женой, похожей на обезьяну из зверинца, теперь взял в аренду часть Сатпеновой плантации и довольно успешно ее обрабатывал, трудился в полном одиночестве, упорно и настойчиво, насколько ему позволяли его физические силы, его тело, руки и ноги, все еще казавшиеся слишком хрупкими и слабыми для той задачи, что он себе поставил; который жил отшельником в собственноручно перестроенной хижине, где вскоре родился его сын, и не яхсался ни с белыми, ни с черными (Клиты теперь его не караулила, в этом уже не было нужды), и которого за следующие четыре года видели в Джефферсоне всего три раза, да и то лишь в тех случаях, когда, по словам негров, смертельно боявшихся как его, так и Клиты с Джудит, он был либо не в себе, либо мертвецки пьян, на Привокзальной улице, где находились негритянские лавки; его увидел оттуда твой дедушка (а если он был слишком пьян и буянил — городские полицейские); дедушка оставлял его у себя до тех пор, пока его жена, эта черная мегера — в ней, казалось, жили только глаза и руки, — не сможет запречь мулов, приехать, взвалить его на тележку и отвезти домой. Поэтому вначале никто даже не заметил, что он не появляется в городе, и только главный врач округа сказал своему дедушке, что у него желтая лихорадка, что Джудит велела перенести его к ней в дом и сама за ним ухаживает и что теперь Джудит тоже заболела, и тогда твой дедушка попросил его известить об этом мисс Колдфилд, а сам поехал туда. Он не спешил; он сидел в седле, пока наконец Клиты не выглянула из окна верхнего этажа и не сказала, что «им ничего не надо». Через неделю твой дедушка убедился, что Клиты была права или, во всяком случае, оказалась права позже, хотя первой умерла Джудит.

— Вот как, — сказал Квентин. Да, подумал он. Слишком долго, слишком много; тут он вспомнил, как при виде пятой могилы ему пришло в голову, что человек, хоронивший Джудит, должно быть, опасался, как бы остальные покойники от нее не заразились, и поэтому ее могилу поместили на противоположной стороне огороженного участка и отодвинули от остальных насколько позволяла ограда, и подумал *На этот раз отцу не придется говорить: «Подумай»* — ведь он догадался, кто заказал и купил этот надгробный камень, догадался еще прежде, чем прочитал высеченную на нем надпись; он представил себе, как Джудит, почувствовав приближение смерти, поднялась с постели и (возможно, в бреду) старательно вывела печатными буквами инструкции для Клиты; как Клиты прожила следующие двенадцать лет, воспитывая ребенка, родившегося в старой негритянской хижине; как она экономила, считала каждый грош, чтобы накопить денег и расплатиться за надгробье, в счет которого Джудит за двадцать четыре года до своей смерти дала его деду сто долларов; как она (Клиты) поставила на стол ржавую жестянку, битком набитую монетами по пять и десять

центов и истрепанными бумажками, и, не обращая внимания на все его попытки отказать от этих денег, не сказав ни слова, вышла из конторы. Чтобы прочесть надпись на этом камне, ему тоже пришлось смахнуть с него кедровые иглы, и, глядя на появляющиеся из-под ладони буквы, он с удивлением размышлял о том, как они могли сохраниться здесь, как они не сгнули со света в тот самый миг, когда соприкоснулись с жестокой и страшной угрозой: *Джудит Колдфилд Сатпен. Дочь Эллен Колдфилд. Родилась 3 октября 1841 года. 42 года, 4 месяца и 9 дней провела в унижениях и тяжких трудах и наконец опочила 12 февраля 1884 года. Остановись, смертный. Одумайся, пока не поздно. Остерегайся тщеславия и безрассудства. И тут Квентин подумал Да. Незачем спрашивать, кто это сочинил и кто его сюда поставил. Да, подумал он, слишком долго, слишком много. Мне тогда не надо было слушать, но я не мог не слышать, а теперь мне приходится выслушивать все это снова, потому что сын говорит точь-в-точь как отец. Жизнь женщин удивительна, право, удивительна. Они живут и дышат в неуловимом нереальном мире, где бесплотные тени и образы событий — рождений и смертей, недоуменья, скорби и тоски — движутся легко и чинно, как гости, что играют в шарады на лужайке, чьи жесты безукоризненно изящны, но лишены смысла и никому не могут повредить. Этот камень заказала мисс Роза. Она выманила его у судьы Бенбоу. Он был душеприказчиком ее отца, хотя тот и не назначал его душеприказчиком, потому что после мистера Колдфилда не осталось ни завещания, ни имущества, кроме дома и дочиста разграбленной лавки. Поэтому он сам себя назначил, а возможно, сам себя избрал на каком-то совете соседей и сограждан, собравшихся обсудить ее дела и решить, как с нею быть, когда они окончательно убедились, что никакая сила в мире, и уж во всяком случае никто из людей и ни одно людское собрание, никогда не сможет заставить ее вернуться к племяннице и зятю — тех самых соседей и сограждан, что по ночам оставляли у нее на крыльце корзинку с провизией и посуду (покрытые салфетками тарелки с едой), которую она никогда не мыла, а грязной засовывала обратно в пустую корзинку и ставила корзинку на ту же ступеньку, где перед тем ее нашла, словно желая совершить иллюзию, будто корзинки вообще никогда не существовало или что она уж во всяком случае к ней не прикасалась и никогда ее не опустошала, не выходила из дому и не брала корзинку в руки, и все это без тени робости или упрямства — ведь на самом деле она, разумеется, пробовала еду, чтоб узнать, какова она на вкус и как приготовлена, жевала ее, проглатывала, чувствовала, что она переваривается, но вопреки неопровержимым доказательствам существования этой корзинки упорно тешила себя иллюзией, будто всего того, что есть, на самом деле не существует, и, как это умеют женщины, упивалась самообманом — тем же самообманом, в силу которого не желала признавать, что продажа лавки все же кое-что ей принесла, что она вовсе не осталась нищей; она упорно отказывалась взять у судьы Бенбоу наличные деньги, вырученные от продажи лавки, и тем не менее десятками всевозможных способов эту сумму использовала (а спустя несколько лет даже и значительно ее превысила), например заставляла случайно проходивших мимо ее дома негритянских парней подмести ей двор, хотя они, как и весь город, отлично знали, что об оплате не будет и речи, что они ее даже больше не увидят, хотя и не сомневались, что она караулит их из-за оконной занавески, а что заплатит им судьа Бенбоу. Она постоянно заходила в лавки, требовала с прилавков и полок всевозможные вещи — точь-в-точь как потребовала от судьы Бенбоу надгробный камень ценою в двести долларов, — забирала их и удалялась; с той же патологической хитростью, с какой она не желала мыть тарелки и салфетки из корзиночек, она упорно уклонялась от каких-либо переговоров о состоянии своих дел с судьей Бенбоу, ибо, конечно, не могла не знать, что полученные ею от него суммы уже много лет назад превратили (он, Бенбоу, держал у себя в конторе толстую папку, на которой несмываемыми чернилами было написано: Имущество Гудью Колдфилда. Секретно. После смерти судьы его сын Перси вскрыл эту папку и обнаружил в ней огромное количество погашенных квитанций тотализатора и ставок на скаковых лошадей, чьи кости давным-давно истлели неведомо где, лошадей, которые сорок лет назад выигрывали на ипподроме в Мемфисе; а также два грессбуха — в один из них судьа Бенбоу своей рукой добросовестно записывал каждую дату, кличку лошади, выиграла она или проиграла и сколько он на нее поставил, а другой показывал, как он сорок лет подряд вносил на этот мифический текущий счет каждый выигрыш и сумму, равную каждому проигрышу) все, что было выручено от продажи лавки.*

Но ты не слушал, потому что ты давно уже все это знал, усвоил, впитал, как

это бывает с детьми, не через посредство речи, а как-то иначе, потому что ты родился и жил рядом, вместе со всем этим, и потому рассказы твоего отца не столько что-то тебе говорили, сколько слово за слово касались чутких струн твоей памяти. Ты бывал здесь и раньше, ты не раз видел эти могилы, когда мальчишкой бродил здесь не ради охоты, а просто из любопытства, и этот старый дом ты тоже видел, ты знал, как он должен выглядеть, еще прежде чем впервые бросил на него взгляд, к той поре, когда ты уже погрел и однажды вместе с четырьмя такими же мальчишками, как ты сам, отправился туда, и каждый из вас подбивал остальных вызвать оттуда привидение: ведь в этом доме непременно должны были водиться привидения, иначе и быть не могло, хотя он вот уже двадцать шесть лет стоял совершенно пустой и совсем не страшный, и никто никаких привидений не видел и ничего про них не говорил, пока какие-то переселенцы из Арканзаса, приехавшие в битком набитом фургоне, не решили там переночевать, но не успели они выгрузиться из фургона, как что-то случилось. Что именно, они не рассказали, а может, не могли и не хотели рассказывать, однако это заставило их мигом забраться обратно в фургон, и мулы галопом поскакали назад по аллее, так что через десять минут их там и след простыл и они единым духом домчались до самого Джефферсона. Ты видел прогнившую оболочку дома с покосившимся портиком, облупленными стенами, провисшими ставнями и заколоченными окнами — дома, стоящего посреди плантации, которая вернулась в первобытное состояние, которую продавали, покупали, снова и снова продавали и покупали, и так без конца. Нет, ты не слушал, в этом вовсе не было нужды; потом собаки зашевелились, встали на ноги, ты поднял глаза — и впрямь, как предсказал отец, Ластер остановил мула и обеих лошадей под дождем примерно в полсотне ярдов от кедровой рощи; закутавшись в пеньковый мешок, он сидел, подтянув колени к груди, а вокруг в клубах пара суетились лошади и собаки, и казалось, будто он глядит на тебя и на отца из какого-то мрачного, но не ведающего физической боли чистилища. «Поедем, спрячемся от дождя, Ластер,— сказал отец. — Я не позволю старому полковнику тебя обидеть». «Нет, уж лучше нам ехать домой,— отозвался Ластер. — Сегодня охоты все равно больше не будет». «Мы промокнем,— возразил отец. — Знаешь что, давай поедем в этот старый дом. Там хоть будет сухо». Но Ластер не двинулся с места, он так и сидел под дождем, придумывая причины, чтобы туда не ехать,— вроде того, что там течет крыша, что без огня мы все трое схватим простуду, а пока мы туда доберемся, мы все равно насквозь промокнем, так что уж лучше ехать прямо домой; отец смеялся над Ластером, но ты не особенно смеялся: ведь хоть ты и не был черным, как Ластер, ты был не старше его, и вы с Ластером и еще с тремя мальчишками — все пятеро ровесники — пришли туда в тот день и начали подзуживать друг друга войти в дом еще задолго до того, как приблизились, подошли к нему сзади, потому проулку, где некогда стояли хижины рабов, а теперь были непроходимые заросли сумака, хурмы, киплолести и шиповника, скрывавшие сваленные в кучи остатки бревенчатых стен, жирличных дымоходов и крытых гранкой крыши,— все эти хижины давно развалились, кроме одной, той самой; вы подошли к ней; сначала вы совсем не заметили старуху, потому что смотрели на мальчишку, Джима Бонга,— нескладного, губастого светло-коричневого мальчишку чуть постарше и побольше вас, в залатанной, выцветшей, но чистой рубашке и в штанах, из которых он вырос; он возился в огороде возле хижины, так что вы даже не знали, что она тоже там, пока вдруг все как один не вздрогнули, не обернулись и не увидели, что она сидит на стуле, прислоненном к стене хижины, и смотрит на вас — маленькая, высохшая, чуть побольше обезьянки, очень старая — лет ей могло быть сколько угодно, тысяч. Этак десять,— в широченных выцветших юбках, на голове безупречно чистый платок, босые ноги обвилились вокруг ножек стула, как у обезьяны,— сидит, курит глиняную трубку и смотрит на вас глазами вроде сапожных кнопок, воткнутых в бесчисленные морщинки светло-коричневого лица, смотрит и, не вынимая изо рта трубки, говорит так, что по голосу ее почти не отличишь от белой женщины: «Что вам тут надо?» — один из вас, помедлив, отвечает: «Ничего» — и вы все как один бросаетесь врассыпную, не зная ни кто первым пустился наутек, ни почему — ведь вы ничуть не испугались; вы мчались по бесплодным, заросшим сорняками, изрытым потоками дождя полям, добрались до старой полусгнившей изгороди, перелезли, перевалились через нее, и только тогда земля, небо, кусты, деревья и лес снова сделались такими же, как прежде, и все снова встало на свои места.

— Да,— сказал Квентин.

— Это был тот самый парень, о котором говорил Ластер,— сказал Шрив. — И твой отец снова на тебя посмотрел, потому что ты раньше этого имени не слышал, а в тот день, когда вы увидели его на огороде, ты даже не подумал, что его вообще как-нибудь зовут, и ты спросил: «Кто? Джим, а дальше как?» — и Ластер ответил: «Это он и есть. Тот светлокожий парень, что живет там, у старухи», а твой отец все еще на тебя смотрел, и тогда ты опять спросил: «Как его фамилия?» «Бонд»,— ответил Ластер. Да, это был тот самый, только фамилия его теперь была уже не Бон, а Бонд, но ему было все равно — он унаследовал от матери то, чем он был, а от отца только то, чем никогда не мог стать. И если б твой отец спросил его, не сын ли он Чарльза Бона, он бы не только этого не знал, ему бы это было все равно; а если б ты ему и сказал, чей он сын, это едва задело бы нечто, что ты (а не он) назвал бы его сознанием, и исчезло бы оттуда гораздо раньше, чем у него появился, какой-нибудь отклик — радость или гордость, горе или гнев.

— Да,— сказал Квентин.

— И он прожил двадцать шесть лет в той хижине, на задворках дома с привидениями, вместе со старухой, которой теперь уже, наверно, перевалило далеко за семьдесят, но у которой под платком не было ни единого седого волоса, чье тело не обмякло, а приобрело такой вид, словно она, как все нормальные люди, старела до какой-то определенной точки, а потом остановилась и вместо того, чтоб поседеть и расплыться, начала усыхать, так что кожа у нее на лице и на руках сморщилась, покрылась миллионами мелких, тонких, как паутина, морщинок, а тело все уменьшалось и уменьшалось, словно его высушили в печке, как жители острова Борнео сушат головы пленников; она вполне могла сойти за привидение, если б в таком когда-либо возникла нужда, если б кому-то взбрело в голову обокрасть этот дом: чего отнюдь не было; если б там было что украсть, чего отнюдь не было; если б остался хоть один из них, кто бы там прятался или скрывался, чего отнюдь не было. И все-таки эта старушенция, эта тетушка Роза, сказала тебе, что там кто-то прячется, а ты ответил, что это Клити или Джим Бонд, а она сказала Нет, и тогда ты сказал, что это наверняка они, потому что демон умер, и Джудит умерла, и Бон умер, а Генри забрался в такую даль, что не оставил даже и могилы; но она сказала Нет, и тогда ты отправился туда, проехал ночью на повозке эти двенадцать миль и нашел в доме Клити и Джима Бонда и сказал Вот видите? а она (тетушка Роза) продолжала твердить Нет, и тогда ты пошел дальше, и там было?

— Да.

— Подожди,— сказал Шрив. — Ради бога, подожди.

VII

Теперь на рукаве у Шрива не было снега, не было и рукава, виделось только гладкое, пухлое, как у купидона, предплечье и еще рука; рука двинулась к пятну света от лампы, взяла трубку в пустой банке из-под кофе, в которой он держал трубки, набила ее и зажгла. Значит, на улице температура около нуля, подумал Квентин; скоро он откроет окно и начнет делать дыхательные упражнения; раздевшись до пояса и крепко сжав кулаки, он будет глубоко дышать на фоне теплого розоватого отверстия, выходящего на студеный четырехугольный дворик. Но он еще не начал; с того момента, как Квентин это подумал, прошел уже час, и теперь трубка лежала на столе выкуренная, опрокинутая и пустая, из нее высыпалось немного пепла, а Шрив, скрестив на столе розовые, покрытые рыжеватыми волосками руки, поглядывал на Квентина сквозь непроницаемые стекла очков, в которых двумя лунами сияло отражение лампы.

— Значит, он просто хотел иметь внука,— сказал Шрив. — Вот чего он добивался. О Господи, этот Юг просто великолепен, верно? Лучше всякого театра, верно? Лучше Бен Гура, верно? Не удивительно, что временами оттуда нужно удирать, верно?

Квентин ничего не ответил. Он спокойно сидел за столом, положив руки по обе стороны раскрытого учебника, на котором покоилось письмо, четырехугольный лист бумаги, сложенный посередине и теперь на три четверти развернувшийся, причем большая его часть под воздействием рычага, которым служил этот старый гиб, поднялась и повисла в воздухе, словно вопреки всем законам природы лишилась веса; впрочем, письмо лежало так косо, что даже и без этого дополнительного искажения

он не мог бы ничего в нем ни прочесть, ни разобрать. Однако он все же смотрел на письмо — во всяком случае, так казалось Шриву, — слегка опустив голову, погружившись в раздумье, словно чем-то недовольный.

— Он сообщил об этом дедушке, — сказал он. — Это было, когда архитектор сбежал или пытался сбежать в долину реки, чтобы вернуться в Новый Орлеан или куда-то там еще, и он... (— Кто, демон? — спросил Шрив. Квентин не ответил, не остановился; голос его звучал ровно и как-то странно — не то сонно, не то с затаенной догадкой, и потому Шрив — на нем были только очки и больше ничего (ниже талии его тело закрывал стол, так что всякий вошедший в комнату решил бы, что он совершенно голый), он напоминал бюст в стиле барокко, вылепленный из раскрашенного сдобного теста неким скульптором, отчасти склонным к извращенным видениям, какие бывают в ночных кошмарах, — Шрив сидел тихо и смотрел на него пристальным задумчивым взглядом)... он известил дедушку и остальных, — продолжал Квентин, — взял своих диких негров и гончих собак, выследил архитектора и через два дня загнал его в пещеру на берегу реки. Это было вторым летом, когда они заготовили весь кирпич и заложили фундамент и срубили и обработали большую часть строевого леса, и однажды архитектор вдруг почувствовал, что не может больше выдержать, или испугался, что умрет с голоду или что у диких черномазых (а может, и у самого полковника Сатпена) кончится провиант и они его сожрут, а может, его обуяла тоска по родине или ему просто захотелось уйти... (— Может, у него была девушка, — вставил Шрив. — А может, ему просто понадобилась девушка. Ты ведь говорил, что у демона и у черномазых их было всего две. — Квентин и на это не ответил; возможно, он опять не слышал; он продолжал говорить тем же странным спокойным глухим голосом, словно обращался к столу, к книге на столе, к лежащему на книге письму или к своим рукам, лежащим по обе стороны книги)... и он ушел. Исчез среди бела дня, прямо на глазах у двадцати одного человека. А может, Сатпен как раз повернулся к нему спиной, а черномазые видели, как он уходит, но не сочли нужным об этом говорить — будучи дикарями, они, наверно, не знали, что у Сатпена на уме, хоть он целыми днями и возился вместе с ними нагишом в грязи. По-моему, черномазые вообще понятия не имели, зачем нужен этот архитектор, что он должен делать, уже сделал, может сделать или делает, и они, наверно, подумали, что Сатпен сам его отослал, велел ему уйти с глаз долой — утопиться, умереть или попросту убраться на все четыре стороны. Так он и сделал — среди бела дня вскочил и в своем вышитом жилете, в галстуже, как у маленького лорда Фаунтлероя, в шляпе, какие обычно носят члены конгресса — баптисты (шляпу он, наверно, держал в руке), убежал в болото, а черномазые следили за ним, пока он не скрылся из виду, а потом опять взялись за работу, и Сатпен хватился его только вечером, скорее всего за ужином, и тогда черномазые ему все рассказали, и он объявил, что завтра работы не будет, потому что ему надо раздобыть собак. Не то чтобы ему нужны были собаки — он мог пустить по следу и своих черномазых, но он, наверно, подумал, что гости не привыкли пускать по следу черномазых и захотят, чтобы были собаки. А дедушка (он тогда тоже был молодой) захватил шампанское, другие гости захватили виски, и вскоре после заката солнца все начали съезжаться к дому, который еще стоял без стен — лишь несколько рядов кирпичей торчало из земли; но их это ничуть не трогало, потому что, как рассказывал дедушка, спать они не ложились. Они сидели у костра, пили шампанское и виски, закусывали окороком оленя, которого застрелил Сатпен, а в полночь явился человек с собаками. Вскоре рассвело, но собаки сначала не могли взять след, потому что несколько диких черномазых уже с милю пробежали по следу — просто так, забавы ради. Но в конце концов на след они напали; собаки и черномазые шли по речной пойме, а всадники ехали с краю, где дорога была лучше. Но дедушка и полковник Сатпен ехали с собаками и с черномазыми, потому что Сатпен боялся, как бы черномазые не изловили архитектора прежде, чем он успеет их догнать. Им с дедушкой пришлось немало пройти пешком — один из черномазых обходил с лошадьми топи, — а потом они снова садились в седло. Дедушка рассказывал, что погода была прекрасная и что след был хороший, но Сатпен утверждал, что было бы еще лучше, если б архитектор дождался октября или ноября. Вот тогда-то он и рассказал дедушке о себе.

Сатпен был простодушен, вот в чем была его беда. Ему вдруг открылось — не то, что он хотел сделать, а то, что ему непременно нужно, необходимо было сделать, хотел он того или нет, потому что не сделай он этого, ему до конца дней своих

не жить в ладу с самим собой и с тем, чем каделили его все люди, которые умерли ради того, чтобы он жил на свете, и хотели, чтобы он передал это дальше; не жить, зная, что все умершие ждут и следят, чтобы он сделал это как следует, сделал все как следует, так, чтобы он мог смотреть в глаза не только давно умершим, но и всем живым, что придут после него, когда и он тоже умрет. И в ту самую минуту, когда ему открылось, что именно он должен делать, он понял, что меньше всего на свете к этому подготовлен: ведь он не только не знал, что ему придется это делать, он даже не знал, что такие вещи существуют, что их можно захотеть, что их необходимо сделать, не знал чуть ли не до четырнадцати лет. Ведь он родился в Западной Виргинии, в горах (— Только не в Западной Виргинии, — сказал Шрив. — Как так? — спросил Квентин. — Только не в Западной Виргинии, — повторил Шрив. — Потому что если в 1833 году в Миссисипи ему было двадцать пять лет, значит, он родился в 1808 году. А в 1808 году не было никакой Западной Виргинии, потому что... — Ладно, — сказал Квентин. — ...Западная Виргиния была принята только... — Ладно ладно, — сказал Квентин — ...была принята в Соединенные Штаты только... — Ладно ладно ладно, — сказал Квентин.)... он родился там, где те немногие, кого он знал, жили в бревенчатых хижинах, в которых так же кишмя кишели ребягишки, как и в той хижине, в которой родился он; там, где мужчины и молодые парни либо ходили на охоту, либо валялись на полу у очага, а женщины и девушки постарше переступали через них, чтобы добраться до очага и сварить еду; там, где единственными цветными были индейцы, да и тех можно было увидеть лишь в прицел ружья; родившись там, он даже никогда не слышал, не мог представить себе, что существует место, где землю аккуратно поделили и присвоили люди, которые только и делают, что скачут по ней верхом на красивых лошадях или сидят разодетые в красивые наряды на верандах своих больших домов. в то время как другие на них работают; он тогда еще не мог себе представить, что такая жизнь существует, или что кто-нибудь хочет такой жизнью жить, или что существуют все те вещи, какие у них там были, или что владельцы этих вещей не только могут свысока смотреть на тех, у кого их нет, но что в этом им помогают не только другие владельцы таких же вещей, но даже и те самые люди, на кого они смотрят свысока, те, у кого этих вещей нет и никогда не будет. Ведь там, где он жил, земля принадлежала всем и каждому, и потому человек, который бы не поленился обнести забором кусок земли и сказать: «Это мое», был просто сумасшедшим; а что до вещей, то ни у кого не было их больше, чем у тебя, потому что у каждого их было ровно столько, сколько он был в силах взять и удерживать, и лишь тот сумасшедший не поленился бы захватить или даже просто пожелать больше вещей, чем он способен был бы съесть либо обменять на порох и виски. Потому-то он и не знал, что существует земля, которая вся аккуратно разделена и закреплена, а на ней живут люди, которые тоже аккуратно разделены и закреплены в зависимости от того, какого цвета у них кожа и чем они владеют, и где немногие присвоили себе право не только распоряжаться жизнью и смертью других, не только их обменивать, покупать и продавать, но еще и заставлять других людей без конца оказывать им разные личные услуги, например наливать виски из бутылки в стакан и подносить им этот стакан или снимать с них сапоги, когда они ложатся спать, иначе говоря, делать за них все, что люди с незапамятных времен должны были делать и делают сами за себя, пока не умрут, хотя это вовсе никому не нравится и никогда не понравится, но что все, кого он знал, никогда не помышляли переложить эти дела на других, точно так же как им не пришло бы в голову, что за них могут жевать, глотать или дышать другие. Ребенком он не прислушивался к туманным и путанным рассказам о роскошной жизни на Тайдуотере², которые проникали даже к ним в горы; он тогда не понимал, о чем идет речь; став подростком, он их не слушал, потому что вокруг не было ничего, с чем эти рассказы можно было бы сравнить или чем измерить, чтобы придать словам жизнь и смысл; он никак не мог понять, о чем идет речь, потому что был слишком занят своими мальчишескими делами; когда же он стал юношей и любопытство извлекло из памяти те рассказы, о которых он и думать забыл, не помнил даже, что когда-то их слышал или над ними размышлял, они его заинтересовали, и он даже захотел взглянуть на эти места, но без всякой зависти и сожаления, просто он был уверен, что одни люди плодятся в одном месте, а другие — в другом; одних наплодили богатыми (он мог бы сказать, везучими), а

* Тайдуотер — прибрежная полоса Виргинии.

других нет; причем (так он сказал дедушке) от самих людей почти ничего не знает, а значит, им не о чем жалеть — ведь ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может извлечь из подобного слепого случая право или основание смотреть свысока на других, на любых других. И поэтому он мало что знал о таком мире, куда сам туда не попал.

Случилось это так. Они попали туда все, всей семьей; они вернулись на побережье, с которого пришел первый Сатпен (очевидно, когда корабль с арестантами из Олд-Бейли бросил якорь в Джеймстауне); они кубарем скатились с гор на Тайдуотер просто под действием силы тяготения, словно оборвалась какая-то тонкая ниточка, удерживавшая семью в горах. Он, кажется, говорил дедушке, что в то время умерла его мать, и отец его сказал, что она была женщина с норовом, но он все равно будет по ней скучать, и что это она заставила отца забраться так далеко на Запад. А теперь вся их шайка, начиная с отца и взрослых сестер и кончая малышом, который еще не умел ходить, начала сползать обратно с гор; беспорядочной кучей, словно никому не нужные обломки на поверхности разлившейся реки, они покатились вниз, самопроизвольно набирая скорость, как это бывает с косными неодошенными предметами, которые порою упорно движутся против течения, пересекали Виргинское плато и очутились в болотистых низинах возле устья Джеймс-ривер. Он не знал, что вызвало их переезд, а может, и знал, но забыл — то ли оптимизм, какая-то надежда, зародившаяся в груди его отца, то ли тоска по родным местам, — потому что не имел понятия, откуда отец его родом: из тех мест, куда они вернулись, или нет; не имел понятия, знает ли, помнит ли об этом сам отец, хочет ли он их вспомнить и найти. Он не знал, то ли кто-то, какой-нибудь путник, рассказывал ему о тихом месте, где хорошо живется, где добыть теплый кров и пропитание намного легче, чем в горах, то ли кто-то, кого отец прежде знал или кто прежде знал отца, случайно про него вспомнил и подумал; то ли какой-то родственник, который и хотел бы о нем забыть, да не смог, послал за ним, и он послушался и поехал — не за обещанной работой, а просто в поисках праздности; быть может, надеясь, что благодаря родству ему удастся уклониться от работы — если это и в самом деле было родство, если же нет, то просто уповая на собственную косность или на тех богов, что до сих пор его охраняли. Запомнил он только одно... (— Он, демон, — вставил Шрив)... однажды утром отец встал, велел старшим дочерям собрать все, что у них было съестного; кто-то запеленал младенца, еще кто-то залил водою огонь в очаге, и они стали спускаться с горы вниз, к дорогам. У них теперь была кособокая двухколесная тележка и пара колченогих волов. Он говорил дедушке, что не помнит, где, когда и как отец их раздобыл. Ему в то время было десять лет; двое старших братьев незадолго до того ушли из дому, и с тех пор о них не было ни слуху ни духу. Волами правил он, потому что едва они приобрели тележку, как отец взял себе за правило перемещаться в пространстве, лежа ничком в тележке среди одеял, фонарей, ведер, узлов с тряпьем и ребятишек; забыв обо всем на свете, он храпел, и от него несло винным перегаром. Так он об этом рассказывал. Он не помнил, сколько длилось их путешествие — недели, месяцы или целый год, помнил только, что, когда они выехали, одна из его старших сестер была незамужней, а когда они наконец остановились, все еще не вышла замуж, но стала матерью прежде, чем они потеряли из виду последнюю гряду голубых гор. Он не помнил, застала ли их в дороге зима, весна или лето или же, опускаясь все ниже и ниже, они постепенно, одно за другим обгоняли времена года, а может, смена времен года объясняется самим спуском, они же двигались не параллельно времени, а спускались перпендикулярно температурным и климатическим зонам; это был как бы (периодом назвать это нельзя, потому что, сколько он помнил или сказал дедушке, что помнил, это не имело ни определенного начала, ни определенного конца. Может, точнее будет переход) переход от какой-то иступленной инертности и терпеливой неподвижности, когда они сидели на тележке у дверей трактиров и кабаков, ожидая, чтоб отец напился до бесчувствия, к какому-то призрачному бесцельному перемещению — после того, как они извлекали старика из какой-нибудь пристройки, сарая, амбара или сточной канавы и взваливали на тележку; при этом они, казалось, нисколько не продвигались вперед, а неподвижно висели в воздухе, между тем как сама земля меняла свою форму, становилась ровнее, расширяла ущелье, в котором все они родились, вздымалась как волна прибой; в ней всплывали, исчезали, сменяли друг друга чужие грубые звер-

ские рожи у дверей кабаков, куда старик входил и откуда его выносили или вышвыривали (один раз это сделал огромный верзила-черномазый, первый повстречавшийся им негр-раб, — он вышел из дверей, взвалил себе на плечи старика словно мешок с мукой; при этом он, черномазый, громко хохотал, разинув пасть, полную белых зубов — ни дать ни взять надгробные камни на кладбище); земля, вселенная, вздымалась, проплывая мимо, словно тележка, не катилась вперед, а топталась на круту. И прошла весна, и наступило лето, а они все еще двигались к какому-то неведомому месту — его никто из них никогда не видел, ничего о нем не знал и вовсе не желал туда ехать, — удаляясь от другого места, от глухого уголка на склоне холма, куда никто из них, наверно, не смог бы найти дорогу — кроме, пожалуй, отца, который почти все время был не в себе, и ему мерещилось, будто он гоняется за малиновыми слонами и змеями, — и перед застывшим от изумления взором этих спокойных и рассудительных жителей захолустья возникали и исчезали чужие места и чужие лица; кабаки и трактиры теперь превращались в деревушки, деревушки в поселки, поселки в города; земля становилась все ровнее и ровнее, ее пересекали добротные дороги и поля, на полях работали черномазые, а белые люди верхом на прекрасных лошадях за ними присматривали; другие прекрасные лошади и прекрасно одетые люди — у них даже выражение лица было не такое, как у горцев, — встречались возле трактиров, куда отца даже не впускали через парадный ход и откуда его немедленно выдворяли, как только он по обычаю деревенской гольтыбы начинал буянить (так что теперь они стали двигаться намного быстрее); и теперь никто не смеялся и не улюлюкал, хотя и раньше улюлюканье и смех были грубые, а совсем не добродушные.

Вот что с ними происходило. Он постиг разницу не только между белыми и черными, но начал понимать, что существует еще разница между белыми и белыми и что она измеряется отнюдь не способностью переставить с места на место накопавально, выдавить кому-нибудь глаза или выпить сколько влезет виски, а потом подъяться и выйти из комнаты. Он начал это усваивать, еще сам того не сознавая. Он все еще полагал, что вся разница только в том, где и при каких обстоятельствах человек родился, повезло ему или не повезло; что везучим еще больше, чем невезучим, лень и неохота извлекать выгоду из своего везения или даже думать, будто от него может проистечь что-нибудь, кроме самого везения; он все еще полагал, что везучие жалеют невезучих куда больше, чем невезучие когда-либо пожалуют их. Все это он обнаружит позднее. Он точно знал, когда он это обнаружил — в тот самый момент, когда открыл в себе простодушие. Нельзя сказать, что он давно стремился к этому моменту, к этому мгновенью; важно было то, как он к нему пришел; это было мгновенье, когда они наконец поняли, что больше нигде не едут — не потому, что они остановились и как-то устроились, это и прежде случалось с ними в пути; он вспомнил, как однажды почувствовалась разница между тем, когда у тебя есть теплая одежда и башмаки и когда их нет; это было в коровнике, где ребенок его сестры появился на свет и, как он сказал дедушке, сколько он помнил, был так же и зачат. Дело в том, что теперь они наконец остановились. Где они находились, он не знал. Сначала, первые дни, недели или месяцы, чутье обитателя лесов, приобретенное им в тех местах, где он вырос, а может, доставшееся по наследству от обоих исчезнувших братьев — один из них как-то раз пробрался на Запад до самой реки Миссиссипи, — это чутье досталось ему вместе с поношенными штанами из оленьей кожи и другими вещами, которые братья бросили в хижине, покидая ее навсегда; оно еще больше обострилось, когда он мальчишкой охотился на мелкую дичь, и теперь помогало ему ориентироваться, так что он (по его же собственным словам) со временем сумел бы найти дорогу обратно к их старой хижине в горах. Но то мгновенье, когда он еще мог точно сказать, где он родился, давно миновало. Прошло уже много недель, месяцев, а может, даже и целый год с тех пор, как он потерял счет своим годам и уж никогда больше не мог их определить — он же говорил дедушке, что не может с точностью до года сказать, сколько ему лет. Теперь он уже не знал ни откуда и зачем он приехал, ни где находится. Он просто был там и его окружали лица, почти все знакомые ему с детства лица (хотя число их уменьшалось, редело, несмотря на старания его незамужней сестры, которая очень скоро — так он сказал дедушке — и опять без всякой свадьбы родила еще одного ребенка; уменьшалось от скверного климата, сырости и жары); он жил в хижине почти точь-в-точь такой же,

что и та, в горах, только та была открыта всем ветрам, а эта притулилась на низком берегу большой реки, которая порой, казалось, застывала в неподвижности, а порою даже начинала течь вспять; где на его братьев и сестер после ужина нападала хворь, а к завтраку их уже не было на свете; где полчища черномазых под присмотром белых людей сажали и выращивали растения, о каких он прежде и слыхом не слыхал. Отец его теперь был занят не только выпивкой; во всяком случае, после завтрака он уходил из хижины, трезвым возвращался к ужину и ухитрялся кое-как всех их прокормить. Там был также человек, которому принадлежала вся земля, все черномазые и, по-видимому, также и все те белые, которые присматривали за работой; человек этот жил в своем доме, самом большом из всех, какие ему в жизни приходилось видеть, и проводил чуть ли не весь день, развалясь в гамаке из бочарной клепки, подвешенном между двумя деревьями (он рассказывал дедушке, как он сквозь густой кустарник, окаймлявший лужайку, подползал поближе к этому человеку и следил за ним), без башмаков, а черномазый, наряженный и в будни в такую хорошую одежду, какой ни он сам, ни его отец, ни сестры сроду не носили и даже не помышляли носить, только и делал, что обмахивал его и подавал ему питье. И вот он (ему тогда было не то одиннадцать, не то двенадцать, не то тринадцать — в это время он как раз понял, что безвозвратно утратил счет своим годам) целый день лежал в кустах, наблюдая за этим человеком, который не только носил башмаки легком, но которому даже и не нужно было их надевать; между тем как его сестры поминутно выскакивали из дверей хижины за две мили от большого дома и кричали, чтоб он принес им дров или воды.

Но он по-прежнему не завидовал человеку, за которым наблюдал. Он мечтал о таких башмаках и, наверное, хотел бы, чтоб у его отца тоже была разодетая в тонкое черное сукно обезьяна, которая подавала бы ему кувшин с питьем, приносила его сестрам дрова и воду для стирки и стряпни и растапливала печку, чтоб ему самому ничего не надо было делать. Может, он даже уразумел, как его сестры радовались бы, что им прислуживают, а главное, что это видят соседи (другие такие же белые, жившие в других хижинах, не таких добротных и совсем не таких прибранных и уютных, как те, в которых жили черномазые рабы, но зато осиянных ярким светом свободы, какого обитатели негритянских хижин, несмотря на крепкие крыши и оштукатуренные стены, были лишены). Ведь он еще не только не лишился своего простодушия, но даже еще и не открыл, что им обладает. Он завидовал тому человеку не больше, чем завидовал бы горцу, у которого случайно оказалось хорошее ружье. Он мечтал бы о таком ружье, но вместе с его обладателем гордился бы и радовался, что тот им владеет; ему никак не пришло бы в голову, что этот человек может бесовски воспользоваться удачей, которая дала ружье ему, а не кому-нибудь другому, и сказать всем остальным *Раз это ружье принадлежит мне, значит, мои руки и ноги, плоть и кровь лучше ваших*, — такое было возможно, только если б он одержал над ними верх в перестрелке; а как один человек мог затеять перестрелку с другим лишь потому, что он владеет расфранченными черномазыми и может целый день валяться в гамаке без башмаков? И чего ради стал бы он затевать с ним перестрелку, если это так? В тот день, когда отец послал его с поручением в господский дом, он даже еще не знал о своем простодушии. Он не помнил (или не сказал), в чем заключалось это поручение; он, видимо, все еще толком не знал, чем его отец занимается (или должен заниматься), в чем вообще заключаются его обязанности на плантации. Он был мальчишкой лет тринадцати или четырнадцати — точно он не знал; на нем была одежда, которую отец получил в лавке плантации и уже успел сносить, а одна из сестер залатала и ушила ему по росту; он не задумывался ни о том, как он в ней выглядит или каким может показаться со стороны, ни о цвете своей кожи; он прошагал по дороге, вошел в ворота, миновал черномазых, которые целыми днями только и делали, что сажали цветы и подстригали траву, добрался до дома, до портика, до парадной двери, надеясь наконец-то увидеть, каково там внутри, и узнать, чем еще может владеть человек, который держит особого черномазого лишь для того, чтоб подавать ему питье и стаскивать с него башмаки, которые ему и носить-то незачем; он ни на секунду не усомнился в том, что этот человек будет рад показать ему все свое добро, как горец был бы рад похвастать пороховницей и формой для отливки пуль, приобретенными им вместе с ружьем. Ведь он все еще не утратил своего простодушия. Он знал это, сам того не сознавая; он рассказал дедушке, что

еще прежде, чем черномазая обезьяна, встретившая его у дверей, кончила свою речь, он как бы растворился, какая-то часть его существа повернулась и промчалась назад сквозь те два года, что семья там прожила,— так бывает, когда быстро пройдешь по комнате, помотришь на находящиеся в ней вещи, повернешь обратно, снова пройдешь по той же комнате, помотришь на эти же вещи с другой стороны и убедишься, что раньше вообще их не видел,— он промчался назад сквозь эти два года и увидел многое из того, что происходило и чего он прежде никогда не замечал: холодный бесстрастный взгляд, с каким его сестры и другие белые женщины подобного сорта молча смотрели на черномазых, не с отвращением или страхом, а с какой-то сосредоточенной неприязнью; она вызывалась не каким-либо определенным обстоятельством или причиной, а была врожденным свойством и белых и черных, это ощущение, эти флюиды от белых женщин, стоявших в дверях покосившихся лачуг, передавались черномазым, проходившим мимо по дороге, и их нельзя было полностью объяснить тем, что черномазые были лучше одеты; черномазые не отвечали на это такой же неприязнью и уж никак не дерзостью и не издевкой, они просто этого не замечали, слишком откровенно не замечали. Все знали, что их можно ударить, говорил он дедушке, и они не дадут сдачи и даже не станут сопротивляться. Но никто не хотел их бить, бить хотелось вовсе не их (черномазых); все знали: бить их все равно что бить детский воздушный шар, на котором намалевана рожа, гладкая, надутая рожа, которая вот-вот разразится смехом; и никто не смел ее ударить, зная, что она расхохочется, и потому лучше ее не трогать, пусть лучше уберется с глаз долой, чем слушать, как она хохочет. Он вспомнил ночные разговоры у очага, когда к ним приходили гости или они сами после ужина шли в соседнюю лачугу, вспомнил голоса женщин — они звучали достаточно сдержанно, даже спокойно, но в них слышалась какая-то угрюмая досада, и лишь кто-нибудь из мужчин, большей частью его подвыпивший отец, начинал хрипло похваляться перед остальными своею удаляю и силой; а он, мальчишка тринадцати, четырнадцати, а может даже двенадцати лет, понимал, что и мужчины и женщины говорят об одном и том же, хотя и не называют этого прямо — так люди говорят о голоде и лишениях, не упоминая об осаде, или о болезни, не упоминая об эпидемии. Он вспомнил, как однажды шел с сестрой по дороге и, услышав, что их нагоняет коляска, отодвинулся на обочину, но вдруг увидел, что сестра не собирается уступать дорогу, а по-прежнему идет посреди дороги, задрав голову с выраженным мрачного упорства; он крикнул на нее, и тут их обдало клубами пыли, лошади взвились на дыбы, сверкнули металлические пряжки сбруи, мелькнули спицы колес, он увидел в коляске два зонтика, услышал, как черномазый кучер в цилиндре завопил: «Эй, девка! Прочь с дороги!» — а потом все пронеслось мимо и скрылось из виду — коляска, пыль, две пары глаз, сверкнувших из-под зонтиков на его сестру, а он стоял и бессмысленно швырял комками грязи вслед удаляющимся клубам пыли. И вот теперь, слушая, что говорил раздетый словно обезьяна черномазый лакей, загордивший своею тушей дверь, перед которой он стоял, он понял, что бросал комками грязи вовсе не в черномазого кучера, а в пыль, которую подняли те горделивые точеные колеса, и что это было столь же бессмысленно. Он вспомнил, как однажды отец поздно ночью вошел, вернее ввалился в хижину, и он даже спрессонья явственно почуял запах виски и услышал в голосе отца его обычное злобное, мстительное торжество: «Мы сегодня отодрали одного петти-боновского черномазого» — и тогда он окончательно проснулся, встал и спросил которого, а отец сказал, что не знает, потому что раньше никогда его не видел, а на вопрос, что этот черномазый натворил, ответил: «А черт его знает, распроклятого петти-боновского суклина сына!» Вероятно, в его вопросе содержался тот же смысл, что и в ответе отца, хотя тогда он этого не понимал — ведь он еще не знал о своем простодушии; ни тот, ни другой не имели в виду какого-то определенного черномазого, живое существо, живую плоть, способную чувствовать, кричать и корчиться от боли. казалось, он их даже видит: разорванная факелами тьма среди деревьев, дикие, озверевшие лица белых, раздутая, как воздушный шар, физиономия черномазого. Возможно, черномазому связали руки, а возможно, его просто держат за руки, но это не имеет значения, потому что шароподобная физиономия вовсе не собиралась с помощью этих рук сопротивляться или вырываться на свободу; она, эта шароподобная физиономия, просто висела, парила в воздухе как нечто невесомое, гладкое, растянутое и тонкое, как бумага. Потом кто-то в остервенении что было силы вцепил в этот шар

одну-единственную отчаянную затрещину, и ему показалось, будто он видит, как все кинулись врассыпную, понеслись прочь, а им вдогонку вокруг них, над ними, обгоняя их и возвращаясь, чтобы вновь на них обручиться, гремит зычный, громкий, как рев морского прибора, грозный бессмысленный смех. И вот теперь он стоял перед этой белой дверью, которую загораживала черномазая обезьяна, презрительно глядевшая на его перешитую залатанную бумажную одежонку и на его босые ноги; я думаю, он навряд ли умел пользоваться гребнем, потому что сестры уж наверняка постарались запрятать его подалеже. Он никогда не обращал внимания ни на свои, ни на чужие волосы и одежду, пока не увидел, как эта черномазая домашняя обезьяна, которой без всякой заслуги с ее стороны посчастливилось вырасти в Ричмонде.. (— А может, даже и в Чарльстоне,— вздохнул Шрив)... на них смотрит, и он даже никогда не мог вспомнить, что этот черномазый говорил, как этот черномазый ему сказал, прежде чем он успел объяснить, для чего он туда явился,— чтоб он больше никогда не смел приближаться к парадной, а шел прямо к заднему крыльцу.

Он даже не помнил, как он оттуда ушел. Он вдруг увидел, что бежит уже на довольно большом расстоянии от дома и совсем не в сторону своей хижинки. Он не плакал, так он говорил. Он даже не обиделся. Ему просто надо было собраться с мыслями, и потому он направился туда, где мог спокойно посидеть и подумать. Он пошел в лес. Он говорил, что не приказывал себе, куда идти, его ноги сами пошли туда — к тому месту, где звериная тропа углублялась в заросли тростника, а рухнувший дуб образовал нечто вроде норы, где он держал чутунную сковородку, на которой иногда жарил мелкую дичь. Он говорил, что забрался в эту нору, прислонился к вырванному из земли корневищу и стал думать. Он еще не мог разобраться, что же с ним произошло. Он даже еще не понял, что его простодушие всему беда, всему помеха,— ведь понять это он мог лишь после того, как во всем разберется. Поэтому он стал копаться в своем скудном жизненном опыте в поисках какой-нибудь мерки, которую можно было бы приложить к этому происшествию, но так ничего и не нашел. Ему велели идти к заднему крыльцу еще прежде, чем он успел изложить данное ему поручение; между тем он вырос среди людей, в чьих домах вообще не было никакого заднего крыльца, а лишь окна, и через окна входил или выходил тот, кто либо хотел спрятаться, либо убежать, он же не прятался и не бежал. Ведь он пришел по делу, чистосердечно полагая, что говорить по делу можно с каждым. Он, разумеется, не ожидал, что его пригласят к столу — ведь время, расстояние от одного кухонного горшка до другого, не измеряют днями и часами; возможно, он вообще не ожидал, что его пригласят в дом. Но он ожидал, что его выслушают, потому что он пришел, был послан по делу, которое — хотя он не помнил и в то время (по его словам), возможно, даже и не понимал, в чем оно состоит,— было, конечно, как-то связано с плантацией, благодаря которой существовал на свете этот красивый белый дом, эта красивая белая, окованная медью дверь и даже суконая ливрея, белье и шелковые чулки той черномазой обезьяны, что отправила его к заднему крыльцу прежде, чем он успел хотя бы изложить свое дело. Бродя как если бы его послали отнести кусок свинца или даже отлитые пули, чтобы владелец того прекрасного ружья мог ими пострелять, а тот подошел бы к дверям, велел ему оставить пули на пеньке у опушки леса и даже не позволил подойти поближе полюбоваться ружьем.

Перевела с английского М. БЕККЕР.

(Продолжение следует)



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО



КРАСКИ СОЗОПОЛА

Сгаринный фракийский дом, в котором проходили мои дни в Созополе, древнейшем поселении на скалистом полуострове болгарского Черноморья, стоит на прибрежном каменистом массиве, у самого моря. Одна его сторона обращена к морю, другая выходит на лучшую из улиц города, названную именами братьев Кирилла и Мефодия. Она застроена домами традиционной архитектуры и сохраняет стародавний вид, какой имела в прошлые века. В конце улицы высится здание начальной школы, которая также названа в честь великих просветителей Кирилла и Мефодия. Рядом с моим домом — переулок имени В. Л. Душина, советского подводника, погибшего у берегов Созопола во время Отечественной войны.

Нижний этаж дома сложен из морских валунов и серого дикого камня, между которыми во всю длину стены проложены деревянные брусья, образующие с ними единое целое в архитектуре дома. Верхний этаж обшит простыми досками, ставшими сизыми от ветра и времени. Весь дом выдержан в старинной традиции зодчества, искони существующей в этом поселении. Деревянный этаж, сделанный шире нижнего каменного, выдается в стороны, особенно с фасада, и образует навес. В нижнем этаже, который часто служит в доме рыбака подсобным помещением или хранилищем, обрабатывается и сушится рыба. Верхний этаж обычно состоит из просторной приемной и жилых комнат.

Фракийский дом (тракийская кышта) — это прежде всего внешний вид, его фасад, который принято здесь строить по законам красоты и веками выработавшегося вкуса. Созополцы видят в своих домах своеобразный символ, напоминающий птиц, улетающих в море вслед за кораблями и рыбацкими шхунами. Художественная ценность экстерьера дома возрастает в зависимости от того, как вписывается он в архитектурный ансамбль улицы, будто проникнутой грустью и ожиданиями женщины, устремившей свой взор в морскую даль. Постоянно звучащий мотив любовной тоски — этого вечного обновления жизни.

Рассказывали мне, что в рыбаках и мореходах Созопола живет какое-то врожденное чувство, особая, чуть ли не болезненная, утонченная гордость — стремление сдержанной, но совершенной архитектурной линией и общей внешней композицией несколько прикрыть чрезмерную строгость интерьера.

Убранство моей комнаты спартанское: деревянный пол из грубо обработанных широких досок, нарезанных по всему продольному сечению бревен, и с рядами прибитых к поперечным балкам гвоздей, кованных из простого железа, с большими расплюснутыми шляпками. Потолок обшит сосновыми досками с множеством срезанных темно-коричневых сучков, двери и рамы проемов — сосновые, в тон потолочной облицовке. В комнате пахнет смолой и сухим деревом. В центре потолка — массивный рельеф в форме восьмигранника, вырезанного из мягкого дерева и тонированного под цвет деревянных аппликаций на дверях и оконных рамах. Затейливый его национальный орнамент, изображающий солнце в сердцевине и расходящиеся вокруг лучи, свидетельствует о народной традиции мастерства резчиков по дереву в этом крае.

Из рассказов местных жителей я узнал, что созопольские резчики славились в старину высоким и оригинальным своим искусством — резными изделиями. Деревянные фигуры, созданные ими, по морскому обычаю украшали форштевни парусных кораблей и рыболовных шхун. Это были грубые с виду, без внешней отделки, но очень вы

разительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, дельфинов, извивающихся морских коньков, грозных драконов.

С резьбой по дереву неразрывно связана изумительная архитектура эпохи болгарского Возрождения. Ажурная вязь деревянной резьбы часто встречается на фасадах старинных домов Созопола. Самые ранние произведения этого искусства относятся к первой половине XVIII века. Наиболее характерные из изделий — резные потолки, стенные шкафы, двери и окна, а также внешние декоративные и конструктивные элементы домов: консоли, фронтоны, пилястры. Особенной тонкостью и совершенством отличается искусство изготовления иконостасов, алтарей, амвонов, церковных тронов, статуй святых. Многие резные изделия, украшающие жилые дома Созопола, реставрированы и считаются уникальными. Материалом для них служили дуб, сосна, ель, орех. Во всех случаях это кропотливая и тщательная ручная работа с преобладанием геометрических орнаментов.

В доме столяра Яни Чаушева, живущего в конце созополской пристани, у самого волнолома, мне посчастливилось убедиться в жизнестойкости старинного искусства резьбы по дереву. Весь необыкновенный интерьер дома — творение рук самого хозяина. Двери, потолки, стенные панели, полки, наличники — все из резного дерева местных пород. Они словно кружева, выполненные тонкими рукодельницами. Поражает ажурность каждой детали и всей композиции, в основе которых народные орнаменты и традиционные мотивы. Изящная резная мебель — столики, скамейки, стульчики, этажерки — создает некую сказочность, волшебство.

— Учились ли вы резьбе по дереву у старых мастеров или в Академии прикладного искусства? — поинтересовался я у Яни Чаушева, который молчаливо, без лишних слов открывал перед нами двери новых комнат.

— Нет, резьбе нигде не учатся. Академий и даже школ не посещал. В Созополе их нет, а в других городах моему сословию они были заказаны. Так что не удостоился ни дипломов, ни ученых степеней. Высокая эта честь досталась моим детям, получившим академическое образование в столичном институте Софии. Другое время, другие песни...

— Значит, искусство резьбы перешло к вам по наследству, от родителей или пращуров? — продолжал я допытываться.

— Нет, в нашем роду, сколько я знаю, никто резьбой по дереву не увлекался...

— Каким же образом вы стали мастером художественной резьбы?

— Самодельно... И, конечно, помогла здешняя обстановка, все окружение. Сам воздух Созопола делает из нас художников. Здесь словно бы усиливается ощущение, чувствительность к прекрасному, к искусству. Чувствительность обостренная, взыскательная и поэтическая. Сама атмосфера, очаровывая нас, как бы говорит человеку, что мало лишь любоваться, созерцать. Нужно жить здесь, непрерывно жить в окружении прекрасного, неожиданного, удивительного, как в необъятном поэтическом мире. И тогда придет желание и вдохновение попробовать силы свои, способности... К помощи искусства люди прибегают затем, чтобы лучше познать и глубже раскрыть человека и время, в которое он не просто существует. — А затем после небольшой паузы, как бы поразмыслив, продолжал: — Приходилось мне встречаться с резьбой по дереву в некоторых старинных домах и базиликах Созопола. Иногда часами любовался совершенством резьбы, уникальным мастерством народных умельцев. Так что находил для себя наставников... Только Адаму и Еве, кажется, не с кем было посоветоваться. С детских пор привязан к стихии дерева, влюблен в природный материал, его естественную красоту. Словом, вкус у меня к обработке дерева, страсть такая и, конечно, терпение, упорный каждодневный труд — годы и десятилетия сосредоточенной работы, увлеченность занятием...

И мне подумалось, что человек этот чем-то напоминает бескорыстного экспериментатора, который испытание проводит на самом себе, чтобы не нанести травм, не причинить боли другим...

Столяр и художник — два начала, которые так счастливо сочетаются в удивительном этом человеке. Но достиг он всего не только благодаря своему богатому воображению и врожденному таланту. Едва ли не главное здесь — труд, труд каждодневный, непрестанный, увлеченный.

Личная мастерская Яни Чаушева, расположенная на нижнем этаже, напоминает студию художника и поэта. Здесь все — резьба по дереву: великолепный резной потолок, уникальные панели, двери, полки и вся мебель. На стенах графика и картины,

принадлежащие кисти созополского мариниста Яни Хрисопулоса. Картины, написанные с настроением на сюжеты моря и местной природы, привлекают внимание самобытностью почерка и цветовой гаммой. Я поинтересовался судьбой художника и историей картин.

— Эти работы Хрисопулоса мне очень дороги. В них отображена действительность нашего города. Подлинный реализм нашего бытия — море и воздух, которыми мы живем, — сказал Яни Чаушев.

— Много ли у вас его картин?

— Собрал около сорока. Но вывешиваю не все сразу. Варьирую по настроению.. Каждая из них, одинаково сохранившая тепло души живописца, различна в своем проявлении.

— Целая коллекция.. и очень ценная, вероятно?

— Картины эти я не покупаю. Бесценны они..

— Не совсем вас понимаю..

— С Яни Хрисопулосом мы в давней и большой дружбе. Рассчитываемся между собой не деньгами, а своим трудом. За рамы и другие столярные работы он платит мне картинами. Поэтому и говорю — бесценны..

И здесь же миниатюрный стол-верстак, на котором набор режущих инструментов. Во всем удивительный вкус и утонченность. Здесь все продумано, значительно и немного таинственно. Простота и изысканность оформления комнаты наполняют ее уютом и теплотой.

Не примечательно ли то, что на прекрасно выполненных резных полках, протянутых от стены к стене, — множество книг, среди которых редкие издания о Болгарии, Бургасе, Созополе? Книжки на болгарском и русском языках. Произведения русской литературы, почитателем которой оказался хозяин. Здесь классики — Пушкин, Лермонтов, Чехов, Достоевский, Горький. Много книг современных советских писателей. Мастер художественной резьбы по дереву неожиданно открылся для меня не просто как читатель, но как настоящий знаток, наизусть цитирующий куски из произведений русских поэтов. По-разному человек строит, по-разному проживает свою жизнь. Одну жизнь, которая может быть насыщенной, полной творческой увлеченности.

Говоря о работах резчиков по дереву, Яни Чаушев отметил, что большой интерес и художественную ценность представляют собой два иконостаса и ритуальная мебель в созополской церкви святого Иоанна Богослова и святой Богородицы. Уникальные эти произведения эпохи Возрождения принадлежат болгарским мастерам дебрьской школы, которая получила широкую известность в странах славянского мира. По рассказам местных старожил, К. Паустовскому очень хотелось пожить в церковной пристройке, в монастырской тишине, располагающей к размышлениям.

В базилике святой Богородицы, глубоко вросшей в землю, мне показали старинные иконостас и амвон, чудом сохранившиеся от былых времен. От икон и ритуальной утвари не осталось и следа, хотя, по рассказам, здесь были собраны многочисленные предметы церковной службы, подаренные в разное время благодарными мореходами, которые после морских катастроф и крушений обрели приют в городе спасения.

Мастерство резчиков по дереву, создавших иконостас, изумительно. Чувствуется, что болгарские мастера, которые иногда приезжали в Созопол из других мест, работали, что называется, без перчаток. Пальцы у них были обнажены. Тут требовались особая чувствительность и художественный вкус. Это образцы шедевров народного мастерства, искусства резьбы по дереву, обладающие своим очарованием.

Глубокое рельефное моделирование, богатство и многообразие декоративных элементов, а главное, изящная выработка являются общепризнанными характерными особенностями созополской церковной резьбы по дереву. Показательно, что в иконостасе преобладают элементы совершенной композиции местной растительности и мира животных. Образы человека, представленные в виде голов и фигур, связаны с религиозными легендами и преданиями. Обращает на себя внимание большое тематическое разнообразие созданных сцен и композиций, которые ни в одном случае не повторяются.

В Созопол и другие древние города Болгарии многочисленных путников из разных стран влечет не только очарование этих мест, живописная природа Черноморья, горные пейзажи, растительный мир. Всех их влечет еще желание ознакомиться с древней и традиционной культурой, памятниками, шедеврами древнего зодчества и скульптуры, которые словно драгоценные жемчужины сияют на болгарских просторах.

Созополское мое жилище напоминало подмосковный мой дом — бревенчатый сруб среди лиственницы и хвой. За окном в саду готически вознесшаяся вечнозеленая ель, одна из тех, что окружают и хранят мой дом. Жилище, где всегда сохраняется лесной воздух с легким настоем хвой и березы, где царят ничем не заменимые покой и мирная тишина. Не оттого ли всего лучше чувствую себя в одиночестве и тиши моего Внукова? Тишина — это лучшее из всего, что мне приходилось слышать и испытать.

У самой стены моего созополского дома высятся опромные кроны смоковниц с крупными разлапистыми листьями темно-зеленого цвета. Смотрю на ствол дерева — и создается впечатление, будто он выходит прямо из камня, врос в скальную плиту. И во дворе и на улице подобная же картина. Деревья, среди которых рвущиеся к небу кипарисы и виноградная лоза, вьющаяся по стенам домов и специальным решетчатым перекрытиям над улицами, произрастают как бы не из грунта, а из каменных панелей. Кажется это невероятным — настолько искусно скрыты корни в глубине, под каменным настилом. Камни и корни... Камни выходят из земли. И уходят в землю, как бы вращаясь в нее. Цветы прорастают сквозь бетон и каменные плиты. Какая странная общность. И невольно мне вспомнился особый сорт овса, который растет в Тибете на камнях гор, где уживаются только лишай. Ведь иногда достаточно совсем немного воды, чтобы не увяло растение, которое потом может развиться, вырасти, превратиться в дерево с крепкими корнями, с тенью и покоем для людей.

Какова же цена воде? Можно ли оценить незаменимое? Животворящий свет неба, озон воздуха, завораживающий шум дубравы, морского прибоя?.. Бесценно все это для нас в природе, бесценно как самое наше бытие.

У растительного мира Созопола своя родословная: он творился в течение тысячелетий природой и человеком, которым, кажется, руководило стремление соединить мечту с реальностью, осуществить союз благодатной земли и людского труда. Созополцы тем самым стремились научить людей верить в торжество солнца над мраком, доброго человеческого сердца над злом. Это не могло не вселить в людей глубочайшее убеждение в том, что созидание и любовь к человеку есть то главное, чему мы должны всегда быть верны. Верны на всем пути, который и есть наша жизнь.

На память приходят строки Превера:

Когда-то деревья
пришли неизвестно откуда.
Когда-то деревья
были такими, как мы.
Но отметим: они были крепче,
счастливей, мудрее,
влюбленней, быть может,
И что же? Все сказано ~~этим!~~

Не в том ли таится источник человеческого усовершенствования, самоусовершенствования, стремление к естественной простоте людских отношений, к пониманию богатств мира, в котором жили несчетные поколения людей, теперь живем и мы; стремление ко всему прекрасному, нравственному, возвышенному, что окружает нас всюду и что нами должно твориться. Но смею думать, что не только по причинам внешнего свойства, а и по своей инертности и вялости мы не способствуем раскрытию заложенных в нас возможностей, внутренних потенций, талантов добрых и чистых. Нередко в суете и тревожениях повседневного нашего существования, когда не все у нас получается, мы пытаемся найти виновников собственных неудач в других людях, приписываем свои неудачи «всесильным обстоятельствам». Либо впадаем временами в беспоконную, молчаливую грусть и отчаяние. И потому не правильнее ли нам говорить, каким человеку быть, а не кем ему быть, за каким столом и в каком кресле сидеть, какую мебель занимать и в каких лимузинах совершать свои каждодневные и эпизодические вояжи...

Вглядываясь в прошлое Созопола, веками создававшегося в тяжком труде и безжалостно разрушавшегося в кровопролитных войнах из-за ненасытной жажды власти, вновь и вновь убеждаешься в том, что с беспощадностью люди задавали себе вопросы, рождаемые временем, и искали на них ответы, как бы ни было больно. И для них, как теперь для нас, возникала своя связь проблем повседневного бытия с общечеловеческими, старательное извлечение зерен опыта и мудрости из самых будничных вещей и явлений.

Разросшиеся ветви инжирного дерева как вестники надежд касаются моего окна на втором этаже, маня своими лиловыми винными плодами. В восточных странах их вялят на воздухе и получают инжир, но здесь принято готовить из них редкостное по тонкости вкуса варенье. Созревшие плоды лопаются, сами распаиваются и обнаруживают медовую свою мякоть гранатового цвета.

Из моего окна вдали видны три бухты, образуемые тремя острыми выступами полуостровов, скальные острова и каменные мысы, которые делаются особенно различимыми и контрастными в ясный солнечный день, в часы полного штиля. А совсем рядом, под окном, слышится не утихающий никогда шум моря, громоздятся над водой острые черные скалы, на которые неустанно обрушиваются морские волны. Яростно о них ударяясь, они обессиленные откатываются, неистово разбрасывая брызги, и, глухо, затаенно шипя, продолжают пениться густой, долго тающей пеной. Лишь во время сильного шторма высоким волнам удается в грозный этот момент подняться над отдельными скалами и утопить их в мутной своей стихии. На какой-то час одержать над ними верх, чтобы продолжить яростный штурм других скальных бастионов. Но как только укрощается разбушевавшийся буран, короткое торжество моря кончается, и над волнами вновь обозначаются черные силуэты скал и спокойно восстанавливают свое господство. Неостановимым кажется это таящееся в самой природе противоборство между морем и скалами. И столь же извечны неразрывные узы этих стихий — воды и камня: не в том ли тайный смысл вещей, скрытая сила явлений природы? Молчат ли камни, безудержно омываемые морскими волнами, рождающими эхо среди скал, под палящими солнечными лучами и в полуденном свечении? И в памяти всплывает миф о Лазурных утесах, которые находились в Понте, на Черноморье, и таинственно то сходились, то расходились. За это они получили прозвище Симплегады (сходящиеся). Предание гласит: когда между Симплегадами пролетел пущенный Ясоном голубь, Симплегады остановились и пропустили корабль «Арго», на котором, как известно, Ясон со своими аргонавтами совершал путешествие в Колхиду за золотым руном.

Я спустился как-то к берегу, устроился на каменной глыбе и, слушая звуки ночи, долго всматривался в нескончаемую игру моря и скал. Парадоксальным может это показаться, но иногда ночью бывает виднее, чем днем. Вокруг все дышало туманом, водорослями, сырым деревом, мокрыми черными скалами. Бледные звезды струили в ночи мерцающий свой свет. Небо потому прекрасно, что в нем такое множество звезд — печальных, суровых, загадочных. Оно не было бы столь чарующим, если бы светило лишь одно солнце, вобравшее в себя все звезды. Скалы затягивало какой-то магической мглой, которая надвигалась со стороны разыгравшегося где-то в невидимой дали черного смерча. Гневное море металось в необузданной ярости. Над берегами Созопола выл мрачный норд, бушевал жестокий шторм. Только каменные громады, словно не желая покоряться стихии моря, недвижно стоят, бросая вызов обезумевшим волнам, стремящимся возвыситься над ними. Лишь корявые от бурь лиственницы высоко на берегу изгибаются, раскачиваясь во все стороны, как тростник под беспощадным ветром.

И, закрывая глаза, человек, капля в потоке веков, чувствует себя согретым осенней темнотой ночи и наполненным удивительным ощущением своей причастности к происходящему вокруг, ощущением самой чистой радости общения с живой природой, необузданным проявлением стихийных ее сил. Ощущением истинной поэзии, навеянной непосредственными впечатлениями... Это было тем, что в стародавние времена называли сном наяву. А не привиделось ли мне все это? Воображение — бог поэзии.

К рассвету сорвавшийся ночью шторм утих. Отгрохотало море, вскидывая последние крутые волны. Шум и острый запах все более уходили от берегов полуострова. Наступило седое утро, из тумана которого как бы возникал и торжественно расцветал под солнцем старый Созопол, встречавший на долгом своем веку неисчислимые морские стихии.

Над морем простирался неправдоподобно светлый, серебристый штиль. Верна давняя примета: после бури всегда бывает тихая погода. В свечении лазурного неба и воздуха необыкновенная прозрачность, какую можно наблюдать лишь в осенний погожий день. Какая во всем контрастность в сравнении со вчерашним бешеным ревом морского шторма, по выражению созополцев — греуса, черноморского норд-оста. Какая свежесть вокруг, какое обновление природы...

В памяти возникают слова известного вьетнамского писателя Нгуен Туана, сказанные в одной из его книг: «Я хочу, чтобы изо дня в день опьяняла меня новизна. Хочу, чтобы каждый день мне дарил удивление, из которого рождается вдохновение и

тяга к работе. Если человек отучается удивляться, ему остается одно: вернуться к первоисточнику своему — стать глиной и прахом».

В этот неповторимый час, любуясь безбрежными просторами раскинувшейся водной глади, неудержимо хочется произнести: «Здравствуй, дивное море!» Нет большего удовольствия, чем прогулка в солнечное и тихое утро у скалистых берегов, орошаемых дыханием йода и морских водорослей. Свежесть наполняет ваши легкие, пропитывает все поры...

Мир запахов, красок и звуков способен оказывать удивительное воздействие, создавать настроение, приводить человека в состояние творческой активности, этого высшего дара природы. Разве от того, с каким чувством и настроением завершился твой вчерашний день, не зависит день наступивший и завтрашний? Когда, погружаясь в сон, человек испытывает чувство удовлетворенности, это всегда помогает плодотворно начать следующий день его жизни. Тогда и дышится легко и мечте просторно.

Вдоль берега струится пар. Туман прошел, внезапно открылось море. Пахнет влажным песком. Прелые водоросли и выброшенная шипящими волнами рыба, издающая едкий запах, обозначили на берегу границу высоких приливов. Ветер разносит терпкий этот запах вдоль дощатых построек, возвышающихся на каменных помостах. Неподалеку от моего дома у мыса над водой чернеют скалы, над которыми стаями реют чайки и альбатросы. Они то повисают низко над водой белыми облачками, поднимая глухой шум, то стремительно бросаются в водоворот волн, осторожно и ловко выхватывают там свою добычу. Прекрасно ведомы им тайны мутных волн и ветры высоких румбов и баллов.

После каждой ночи, когда утренним часом иду по песчаному пляжу, вижу, как морским бураном выброшено множество причудливых сплетенных водорослей, россыпи раковин, отмытых прибоем древесных корней и щепы, осколков керамических изделий... У каждого из этих предметов свое прошлое, свой путь движения и судьба. Каждый из них источник раздумий, предположений, наших догадок. И едва ли не за всеми этими вещами стоят неведомые люди со своими дорогами жизни, взлетами и падениями, крушениями, своей человеческой участью.

Всякий черепок или осколок глиняной посуды здесь будит воображение, которое рисует его драгоценной частицей фракийской керамической чаши, разбитой эллинской вазы или старинной амфоры. И для фантазии этой наличествует почва. У ваших ног не прекращается извечный прибой, волны которого то уносят, то выбрасывают с морских глубин на побережье различные предметы канувших в Лету цивилизаций, остатки потерпевших крушение судов, затонувших сокровищ...

Каждая увиденная здесь подробность сливается с новой, казалось, неуловимой ранее чертой, и возникает необыкновенный узор, подобный волшебной пряже...

Вдали, у самого горизонта, над морем, которое голубое, как мглистая бездна, подымается прозрачная струя дыма — едва заметно движется силуэт загадочного судна в загадочные земли. И ночью в смоляной тьме, когда длинные часы бессонья заполняются чтением, раздумьями и заметками, случается наблюдать, как проходят редкие пароходы, тускло освещенные, одинокие, загадочные. И мне порой начинает казаться, что и сам я нахожусь не в доме на берегу, а на раскачивающемся и плывущем по волнам пароходе. Шум моря, заботливо окутывая меня постоянно, круглые сутки, стал для меня привычным и неотъемлемым. Гул прибоя за окном, ударяясь о берега, о крутые скалистые громады, воспринимается с таким ощущением, будто нахожусь на борту судна в уютной кабине, сохраняющей запах сосновых досок и морских водорослей. И когда природа осыпает непроглядную тьму ночи небесными звездами, верю, что свет их ниспосылается потерпевшим свой путь мореходам, беспомощно блуждающим во мраке...

Созопол — город, щедро омываемый неутешными морскими волнами, неутихаемыми ветрами. Морской порт — пристанище для оказавшихся в беде судов, убежище для потерпевших крушение путников... Сколько их было за долгую историю античного этого поселения? Сколько жизней спас Созополис — «город спасения», как прозвали его благодарные люди еще в далеком IV веке до н. э. Скольким принесла удачу и счастье древнейшая эта земля, живописно лежащая на удивительном этом полуострове болгарского Причерноморья, земля, на которой возникло первопоселение, основанное фракийским племенем в XIII—XII веках до н. э., и начинается родословная нынешнего Созопола.

Торжественно и могущественно движение морских волн с их шумной и яростной

музыкой. Сколько с тех давних пор было приливов и отливов у созопольских берегов, сколько было восходов солнца, сколько закатов! И сколько поколений людей любовалось лунными ночами над Созополом, мучалось и любило, мечтало, надеялось на пришествие чего-то необыкновенного, волнующего душу! И как нет, кажется, конца и края бегущей воде, не было и нет границ человеческим мечтам и надеждам. Уходят, рушатся одни, возникают тотчас другие. Так и живет человек, перемогая невзгоды и напасти, стремясь увидеть новые горизонты с заманчивыми перспективами, дарящими людям звездопад их счастья.

И слух древних, как наш теперь, услаждали гулкие раскаты волн, разбивавшихся о горные утесы, дыхание и звуки моря, его песни — то сердитые, грозные, дикие, то жалобные и скорбные, молящие, нежные. Едва ли человек когда-либо перестанет слушать стихийные симфонии моря. Всегда находил он в них и утешение, и восторг, и вдохновение. Разве не воскрешают они в нашей памяти столь популярный в болгарском искусстве образ мифического Орфея, пение которого укрощало диких зверей и сдвигало с места деревья и скалы? Быть может, только люди с глухим сердцем не прислушались к музыке моря, к звучанию его неумолкаемых голосов.

Между тем век наш знаменуется не только усилиями творцов музыки, которые, не отрываясь от природы и жизни, ищут самые короткие пути искусства к сердцу народа. Сочинительская энергия иных музыкантов («музик мэйкерз», вспоминаются мне слова Дмитрия Шостаковича, сказанные во время одной нашей встречи) употребляется нередко на поиски сверхновых, неслыханных доселе аккордных клякс и ляпов в виде насильственного сочетания взаимно неконтрапунктирующих линий, дикой нестройности музыкаподобных громосотрясений. И преподносится это как атрибут новых художественных концепций. В музыкальной жизни западных стран, отметил Шостакович, где наблюдается явное засилье мотивов тревоги, обреченности, отсутствие положительных идеалов, ясной цели в жизни, рождаются разного рода течения, оторванные от интересов народа, бесперспективные в самом своем существовании. Это додекафония, электронная музыка, конкретная музыка и иные проявления так называемого авангардизма, который претендует на то, что его приверженцы идут впереди прогресса, что сам прогресс плетется где-то далеко позади них... Это индивидуалистические течения и веяния, оторванные от живой музыкальной практики, живого бияния жизни, они проистекают из выдуманных их создателями «систем», которым нет никакой аналогии ни в звучащей действительности, ни в природе естественной и живой мелодики, ид в сложившихся за много веков нормах музыкального искусства.

Еще более уродлива и субъективна, возмущался Д. Шостакович, электронная музыка. Здесь сочинения в додекафонической манере, абракадабра обрабатываются затем в монтажном столе магнитофона, подвергаются воздействию различных скоростей, сдвигаются разного рода микрофонными эффектами: взрывами, всплесками, хрипением, визгом... Музыка эта напоминает существа с пластмассовыми чувствами. Она машинный продукт. В ней нет дыхания. Она лишена живой человеческой души.

Мир звуков, поэзия человеческого искусства нецеленно живут и продолжают жить в болгарском народе поныне. Быть может, именно теперь огромный этот мир радости стал особенно близок людям труда в народной Болгарии.

И вот сейчас, за просветом моей комнаты, над гладью моря раздаются и доносятся до моего слуха волнующие звуки поющих, носятся видения движущихся огней, которые, как и голоса, то усиливаются, то затихают, чтобы вновь возвыситься и взволновать неизбывной своей душевностью.

По замечанию Льва Толстого, музыка есть «воспоминание о чувствах», и он подробно раскрывает свой тезис в написанных «музыкальных историях». Быть может, как ни у кого другого, музыка в произведениях Толстого входит органической частью в художественную ткань повествования или образа, воздействует на поведение действующих лиц, движет события. В 1851 году Толстой задает себе в дневнике вопросы, которые возникали у него в ходе размышлений и которые затем найдут свое отражение на страницах его произведений: «Отчего музыку древние называли подражательною?.. Отчего музыка действует на нас, как воспоминание? Отчего, смотря по возрасту и воспитанию, вкусы к музыке различны? Почему живопись есть подражание природе, очень ясно (хотя оно не полно); но почему музыка есть подражание нашим чувствам и какое средство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством?»

И мы видим, как в произведениях Толстого красной нитью проходят размышления об искусстве, музыкальные сюжеты, в которых раскрывается отношение автора, его

восхищение, радость, восторг, удивительное воздействие на писателя исполнения песен, звучания скрипки, рояля, оркестра. На склоне лет Толстой сделает еще одну запись в дневнике: «Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства: переносишься в других, хочется чувствовать через них».

Нетрудно понять, что высокий гуманизм художника в том, как Толстой считал, что искусство есть необходимое для жизни и для движения к благо отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах. Толстой, отдавая себе отчет, что искусство и литература недоступны широкому кругу народа, мечтал о том, чтобы как можно больше людей приобщались к искусству, чтобы оно стало их достоянием. Именно на это указывал В. И. Ленин в 1910 году: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».

Сбылось веще это пророчество, когда, совершив Октябрьскую революцию, многонациональный народ обрел право на искусство, право на доступ ко всем национальным и общечеловеческим сокровищам культуры.

Нет числа ушедшим годам и столетиям, в течение которых на земле Созопола вспыхивали пагубные войны, падали одни жестокие режимы и властители и на смену им приходили другие, кажется еще более свирепые. Но на этой каменной земле рождались, жили и навсегда ушли мириады простых смертных. Здесь все ветры встречались. Здесь и прощались, как прощаются люди... Лишь таким, как было, осталось только море, вечное море и скалы. Не сужден морю покой. Волнение его безутешно. И останется море таким, как было извечно, останется и в дни, когда и нас не станет, чтобы встретить новые зори, мерцающие звезды и лунное свечение, ниспадающее по ночам на морскую гладь жидким серебром. Чтобы встретить новых странников у созопольских причалов, как встретило нас, и продолжить вечный плеск волн и неизбывные свои песнопения.

ВЗГЛЯД В МИНУВШЕЕ

Посещение Созопола оказалось для меня и путешествием в его родословную, в глубь его исторического прошлого, движением по ступеням судьбы, того мира Элады, с которым связаны неповторимое детство человечества и недостижимые образы вечно живого искусства. Именно в минувшее, ибо день грядущий нам неведом. Будущее, даже ближайшее, туманной завесой скрыто от нашего разума, каким бы провидительным он нам ни представлялся...

О Созополе сложено множество мифов, легенд и сказаний. В них словно отзывалось эхо веков, завещание далеких предков, глубинным нервом ощущавших трагизм и веру человека, время, события.

Из болгарских литературных источников я узнал многое, о чем мне не случалось ранее читать или слышать, и испытал чувство, когда вдруг наступает момент — и все вокруг смотрится по-иному. О далеком и смутном поселении, жилище вольности морской, у меня возникает совершенно иное представление. Созопол предстал передо мной в новом свете, заставив посмотреть на него удивленными глазами и увидеть край, где живут люди, у которых славное прошлое и настоящее. Прошлое — это бессмертие народа, обретенное в многовековых жестоких битвах за жизненное свое утверждение на избранной прашурами земле, которые отнюдь не превратились в тени забытых предков. Здесь чтут свое прошлое. Свято хранят память о столь же трагических, сколь и величественных подвигах минувшего века.

И настоящее Созопола — это современные болгары, люди новой социальной справедливости. Здесь жизнь людей труда развивается по законам гармонии и красоты. Здесь люди научились жить поверх всего мелкого и изменного, к чему склоняли их социальные условия прошлого. Глядя из будущего, с высоты грядущих поколений, невозможно не восхищаться веком нынешним, всем достигнутым в народной Болгарии. Здесь славится труд — главный и решающий фактор человеческого развития и деятельности. Труд, нужный людям, обществу, человечеству. Здесь нет ничего более возвышенного и благородного, чем труд созидательный, вдохновенный, творческий.

Нынешний Созопол — потомок древнегреческих поселений, городов на черноморском побережье Болгарии. В конце VII века до н. э., согласно историческим источникам, отважные дружины молодых людей, покидая землю Милета в Малой Азии и ее владений, отправлялись морем на север в поисках счастья и новой своей родины. Смелое это предприятие требовало в те времена благословения греческих богов. Дружинникам надлежало обращаться к прорицателям в эллинских святилищах. Особенно ценными считались предсказания оракулов и покровительство жрецов, исходявшие из прославленного храма Аполлона в Дельфах, а также из Дидимского храма, расположенного в Дидимах, неподалеку от города Милета. Помимо жрецов, в этих святилищах находились известные мудрецы, среди которых в Дидимском, например, был знаменитый мыслитель Фалес (VII—VI века до н. э.), занимавшийся философской наукой.

Оракулы определяли, кому быть вожаком дружины, который в случае его смерти, согласно предсказаниям, должен был провозглашаться колонистами основателем поселения. Нередко, однако, духовным предводителем оракулы провозглашали самого Аполлона — вечно молодого бога солнца, здоровья и света.

Печальной, согласно летописям, была разлука переселенцев с родимым краем, с землей Эллады. И они стремились унести с собой священный семейный огонь, чтобы он продолжал гореть на новой их родине и, таким образом, хранились бы узы с покинутым отечеством.

Предание о храме Аполлона в Дельфах встречается в греческой мифологии. Свой храм Аполлон решил возвести в самом центре земли, чтобы все видеть вокруг и чтобы повсюду храм излучал свой свет. Когда же после долгих поисков бог солнца облюбовал место у подножья Парнаса, в глаза ему бросились царившие там пустыньность и дикость. Вскоре он заметил испуганных людей, которые прятались среди скал и боялись выходить наружу. На расспросы Аполлона несчастные обитатели пещер поведали богу, что давно уже жестоко страдают от драконообразного чудовища Пифона, пожирающего всех овец и людей, которые только попадают ему на глаза. И действительно, Пифон не замедлил возникнуть перед взором Аполлона, на которого готов был броситься. Это было разъяренное чудовище с окровавленной пастью и скрежещущими челюстями. Но не успел Пифон и шевельнуться, как был насмерть сражен стрелой из серебряного лука Аполлона. С тех пор во всей округе наступил мир и покой.

В одно прекрасное утро над ущельем между скал вознеслись прекрасные белые стены с колоннами храма Аполлона, а потом вокруг стали возникать жилища местных пастухов и земледельцев. И вот настал час дать имя образовавшемуся селению вокруг храма. Стали советоваться. И Аполлон предложил наречь его Дельфы в честь дельфина, который спас его мать от смерти, принеся ее на своей спине. Так и порешили. С тех пор мир знает о храме Аполлона в Дельфах.

Более всего прославился храм Аполлона предсказаниями своих оракулов и вещуньи-пифий, которые отгадывали судьбу и будущее людей. В храме Аполлона в роли пифий выступали обычно две молодые девы, посвященные в оккультные тайны. Они поочередно усаживались на треножник над зияющей расщелиной священных скал, из которой исходили одуряющие испарения, не переносимые обычными людьми, и произносили вещания в состоянии экстаза. Считалось, что вещуньи таким образом вступали в общение с Аполлоном, чтобы получить от него наставления. Оракульские результаты передавались спрашивающим через посредство жрецов храма, которые перекладывали их в стихи и занимались истолкованием.

Примечательно в этом отношении, что древнегреческий философ Гераклит (VI век до н. э.), который был моложе милетских философов, в том числе Анаксимандра, отдал должное средствам выражения и самому языку прорицательниц и жрецов. Уверенный, что его устами глаголет мировой разум (логос), Гераклит, которому удавалось сказать так много буквально в двух-трех словах, подражал афористическому и загадочному стилю пифий и сивилл. Свидетельства этому находим в его собственном описании: «Владыка Аполлон, чье прорицалище в Дельфах, не говорит и не скрывает, но намекает». И далее: «Сивилла вдохновенными устами вещает мрачно, неприкрашенное и неуменьшенное, и голос ее благодаря божеству звучит на тысячу лет вперед».

Милетские колонисты, по всей вероятности вдохновленные оракульскими прорицаниями в храме Аполлона в Дельфах, отправились в дальнее странствие на поиски обетованной земли. И перед переселенцами, достигшими в конце VII века до н. э. берегов Бургасского залива, предстал прекрасный полуостров с идеальными бухтами для морских и рыболовных судов.

Здесь, у самого моря, перед глазами колонистов раскинулась живописная панорама, полная солнца, баюкающего шума лазурных волн. В тихие, безветренные часы, лениво накатываясь, они словно шепчут вам — подожди немного, полюбуйся... Отливая перламутром, бирюзой, морская гладь уводит ваш взгляд к горизонту, постепенно теряясь в теплом мареве. Колонисты увидели здесь иное небо, иной воздух, иной пейзаж, с другими растениями, травами и запахами. Пейзаж, который рождает в душе человека несказанное чувство умиротворения и покоя. Но помимо благодати света и воздуха, колонисты оценили огромные рыбные богатства, которыми Созопол искони славится. Именно Созопол принадлежит к редкому исключению, где лов рыбы ведется круглый год, притом рыбы высшего сорта — паламиды, лаферы, скумбрии, ставриды... И милетские переселенцы решили остаться здесь навсегда.

Наука не располагает достоверными сведениями о том, как складывались отношения пришельцев с местным фракийским населением. Сведения наши здесь весьма ограничены. В археологическом музее Созопола мы видели, например, фракийские глиняные сосуды II тысячелетия до н. э., которые были найдены на дне созопольского порта. Здесь также выставлены знаменитая надгробная плита гражданина Аполлонии Анаксандра (VI век до н. э.), бальзамарий в виде сирены, глиняные статуэтки Афродиты и Кибелы, коллекция античных свинцовых и каменных якорей.

К этому следует добавить, что около поселения Поморие сохранилось архитектурное чудо фракийской гробницы, названной протоболгарами именем Тутхон. Примечательны также бургасские дольмены — загадочные погребальные сооружения исчезнувших народов, которые населяли Болгарию еще до фракийцев. Возможно, это были лелеги, карийцы или пеласги, сведения о которых ограничиваются тем, что они существовали...

По мнению археологов, задолго до прибытия милетских колонистов вдоль черноморского побережья существовало каботажное плавание, которое, несомненно, было вызвано к жизни определенными торгово-экономическими причинами. Именно на это обстоятельство обратил внимание известный болгарский ученый Александр Фол во время наших бесед, столь же обстоятельных, сколь и ценных для нас, сперва в Созополе, затем в Софии. Каботажное плавание говорит о многом. Оно свидетельствует о высоком материальном развитии фракийцев, позволявшем им устанавливать и развивать торговые и культурные связи не только с фракийской частью побережья, но и с народами других земель. Это означает, что милетские колонисты могли быть осведомлены о положении дел у фракийцев, об их экономических возможностях, о том, чем богата их земля. Эллинов, в частности, могла привлекать красная медь, залежами которой славится Созопол с незапамятных времен. По всей видимости, проникновение колонистов шло с учетом взаимной заинтересованности эллинов и фракийцев в установлении контактов и общении. Уровень развития тех и других указывал им на оправданность и целесообразность сближения. На этом основании, согласно А. Фолу, правомерно предположение, что между ними могло и не быть вооруженной борьбы, а преобладали мирные отношения, обусловленные взаимной заинтересованностью. Таким образом, прибытие милетских переселенцев скорее было не началом, но завершением определенного периода ознакомления греков и фракийцев различными путями и средствами, в том числе и благодаря каботажному плаванию.

Как бы там ни было, милетские колонисты осели на полуострове и нарекли свое поселение Аполлонией в честь бога Аполлона, наиболее почитавшегося в Милете, и посвятили свои усилия созданию здесь большого и красивого города, который возымел бы свое влияние и приобрел историческую славу. Впоследствии, как свидетельствует летопись, Аполлония была переименована в Созополис, или Созопол.

Если всмотреться в маршруты исторического движения греческих колонистов, то нельзя не заметить, что они утверждались на Черноморье с определенной последовательностью и целенаправленностью. Созопол, Несебыр, Ахтопол, Одессос — эти и другие поселения служили им своего рода опорными пунктами на пути в Крым с центром в Керчи.

Сбылись ли, спросим мы, пророчества оракулов из святилища Аполлона в Дельфах, оказался ли для милетских колонистов обретенный край благословенной землей и ожидало ли их здесь счастливое будущее? Стало бы людям лучше, если бы все их желания сбылись? Как было все в действительности? Сама история — лучший судья. Она распорядилась по-своему. И о Созополе можно сказать, что в судьбе его были ночь и было утро, наступил наконец ясный день. Об участии города напоминают и встречаю-

щиеся на улицах древние руины — каменные глыбы, остатки былых сооружений, кирпичные стены. Немые свидетели отшумевших навсегда дней. Что же из себя все это представляло — храм, замки, резиденции? Кто обитал в них в то далекое от нас время, каков был мир их бытия? Любовались ли они ночным сиянием луны? Нет, мертвые уже не раскроют уста. Не воскреснут из мрака веков властители и монархи свирельные и безликие... Созопол — земля, в недрах которой дремлют сокровища многих культур, слой за слоем наплавывавшихся в течение долгих веков.

Прошлое Созопола, возникшего не сразу, не как Афина из головы Зевса, тесно связано с судьбой древнего Милета, который был крупным для своего времени центром и занимал первое место среди 12 ионийских городов — греческих колониальных владений в Малой Азии, где на западном побережье издавна обитала ионийская группа греческих племен.

Иония представляла собой благословенный край с мягким климатом и плодородной землей. Об этом в своих сочинениях писал древнегреческий историк Геродот (около 485—425 гг. до н. э.): «Ни области внутри материка, ни на побережье (на востоке или на западе) не могут сравниться с Ионией. Первые страдают от холода и влажности, а вторые — от жары и засухи». Обогнав в своем развитии материковую Грецию, Иония превратилась в доминирующую страну Эгейского бассейна не только в социально-экономическом, но и в духовно-культурном отношении. Примечательно, что Иония была наиболее близка к восточной культуре. По меткому выражению Герцена, «Иония — начало Греции и конец Азии».

Иония также известна как колыбель греческого эпоса, лирической поэзии и прозаической литературы, возникших в те далекие времена. Именно в творчестве ионийских поэтов получило первое свое выражение пробуждавшееся самосознание. Рождение первых авторских прозаических произведений явилось великим событием в духовной жизни Ионии. В противоположность стихам, удовлетворявшим эстетическую потребность, прозаические записи преследовали практические задачи — сохранение в памяти ценных наблюдений, из которых впоследствии возникла наука. Язык такой трезвой, рассудочной мысли служит прежде всего для удовлетворения научных запросов. Среди ионийских прозаиков — логографов наиболее нам известен Кадм Милетский, написавший книгу «Основание Милета» (VI век до н. э.).

Славилась Иония своей школой ваяния, которая сложилась в VI веке до н. э. и характеризовалась «распльзчатостью и мягкостью форм и нежной любовной обработкой поверхности...».

Иония была средоточием философской мысли, одним из первоочагов научного мышления. Отсюда вышли многочисленные философы, заложившие основы знаменитой милетской школы, с которой и начинается тысячелетняя история античной философской мысли. Ионийской философии, явившейся определенным течением в античной философии, принадлежала роль передового направления, которому был присущ стихийный материализм, называемая диалектика и натурфилософия.

Бесценен вклад античных философов в сокровищницу научного постижения мира. И как бы далеко ни отстояло от нас их время, деятельность древних мыслителей имела неумирающее значение. «Греки, — писал Маркс, — навсегда останутся нашими учителями благодаря... грандиозной объективной наивности, выставляющей каждый предмет, так сказать, без покровов, в чистом свете его природы, хотя бы это был и тусклый свет». Высокую оценку древнегреческой философии, в том числе самых ранних, простых философских построений, первые из которых принадлежат мыслителям из Милета, находим у классиков марксизма. Ф. Энгельс отмечал, что «древнегреческие философы были все прирожденными, стихийными диалектиками...». Но оставаясь «прирожденными, стихийными диалектиками», милетские мыслители опирались на мифологическую традицию, и для них более очевидной была подвижность и изменчивость бытия. Милетская школа утверждалась деятельностью трех сменявших друг друга мыслителей: Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом.

Сюжет античных взаимосвязей Созопола и Милета, возникновение города-государства Аполлонии — производной Милета, своеобразной его колонии, где формировался духовный и материальный мир Эллады, — меня все более увлекали. Но нужных мне книг в Созополе не оказалось. К тому же местные мои знакомые сообщили, что истории города пока еще никто не написал... Нет книги об истории города, но существует, конечно, сама история Созопола, возникновение которого относится, как известно, к XIII—XII векам до н. э. Отрывочные сведения содержатся в различных литературных источниках,

но никто не взял на себя труд, собрать их воедино и воспроизвести хотя бы в общих чертах исторический облик древнейшего поселения на побережье Черноморья.

Обращения мои к старожилам города оказались малоутешительными. Они сокрушительно качали головами, отмечали нелепость положения и признавали не без гордости, что давно приспело время и надо что-то делать... Я все более чувствовал приближение конца эмоциональной своей устойчивости. И мне, испытавшему, как пахнет жизнь, пришлось почувствовать всю озабченность сочинителя, который живет, общается со всеми, но писать обязан один... Человек, однако, не должен попадать сам себе под ноги, пытался я себя утешить. Обнажился тот предел, за который, казалось, не перешагнуть... Вечность и одиночество, подумалось мне,— самая подходящая тема для раздумий на берегу моря или в музее антикварностей.

Но давно известно: мир не без добрых душ. Излишне и говорить, что я будто захватил небо и прикоснулся к звездам. Тут я услышал от своих коллег, что принимающая участие в нашей работе профессор Л. Тодорова, историк философии, может помочь мне своей консультацией. Лилия Тодорова — выпускница Софийского университета, окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве и после защиты диссертации работает в Институте международных отношений при Академии наук Болгарии.

Передо мной вновь раскинулся за окном необъятный простор моря, захвативший весь горизонт своей взволнованной синевой. Природа раскрывает человеческому взгляду не только радость, ощущение естественной красоты, но и всегда заманчивые перспективы. Служит творческим вдохновением, поднимая дух, тонус психологического состояния.

— Излагать по памяти историю античной философии, творческое постижение мира древними греческими мыслителями — задача, конечно, весьма нелегкая, — заметила Л. Тодорова в связи с моей просьбой проконсультироваться...

— Ученому, разумеется, не положено заниматься догадками и полагаться лишь на память, которая у человека, увы, не самое безотказное и совершенное устройство. Мы, несомненно, должны основываться на твердой почве и точности фактов, но... — пытался я объяснить создавшуюся ситуацию.

— Но... в силу обстоятельств, когда мы не располагаем справочной литературой, ничего не остается как соблюдать хрупкое равновесие человеческой памяти...

— В конце концов, каждый слышит и помнит только то, что понимает и сохраняет в памяти.

— В таком случае попытаюсь воспроизвести все, что удерживает моя память о прославленной милетской школе философии, которая представляет интерес прежде всего в связи с Созополом... Конечно же, это будет совсем не полное, скорее эскизное представление. Заранее простите мою медлительность, пожалуйста. Думается, что не смогу, извините, слишком энергично крутить педали...

— Так ведь огромен путь исторического движения... скоро, кажется, исполняется тысяча триста лет?

— Одна тысяча триста лет — юбилейная дата болгарского государства, которую мы будем отмечать в восемьдесят первом году. Но этому предшествовал период созревания условий для рождения государственности, период, охватывающий еще не менее тысячи трехсот лет, по крайней мере это относится к той земле, на которой возник Созопол. Об этом уместно вспомнить, ибо на Западе предпочитают говорить лишь о своей истории и не очень охотно признают культуры других народов, в частности славянских...

И в памяти моей вновь всплыли гневные слова Георгия Димитрова, бесстрашно брошенные гордым сыном Болгарии в лицо нацистским прокурорам во время Лейпцигского процесса: «Мой болгарский народ называют «диким и варварским»!.. Дикари и варвары в Болгарии — только фашисты. Но я спрашиваю, господин председатель, в какой стране фашисты не дикари и не варвары?» Еще в те времена, продолжал Димитров, когда «германский император Карл V говорил, что по-немецки он обращается только к своим лошадям, а немецкие дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стыдились немецкого языка, в «варварской» Болгарии равноапостольные Кирилл и Мефодий создали и распространили древнеболгарскую письменность...».

— Кому-то принадлежит выражение, — продолжала Л. Тодорова, — что искусство — это память. Свою память далекие наши предки, жившие на болгарской земле в доисторический период, воплотили в неподражаемые произведения искусства. Достаточно упомянуть лишь о нескольких археологических находках — о золотых кладах: Хотницком, относящемся к эпохе энеолита, Вылчитрынском (восьмой век до нашей

эры), Летницком (пятый — четвертый века до нашей эры), Панагюриштском (четвертый век до нашей эры), известном как Тракийское золото, и т. д. Причем это не просто золотые вещи или изделия. Это подлинные произведения высокой филигранности, тончайшего искусства, которым невозможно не восхищаться. Такова «золотая память» о времени, жизни и культуре, которая насчитывает свыше двух с половиной тысячелетий.

После этих упредительных замечаний Л. Тодорова приступила к изложению существа проблемы, внимательно подбирая нужные определения, точные формулировки. Воссозданная ею картина словно бы пролила для меня свет на духовный мир, в котором древние мудрецы в Ионии вели неустанные поиски истины, создавая свою школу мысли...

Значительный интерес для нас представляет милетская школа философии, возникшая в Ионии, наиболее передовой в VII—VI веках до н. э. части эгейского мира, раньше всего потому, что величайший ее мыслитель Анаксимандр имел непосредственное отношение к Созополу. Именно Анаксимандр, жизнь которого описана, хотя и скупо, древнегреческим автором Дионом Лаэртским (первая половина III века н. э.), руководил очередным выселением из Милета в Аполонию — милетскую колонию на Черном море, основанную в конце VII века до н. э. Иными словами говоря, возникновение и развитие Аполлонии прямым образом связаны с деятельностью выдающегося милетского мыслителя Анаксимандра.

— И дело здесь,— продолжала Л. Тодорова,— не только в том, что Анаксимандр лично участвовал в решении судьбы Аполлонии. Значительно существеннее то, что в этот город-государство великий ионийский мыслитель привнес свое мирознание, свои принципы и критерии в оценке материального и духовного бытия. В истории человечества, кажется, не так много случаев, когда философы могли практически претворять свое учение в общественно-политической жизни и формировать основные законы социальной, нравственной и культурной жизни.

— С давних пор люди вынашивали мечту о справедливом обществе и свято верили в его пришествие. Надежда на светлое будущее получила определение как социальная утопия. Мы знаем, что представления о справедливом общественном и государственном устройстве изменялись, приобретали новые черты, обогащались в процессе исторического движения и научных достижений, однако не приближали к реальному достижению мечты. Кое-что в этом отношении пытались сделать социалисты-утописты...

— Именно только пытались,— заметила Л. Тодорова.— Томмазо Кампанелла, например, в своем сочинении «Город Солнца» нарисовал идеальное государство, в основе которого лежат принципы справедливости и человеческого счастья, отсутствует частная собственность, всеобщий труд гарантирует изобилие. Свой коммунистический идеал он обосновал велением разума и законами природы. Известен также печальный опыт социалиста-утописта Роберта Оуэна, который, не понимая необходимости социальной революции, пытался на свои собственные средства создать коммунизм в условиях капитализма, но потерпел жестокое фиаско и жизнь свою закончил нищенски...

— Печально, конечно, что возвышенные и гуманные их идеи не нашли своего воплощения в реальности...

— Но все это, как вы хорошо знаете, не прошло бесследно. Лишь по прошествии двух тысяч шестисот лет мир ознаменовался рождением государства; у колыбели которого стал великий Ленин — гениальный мыслитель, сумевший в результате Октябрьской революции претворить в жизнь самые дерзновенные мечты человечества и впервые в истории заложить основы государства, которое руководствуется принципами высшей социальной справедливости и гуманности.

— Разработка идей научного социализма классиками марксизма-ленинизма — величайшая победа теории и практики, раскрывших смысл человеческой жизни и деятельности, ту смелую цель, которая заслуживает преемственного труда многих поколений. В этом человечество увидело созидание совершенного общественного строя...

— Не все, однако, верили в реальность осуществления мечты. Помните, как знаменитый фантаст Герберт Уэллс, пытавшийся в своих романах заглянуть в будущее человечества, был охвачен сомнениями и страхом, когда увидел в самый тяжелый год совсем молодого еще Советского государства голод, разруху, эпидемии, уносившие множество людей. Ему казалось, что он очевидец гибели крупнейшего государства и всей человеческой цивилизации. Именно тогда Герберт Уэллс вошел в кремлевский кабинет Ленина, чтобы услышать русского своего собеседника, названного им кремлевским мечтателем. Вскоре Уэллсом были написаны слова восхищения о человеке высшего опти-

мизма, который говорил с таким жаром, что, когда писатель его слышал, он почти пове-рил в осуществление этого. Теперь мечта стала фактом реальности, дерзкая мечта чело-века в Кремле, которую не в силах был себе представить едва ли не самый смелый из художников-фантастов,— говорит Л. Тодорова.

— Собственно, без малого на протяжении полутора веков оппоненты нашего рево-люционного учения тщетно пытаются его опровергнуть, подвергнуть ревизии, извратить кто как способен... И что же? Идеи научного коммунизма продолжают овладевать созна-нием все более широких масс во всех странах Востока и Запада. Продолжает совер-шенствоваться реальное социалистическое общество уже не в одной России, но во мно-гих странах Европы и Азии. Что же касается философии, то она приобрела в наш век огромное значение именно благодаря марксистско-ленинской науке и играет несопоста-вимо большую роль, чем это когда-либо было начиная с эпохи Анаксимандра...

— Философия сегодня,— добавила Л. Тодорова,— пронизывает жизнь каждого общества в условиях существующих противоположных социально-политических систем. Разумеется, речь идет о разных философиях и о том, что каждая из них реализует свои основные принципы, проникая во все области материальной и духовной жизни.

Философия — важнейший фактор не только внутренней жизни государства и наро-да. Она интегральная часть международных отношений и взаимосвязей, сильнейшее ору-дие в идейном противоборстве Востока и Запада, в духовной борьбе антимиров. И буду-щее принадлежит той философской науке, которая способна предложить человечеству наилучший образ жизни. Смею думать, что именно марксистско-ленинское мировоззре-ние в наибольшей степени обладает этими качествами.

Занимаясь науками, в том числе систематизируя математические знания (согласно византийскому словарю Свиды, X век, Анаксимандр «дал общий очерк геометрии»), Анаксимандр на базе этих научных изысканий создал свою философскую систему, которая в определенной мере вобрала в себя и научные взгляды его учителя и друга Фалеса, принадлежащего к милетской школе.

Мировосприятие самого Фалеса (около 624—547 гг. до н. э.), первого исторически достоверного представителя древнегреческой философии, характеризуется изречения-ми, которые ему приписывает традиция: «быстрее всего мысль, потому что она обегает все», «больше всего пространство, потому что оно все в себя вмещает», «сильнее все-го необходимость, ведь она над всем одерживает верх», «мудрее всего время, потому что оно все открывает». Согласно Свиду и другим источникам, Фалесу принадлежит также широко известное изречение «познай самого себя». И хотя мысль эта связывается с именем Сократа, известно, что она написана на стене храма в Аполлонии в Дельфах. Фалес, однако, считал, что самое трудное — познать самого себя. И ему приписываются выражения «соблюдай меру» и «хочешь беды — обручись». Когда матушка уговаривала его жениться, он отвечал: «Еще не время» — а потом, когда время было упущено, он на советы матери отвечал: «Уже не время».

О Фалесе в литературных источниках существует представление как о чудакова-том философе, далеком от каждодневной реальности, от жизни. У древнегреческого фи-лософа Платона (V—IV вв.) встречается следующая запись о Фалесе: «Подняв глаза к звездам и наблюдая их ход, он упал в яму, и народ смеялся над ним, говоря, как может он познать то, что происходит на небе, когда он даже не видит того, что у него под ногами». Но знаем мы и реплику Гегеля на эту запись Платона: «Народ смеется над такими вещами и обладает тем преимуществом, что философы не могут воздать ему таким же смехом: но люди не понимают, что философы смеются над ними, которые, разумеется, не могут упасть в яму, потому что они раз навсегда лежат в ней и не обра-щают своих взоров высь».

По сведениям древнегреческого философа Фемистия из Пафлагонии (IV век н. э.), Анаксимандр первым из эллинов решился выступить с письменным сочинением о при-роде. Философское учение Анаксимандра — весьма сложная натурфилософская систе-ма, в которой обозначенное в общих чертах Фалесом нашло свое развитие и конкретное выражение. Анаксимандром был сделан существенный шаг вперед в разработке многих положений философского мировоззрения, в развитии метода абстрактного мышления. По утверждению древнегреческого философа Симплиция из Киликии (VI век н. э.), «Анаксимандр Милетский, сын Праксианда, преемник и ученик Фалеса, сказал, что начало и основа всего сущего — апейрон. Он первый приложил это название к началу». Речь, таким образом, идет о том, что апейрон есть начало и генетическое и субстанциональное. Принципиально важным было единство всех ученых древности в

том, что апейрон есть материально-вещественное начало. Согласно древнегреческому историку Аэцию, «апейрон есть не что иное, как материя». Добавим, что, характеризуя апейрон, Гегель признает, что Анаксимандр понимал под ним не что иное, как «материю вообще, всеобщую материю».

Все это дает основание сказать, что Анаксимандр был «прирожденным стихийным диалектиком», представляющим окружающий мир в качестве «бесконечного сплетения связей и взаимодействия», где «ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает». Милетская философия для нас имеет первостепенное значение как одна из первых форм нашего философского материализма.

Мы знаем, что эпоха, в которую складывался материализм милетской школы во главе с Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом, была эпохой непрекращавшейся борьбы торгово-промышленных социальных сил против земледельческой аристократии. Именно в этот период милетские философы выступали с позиции материалистического мировоззрения против космогонической мифологии, доказывая возникновение и развитие вселенной, а также и всего живого на земле естественнонаучным путем. Таким образом, представления и традиции гомеровской и гесиодовской мифологии, мистические легенды были подвергнуты серьезному сомнению и критике. Все это в огромной степени способствовало пробуждению и развитию индивидуального самосознания, формированию морали и нравственности.

— Наш разговор вновь возвращается к Ионии. Она выдвинулась в центр с главным городом Милетом на позиции ведущей в мире силы не только в экономическом, но и в духовном, культурном и художественном отношении,— продолжает А. Тодорова.— А это означало, что милетские переселенцы в Аполлонию, возглавлявшиеся крупнейшим мыслителем Анаксимандром, несли с собой материальную и духовную культуру на болгарское побережье Черноморья, в нынешний Созопол. Нельзя забывать, однако, что эллинский слой культуры на этой земле не был первичным. Ему предшествовала, насколько позволяют судить наши знания, древнейшая культура самобытного народа. Результаты археологических раскопок позволяют нам утверждать, что фракийцы обладали своим собственным мироощущением и вкусом. А способность видеть и ощущать — это не всегда и не исключительно дар природы. Скорее в этом надо усматривать в немалой мере результат культуры и воспитания.

— И это тоже в потоке памяти?

— Да, это тоже относится к немеркнущим краскам прошлого, которое нашло свое воплощение в предметах искусства фракийцев, обнаруженных в земле Созопола и, в частности, выставленных в местном археологическом музее. Они, несомненно, помогают осмыслению художественных традиций.

— Но чтобы освоить духовные и материальные эти традиции, нужно, видимо, новое освещение истины живым взором современника?

— Это, конечно, так. Но, позвольте напомнить, оружием первого художника, как мы видим на примере фракийцев, был, в общем, все тот же камень, грубо обтесанный, но острый, как резец, кремь. Во всем в конечном итоге обнаруживаются камни и корни. От них и философское, и образное, и эстетическое видение мира: единство малого и необозримого, капли росы и солнца, ручья и времени, мгновения и вечности... И хотя в Созополе остались лишь руины былых сооружений, но и они обнаруживают давность цивилизации, деяния древних предков этой земли, их заботы помимо минувшей власти о гуманности, о прекрасном в жизни, о понимании природы и восхищении ее неповторимостью, об их битвах с врагами в защиту жизни на земле, национальной своей сущности, культуры, языка.

— Прискорбно, однако, что в Созополе немного сохранилось памятников древней Аполлонии. Время говорит: и камни старятся. Оседают, меняют цвет, покрываются морщинками. Особенно когда они образуют стены и плиты на дороге. Между тем в Несебуре, который мы посетили по пути в Созопол, встречаются многочисленные памятники античного мира. Как и Созопол, Несебур, один из самых привлекательных древних морских городов Черноморья, так же расположенный, на скалистом полуострове, сумел сохранить памятники многих культур: фракийской, эллинской, римской, византийской, древнеболгарской...

— Чем же, по-вашему, объясняется это явление?

— Подобный вопрос, конечно, можно было ожидать. Попробую изложить некоторые факты, а выводы, надеюсь, вы сделаете сами... Несебур (Мессемврия)— город фракийского происхождения, как и Созопол. Мы любовались там каменными мону-

ментами — сокровищницами великой памяти, точной, как истина, которой едва ли обладает бумага или папирус. Сколько величественности в старинных храмах, шедеврах античной архитектуры, сколько мастерства в их очертаниях, сколько загадочности в сумеречной тишине их сводов... Добротный и надежный был материал, которым пользовались предки на этом полуострове. Но камни старятся, как все под гнетом времени. А летописи — нет. Они не подвластны времени...

Именно в Несебыре, скажу это и по личным впечатлениям, можно увидеть трехликий образ Гекаты, богини подземного царства. Это один из самых утонченных древних памятников, найденных в Болгарии. Здесь же сохранилась знаменитая икона богородицы с младенцем, датируемая 1342 годом, с тремя надписями на серебряной ризе, выполненной по заказу родственников царя Ивана Александра. Большую ценность представляет также прославленная трагикомическая маска актера, относящаяся к III веку до н. э.

Согласно летописям, достигнув процветания, Аполлония сама приступила к созданию своих колоний на Черноморье. К ним относились Анхиало (ныне город Поморие) и Иниада, которая теперь находится на территории Турции. Когда же в 72 году до н. э. римляне овладели греческими городами на побережье Черного моря, масеаорийцы (несебырийцы), несмотря на военный союз с Аполлонией, поспешили вернуть свой город римлянам и таким образом сохранить Несебыр целым и невредимым. Между тем Созопол оказывал римлянам ожесточенное сопротивление всеми доступными средствами. И что же? Это привело город к разрушению...

Известно, что полководец Лукулл вместе со своими легионами прославился тем, что среди отправленного на судах награбленного добра увез в Италию и тринадцатиметровую бронзовую статую Аполлона, скульптурный шедевр Коломиса, стоявшую в храме его имени в Аполлонии. Теперь этот монумент будто бы стоит в Капитолии, куда он был доставлен, демонстрируя былой триумф воинственного Лукулла, хотя, по чести говоря, ему следовало бы стоять там, где он был создан. Можно надеяться, что это когда-нибудь все же случится...

Шли годы и столетия. Созопол вновь поднимался из развалин и снова подвергался разрушениям. До нашего времени дошли небезынтересные сведения об экономическом могуществе городов на болгарском побережье Черного моря. Речь идет о документах Амадея Савойского, который очень точно записывал все суммы и товары, которые взымали в качестве откупа и добычи.

Кстати, с именем Амадея Савойского связана высеченная на мраморной плите надпись на одной из пилястр Старой митрополии в Несебыре: «И пусть мой вопль коснется ушей твоих». Слова эти взяты из сто первого псалма и связываются с походом Амадея Савойского, который будто бы отправился освобождать гроб господен, но свернул с пути истинного, чтобы поразбойничать на болгарской земле...

Согласно Амадею Савойскому, в 1366 году крестоносцы захватили и опустошили большую часть побережья. В исторических документах отмечено, в частности, что Анхиало откупился от угрозы разрушения ценой в 2724, Эмона — в 1100, Несебыр — в 17 240 золотых перпери, а Созопол, в знак несогласия захлопнувший двери перед крестоносцами, после ожесточенной борьбы был за это разграблен и разрушен семнадцатью годами позднее, в 1383 году. Созопол снова был втянут в кровопролитную битву и захвачен турками, гнет которых длился пятьсот лет...

— Выводы действительно напрашиваются сами собой, — согласился я с профессором Л. Тодоровой. — Борьба за независимость и свободу всегда обходится человечеству чрезвычайно дорого, стоит больших жертв. Капитуляция соседних с Созополом городов, конечно, помогла спасти памятники истории для будущих поколений, но мужество и гордый дух Созопола сохранили потомкам высокий нравственный пример...

В этой связи невольно в памяти всплыла странная идея богатой немецкой кинофирмы «УФА», предложившей в 1934 году болгарскому правительству заключить сенсационную сделку — поджечь Созопол, чтобы заснять для своего сверхбоевика грандиозный пожар города... А потом на пепелище предполагалось создать курорт с железобетонными отелями, ресторанами, ночными барами...

Спустя годы Фридрих Хитцер, главный редактор литературного и общественно-политического журнала «Кюрбискерн», посетивший Болгарию, огрублял статью «Размышления на созополских берегах», в которой, в частности, он вспоминает о предложении кинофирмы, которая готова была поджечь весь Созопол ради одного кадра. Это, видимо, нужно было для создания супербоевика в голливудской манере. Какая

варварская затея капиталистической развлекательной кинопромышленности. Добавим, что бизнесмены вообще далеки от понимания того, на что способен народ в условиях социализма, особенно народ, который пережил османское иго и фашизм. И вот тот самый киноконцерн, как и многие другие, наверное, давно уже обанкротился, а Созопол продолжает существовать, древний и юный... В небольшом западногерманском городе, отмечает Хитцер, самое важное — это универмаг. Тогда как в Болгарии, как и в большинстве социалистических стран, самые важные здания — это училище, больница, детские сады, молодежные клубы и дома культуры. Именно в этих институтах, думается мне, раскрывается историческое сознание народа.

Интерес, пожалуй, представляет также история с переименованием города, который сперва, как мы помним, был наречен Аполлонией, а потом, отказавшись от имени своего бога Аполлона, назван Созополом.

— Существует, — сказала Л. Тодорова, отвечая на мой вопрос, — две версии. Согласно первой город был переименован потому, что часто оказывался пристанищем для потерпевших кораблекрушение. За ним утвердилась слава города спасения, что по-гречески звучит «созополис». По другой версии Аполлония была переименована в Созополис в 434 году до нашей эры в связи с принятием христианской религии в греческих поселениях. И мы знаем, что с тех пор все греческие города, носившие имя Аполлона, а таких было немало, стали переименовываться в Созополис, поскольку Аполлон, как отмечалось, был богом солнца, здоровья и спасения... Таким образом население Аполлонии отказалось от язычества и пантеона его богов, приняв новую веру. Отказалось от Аполлона, которому, как мы помним, вчера еще поклонялось и в знак верности возвел величественный храм в Аполлонии, водрузило уникальную его статую, а сегодня приступило к возведению новых идолов, к созданию новых базилик и церквей, даже меняя названия городов и храмов. Скудны археологические сведения о прошлом Созопола. Их предстоит пополнить разысканиями исследователей. Под землей полуострова таятся фундаменты и основы крепостных стен и общественных строений. Дремлет еще множество ценнейших памятников материальной и духовной культуры былого города-государства. Извлечение их из-под вековых наслоений земли поможет нам восстановить достоверную картину жизни далеких предков. Поможет открыть античный город-государство Аполлонию, оценить поэтическое его название Созопол — город спасения. Не без причины Созопол объявлен болгарским государством музейным заповедником.

Мне оставалось лишь поблагодарить профессора Л. Тодорову за весьма полезный и ценный экскурс в историю греческой философии и одновременно с не меньшей искренностью выразить извинение за то, что явно злоупотреблял вниманием и временем человека в день его рождения, когда...

— Когда человеку, кажется, не так уж грешно предаться любезной сердцу праздности, расслабить мышцы от нервных стрессов...

— Едва ли уместно добавит вам полезные советы, как радостно провести досуг... это неизбежно ведет к нарушению чужой и своей меры. А к соблюдению чувства меры призывал еще мудрейший Фалес. Все же очарованный полуостров Созопол... запах осенней земли...

— Вдали от промышленного смрада, выхлопных газов, копоти и угара. В Созополе, когда в конце сентября начинается листопад и аллеи покрываются синевой и золотом, а тихие дожди листья едва уловимо шуршат под дуновением морского ветра.

— В самом деле, разве от великолепной созополской осени не становится легко и радостно на душе, когда человек приобщается к прекрасному в природе — робкому солнцу, терпкому морскому воздуху, гулу прибоя, любитесь горами, над которыми клубятся прозрачные облака?

— Кому же чуждо сопереживание и преклонение перед прекрасным, когда ваш слух улавливает шуршание прокаленных листьев на деревьях, а глаз углаживает дрожание под ветром цветов в приморском саду? И от окрестных берегов веет античностью и тонкой тишиной...

— Можно лишь завидовать людям, наделенным даром не только видеть, но слышать шорох падающих листьев. Короткая, но дивная пора, как в «осени первоначальной». И разве не прекрасно собирать в листопад цветы, растения, упавшие листья — творения природы, и окружать себя ими, особенно в знаменательные дни, в день рождения например?

— Без всякого риска впасть в преувеличение смею сказать, что болгарам отнюдь не чуждо ощущение прекрасного в жизни. Они отмечены умением видеть природу — великим этим даром человека. Видеть и чувствовать, видеть красивое и мечтать. Видеть радость вечного обновления природы, нескончаемый миг ее жизни. Не об этом ли говорят зримые дали болгарских полей, утопающие в аромате плантаций табака и лаванды, не об этом ли рассказывают волшебные долины роз, равные которым едва ли существуют в других землях? Нет, не поймите это как бахвальство, которое по завету мудрых нужно пресекать быстрее, чем пожар... Природа, видно, оказалась к нам столь милостивой...

— Но природа, по мысли древнегреческих мудрецов, любит таиться... И чтобы раскрыть ее щедрость, нужен человек, беспокойный его ум, неустанный труд его рук...

— Как принято в этих случаях говорить, нет слов, нет слов... Все мы стремимся не упускать из виду сияющие и каменные вершины мудрости жизни. И болгары отдают себе отчет в том, что удел их — творимая история. Творимая созидательным их трудом. Творимая народом, осознавшим себя в историческом движении, в претворении дерзновенных мечтаний. Творимая народом история — лучший из подарков его бытия...

— Не в этом ли сокровенная тайна — преподнести сюрприз вашим коллегам в день рождения?

— Не хотелось бы никого разочаровывать: ни застолья, ни угощений, ни возлияний алкоголя, без чего не обходится у нас ни одно мероприятие, по случаю дня рождения не предвидится. Спиртное, знаете ли, слишком затуманивает мозги, человек не может сосредоточиться, поразмыслить, задуматься над многим, что ему удалось в жизни, а что предстоит еще сделать. Не правда ли, день рождения человека — самое подходящее для этого время?

— Но ведь не поймут же этого люди...

— Мне остается, пожалуй, выразить соболезнование всем, кто лишается случая: одним — отдать дань слащавой традиции юбилеев и торжественной ахинеи, которую несут над именинниками, а другим — показать перед друзьями и соседями свои дорогостоящие туалеты из заморских тканей, шуршащие наряды, редкие ювелирные изделия из золота и бриллиантов, обменяться актуальной информацией о новинках для своей ванны на даче, автозачастях и самых последних модных разводах в городе и во вселенной.

— Но, извините, это еще не основание гореть на работе даже в праздничный день! Предаться былому и думам можно, пожалуй, и на лоне природы, — продолжал я доказывать собеседнице.

— Сама природа здесь полна очарования. Удивительны ее превращения. Как краток и бесконечен миг падения опавшего листа к подножью дерева, к его корням, которые питают этот лист соками земли. Упавший лист — предвестник осени, еще одной осени, еще одного цвета времени, загадочной череды лет и движения в природе и жизни человека.

— Справедливо. И я даже намеревался посетить заповедник водяных лилий, что между Созополом и Ропотамо, насладиться благоухающей свежестью нежных цветов, поговорить с водой на заболоченной земле, потревожить траву... Словом, хотелось погрузиться в великое опьянение мгновением. Увы, оказалось, что не сезон. Не цветут теперь лилии...

И мне вспомнился уникальный этот заповедник водяных лилий, который производит впечатление освежающего чуда. Он раскинулся на заболоченной земле площадью более десяти гектаров. При входе предупреждающая надпись: здесь заповедник красивых и нежных лилий, не прикасаться. Редкостное это зрелище, когда огромное пространство — в цветении белоснежных лилий. Вокруг острый и нежный воздух зарослей и камыша. Во время цветения лилий здесь нескончаемая река людей...

Вспомнился мне также «Лотос — за калиткой» — сообщение М. Джангужина («Правда», 20 сентября 1978 года) с осенней выставки цветов в Алма-Ате, где трудно кого-либо удивить цветами. Вы видите их там повсеместно: прямо посреди улиц — красивые островки канн, в скверах и парках — розы, гладиолусы, гвоздики, георгины, астры... Но вот за деревянной калиткой вы видите не двор, а настоящий ботанический сад, в котором, как сообщает его хозяйка Нина Константиновна Базарова, в прошлом токарь на заводе, более 300 видов цветов. И кажется чудом: в небольшом бассейне — кувшишки, белые, розовые, голубые. А голубовато-синие, с острыми лепестками —

гибрид, полученный в этом саду. В маленьких водоемах живут лотосы, всеобщая гордость, которые пришлось растить и выхаживать в течение тринадцати лет. И лотос раскрыл лепестки, зацвел впервые на этой земле. Цветы удивительного этого растения жили три дня, множество алмазников приходили сюда любоваться заморским чудом.

В странах Дальнего Востока цветы лотоса и айлики пользуются особой любовью. Они возведены в Японии и Китае в высший культ, ибо считаются олицетворением чистоты и совершенства. Почитаются как дар небес. Чистота в них никогда не погибает. Она обладает магической силой прорастать сквозь грязь, в которой находятся ее корни, и гордо возвышаться над ней.

Речь идет не просто об обостренном ощущении природы. Не менее существенна утонченность восприятия прекрасного. Именно этому посвящены неисчислимые поэтические строки японских художников слова. Об этом находим немало высказываний, в частности, в знаменитых «Записках у изголовья» Сэй-Сенагон. Вот некоторые примеры: то, что навевает светлое настроение, — «Лотосы в пруде, обрызганные пролетным дождем»; то, что пленяет утонченной прелестью, — «Кровля, крытая не слишком старой и не слишком новой корой кипариса, красиво усталая длинными стеблями айра»; то, что глубоко трогает сердце, — «Капли росы, сверкающие поздней осенью, как многочисленные драгоценные камни, на мелком тростнике в саду».

Надо написать письмо, читаем у Сэй-Сенагон, как можно скорее, «пока не скатились капли росы с утреннего вьюнка». И, может быть, как я, он сейчас «по дороге домой любит блеском утренней росы...». Или: «Любоваться на осенние росы... Сколько в этом душевной тонкости... Дворец пленяет грустной красотой». Суга принес письмо, привязанное к ветви хаги: «На цветках еще дрожат капли росы»...

К числу самых великолепных вещей на свете Сэй-Сенагон относит «плеск бегущей воды, сливающейся с голосом флейты. Поистине сами небесные боги, должно быть, с радостью внимают этим звукам!». Великолепно зрелище, когда видишь «цветы глицинии чудесной окраски, ниспадающие длинными гроздьями с веток сосны». Глубоко трогает сердце то, когда «вдруг из-за гребня гор выплывает месяц, тонкий и бледный. Не поймешь, то ли есть он, то ли нет его. Сколько в этом печальной красоты! Как волнует сердце лунный свет, когда он скупо сочится сквозь щели в кровле ветхой хижины...». Всего лучше предрассветный месяц, когда «его тонкий серп выплывает из-за восточных гор, прекрасный и печальный». А солнце всего прекрасней на закате: «Его гаснущий свет еще озаряет алым блеском зубцы гор, а по небу тянутся облака, чуть подсвеченные желтым сиянием. Какая грустная красота!»

Музыкант не просто обладает способностью слышать. Это качество присуще очень многим. Ему необходимо еще чувство музыки, которое позволяет услышать то, что другим не дано. И художнику отнюдь недостаточно смотреть, глядеть, взирать. Ему необходимо особый дар — счастье увидеть. Без этого истинного художника не бывает.

В этой же связи весьма интересен внутренний диалог героев книги «Стон горы» Кавабата Ясунари, в котором живо раскрываются черты их характеров, вкусов, их видение живой природы:

«— Что это за цветы? Колокольчики?»

— Нет, черные лилии...

— Черные лилии?

— Да, мне их принесла подруга, она обучает чайной церемонии...

— Неужели это и есть черные лилии? — не переставал удивляться Синго.

— Подруга рассказывает, что когда в государственном музее устраивалась недавно чайная церемония, там стояли черные и белые лилии — это было очень красиво. Они стояли в старинной бронзовой вазе с узким горлышком...»

Всегда и всюду прививать человеку чувство прекрасного. Способность угледеть в природе все сокровенное, разгадать бесконечные ее символы. Чтобы художественность стала воздухом повседневной нашей жизни.

Истина старая и всегда новая: художник достигает мастерства не числом и объемом, но умением, даром видения, способностью узреть нечто такое, что находится рядом с человеком, постоянно окружает его, кажется обычным, ничем не примечательным, а при соприкосновении с искусством вдруг обнаруживает неповторимую свою привлекательность.

Современнику Пушкина и Лермонтова русскому поэту И. Мятлеву принадлежат известные поэтические строки о розах, которые повторяются не одним поколением читателей:

Как хороши, как свежи были розы
 В моем саду! Как взор прельщали мой!
 Как я молил весенние морозы
 Не трогать их холодной рукой!
 Как я берег, как я делал младость
 Моих цветов заветных, дорогих.
 Как жаль мне, в них расцветала радость;
 Казалось мне, любовь дышала в них...

Поэт по-своему узрел неповторимость мгновения в природе и в жизни человека, что привело к художественному открытию, к пробуждению трепета первозданных чувств.

Не секрет, однако, что не столько само это стихотворение И. Мятлева, сколько первая его строфа послужила И. С. Тургеневу мотивом для создания знаменитого своего стихотворения в прозе «Как хороши, как свежи были розы...», исполненного неизбывной грусти и задумчивых воспоминаний об ушедшей молодости, волнующих ее чувствах.

Иной цветок был мил И. Бунину, посвятившему поэтические свои строки хризантемам:

И все утро яркие и чистые
 Буду видеть краски в вышине,
 И до полдня будут серебристые
 Хризантемы на моем окне.

И в этих строках выражено личное мироощущение поэта, но оно также содержит неповторимость видения, которое помогает людям в художественном исследовании живых нитей взаимосвязи природы и человека. И разве ученые, в том числе гениальные, не предстают учениками перед лицом природы? В этом и открытие поэта и завещание живым.

Вспомним строки А. Дюма, посвященные описанию народного торжества в честь рождения черного тюльпана:

«Принц медленно развернул пергамент и произнес спокойным, ясным, хотя и негромким голосом, ни одна нота которого, однако, не затерялась благодаря благоговейной тишине, воцарившейся над пятьюдесятью тысячами зрителей, затаивших дыхание.

«Вы знаете,— сказал он,— с какой целью вы собрались сюда? Тому, кто вырастит черный тюльпан, была обещана премия... Черный тюльпан! И это чудо Голландии стоит перед вашими глазами. Черный тюльпан выращен, и выращен при условиях, поставленных программой общества цветоводов города Гаарлема. Его история и имя того, кто его вырастил, будут внесены в золотую книгу города...»

У цветов свой язык, столь же условный, сколько и красноречивый. Язык цветов молчалив. На нем говорят люди. Люди же разноязычны.

У Фета свое восприятие языка цветов:

Мой пучок блестит росой,
 Как алмазами калиф мой;
 Я давно хочу с тобой
 Говорить пахучей рифмой.
 Каждый цвет уже намек —
 Ты поймешь мои признанья;
 Может быть, что весь пучок
 Нам откроет путь евиданья.

История прошлого напоминает нам, что устойчивые символы связаны с особенностями многих цветов: роза олицетворяет любовь, незабудка — память, астра — печаль, лилия — чистоту, фиалка — весну, гвоздика — страсть...

Шон О'Кейси посвятил цветам прочувствованные свои строки: «И, право, нет ничего более прекрасного и восхитительного, чем яркие цветы у нас в саду, дома, а иногда и в наших мыслях».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

К болгарскому государству Созопол был присоединен во время правления выдающегося полководца и первого болгарского законодателя хана Крума (803—814), который высоко чтился в Созополе. Здесь ему установлен мемориальный каменный барельеф в центре города, на площади Созопольской коммуны. Кроме того, имя его носит

одна из главных улиц города. Это был период, когда болгары, разгромив аваров на западе, нанесли в 811 году самое крупное поражение Византии, во время которого в сражении погиб и сам император Никифор I.

Напомним, что болгарское государство было основано в 681 году в результате союзного договора между протоболгарами и южными славянами, которые еще в VI веке поселились на Балканском полуострове и вели борьбу против ненавистного византийского ига. В VII веке из района Азовского моря на Балканский полуостров пришли протоболгары, племя тюркского происхождения, и, под водительством хана Аспаруха в 680 году разбив в устье Дуная многочисленное войско Византии, поселились на территории нынешней Северо-Восточной Болгарии. Начало славяно-болгарскому государству было положено заключением союза между протоболгарами и славянскими племенами. Достижение военного и политического могущества болгарским государством относится к периоду IX—X веков, особенно при царе Симеоне. Именно в это время византийцы потерпели самое тяжелое поражение в битве при реке Хелой на берегу Черного моря, неподалеку от Созопола. Решительный толчок социально-экономическому и культурному развитию Болгарии, как отмечается в литературных источниках, сообщила славянская письменность, созданная в 855 году братьями Кириллом и Мефодием, славянами по происхождению, родившимися в городе Солуни (Салоники). Поистине тесен мир: лучшая из улиц в Созополе, где в одном из старинных домов мне случилось провести около месяца, носит имена братьев Кирилла и Мефодия.

Расширение болгарской территории создавало условия для существенного развития материальной и духовной культуры, расцвета архитектуры. К этому времени Преслав, вторая столица Болгарии, становится главным очагом славянской письменности и культуры. Отменен был греческий язык, вся документация стала вестись на славянской письменности, распространение которой способствовало возникновению официальной, а затем и апокрифической литературы на славянском языке. Именно в эту эпоху, получившую название золотого века болгарской литературы, огромную творческую деятельность развернули первые болгарские писатели: Иоанн Экзарх, Константин Преславский, Черноризец Храбр и многие другие литераторы. Официальная и апокрифическая литература способствовала утверждению славянского языка и письменности, формированию болгарской народности, которую сплачивала самобытная культура Болгарии, и оказывала благотворное влияние на духовное развитие соседних славянских народов. Следует сказать, что византийцы не оставляли своих усилий (тщетных), направленных на порабощение болгар, продолжали совершать грабежи и насилие, пытались убить самосознание и культуру болгар. Но господству и произволу иноземных поработителей не сужден был долгий век. В результате народного восстания Византия признала независимость болгарских земель к северу от Планины, что и положило начало Второму болгарскому царству со столицей в Тырнове.

Однако в середине XIV века Болгария оказалась перед лицом новой опасности — захватнической войны со стороны Османской империи. В результате длительной борьбы и осады туркам удалось овладеть Тырновом, а затем захватить и вторую болгарскую столицу — Видин. С этого времени средневековая Болгария превратилась в провинцию Османской империи. Лишь после длительной войны Турция подписала мирный договор и признала независимость болгарского государства.

После захвата Болгарии османскими поработителями Созопол погрузился в забвение, пребывал в унизительном запустении и нищете. Мужественные жители города, однако, не прекращали борьбы против турецких угнетателей вплоть до дня освобождения города — 10 января 1878 года — пришедшими сюда русскими воинами. Созопол встретил тысячи болгар освободителей как долгожданных братьев, приютил в стенах своей крепости тысячи болгар из окрестных сел, искавших убежища от ятагана башибузуков.

Русская революция семнадцатого года возвестила начало новых перемен. Начало крушения политических режимов, складывавшихся столетиями, коренного перелома в общественном сознании и образе жизни людей. Знаменательно, что в 1919 году в городе была провозглашена просуществовавшая одиннадцать месяцев Созопольская коммуна, которая возникла под влиянием Великого Октября и в результате развернутой созополцами борьбы против сил фашизма и капитализма в Болгарии.

Народная борьба против фашизма в стране не прекращалась. И когда гитлеровская Германия 22 июня 1941 года совершила вероломное нападение на Советский Союз, Болгарская коммунистическая партия без колебаний приняла курс на вооруженную борьбу против нацистских агрессоров и их болгарских приспешников, а в 1942 году

по инициативе Георгия Димитрова был образован Отечественный фронт, объединивший все прогрессивные демократические силы в борьбе против фашизма, за спасение Болгарии.

В годы Отечественной войны созополцы делали все, чтобы оберечь от врага советских подводников, действовавших в прибрежных районах Бургаса и Созопола, внеся тем самым свой посильный вклад в общее дело победы над фашизмом.

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом революционное движение в Болгарии приняло массовый характер. Жестокий террор в стране не задушил, а лишь усиливал борьбу народа.

8 сентября 1944 года советские войска вступили на болгарскую землю, где были встречены народом как освободители, хлебом и солью. В ночь с 8 на 9 сентября пал монархо-фашистский режим. Было создано правительство Отечественного фронта. Впервые в истории болгарский народ взял власть в свои руки, став полновластным хозяином своей судьбы.

...И мысль вновь ведет меня в Созопол. Мысль о моих соплеменниках и о разной их доле. Мысль эта, как неподвластная сознанию сила, возникнув однажды, продолжает жить и, подобно океанской волне, имеет ритм видимого и невидимого проявления, вечно существуя в своем нескончаемом самодвижении.

По вечерам, когда в городе затихает волнение воздуха и от нагретой земли исходит теплое парение, вокруг возникает неизъяснимая благодать, вселяющая в душу шуршащий покой, мечтательность, ощущение неделимости с вечностью. Ничто не предвещало бурю. На светлеющем небосводе ни единого облака. И дорога привела меня на его пристань. Здесь, у рыбацкой гавани, всегда оживление. Приходят и уходят на лов рыбаки, у которых от ветра, соли и солнца багровые руки. Снуют деловито загорелые, меднолицые созополские мореходы, которые нередко ходят в бороде под норвежских шкиперов прошлого века. Это люди, преданные своему краю и нелегкому промыслу, широкие, исполненные достоинства, справедливости. Они здесь истинная соль земли. В Созополе, однако, все рыбаки. Здесь, сказали мне, нет нерыбаков.

Вся масштабность полуострова, природное его пространство, весь размах Созопола обращен в открытое море, неохватные его просторы уводят за неуловимый горизонт.

Созополские рыбаки — особое племя. Они мудры, сострадательны, отзывчивы. Вечен и благороден их труд. В нем опыт веков, преемственность, традиции и навыки сурового дела и жизни, они чувствуют глубже, чем иные обитатели суши, пресыщенные и беззаботные, к кому удача приходит легко.

У созополской пристани нет широко простирающихся молов. Жилые дома рыбаков и портовые постройки, прижатые друг к другу, располагаются вплотную к пристани, за рубежом которой море покачивает словно в жидком малахите спокойный солнечный закат и многокрасочные шхуны на рейде, неуклюжие баржи в заливе, издающие запах рассола, острого как нашатырь. А рядом на прилавке у сонного пращуря, опустившего голову на руки, разложены плоды его баштана — черноморские сладкие арбузы и пахучие дыни, которые готов уступить любому любителю бахчевых.

Неожиданно внимание мое привлекла мемориальная плита, врезанная в каменную стену — ограду углового дома на пристани. Рядом чешма, водопроводная колонка, с тремя кранами. На дорогах Болгарии, в поселках и городах мне часто приходилось делать привалы у чешмы, сделанной то в виде сооружения из дикого камня, то в виде различных фигур или керамических сосудов. Роскошную мраморную чешму видел я в знаменитом доме Степана Хикуляна эпохи болгарского Возрождения в старом Пловдиве. У чешмы всегдалюдно, особенно в знойный час. Человека влечет сюда жажда, которую он утоляет прохладной влагой источника.

Мне приходилось много путешествовать по свету, часто бывать в различных странах огромного и еще непознанного нашего мира. Это давало мне возможность знакомиться с жизнью и историей разных народов Востока и Запада. Но нигде, пожалуй, кроме Болгарии, не встречается столько источников, с таким вкусом и любовью сделанных человеком и бескорыстно обращенных во благо другим, во благо всем людям, которые испытывают нужду. Чешма не служит источником чьей-либо наживы. Никому не позволено извлекать из этого жорысть. Не потому ли в странах Запада, прежде все-

го в богатейшей из них — Северной Америке, такие колонки с бесплатной водой — явление редчайшее, почти не существующее.

Однажды болгарские друзья, наверное углядев в наших глазах изумление, рассказали, что на их земле с давних пор существует неписанный закон: каждый болгарин непременно должен сделать чешму и лично посадить дерево. Только тогда жизнь человека не пройдет бесследно. И потому болгары хорошо помнят и знают источник, из которого пьют, и ценят тень под кронами деревьев, которые высаживаются для всех путников.

И вот здесь, на созополской пристани, стоит такая чешма. К ней припадают рыбаки и мореходы, возвращающиеся с промысла или дальнего плавания. Здесь встречаются многие — болгары и иностранцы. Сюда устремляются писатели и художники, которые долгие часы проводят в порту в поисках творческих находок. Всех влечет чистая родниковая влага чешмы. Утолив жажду, они, поднимая глаза, читают, как прочел и я, выбитые на черном мраморе слова: «12 сентября 1944 года в Созополе погиб старший сержант Красной Армии Иван Иванович Рублев, спасая жизнь многих граждан и детей. Поклон перед светлой его памятью. От признательных граждан Созопола».

Что же произошло здесь, чем вызвана смерть русского воина в Созополе? ведь в те сентябрьские дни не было боев? — невольно возникали у меня вопросы, и я обратился к стоящим поблизости рыбакам, набравшим в канистру пресную воду из чешмы перед уходом в море.

— Он пал здесь бесстрашно... от руки подлых убийц... фашистских извергов, — угрюмо ответил мне загадочный рыбак и умолк, долго всматриваясь в багровый горизонт, словно на его фоне лучше видна душа человека, истинная его сущность.

В разговоре с подошедшими рыбаками, узнавшими во мне земляка Ивана Рублева, выяснилось, что произошло это в день освобождения Созопола от немецких фашистов, когда созополцы радушно приветствовали советских моряков. Во время многолюдной торжественной встречи внезапно раздался голос И. Рублева, заметившего подложенную диверсантами гранату, готовую вот-вот взорваться: «Ложись на землю!» Сам бросился вперед и своим телом закрыл взорвавшуюся гранату... Сержант погиб на месте, но упредил злорадство недругов. Принес в жертву жизнь свою, чтобы спасти жизни многим находившимся вокруг людям. Такова неприбранная история правды, правды подвига, которую я услышал от созополских рыбаков и которая показала мне выше и прекраснее причисненных сочинений, гладкописных версий.

Хотя это лишь черточки времени и событий, происходивших во времена жестоких кровопролитий, все же от неуывающей памяти, которая живет в людях, в сознании созополских тружеников, — от всего этого исходила какая-то просветленная скорбь. И становилось очень возвышенно и гордо в груди. Такие события не могут не вызвать у нас глубокий душевный отклик. Давняя балканская пословица гласит: у камня долгая память. Однажды высеченные народом на камне письма переживают века и династии.

Здесь словно бы иное измерение времени и жизни. И болгары глубоко это понимают, обладают даром беречь память сердца. Свидетельства героизма, кровного давнего братства встречаются по всей Болгарии. Они перед нашими глазами и в Созополе. Мы обнаруживаем эти символы вечного братства между нашими народами и в виде памятника советским морякам-подводникам, погибшим в сражениях в прибрежных водах Созопола во время Отечественной войны; и в виде парка болгаро-советской дружбы и музея, где экспонируются документы, фотографии и другие материалы о морских операциях советских моряков-подводников; и в виде Аллеи освободителей, мемориальной композиции Константина Паустовского, а также рыболовного заповедника имени Юрия Гагарина, который во время посещения Созопола имел встречи с болгарскими рыбаками. Все это удивительно жизненно. Есть в этом какая-то всеохватная доброта и благожелательность. Во всем — большом и малом, в отношении ко всему возвышенному и священному.

Смерть — явление неотвратимое. Но в каждом человеке нам обетовано возвращение в первородную стихию. Все люди, по слову мудреца, на какой-то миг боги. Но между рождением и смертью людей — река, что нас несет. Путь жизни... Каков он был у сержанта Рублева? Что успел совершить, что пережил, что сумел постичь в мечущемся этом мире? Жизнь его оборвалась на исходе войны, в день неизбытной радости болгар, в час победы над ненавистным врагом и наступления новой жизни... Красноармейский воин И. Рублев прошел вместе со своими однополчанами, со всем своим народом всю Отечественную войну... 12 сентября в Созополе был день первый в его

жизни не на фронте. Человек не выбирает день своего рождения. Но всегда ли он знает час своей смерти?

Было ли это лишь выполнением воинского долга? Или рефлекс нервного действия, тайное движение человеческого сердца? Надо, чтобы у самого человека была в душе повелительная эта сила, таящая в себе духовно-нравственные основы жизни. И не только в личностном, но в аспекте социальном, в духовном мировосприятии.

Подвиг не умирает. Чистый и искренний в горении чувства и мысли, сам человек, способный на «души прекрасные порывы», не может не излучать воздействия на других, передавать это окружающим.

И вот здесь же, на пристани Созопола, на побережье Черноморья, едва ли не в один и тот же день с гибелью И. Рублева случилась и другая смерть. История ее описана К. Паустовским в рассказе «Амфора». Она была рассказана писателю капитаном гемии — рыболовного судна. Жил в Созополе богатый рыбопромышленник по имени Кристо. Рыбаки недолюбливали его: он никогда не выплачивал вовремя заработанные ими деньги. Дело дошло однажды до того, что рыбаки пришли к дому Кристо с тяжелыми веслами, чтобы избить его и разгромить его дом, если он тут же не заплатит им свой долг...

Когда же к созополским берегам приблизились части Красной Армии, Кристо решил бежать в Турцию на итальянском пароходе, который зашел в Созопол и через несколько часов должен был отчалить в Стамбул. Он перевез на судно свои вещи и на прощание за полчаса до отвала парохода заглянул в портовую таверну «Казино». Там ее хозяин старый Дмитро умел готовить самый крепкий и душистый кофе в мире. Но Дмитро слишком старался и особенно долго готовил кофе, а пароход уже дал третий гудок, тянуть было невозможно, Кристо выбежал из «Казино», сел в пароконный фэтон, но ресторатор догнал его с чашкой благоухающего кофе, и Кристо не устоял... выпил кофе и разбил чашку о мостовую.

Опоздав на пароход, Кристо посылал проклятия вслед уходящему судну. Вернувшись в «Казино», он сел за стол, обхватил в отчаянии голову руками и заплакал. Вскоре, однако, вбежал смотритель порта и крикнул, что за мысом полосой пронесся внезапный ураган, ударила о скалу потрепанную итальянскую посудину, которая пошла ко дну со всеми пассажирами и командой. Со всеми без исключения. Не спасся никто.

Кристо вскочил, бросился в порт и с ликованием возвестил, что из двухсот пассажиров живым остался только он один... И снова захохотал как безумный. Позвал грузчиков, с которыми еще не расплатился за их услуги, угостил их всех вином и так радовался, что упал головой на стол и умер. На вопрос полицейского о причине смерти Кристо самый старый грузчик бросил: «От злой радости...» Сколь велика у человека должна быть недоброежелательность к людям, если их гибель приносит ему такую радость, что он умирает от восторга?

И мне ассоциативно пришла на память легенда, предпосланная роману Джона О'Хары «Свидание в Самарре». Смерть рассказывает: «Жил в Багдаде купец. Послал он слугу на базар за товаром, но тот прибежал назад, бледный и дрожащий, и сказал: «Господин, на базаре в толпе меня толкнула какая-то старуха; я оглянулся и увидел, что меня толкнула сама смерть. Она посмотрела на меня и погрозила мне. Господин, дай мне коня, уеду я из этого города, скроюсь от своей судьбы. Поеду я в Самарру, где смерть не найдет меня». Дал купец слуге коня, сел слуга на коня, возил шпоры ему в бока, и помчался конь со всех ног. А купец пошел на базар, увидел меня в толпе, подошел и спросил: «Почему ты погрозила моему слуге, когда увидела его нынче утрам?» «Я не грозила ему,— ответила я.— У меня лишь вырвался жест удивления. Я не ожидала увидеть его в Багдаде, потому что сегодня вечером у нас с ним свидание в Самарре»...»

Нет, человеческой природе не противопоказана верность своему скиту с его хлебом и водой, чтобы сердце не охлаждалось вселенскими сквозняками.

Созопол влечет к себе. Он чарует, захватывает человека, вырывая его из привычной каждодневности и перенося в мир морской стихии, искусства, поэзии.

Созопол — город художников. Словно древо желаний, он манит людей творчества, и они находят здесь настоящее вдохновение. Но город замораживает вас постепенно. Он не тронится раскрыть пришельцу сокровенные тайны. И не заморская экзотика преследует вас здесь по пятам. Иные, однако, ищут в Созополе лишь стародавность, атмосферу патриархального бытия людей.

Созопол — архитектурный памятник, в котором отозвались многие культуры, искусство старины, народные традиции и вкус. Созопол овеян спокойствием и легкой дымкой мечтательности античного поселения у Черного моря, которое известно еще со времен Элады как Понтос еужинос — Гостеприимное море. Особенного очарования исполнено южное болгарское побережье с его щедрой природой и неповторимыми пейзажами — от города Бургаса до Резовской реки и Ахтополя.

Любуясь побережьем Черноморья или видами голубого Дуная, мы испытываем чувство пленения возникающими перед нами видениями, исполненными мечтательности, раздумий, поэтического настроения. И не можем не ощутить того, что поэзия полуостровного Несебыра, к примеру, разнится от варненских берегов, а поэзия предгорного Банско, расположенного у самого подножья величавых Пирин, совершенно иная, чем поэзия горного Велинограда, хотя зодчий всюду — сама природа. И во всем тут чувство природы, вечно новой природы.

Созопол не назовешь городом без художественного и зодческого наследия. Старинный облик города раскрывается привлекающими глаз домами самобытной архитектуры и стила, узкими улочками, изгибающимися переулками, мощенными булыжником и плитами из дикого камня. Уютными домами с характерными эркерами, нависающими стрехами, облицовкой из простого дерева. В растениях здесь много сиреневого, синего, оранжевого и густо-зеленого цвета. Своеобразие это Созополу придает нечто романтическое, затаенно привлекательное, загадочное.

И чем чаще вглядываешься в своеобразную архитектуру домов в старом Созополе, тем больше обнаруживаешь новые особенности, не замечавшиеся ранее детали. Открываешь нечто неизведанное в самом, казалось бы, обыденном. Удивляешься привычному. Непостижимо это... Все, что каждодневно окружает нас, что с нами неразлучно и стало обычным, не привлекает нашего внимания. Лишь художники, люди прощипательные, наделенные талантом углубленного постижения действительности, личности творческие, способны замечать необыкновенное поистине в самом простом, ординарном. Способность эта видеть и восхищаться — драгоценное качество, великий дар человека, способного ощущать и воспринимать мир как искусство, как творение самого гениального ваятеля и поэта — природы, а искусство — как мир своего бытия.

Нередко все начинается именно с какой-то детали, частности, отдельного штриха, а превращается в нечто цельное, стройное, законченное. Так возникают дорогие сердцу вещи.

Самыми привлекательными в традиционной архитектуре городских строений, архитектуре болгарского Возрождения, какими мы видим их теперь на улицах Созопола, пожалуй, являются эркеры — часть второго, очень часто деревянного этажа над первым, почти всегда каменным. Непривычная это на первый взгляд картина. Едва ли еще в какой-либо другой земле она так часто встречается. Эркеры, подобно крыльям выступающие вперед, иногда поддерживаемые деревянными подпорками, в старом Созополе — архитектурная норма, строго соблюдаемая всеми на протяжении веков. И на некоторых домах традиционной архитектуры можно встретить дощечки с надписью: «Памятник архитектуры XVIII века». В этом, быть может, одно из существенных несходств Созопола с другими городами Болгарии, хотя архитектурные эти особенности встречаются не только в других городах страны, но еще и в некоторых славянских странах.

Созополские старожилы рассказывают мне, что сочетание камня и дерева, из которых возводятся жилые дома, имеет здесь свое преимущество. В таких жилищах в деревянной их части зимой тепло, а летом на первом, каменном этаже сохраняется прохлада, что особенно важно во время летней жары. Помимо того деревом обшиваются и каменные стены дома, особенно в том случае, когда его фасад обращен к северной стороне, чтобы защитить от морской коррозии и ветра.

Но почему дома строятся с эркерами, единого понимания мне встретить не удалось. Одни считают, что эркеры обусловлены ограниченностью земли на полуострове. Отсюда узкие улицы и переулки. Отсюда же стремление расширить площадь дома за счет надземного пространства. По мнению других, причина здесь скорее не столько утилитарная, сколько эстетическая. Это красиво, говорят они. Нравится людям. Иначе трудно объяснить, почему возводятся дома с эркерами и в других частях страны, где отнюдь не наблюдается недостатка земли. Словом, нет здесь простой однозначности. Быть может, в Созополе ограниченность земельных участков играла какую-то роль, однако едва ли это могло иметь существенное значение, поскольку экономия земли

тут, увы, не столь заметная. Верно, что в старом Созополе дом в подавляющем большинстве занимает весь участок земли или почти весь. Дома построены стена к стене. Вплотную, без просветов. Дворов в обычном смысле тут нет. Лишь у немногих есть маленькие дворики, в которых устраивается парцеллярный розарий или миниатюрный огород для выращивания зелени, как это наблюдается, например, в Японии с ее крайне ограниченными земельными возможностями. Своеобразие архитектуры дома — это всегда вопрос традиции, связанной с определенными условиями и мироощущением. По всей видимости, эркеры пришли в Созопол вместе с архитектурой эпохи болгарского Возрождения, но получили свое конкретное выражение в условиях полуостровного Созопола. Архитектурная эта особенность стала восприниматься эстетически, как признак живописности, как органическая, украшающая часть всей архитектоники очага.

— Как вы объясните возникновение эркера на домах в Созополе? — спросил я во время одной из встреч с художником Яни Хрисопулосом, родившимся в Созополе и всю жизнь не покидавшим этого города.

— Причина, пожалуй, в экономии земли: все стремились приотиться на тесном этом полуострове, а места не хватало, — с ходу ответил Яни Хрисопулос.

— Но почему же дома с эркерами встречаются в других местах страны, где никогда не было недостатка земли под строения?

— Верно... Дело здесь, видимо, в архитектуре, в ее своеобразии, в тех особенностях, которые стали излюбленными, традиционными, — добавил художник.

— В народной эстетике?

— Именно в этом... Местные наши строители — удивительные мастера. Они обладают редкостным вкусом, наделены чувством меры, ощущением прекрасного. Обратите внимание, как возводится дом в пространственном измерении, как вписывается в окружение, в пейзаж, как соотносится с морским берегом... Все здесь соразмерно, выполнено с предельной точностью, поистине артистично. В этой народной архитектуре ощущаются традиции предков, но они современны по своей сути, по эстетическому своему значению. Заметили ли вы, что старые дома в Созополе обладают своим очарованием? Они связаны романтикой, они поэтичны, — продолжал Хрисопулос. И после короткой паузы, словно что-то вспоминая, устремился к стоящим у стены картинам, быстро нашел нужное полотно с изображением стародавнего деревянного дома и показал мне для того, чтобы зрительно представить, как это выглядело лет пятьдесят назад.

Позднее, во время посещения Пловдива, я познакомился с архитектурными памятниками эпохи болгарского национального Возрождения, расположенными в одном из самых романтических районов старого Пловдива. Характерная особенность архитектуры здешних домов, к примеру ансамбля домов по улице Чомакова (XVIII—XIX вв.), — многоцветные фасады, на которых рельефно выступают кокетливо нависающие эркеры. Последовательные уступы эркеров придают фасаду выразительность и динамичность. В беседе с сопровождающим нас искусствоведом я интересовался происхождением эркеров на пловдивских домах. «Эркеры в архитектуре эпохи болгарского национального Возрождения имели эстетическое значение. Главная их функция — художественно-декоративная», — уверенно ответил собеседник, не выдвинув никаких других соображений, в том числе фактора ограниченности участка. В Пловдиве того периода в этом не было проблемы.

— Созополские мастера в известном смысле настоящие художники и поэты своего ремесла, — заметил я в ходе нашей беседы с Яни Хрисопулосом.

— Именно художники! Народные наши умельцы — это самородные таланты. Они живой источник отменного вкуса, глубокого понимания подлинно прекрасного в жизни. Ведь человек никогда не устает любоваться традиционной созополской архитектурой с ее затаенной простотой и строгостью линий, выразительностью каждой детали, стилевым совершенством. И интерьер дома нередко богат и разнообразен своим убранством. Резные потолки, двери, шкафы и лестницы создают чувство уюта и тепла. Гордость созополского дома периода национального Возрождения — разнообразно орнаментированные дощатые потолки. Все здесь ручная работа. Во всем старание и любовь. Между тем умельцы наши — люди из простого сословия, образованием не блещут, высоких дипломов не получали, бумажными сертификатами не располагают. А денег у них никогда не бывало в избытке. Как раз хватало, чтобы не спеша уметь. Только руки у них золотые, к чему ни прикоснулись бы — все становится просто и красиво.

— А как здесь с проблемой отцов и детей — преемственностью поколений: мастерства, опыта, таинства ремесла?

— Сожаления достойно, что многое утрачивается, теряется, боюсь, навсегда. Правда, сейчас в старой части Созопола ведутся по решению правительства восстановительные реставрационные работы. Нередко, знаете ли, и меня вовлекают в эту работу наши архитекторы и инженеры, которые обращаются к моим картинам и эскизам, чтобы воспроизвести первоначальный облик домов в старом Созополе. Памятники архитектуры часто приходится восстанавливать заново. Но многие секреты технологии старых материалов как сквозь землю провалились. В старину стены домов клали из сырого, необожженного кирпича, который обладал гигроскопичностью, не пропускал морскую влагу, что в Созополе, окруженном со всех сторон морем, особенно важно. Первый этаж здесь делался из камня. Его принято использовать для всякого рода хозяйственных и подсобных целей. Второй этаж — жилой, строился из кирпича и обшивался толстыми дубовыми досками для защиты от морской коррозии, вызываемой сыростью и постоянными ветрами,— сказал мой собеседник и продолжал: — Теперь в новых районах Созопола дома строятся по стандартам и по инструкциям современной технологии. Все из камня и бетона. Проще, конечно. Происходит, однако, такое чудовищное нагромождение бетона и камня, что только и гляди как бы весь наш маленький полуостров не пошел на дно моря. Железобетонные эти дома к тому же обладают удивительным сходством: их просто невозможно отличить один от другого, все они, как сиамские близнецы, на один лик — однообразны и монотонны. Они лишены того неповторимого шарма, которым обладают дома в старом Созополе, лишены романтики, обаяния, поэзии, когда весь Созопол напоминал собой старинную гравюру, панораму, исполненную в серо-зеленых тонах, картину, покрытую патиной, образовавшейся от времени, морской соли и ветров...

Созопол видится мне в ночных огнях, которые на главных улицах светятся в фонарях из кованого вороненого железа и с матовыми стеклами, в извечно неукротимом гуле морской стихии, плотно облегающей полуостров, в отблесках светильников на домах, едва пробивающих полынью мглу в тесных, изогнутых переулках.

На улицах Созопола, на каждом углу встречаются живые цветы, выращенные в больших керамических чашах и вазонах, поставленных прямо на мостовую, на каменные плиты, или смотрящие на вас с подоконников и ступеней при входе в дом. Яркие, нарядные, привлекательные шапки хризантем, пылающие тюльпаны, белые, бордовые и кремовые розы, пеларгонии на ваших глазах торжествуют, сладострастно и жадно пьют падающий с необъятной выси яркий свет и морской воздух, которым густо насыщен весь полуостров. В этом также живет примета зкуса, народной эстетики.

И мне будто открывалось новое восприятие, совсем новые ощущения, будто проливался свет на многое, о чем ранее не задумывался, мимо чего проходил без внимания. Теперь все это приобретает для меня свой смысл, становится чем-то значимым в моей жизни. Лишь теперь... Но все это существовало и ранее, наверное, давно. Существовало само по себе, безотносительно к нашему восприятию, да и к самому нашему существованию. Существовало и существует, только теперь и в моем сознании, хотя и не знаю, что же, в сущности, есть то, что открылось для меня. Знаю лишь, что это новое вселило в мою душу нечто чистое и отрадное. Нет, не торные это дороги жизни...

И разве человеку не свойственна потребность осмыслить самого себя, окружающее бытие, постигнуть мир, в котором живет? Понять, зачем приходит он в этот мир? Нет, не чуждо ему стремление проникнуть в тайны прекрасного, сокровенность искусства — живописи, поэзии, музыки. Неужто действительность недостаточно просторна и емка, чтобы развернулось пространственное его воображение, когда открываются глаза наступающего дня?

В Созополе уже при въезде в город, особенно в приморском парке, вам нередко попадаются старые судовые якоря, порыжевшие от едкой ржавчины. О них непременно говорят и пишут все или почти все, посетившие эти места. Для иного странствующего ока, ищущего все необычайное и диковинное, они, быть может, находка, экзотическая изюминка. Присутствие старых якорей на берегу, наверное, воспринимается многими и как нечто романтическое,

Но якоря эти способны, пожалуй, вызвать и другие мысли, грустные раздумья. Опрокинутые и брошенные, как потерпевшие крушение шхуны, они ведь когда-то нужны были человеку, который не обходился без них, неразлучно отправлялся с ними в море, делил невзгоды и испытания... Названные по чести и праву якорем спасения, они служили тому же человеку верой и правдой — и человечеству, не изменяя ему ни при какой погоде, ни при каком смерче. Теперь их лишили даже естественной водной стихии, за ненадобностью вышвырнули на сушу как на обочину жизни. Напоказ проходим, на праздное обозрение толпы...

Истинно все не вечно на этом изменчивом свете, как и неумолимо течение реки, что несет человека в жизни и во времени. Не ново и то, что в «безумном этом мире» все приходит, чтобы безвозвратно уйти. И было бы наивно, конечно, мечтать о возрождении динозавров. Они для нас тень далекого, навсегда канувшего в бездну прошлого. Сущность, однако, в ином: какова тут, сказать так, сама метаморфоза, как меняется человек и его отношение ко всему окружающему, какова здесь нравственная диалектика? Каким путем и образом обходится человек со всем тем, что приходит, а потом он определяет, что должно уйти, отлететь, как листья с осенних ветвей? Всегда ли и во всем нужны дросты только по старости? Оправдана ли декоративность, за которой скрыто давно уже устаревшее, отжившее, насквозь проржавевшее, но все еще цепляющееся за однажды занятые позиции, хотя давно бы уже пора стать на якорь, чтобы не оказаться за бортом времени и событий?

Интересна, на наш взгляд, заметка «Якоря на пьедестале», опубликованная газетой «Правда» 23 ноября 1979 года. В ней говорится, что у входа в керченский городской парк культуры и отдыха, на берегу пролива сотрудники местного Историко-археологического музея открыли необычную выставку «Якоря судовые». Здесь демонстрируются якоря разных эпох, размеров, предназначений. Очищенные от морских нарослей и ржавчины, выкрашенные в черный цвет, они установлены на специальных цементных площадках, опоясанных цепью. Все экспонаты снабжены пояснительными надписями. На вводной читаем:

«Более 4 тысяч лет назад древние придумали якорь. Первые якоря классического принципа были деревянными. С появлением профессии кузнеца железный якорь становится его основным изделием наряду с лемехом плуга, мечом, топором, подковой... У древних греков и римлян якорь считался священным орудием, символом надежды. Якорь — изобретение международное и является неотъемлемой принадлежностью каждого корабля...»

Однако деревянных якорей на выставке нет. Они не могли сохраниться до наших дней. Но здесь экспонируются три каменных округлых тяжелых штока — приспособления к деревянным якорям для придания им тяжести, чтобы удерживать в подводном положении. Они были обнаружены аквалангистами керченского музея в районе мыса Туза. Эти штоки использовались на судах в VII—IV веках до н. э., то есть в период развития Созопола. Здесь же выставлен двулапый, кованый адмиралтейский якорь, применявшийся на парусных военно-морских судах в XVII—XIX веках. Рядом с ним четырехлапый, которым оснащались крупнотоннажные торговые суда в XVI—XVIII веках.

С утра до позднего вечера идут горожане и гости Керчи в городской парк. И ни один посетитель не проходит мимо выставки якорей. Особый интерес вызывает экспозиция у школьников, а также моряков и рыбаков. Она напоминает о древнем городе-герое Керчи, родословная которого насчитывает более двадцати пяти веков. Он стоит как страж родины на стыке Азовского и Черного морей.

Все якоря, экспонируемые на выставке, были обнаружены в разное время в водах Керченского пролива при углубительных работах или энтузиастами-аквалангистами.

Вторжение науки и современной технологии в нашу действительность радикальным образом видоизменяет привычный порядок нашего существования и деятельности, вековой уклад нашей жизни — общественной и частной. Во всем утверждается новизна, прогрессивность, происходит великое соиздание и ломка наших представлений. Человек обретает все более активную жизненную позицию...

И все же правомерно спросить, уходит ли старое в небытие. Уходит ли все без остатка? И прошлое ли это? Все ли здесь от минувшего? Не поддаемся ли мы искушению, которое зовется забвением?

Нет, память истории, ее опыт и мудрость не исчезают бесследно, а передаются, наследуются из поколения в поколение, утверждаются в памяти народа, в его опыте, надеждах и мечтах. Народ наш устремлен в будущее. Но это не означает, что история утрачивает для нас всякий смысл и что мы должны забыть славное прошлое своего народа и человечества, достижения, которые в известном смысле имеют непреходящее значение.

Традиции, наследие народного опыта и пути его жизни, которые выверяются веками и поколениями, призывают нас духовно и нравственно оберегать их от превратностей времени. Призывают хранить все лучшее и достойное, что оставлено нам историей, ибо законным наследником материальных и духовных богатств, накопленных человечеством, по завоеванному праву выступает в наш век и на нашей земле сам народ, а не какая-то отдельная, привилегированная его часть, тем более не элита.

И только тому наследию суждено жить, сохранять глубокие свои корни в жизни, которое призвано к служению великому творцу истории — самому народу.

У кого из славян не защемило сердце, не дрогнет душа при взгляде на простую избу с резными наличниками, крытую камышом или соломой, стоящую у бегущей реки, среди взметнувшихся тополей, белоствольных берез, плачущей вербы? Не отсюда ли возникли строки нашего современника Сергея Видулова:

Лягу под березой на траву,
в тень ее игривую, на спину,
лягу, руки в стороны раскину
и легко подумаю: живу!

Неужто суждено когда-либо уйти в невозвратное прошлое, в небытие простой и всегда волнующей славянской народной традиции встречать дорогого гостя хлебом и солью? Разве не содержится нечто уловимо отрадное в том, что с древнейших времен и в наши дни болгары преподносят друг другу традиционную мартеницу, символизирующую с эпохи фракийцев не только пожелание, но и гарантию здоровья и успехов?

Смею думать, что именно глубокие и здоровые традиции помогли болгарскому народу устоять и сберечь свою национальную славянскую самобытность даже в самое мрачное время, на протяжении пятисотлетнего жестокого османского ига. Сохранить язык, народную культуру, обычаи и сам дух народа. Не знаменательно ли, что именно в этот тяжелейший период, пагубно сказавшийся на развитии литературы, единственным проявлением художественного слова и мысли было народное творчество, передававшееся из поколения в поколение и сохранившее национальный дух болгар. Это традиционное творчество народа явилось прочной основой для дальнейшего развития болгарской литературы, когда в конце XVIII века развернулась национальная революционная борьба против османской тирании.

Почему столь неистребимо наше впечатление в литературе и жизни к запечатленной в книгах простоте бытия наших дедов и пращуров, интерес к многовековым обычаям, добрым традициям, нравственным устоям и народной жизни? Речь, разумеется, идет не о патриархальном домострое, свинцовых мерзостях крепостничества, всем том, против чего трудовой народ не прекращал борьбы и от чего навсегда мы избавились. Речь о другом, о том, почему такой притягательной силой обладают творения наших классиков, гениев русского искусства, с таким покоряющим реализмом увековечившим жизнь и подвиги предшествующих поколений.

Историческая жизнь народа должна рассматриваться в ее масштабных измерениях. Осмысливаться должен ее день минувший в созвучии с днем нынешним и грядущим. Сочетать непреходящую ценность классического наследия с биением сердца современной жизни, в котором отражаются судьбоносные явления нашей эпохи.

Именно в этом видится нам вера человека в духовные ценности, нравственные качества людей, неподвластные непостоянству и фальши. Едва ли не парадоксальным кажется, к примеру, то, что время не отдаляет, но приближает нас к Пушкину и Лермонтову — поэтическим гениям русского народа прошлого века, потому что именно в наш век и в нашем отечестве идеалы их претворяются в реальность. Их творчество революция сделала для народа доступным не просто как ценность художественную — как меру эстетическую, нравственную, духовную. Именно пролетарская революция привела к созданию реальных условий для действительного претворения высоких надежд и идеалов в созидательной деятельности трудового народа. И оттого народная

тропа благодарных потомков никогда не зарастет к бессмертным творениям своих поэтических гениев. Не перестанут они приходить к памятникам, овеянным волшебным даром провидения и нравственной чистоты, из которых рождались неумирающие строки.

В высшей степени примечательно и отношение болгар к своему художественному наследию, искусству и литературе. В большой, сложной и яркой болгарской поэзии особенно выделяются имена Христо Ботева, Христо Смирненского и Николая Вапцарова, творчество которых неизменно воспринимается болгарами как наиболее близкое и дорогое их сердцу.

Литература эпохи болгарского национального Возрождения (XVII—XIX вв.), как свидетельствуют болгарские источники, возникла как выражение мечты народа о свободе. Искусство слова было в основе своей глубоко демократическим и революционным, ибо отражало жизненные интересы народа, его извечное стремление к национальному и социальному освобождению. Воспевало не королей и господ, а сам народ, поднявший знамя бунта и свободы. Период Возрождения ознаменовался творчеством яркой плеяды литераторов: Паисия Хилендарского, Софония Врачанского, Неофита Бозвели, Петра Берона, Георгия Раковского, Любена Каравелова. Вершиной художественного гения был поэт-революционер Христо Ботев. Ему принадлежат пламенные строки стихотворения «Хаджи Димитр», посвященного памяти бессмертных воевод, боровшихся против османского ига за свободу, во славу древнего болгарского рода:

Кто в грозной битве пал за свободу—
Не умирает: по нем рыдают
Земля и небо, зверь и природа,
И люди песни о нем слагают...

Христо Ботев возвысил свой голос против господствовавшей государственной системы. Он призывал к тому, чтобы на болгарской земле, которую еще деды завоевали силой оружия и своей святой кровью, где ныне бесчеловечно свирепствуют турецкие кирджали и янычары и где царит право силы, создать храм истины и подлинной свободы. Восторженно приветствуя Парижскую коммуну, Христо Ботев писал в одной из своих работ: «Нет власти над головой, которая готова слететь с плеч во имя свободы и блага всего человеческого».

Христо Смирненский — явление феноменальное в болгарской поэзии, рожденное в эпоху исторических бурь и потрясений, в период возникновения в муках и крови нового мира, о котором люди веками могли только мечтать. Движимый верой в победу над «кровавым храмом» и торжество светлого мира братства, Смирненский писал в своем стихотворении «Сжвось бурю»:

...не бойся, что дымящаяся кровь
забрызгает нарядные одежды,—
иди вперед смелей и веселей
навстречу солнцу новых, светлых дней!

По справедливости и праву современный поэт Божидар Божилов с гордостью охарактеризовал Смирненского как редкостного поэта среди художников его времени, «чьи лиры так вдохновенно отозвались на выстрел «Авроры», как лира Смирненского».

Прекрасны строки его стихотворения «К выси», исполненного устремленности и оптимизма:

Крылья духа в оковах у нас от рожденья,
это будни оковы ковали нам те,
а ведь в душах не умирает стремленье
высь, к простору и красоте.

И потому именно болгары справедливо считают, что Христо Ботев и Христо Смирненский, которые с рыцарским достоинством воспевали нравственную чистоту человека, воинствующую совесть и веру в добро, остаются с нами и сегодня, предстают как наши современники, освещают факелом чувств и разума дорогу в будущее. И ныне в сложном и мягущемся мире поэтическое наследие талантливых этих творцов человеческих ценностей позволяет с полной верой в правильность избранного пути и нравственного мерилла сверять по нему наши чувства и мысли.

Знаменательное это явление наших дней — стремление и духовная потребность равняться на высоту национальных поэтических гениев, сопоставлять свое видение мира с мудрой их проникательностью. Не в этом ли обнаруживается не просто художественное значение подлинного наследия и традиции, но и нравственный воспитательный их смысл?

Не о каком-либо противопоставлении, конечно, старого новому, традиций — творчеству идет здесь речь. Разве наследие и новаторство не есть нерасторжимые звенья единого диалектического процесса развития жизни и культуры? Правомерно ли рассматривать их в отрыве друг от друга? Не привело бы это к попыткам разъять истину. Новаторство само по себе из ничего не возникает. Оно всегда покоится на добротной почве лучших традиций. И напротив, устойчивы и плодотворны именно те традиции, в которых с самого начала содержались элементы, выведившие данные традиции за грани породившего их времени. Иными словами, существуют традиции живые и мертвые, как творчество — подлинное и мнимое. Это означает, что только живые традиции и настоящее творчество представляют собой диалектическое единство, поскольку природа и корни того и другого в существующей реальности, в современной жизни. И зависят они от действительных, а не от надуманных, умозрительных потребностей и определяются объективными законами общественного движения.

Созопол... Я видел здесь рассвет и наступление ночи. Видел, как над засыпающим морем догорает теплая вечерняя заря. Видел звезды с твоей земли. Видел, каким острым огнем горят осенние созвездия над безбрежной гладью Черного моря. Как врывался норд-ост в раскрытое окно моего дома и вольно листал рукописи на столе, вызывая желание запечатлеть на бумаге забавы бога морей Посейдона. Видел бушующую стихию, гневно бросавшую гигантские волны на скалистые утесы и творившую стихийную музыку моря. Видел, как уходят рыбаки на своих гемиях и возвращаются с уловом к родному берегу. Слышал, как стучит дождь по листьям смоковницы, любиваясь, как падают с выси крутые капли благостной влаги, как дымится после дождя черепица на крышах Созопола. Я знаю: каждому даны свои печали и радости.

Склоняясь в смирении и признательности, испытываю внутреннюю потребность обратиться с искренними пожеланиями светлых дней и целых столетий вечному городу, чтобы истинное счастье неизменно осеняло эту землю, всегда светило солнце.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАДИМ КОВСКИЙ



ЗАКОН ЕДИНСТВА

Современная литература в масштабе культуры

Горьковское определение писателей как мастеров культуры с годами обогатилось новым смыслом. Чем острее встают перед человеком социальные, нравственные и общегуманистические проблемы нашей эпохи, тем ответственнее общекультурные функции литературы, тем выше ее общественная роль. Закономерно, что именно к культуре апеллировал Чингиз Айтматов в своем выступлении в Софии на международной встрече литераторов (1977), так и называвшейся — «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры». Он говорил: «Мы пишем для людей, для современников своих, чтобы средствами литературы культивировать те качества, те черты личности, которые в наибольшей степени соответствуют совокупному опыту всех времен — основным человеческим идеалам. Сейчас важнее, чем когда бы то ни было, прежде всего способность литературы сделать узнаваемыми чувства другого человека, научить каждого из нас думать о другом как о самом себе... Речь идет о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях непримиримости противоборствующих, полярных сил, при остром столкновении разных идеологий, в условиях всеохватывающей научно-технической революции пересоздать природу человека... сохранив и возвысив дух гуманизма...»

Осознание литературы в масштабе культуры является одной из важных и непрерывающихся традиций литературно-критической мысли в России, где литература на протяжении нескольких веков концентрировалась в себе не только эстетический, но и философский, идеологический, этический опыт общественной жизни. Со временем разные сферы культуры неизбежно специализировались под давлением собственных потребностей. Естественно, что специали-

зировалось и их изучение. Вместе с тем этот объективный процесс всегда в чем-то противоречил развитию литературоведения и критики, имеющим дело с изображением в литературе всей действительности, всего единства культурной деятельности человека.

Последние десятилетия отчетливо засвидетельствовали, что наиболее заметные достижения в области истории литературы связаны именно с широким, проникающим в общекультурный смысл художественной деятельности взглядом: я имею в виду прежде всего работы Н. Конрада и Д. Лихачева. В предисловии к посмертной книге Н. Конрада по культуре средневековой Японии точно сказано: «Автора интересует не просто история культуры, а нечто значительно большее... перед нами своеобразный культурфилософский жанр, которым Н. И. Конрад владеет с таким тонким и привлекательным мастерством». Фундаментальная идея всеобщности и непрерывности художественного прогресса с его главным, гуманистическим критерием выростала в творчестве Н. Конрада в результате анализа необъятного массива культуры восточного средневековья, анализа, в ходе которого исследователь предстал в равной степени историком, философом, искусствоведам, публицистом. В темах трудов Д. Лихачева понятие культуры присутствует рядом и на равных правах с литературой («Слово о полку Игореве» и культура его времени), а подчас выступает и в качестве главного объекта изучения («Культура русского народа X—XVII веков»). Принципиально новая интерпретация древнерусской литературы, предложенная Д. Лихачевым, базируется на вовлечении в литературоведческий оборот всей истории национальной культуры — живописи, архитектуры, религии, ремесла,

взаимоотношений человека с природой, этикете светского и бытового общения и т. д. Подобный принцип последовательно выдержан и в недавно опубликованных «Новым миром» «Заметках о русском».

Масштаб культуры с неизбежностью возникает сегодня и при решении теоретико-литературных проблем. В высшей степени показателен в этом отношении разный и на первый взгляд даже противоположный подход М. Храпченко и Л. Тимофеева к теоретическому понятию художественного прогресса. Согласно точке зрения Л. Тимофеева, «эстетический прогресс нельзя рассматривать изолированно от всего комплекса условий общекультурного развития, присутствующих общественному прогрессу данного исторического периода...». По мнению М. Храпченко, «какими бы благими намерениями ни руководствовались сторонники комплексного критерия художественного прогресса», они опираются на «нормативность требований, выдвигаемых извне, сверх реальных закономерностей развития самой художественной культуры». Существенно, однако, что в обоих случаях логика исследования приводит к укрупнению самих эстетических факторов до размеров общекультурных ценностей, каковыми фактически и являются сменяющие друг друга в ходе художественной эволюции «типы творчества», литературные методы, направления, стили...

Все шире обращается к «культурологии» и литературно-критическая мысль, непосредственно направленная на изучение современного литературного процесса. Нельзя не видеть, что даже сугубо, казалось бы, теоретические споры об «открытости» или «закрытости» творческого метода нашей литературы, о его отношении к иным формам или изобразительным средствам и т. п. самым серьезным образом связаны с перспективами общего развития социалистической культуры и вне этих перспектив вообще приобретают схоластический характер. Нельзя не видеть такой связи и в монографических работах — В. Щербины, постоянно рассматривающего литературу в одном ряду с идеологией и культурой; Г. Ломидзе, так много сделавшего для понимания судеб национальных литератур в советскую эпоху; Ю. Барабаша и Б. Мейлаха, убедительно доказывающих необходимость комплексного исследования литературы; А. Бушмина, сосредоточенного на проблемах преемственности в художественном сознании общества; Л. Новиченко, активно обратившегося сегодня к освоению в литературоведении категории социалистического образа жизни;

Д. Маркова, рисующего широкую картину развития социалистических литератур на фоне социальных и культурных процессов XX века; Ю. Кузьменко и Ю. Суровцева, широко применяющих в литературном анализе социологические критерии, и многих других исследователей.

А разве не проблемы культуры в первую очередь вычлняют из современного литературного процесса критики (и порой не без ущерба для разговора о проблемах собственно художественных) в многочисленных дискуссиях по поводу нравственных исканий литературы, достижений и издержек научно-технической революции, урбанизации и перемен в «патриархальном» сознании, взаимоотношений природы и техники, подлинной интеллигентности и «просвещенного» мещанства?

Однако чем активнее интерес к литературе как сфере культуры, тем больше, как это ни парадоксально, возникает перед литературно-критическим сознанием чисто профессиональных, методологических сложностей.

Известны размышления М. Бахтина о диалектическом характере соотношения литературы и культуры. С одной стороны, «внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце, отражается в каждой капле ее»; с другой стороны, на границах располагается и «понятие эстетического, которое невозможно извлечь интуитивно или эмпирическим путем из художественного произведения... Для уверенного и точного самоопределения ему необходимо взаимопределение с другими областями в единстве человеческой культуры». Более того: «Автономия искусства обосновывается и гарантируется его причастностью единству культуры... нельзя стать смыслом, не приобщившись единству, не приняв закон единства...» (разрядка моя.— В. К.).

Теоретически осмыслить характер этого положения — только полдела. Гораздо труднее воплотить его в конкретном историко-литературном или литературно-критическом анализе. Между тем задача такого диалектического анализа становится все более насущной, диктуемой новым этапом, в который вступило социалистическое общество. Задаваясь вопросом о «критериях зрелости» социализма, интенсивно обсуждаемых сегодня теоретиками, Р. Косолапов ссылается на тезис Маркса, утверждающего, что любая законченная общественно-экономическая

формация «в ходе исторического развития превращается в целостность. Становление системы такой целостностью образует момент ее, системы, процесса, ее развития»¹. «Именно стадия превращения нашей системы в целостность и есть этап развитого социализма», — предполагает философ («Октябрь», 1977, № 11).

С этой точки зрения происходит превращение в целостность и социалистической культуры, качественно новое сближение и взаимопроникновение разных ее сфер, требующее еще более энергичных чем когда-либо, методологически основательных попыток осмыслить литературный процесс в единстве культурной жизни общества.

Очевидно, здесь открывается перед нами особое направление развития критики и литературоведения, комплексное по самому своему существу, призванное объединить усилия историков и теоретиков литературы, философов, социологов, психологов, «системологов» в широком значении слова. Путей, по которым они могут пойти, великое множество. Я же коснусь — в самом предварительном виде — только двух внутренне связанных между собой вопросов в русле этой темы: в какой мере современная советская литература отражает круг наиболее актуальных проблем культуры и как это объединяет ее с другими видами искусства.

Если бы понадобилось свести все творческие устремления и акценты современной советской литературы к общему, ключевому понятию, то понятие культуры, несомненно, могло бы претендовать на эту роль. Культура разума и чувств, культура отношений между людьми и личного поведения, культура труда и досуга, культура, уже вошедшая в быт, привычку, норму, и все то, что еще сюда не вошло и препятствует развитию личности, деформирует систему ее жизненных ценностей, должно быть преодолено в ходе общественного прогресса — вот, по существу, краткая характеристика не только проблемно-тематического состояния литературы, но и ее сюжеттики, системы конфликтов, типологии персонажей...

История советской литературы свидетельствует, что художественные интересы ее всегда были необычайно динамичны, прямо соотнесены с быстро меняющейся социальной и культурной действительностью. Литература 20-х и первой половины 30-х годов, вся замешанная на классовых антагонизмах и конфликтах, рисовала расколотое и вздыбленное социальными катаклизмами челове-

ческое сознание, направляла главные художественные усилия на анализ коренной социально-психологической перестройки и самоопределения своих персонажей в новых исторических обстоятельствах. На протяжении 30-х годов трудовая деятельность героев выступала в литературе не столько в своем непосредственном культурно-творческом значении, сколько в социальном и производственном плане, а сферы общественного и личного бытия зачастую недостаточно сопрягались в художественном сознании, и этот исторически обусловленный ракурс зрения, естественно, сохранялся в годы великих испытаний войны и тягот послевоенного восстания вплоть до середины 50-х. Лишь в последующий период, который принято называть современным (хотя «современности» перевалило уже за четверть века!), и то не в самом начале его, а где-то к середине 60-х, литература вступила в ту пору, когда проблема «целостного» человека встала во весь рост, а общественная мысль практически обратилась к вопросам всестороннего, гармонического развития личности.

Конечно, каждая схема обедняет реальное богатство литературного процесса, но в общих чертах такую творческую эволюцию нетрудно проследить даже в пределах упомянутой четверти века.

Известно, из какого прорыва должна была выводиться проза со второй половины 50-х годов так называемый производственный жанр. Подъем производственной темы в литературе на уровень современного художественного миропонимания как по ступеням шел от «Битвы в пути» Г. Николаевой и «Балуева» В. Кожевникова к повестям и романам В. Липатова, «Территории» О. Куваева, романам В. Лама и Г. Панджикидзе, драматургии И. Дворецкого, А. Гельмана, Г. Бокарева... Подъем этот сопровождался и, более того, порождался борьбой писателей с плоским и прямолинейным производственным подходом к человеку, выключавшим его из всего многообразия духовных и культурных контактов, обезличивающим яркую палитру эмоционально-психологических и интеллектуальных красок жизни.

«Ныне в силу изменившихся условий исторического развития в центре внимания писателей, обращающихся к современному производству и его людям, все чаще оказывается человек целиком...» — верно подмечает современные художественные тенденции производственной темы, раньше отграниченной своей узкотехнологической направленностью «от остальной литературы,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. 1, стр. 229.

от литературы вообще», Б. Анапенок.

Очень показателен в этом отношении роман В. Липатова «И это все о нем...», какие бы претензии по части неровности и поспешности письма ни предъявлялись писателю критикой. В произведении Липатова есть как будто бы полный набор атрибутов производственного жанра. И вместе с тем перед нами роман, решительным образом порывающий со старыми канонами, ибо речь здесь идет не о «технологии», а о социальной психологии, определяющей поведение главного героя Евгения Столетова («Я рабочий. Пролетарий, которые «всех стран соединяйтесь», — говорит он бывшему уголовнику Заварзину); о сложных, не таких, какими они видятся деду Женьки, «воинственному старику» Егору Семеновичу, с его «лозунговыми криками» и неподвластной времени классовой прямолинейностью, связях внука с комсомолом 20-х годов; о напряженных поисках романтического максимума; о нравственных страданиях и борениях, в которых личное неотделимо от общественного; о силе мещанских, потребительских настроений, растлевающих души людей и способных погасить самое жизнь...

Подчас выход писателей за рамки производственной темы — при номинальном сохранении за персонажами рабочей профессии (например, в повестях С. Крутилина «Пустошь», И. Велембовской «Сладкая женщина», А. Скалона «Живые деньги») — столь основателен, что дает толчок длительным критическим дискуссиям о том, до какой степени вправе литература пренебрегать материалом основной деятельности персонажей и, следовательно, отступать от принципов реалистического анализа (хотя и в подобных случаях, по справедливому соображению А. Белкина, литература исследует реальные и весьма существенные жизненные ситуации, при которых личность «не прилагает к труду свои гражданские качества и силы, или эти качества и силы дремлют, а то и пребывают в эмбриональном состоянии»).

Романами А. Проханова «Время падень» и «Место действия» проза на производственную тему продемонстрировала свою способность обращаться к проблемам культуры в самом прямом и непосредственном смысле слова. Статья А. Панкова о последнем из них («Новый мир», 1979, № 11), сосредоточившаяся на собственном производственном конфликте романа, почти не затронула эту существеннейшую, на мой взгляд, в творческой позиции писателя грань. А ведь конфликт романа далеко вы-

ходит за рамки столкновения директора грандиозного строительства с отдельными жителями старинного русского городка, расположившегося по соседству: здесь диалог двух наиболее крупных концепций современной культуры, отражающих подчас мучительную, кровавую борьбу нового и старого в общественном сознании. Старое олицетворено в истории Ядринска, воплощающем дух Ермака и Аввакума, труд великих просветителей и архитектуру «сибирского барокко», аромат старинных рукописей и достоинство «добытой вековыми усилиями оседлой народной жизни». Новое вторгается на страницы романа картинами строительства комбината, который не только сулит городу «цивилизацию высшего стандарта», предназначен «перекроить эту землю, слепить ее заново из огня и металла», но и отравляет воду в Иртыше, грозит лесам, обрекает на снос святыни, реликвии...

Автор стремится синтезировать все слагаемые культуры, историю и современность, «железную» цивилизацию и духовные ценности старины, природу и технику, хотя образы местных патриотов явно не выдерживают нагрузку оппонизирующего директору «голоса» и искомый синтез провозглашается несколько декларативно, не становясь художественным фактом. Подчас создается даже ощущение, что многие черты реальной действительности просто не попадают в поле зрения прозаика, увлеченного пафосно-лирической пропагандой будущей техносферы. Однако в целом романы Проханова, отмеченные печатью своеобразного художественного дарования и индивидуального стиля, отражают перспективное в литературе производственной темы направление художественных поисков, с какой-то новой стороны размывающих ее привычное русло.

Современная производственная, или, как ее называет театральный критик А. Свободин, социологическая, драма на первый взгляд пошла прямо противоположным путем, и ничто в ней не напоминает находящуюся у ее истоков арбузовскую «Иркутскую историю» (1959), поразившую когда-то зрителя и принципиально выдвинутой на передний план любовной коллизией, и формальными новациями вроде хора, комментирующего действие наподобие античного... Сейчас все здесь сугубо деловито, сухо, обывательно — споры в цехах, заседания заводского парткома, участие в производственном процессе социологов и психологов, комиссии из министерства, сдачи объектов. Как будто бы вновь возникает некоторое

сходство с прежней «производственнической» литературой, но сходство это кажущееся, ибо коренным образом изменился, укрупнился сам масштаб открывающихся теперь в конкретных профессиональных конфликтах проблем: влияние научно-технической революции на сознание людей — у И. Дворецкого («Человек со стороны»); социально-классовая психология рабочего коллектива — у Г. Бокарева («Сталевары»); отдельное производство как ячейка всей социально-экономической структуры общества — у А. Гельмана («Обратная связь») и т. д.

Конечно, ориентация на общественно-трудовые функции персонажа в горьковском понимании сохраняет в литературе свое эстетическое значение и поныне, но стоит лишь сопоставить сегодняшний и минувший дни художественного развития, чтобы увидеть, как далеко продвинулись писатели в трактовке производственного материала, как интенсивно постигают или стремятся постичь они именно духовно-нравственное содержание трудовой деятельности, труд, взятый во всей полноте человеческого бытия.

Еще более разительные перемены претерпела другая крупная ветвь нашей литературы. Я имею в виду то, что мы достаточно условно, но в то же время и не без скрытого смысла называем деревенской прозой, обозначая некое течение внутри огромного количества произведений о деревне вообще. Можно по-разному относиться к отдельным произведениям, существующим в ее русле, явственно различая в них весьма несхожие взгляды и оттенки — от прямого неприятия городской цивилизации человеком, словно бы уже тем не менее разъеденным этой цивилизацией изнутри (как в прозе В. Соколохина последнего десятилетия), или неприятия «мифологизированного» (как в некоторых вещах казахского прозаика С. Санбаева, в повести «Солнечный остров» киргиза М. Гапарова и т. п.) до серьезнейших художественных концепций, стремящихся глубоко постичь драматическую сложность процессов распада традиционной деревни и патриархального сознания. Но нельзя отрицать того несомненного факта, что читатель сталкивается в данном случае с прозой концептуально-мировоззренческой, с вопросами, каков бы ни был на них ответ, глобальными, бытийными, и именно здесь, вероятно, кроется одно из главных объяснений художественного уровня этой литературы, ее общественного резонанса.

Культурно-философский потенциал деревенской прозы (признанный, кстати, всеми участниками сравнительно недавней дискус-

сии на страницах «Литературной газеты», не случайно открытой именно статьей А. Проханова) очерчивается чем дальше, тем внушительнее, и вряд ли ныне кто-нибудь из критиков станет усматривать в ней, как не раз бывало, лишь добротное реалистическое бытописание из жизни сельских «праведников» — стариков и старух уходящей деревни. Сегодня даже для пламенных адептов изображения в литературе научно-технического прогресса более или менее очевидно, что в лице деревенской прозы (В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, Е. Носова, Ч. Айтматова, Г. Матевосяна, И. Друцэ, В. Бубниса и других) мы видим перед собой крупное идейно-эстетическое явление, порожденное — и об этом, в частности, неоднократно говорили в своих статьях, выступлениях, интервью сами писатели, например Ф. Абрамов и В. Распутин, — коренными переменами в образе жизни народа (бурным ростом урбанизации, миграцией населения, изменением его возрастной структуры, наступлением и издержками научно-технического прогресса), необходимостью борьбы за духовное здоровье человека, отрывающегося от родной почвы, от труда на земле, от непосредственных эстетических связей с природой.

В творчестве таких художников, как В. Шукшин (в его рассказах и фильмах), Ф. Абрамов (своеобразный новостовательный триптих «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька», роман «Дом»), Г. Матевосян («Мы и наши горы», «Мать едет женить сына», «Похмелье»), И. Друцэ («Последний месяц осени»), В. Распутин («Последний срок» и «Прощание с Матёрой»), проблемы «культурного переходничества», раздвоенности крестьянина, силой обстоятельств оказавшегося на перепутье между городом и деревней, наступления городской цивилизации, разрушения старых форм жизни и необходимости выработки каких-то новых, «конкурентоспособных» с ними по своей духовной оснастке стали центральными, определяющими структуру и нравственный пафос подобных произведений.

В недрах деревенской прозы возник большой и значительный разговор о существовании исчезающей из нашей жизни вместе со старой деревней системы патриархальных отношений, открывающихся то своими сугубо консервативными и мрачными чертами, то яркими, пленительными красками духовного единства, поддержки и взаимопомощи, которые определяют очертания сельского мира (разные полюса этих отношений с большой художественной силой были запечатлены в повести Ч. Айтматова

«Белый пароход», в романе Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илик и Илларион»). Актуальность этой темы на фоне, с одной стороны, образования огромных производственных сообществ, а с другой — несомненной атомизации духовной жизни человека в современных городах совершенно очевидна.

Наконец, деревенская проза во весь рост поставила вопросы экологии, сохранения окружающей среды, ставшие ныне предметом глобальных забот и беспокойства всего разумного человечества, но в деревне в силу специфической близости человеческого бытия к земле и к природе приобретающие ни с чем не сравнимую «стереоскопическую» отчетливость.

В классическом русском реализме изображение природы было одним из мощных средств воплощения эстетического идеала, сферой гармонии, конденсировавшей социальные диссонансы между личностью и обществом. Предчувствие грядущей напряженности прорывалось там лишь изредка, например в натурпоэтических прозрениях Баратынского или Тютчева. Символизм начала XX века резко усилил тревожные интонации своим неприятием (не лишены, однако, оттенка мрачной восторженности) эпохи надвигающейся урбанизации. Это неприятие было затем подхвачено — на совершенно иной социальной и культурной основе — крестьянской поэзией и прозой 20-х годов.

В то же время безудержная жажда преобразования природы в системе социалистических отношений, породившая впоследствии известную формулу насчет того, чтобы не ждать милостей, диктовала Маяковскому явно эпатирующие строки автобиографии: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Сложная эволюция этой темы, быть может, особенно отчетливо запечатлелась в творчестве такого поэта, как Н. Заболоцкий. Во второй половине 20-х годов погружение в философию естественного бытия, в жизнь природы помогло Заболоцкому, автору «Торжества земледелия», преодолеть кризисное мироощущение «Столбцов». В 30-е годы увлеченность новыми идеями в области естественных и технических наук, размахом социалистического строительства насытила его поэзию созидательным пафосом, но одновременно сопровождалась и известным рационализмом, напористостью поэтических решений: «Это множество воды очень дух смущает мой. Лучше б выросли сады там, где слышен моря вой. Лучше б тут стояли хаты и полезные растения, звери бегали рогаты...» И

только в последнем периоде творчества, в частности в знаменитой «Гармонии», поэт приходит к подлинно философской глубине художественного постижения противоречивого и драматического единства взаимоотношений человека с природой.

В прозе 30—50-х годов сложнейшая проблематика эта — за исключением разве что творчества М. Пришвина, Л. Леонова и А. Платонова — оставалась на уровне пейзажной живописи и только в деревенской прозе достигла прежней высоты, причем если, скажем, В. Белов «Привычным делом» в полную силу возрождает классическую натурфилософскую традицию, то В. Астафьев в «Царь-рыбе» идет дальше, к коренным духовно-нравственным проблемам жизни современного человечества, и, защищая природу, защищает, по существу, самого человека, все лучшее, подлинно человеческое в нем от разрушительных темных сил, коренящихся в его же психике, когда она по настоящему не облагорожена культурой...

Мало кто из писателей не касается сегодня экологии — Э. Ставский в романе «Камыши», Д. Гранин в «Картине», И. Дворецкий в пьесе «Веранда в лесу». Подчас экологические мотивы выглядят данью моде, не будучи органически связанными с художественным замыслом: так мелькнула тема заповедника в романе А. Крона «Бессонница», и даже герой пьесы Г. Бокарева «Испытание», одаренный инженер, произносящий, однако, монологи об опасностях научно-технического прогресса почище распутинской старухи Дарьи, вознамерился на время укрыться в заповеднике от безнравственных соблазнов своей профессии...

Однако гораздо важнее этих подчас необязательных переключений между произведениями разных авторов то усложнение художественной концепции современного человека и действительности, которое становится результатом стыка некоторых идей и материала деревенской прозы с изображением иных, далеко отстоящих от деревни сфер общественного и индивидуального бытия. Я имею в виду, например, талантливый роман А. Эбаноидзе «Фрак по-имеретински», где главный герой, сугубо городской, хотя и родом из деревни, молодой человек, столичный житель, сталкивается с системой как будто бы бесспорно косных патриархальных представлений, но в этом столкновении тем не менее тонко и почти незаметно развенчивается автором, оказавшись в каких-то главных нравственных измерениях на порядок ниже своих земляков...

Роман А. Эбаноидзе относится к числу произведений, сюжетики и образная систе-

ма которых замешана именно на культурно-промежуточных, маргинальных, как сказал бы социолог, ситуациях. Идейно-эстетический пафос этих произведений определяется сегодня поисками синтеза народной нравственности, народных мировоззренческих и поведенческих установок с духовными критериями и достижениями современной социалистической культуры. Размывание тематических границ, четких «демаркационных линий» в эстетическом освоении разных областей действительности делается в этом смысле характерной чертой развития художественного сознания.

Нынешний бунт писателей против сооружения критикой тематических «клеток» (хлесткое определение В. Белова, даже свои городские повести мотивирующего полемикой с этими «клетками!») вполне правомерен, хотя справедливости ради следует признать, что еще каких-нибудь десять—пятнадцать лет назад литература давала для подобной классификации вполне реальные основания. Сейчас критику, продолжающему пользоваться проблемно-тематическим принципом (который имеет ничуть не меньшее право на существование, чем любой другой), приходится усложнять его в соответствии с усложнением самих художественных структур: скажем, Ю. Кузьменко целую линию в современной прозе подводит под рубрику «меж городом и селом».

В то же время трудно отрицать, что конкретные художественные пристрастия, тяготение разных авторов к разному — хорошо известному им — материалу, к определенным типам персонажей, связанным с определенными же производственными и бытовыми сферами жизни, были и остаются неотъемлемым свойством художественного мышления вообще. Как справедливо пишет В. Чалмаев, «индустрия, эта «стальная вселенная» со своими орбитами и тяготениями... с пластическим языком «отжатых» от всего сырого конструкций,— это мир для многих людей не менее яркий», чем «стыдливая красота Нерли и Суздаля с полусонными в летний зной речками и напоенными запахами ржи полями...». Вполне возможно, что Ю. Трифонов никогда не обратится к изображению умирающей крестьянской старухи, а В. Распутин не сосредоточит внимание на московской интеллигенции (как бы Е. Втушенко ни хотелось узнать, что они думают по тому и другому поводу), но вклад Трифонова и Распутина в современную русскую прозу ничуть оттого не уменьшится. Шолохов тоже ничего не написал об интеллигенции, а у Федина нет ни одного романа, посвященного деревне.

В конце концов, широта зальгинских интересов, простирающихся от истории сибирской деревни Лебяжки 1918 года до истории адюльтера сотрудницы современного НИИ Ирины Викторовны Мансуровой,— не столь уж неперемнная черта крупной художественной индивидуальности. Существенно другое — насколько способен художник выйти от «своего» частного к общему, высота его точки зрения, способность сквозь конкретный сюжет увидеть важнейшие духовно-нравственные проблемы современности.

Все это так, однако недооценивать происходящей в литературе «интеграции» интересов и устремлений, особенно в плане общего развития культуры, было бы большой небрежностью. Взять хотя бы соотношение проблем культуры и образования. Проза о молодежи второй половины 50-х годов усиленно муссировала один и тот же конфликт, возникающий в результате непоступления десятиклассника в вуз. Конструктивная авторская позиция во множестве произведений в лучшем случае сводилась к схеме: надо, что называется, бросить незрелого героя в трудовую жизнь, а потом уже, когда он натрет на стройке или на заводе кровавые мозоли и повзрослеет, привести его — в благополучном финале — к высшему образованию.

Конфликт этот из современной литературы как будто стал исчезать, а образовательный слой культуры как слой внешний был решительно разведен с понятием подлинной, внутренней интеллигентности, выдвигающей на первый план духовно-нравственную обстановку героя. Проблема подготовки образованного человека уступила место проблеме воспитания, взаимным обязательствам личности перед обществом и общества перед личностью. Крайне показателен этот перенос акцентов в творчестве В. Тендрякова, прозаика, всегда отличавшегося необычайно острым чувством современности, сегодняшних культурных потребностей читателя. К повести «Ночь после выпуска», казалось бы, легко приложить характеристику, данную А. Дементьевым и М. Кузнецовым в академической «Истории русской советской литературы» молодой прозе конца 50-х годов: здесь тоже в центре «фигура молодого героя, только что закончившего школу и оказавшегося на перепутье, явно не подготовленного к решению многих задач, которые сразу же поставила перед ним жизнь». Однако перепутье-то ныне иное, и выпускники демонстрируют нравственную неразвитость и юношеский максимализм в споре не о том, куда пойти учиться дальше и

учиться ли вообще, а о добре и зле, себялюбии и самоотдаче, элементарной порядочности и любви, о долге перед прошлым и праве на безответственность. И о воспитании личности, а не о методах обучения, как было в данном романе Тендрякова «За бегущим днем», разбирается параллельно диспут в учительской (в следующей повести автора, «Расплате»), проблематика эта с присущим Тендрякову публицистическим дидактизмом уже будет доведена до трагической коллизии, до мысли о коллективной вине).

Если город, кипение его культурной жизни, его темпы и ритмы, атрибуты столичного быта в молодой прозе и поэзии конца 50-х годов выступали в качестве неких светлых табло прогресса и цивилизации, были подернуты романтической дымкой поклонения и любования, то надо ли говорить, что деревенская проза взглянула на дело подчас с излишней даже тенденциозностью, совершенно иначе? Да и только ли она — разве тот же Ю. Трифонов, вкруг цикла городских повестей которого («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь») уже выросла целая критическая литература с многочисленными за и против, не предостерегает читателя (при всей сдержанности своей несколько холодноватой бытописательской манеры) от бездумного восприятия внешнего антуража городской жизни, приковывая его внимание к серьезнейшим вопросам нравственного выбора и поведения, к раздумьям о «страшненькой» обывательской логике, о бездуховном практицизме как реальной угрозе, повседневно подстерегающей «среднего интеллигента», чей личностный уровень не выдерживает испытания бытом? И разве не идет сегодня еще дальше в этой теме В. Маканин, резко изменивший со времени романа «Прямая линия» мировосприятие и стиль, заглядывая в самые интимные уголки и извивы психологии своих «тихих», заурядных, внешне вполне благополучных и скучно существующих персонажей (я имею в виду прежде всего сборник «Ключарев и Алимушкин»), торестно, но без ложного пафоса и риторики распутывая ту цепь маленьких духовных компромиссов, из которых складывается «обычная», не имеющая цели жизнь, удивляясь и удручаясь неспособностью или нежеланием человека стать лучше, чем он есть на самом деле?..

Меняется, кстати, и само понимание быта. Словно возражая против знака равенства между последним и уничижительными категориями «бытовщина», «бытовизм», в увлечении которыми критика неоднократно

упрекала прозу последних лет, Ю. Трифонов утверждает: «Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая сегодняшняя нравственность». На этой позиции стоит и Ю. Суровцев, ссылаясь в статье «Неприятие мещанства», посвященной во многом именно творчеству Ю. Трифонова, на исследования социологов по проблемам быта и культуры и подчеркивая, что знакомство с подобными исследованиями весьма полезно для историков литературы и критиков, ибо позволяет глубже уяснить «историческое движение проблематики морали и быта», сказавшееся ныне столь заметно на художественном сознании общества.

Новый взгляд на быт, эстетически связанный с углублением общей гуманистической концепции и психологизма в литературе, а социально опирающийся на то обстоятельство, что вот уже скоро четыре десятилетия наша страна живет в условиях мира и роста материального благосостояния, отразился во всех областях литературного процесса. Густотой изображения быта, укорененностью в нем своих персонажей городская проза, в частности, во многом ныне перекликается с деревенской. Но абсолютизировать эту черту не следует: она органична для литературы, непосредственно обращенной именно к современности. Что же касается, скажем, произведений исторического характера (а в их орбиту постепенно, с течением времени вовлекается и военная проза), то там нередко наблюдаются явления прямо противоположные: художественная мысль ищет философских, обобщенных решений, смело поднимается до символа, метафоры, широко использует форму притчи, приемы мифологического повествования. Например, при всем богатстве реалистических подробностей, доходящих порой до жестокого, почти натуралистического живописания батальных сцен, повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка» ярко обозначила принципиально новую философско-психологическую тенденцию советской литературы в разработке военной темы (тенденцию, выразившуюся и в романе П. Проскурина «Камешь сердолик», и в «Примавере» Л. Промет, и в «Береге» Ю. Бондарева) — желании с предельной обнаженностью донести до сознания наших современников идею противоестественности войны, ее органической непереносимости для человека, тех беспощадных и порой необратимых деформаций, которые производит она в сфере

человеческой психики, морали, духа. Иными словами — идею войны как вопиющей альтернативы культуре. И сколько бы ни убеждал нас конкретный антураж глубокого романа Ч. Амрэдживи «Дата Туланжиа», что это произведение исторического жанра, мы склонны вслед за А. Плайковым, автором статьи в газете «Правда», видеть в нем новеллы-притчи, скрепленные «сквозной философской линией», а в главном его герое — не столько даже реальный персонаж, сколько живую метафору блужданий человека между берегами жизни, в ее стремительном и густом потоке, где неустанно борются два противоречия — любовь и ненависть, добро и зло».

Парафразируя высказывание М. Бахтина, правомерно утверждать, что проблематика культуры пронизывает все атомы современной литературной жизни, отражается в каждой капле ее.

Нетрудно проследить эту проблематику на уровне прямых писательских высказываний, сославшись, к примеру, на призыв, обращенный патриархом советской литературы Л. Леоновым к молодым писателям: «Больше думайте о культуре. Думайте о ней, не только придвигая к себе чернильницу, а всегда. Больше имейте соприкосновения с деятельностью других, смежных отрядов культуры... В меру возможности будьте в курсе всех достижений ведущих наук...»

Бросается в глаза изменившаяся «номенклатура» литературных персонажей, отчетливо засвидетельствовавшая писательское пристрастие к непосредственному изображению самих производителей культуры, анализу их специфической духовной деятельности, особенностей психологии, интеллекта, форм труда (таково, скажем, почти все творчество Д. Гранина). Обилие в современной советской прозе фигур ученых, художников, журналистов, инженеров и т. п. говорит само за себя — уже и литературно-критические работы на эту тему написаны. Однако в обрисовке характеров новые акценты литературы сказываются и более сложным, опосредствованным образом.

Человек взыскует чего-то сверх, казалось бы, ему достаточного — приобретенной профессии, круга служебных обязанностей, образовательного ценза, привычных форм досуга, — и движут им не столько материальные, карьерные и прочие практические соображения, сколько духовные, творческие потребности — вот принципиальная черта нового этапа культурного развития общества, все шире привлекающая внимание литературы.

Состояние духовного поиска, движения,

внутренней неудовлетворенности принимает в литературе самые разные обличья, за которыми иногда даже разглядеть нелегко некую общую основу. Это состояние, в частности, является доминантой многочисленных образов «чужаков», как бы возрождающих горьковскую традицию, с их неясным томлением и порывами, нереализованными потенциями, удивляющим на первый взгляд алогизмом поступков. Вспомним рассказы В. Шукшина («Думь», «Чудик», «Микроскоп», «Мастер», «Упорный», «Штрихи к портрету», «Психопат»), А. Ткаченко («Саша Таршуков», «Знаменитый Шелуга», «Что есть что»), Э. Шима (в его сборнике «Ваня песенки поет»). Или книги путевой прозы В. Коенцкого («Соленый лед», «Среди мифов и рифов», «Морские сны»), где, кстати, в ряду подобных образов в некоторых отношениях находится и лирический образ самого повествователя, мечущегося между занятиями литератора и моряка, бороздящего пространства в неустанной погоне за новыми впечатлениями, жадно впитывающего в себя колорит морского быта и потоки научной информации, без усталости наблюдающего и «самонаблюдающего» добрую и беспокойную стихию чудачества...

Художественные конфликты произведений явно стремятся уйти с событийной поверхности повествования в подводное, психологическое течение сюжета и зачастую разворачиваются именно в сфере культуры, ее характерных для современности противоречий и драм (широко распространен, например, конфликт между рациональным и эмоциональным началами в духовной жизнедеятельности героя); этические оценки утрачивают прямолинейность, базируясь на всем многообразии связей персонажа с окружающим миром, а не только на его социально-производственной характеристике; авторская позиция, избегая назидательности и декларативности, скрывается в более глубоких слоях повествования, активизируя восприятие читателя и опираясь на его «сотворчество» — в полном соответствии с растущим эстетическим уровнем, подготовленностью потребителя культуры в современном социалистическом обществе.

Происходит активная диффузия разных жанровых форм, усложняется стилевая палитра литературы; взаимопроникают лирическая и эпическая повествовательные стили, пространственные и временные отношения в структуре прозы усложняются, усиливается лаконизм и эстетическая «информативность» повествования. Идут интенсивные поиски изобразительных средств и приемов для постижения новых понятий и

категорий профессиональной культуры, к которым искусство еще не подобрало ключей²; развиваются в связи с этим разные формы художественной условности; язык художественной литературы, с одной стороны, нивелируется и технизмуется под воздействием средств массовой информации, с другой — полемически впитывает в себя вплоть до сознательной архаизации диалектальную и этнографическую лексику народной речевой культуры...

Характеризуя современный этап советской литературы, Ю. Бондарев пишет: «...есть ли принципиально новое в нашей прозе, особенно заметное в последние годы? Да, конечно... Исчезли пышные неоклассические фасады с порталами и башнями, появился добрый и проникающий скальпель хирурга, рентгеновский аппарат... Литература стала пристрастнее исследовать то, что и должна исследовать, — комплекс поступков как импульсов порой непостижимых человеческих эмоций, анализируя в человеке добро и зло, любовь и ненависть, страх и освобождение от страха как проявление самоуважения».

Подобного рода существенных писательских наблюдений о подъеме искусства можно было бы привести немало. Профессиональное сознание самих художников, их отношение к явлениям и тенденциям современного литературного процесса, к собственным творческим задачам пока что мало изучено. Рост такого сознания, запечатленный ныне в обширной серии писательских книг о литературе (что само по себе свидетельство интенсивных мировоззренческих поисков), несомненно, является и результатом, и серьезной предпосылкой обогащения культуры в целом.

Понятно, что мы сталкиваемся в данном случае не просто с теоретическими декларациями, но с некой логикой движения художественной мысли, одновременно реализующейся и в творческой практике, причем параллельными путями этот процесс протекает в разных видах искусства. Тот же Ю. Бондарев, например, высказал как-то принципиально важный для своего творческого кредо тезис, который во многом определил затем авторскую позицию в романе

² Ср. мысль С. Залыгина: «...особенно существенными являются, должно быть, те новшества художественной технологии, которые не только не обособляют литературу... а, наоборот, способствуют возникновению контактов между нею и другими искусствами, другими отраслями знания... позволяя ей высказаться о предметах и понятиях, до сих пор доступных только специализированной науке».

«Берег»: «Я почти убежден, что художник не должен «решать» проблемы. Может быть, он должен только ставить их, указывать их. Проблемы решаются нашим обществом, а не писателем, ибо как только художник задается утилитарной целью решить проблему, его герои превращаются в знаки, иллюстрирующие движение идеи». Выразительно перекликается с этой позицией следующий эпизод из фильма Г. Панфилова «Прошу слова». Там к председателю исполкома провинциального города Елизавете Уваровой приходит на прием начинающий драматург. Героиня фильма полна желания помочь ему, но, прочитав пьесу, резко меняет свое отношение, причем, будучи по натуре человеком подкупающей искренности и убежденности, прямо говорит об этом: «Знаете, что мне больше всего не понравилось?.. Ваша позиция. Ваше отношение к недостаткам... раз уж вы беретесь писать о недостатках, так покажите людям, как от них избавиться... Поймите, писатель тоже практический работник. Мы строим жилье, вы пишете пьесы. Мы делаем одно дело! Надо увлечь людей... Вы же художник... Вы покажите людям, как оно должно быть».

Речь идет не о гражданской позиции — и драматург и мэр относятся к недостаткам одинаково («Так же, как вы, отношусь... Плохо отношусь! Иначе чего ради бы я стал о них писать?» — удивляется автор пьесы), — а о понимании специфики искусства, и Г. Панфилов со свойственной ему художественной сдержанностью участвует в этом споре скрыто, разрешая его тонким художественным штрихом: сообщением, что пьеса широко пошла в столичных театрах. Если добавить, что драматурга играет Шукшин, чей непростой личный опыт без труда ассоциируется у зрителя с исполняемой ролью, то позиция Г. Панфилова, предпринявшего в данном случае поистине изысканный художественный ход, вырисовывается вполне недвусмысленно...

Вероятно, сегодня сравнивать литературу с другими видами искусства — прежде всего с театром и кинематографом — легче чем когда бы то ни было. И не только потому, что возросла их интенсивность обращения к литературе. Формирование целостности литературного процесса, о которой говорилось подробно выше как об органическом моменте нового этапа социалистической культуры, естественно, не замыкается в пределах художественного слова, характеризуя и захватывая все развитие искусства. В то же время вопрос этот не так прост, как кажется, имея свои теоретические и практические аспекты.

В цепи понятий «культура — искусство — литература» соотношение и последовательность звеньев как будто бы вполне очевидны: искусство — часть культуры, литература — часть искусства... Игнорировать эту соподчиненность можно разве что в привычных фразеологических клише вроде «культура и искусство», «искусство и литература», которые, впрочем, употребляются скорее по давно сложившейся привычке, нежели с каким-либо скрытым намерением.

Вместе с тем в самой очевидности выстроенной «иерархии» есть своя опасность: кажется, что, обозначив часть и целое, мы уже исчерпываем проблему, тогда как она только тут и возникает. Действительно, констатировать, например, что литература — часть искусства, значит еще ничего о литературе в этом плане не сказать. Чтобы осознать ее в контексте искусства, надо определить не только родовую общность ее с другими видами искусства, но и видовые различия между ними и литературой, а также те черты нарастающих межвидовых контактов и пересечений, которыми все больше стимулируется сам процесс развития искусства.

Интерес литературоведения к «рядоположению» литературы в структуре искусства в последнее десятилетие явно усилился: достаточно вспомнить работы У. Гуральника об экранизации классики, Т. Хопровой и Т. Родиной о связях творчества Блока с музыкой и театром, К. Пигарева о русской литературе и изобразительном искусстве XVIII — начала XIX века, Б. Галанова — о натюрморте в литературе и т. д. Особое по методологическому значению место среди такого рода работ занимают книги Д. Лихачева, написанные им совместно с В. Лихачевой («Художественное наследие древней Руси и современность». Л. 1971) и с А. Панченко («Смеховой мир» древней Руси». Л. 1976), где древнерусская литература предстает перед читателем новыми гранями, будучи сопоставленной с изобразительным искусством и элементами зрелищной культуры эпохи.

Нет никаких оснований думать, что советская литература, и в том числе литература современная, дала бы здесь исследователю менее богатый материал, особенно если иметь в виду возникновение в XX веке тесно контактирующих с литературой кинематографа, телевидения, художественного радиовещания, да еще принять во внимание новое качество видовых взаимоотношений внутри искусства социалистического. Чрезвычайно любопытны в этом контексте

размышления композитора А. Петрова: «Хорошо известно, что в прошлом веке литература шла в авангарде всей русской культуры. И сегодня... не музыка, а именно литература первой обращается к животрепещущим проблемам современности, находит новые темы или новые ракурсы в освещении старых проблем... я уверен, что теперь, работая над оперой на сельскую тему, — даже если либретто будет оригинальным — и либреттист и композитор уже не смогут не учитывать находки и открытия нашей прекрасной «деревенской» прозы».

А. Петров не поясняет, какие именно открытия прозы могут быть полезны современной опере (для деятеля искусства, надо полагать, это уже проблемы самой творческой практики), но даже постановка подобного вопроса в устах музыканта свидетельствует, что роль литературы в художественном сознании общества, спектр ее эстетического воздействия гораздо шире, чем все то, что непосредственно попадает сегодня в сферу профессионального литературоведения.

Композитор К. Молчанов, написавший несколько опер по мотивам литературных произведений («Ромео, Джульетта и тьма», «А зори здесь тихие...»), считает, что «современная опера испытывает влияние всех видов искусства», причем в собственном творчестве он ощущает прежде всего влияние кинодраматургии: «...если вспомнить оперы классиков, то они построены, условно говоря, по принципу «больших пластов». Это либо большие эпизоды, либо большие хоровые сцены, либо большие законченные ансамбли, арии, монологи... А я, начиная с «Ромео», стал использовать прием быстрого чередования коротких эпизодов (в клавире оперы 24 эпизода! — В. К.), когда один сменяется другим так же, как в кино. То есть это не просто внешняя динамика, но и внутренняя, музыкальная, позволяющая быстрее переходить из одного состояния в другое». Подобная конструкция легла и в основу «Зорь» — оперы по мотивам повести Б. Васильева, где отдельные сцены представлены как бы полиэкраным способом (действие одновременно разворачивается на нескольких сценических площадках), а эпизоды-воспоминания вклиниваются в сиюминутное, остроконфликтное развитие событий.

Выдвигая на первый план динамичность кинодраматургии, К. Молчанов, однако, справедливо замечает, что «этот прием (контрастного напыльа. — В. К.) заложен уже в повести Б. Васильева, а следовательно, кинодраматургическое видение включено в данном случае в музыкальную

структуру опосредствованно — через ориентированную на него прозу, определившую характер либретто. Не этой ли ориентацией, кстати, и объясняется постоянное внимание кинематографа и театра к произведениям Б. Васильева? Ведь при всей традиционности, жизнеподобии, все отчетливее проявляющемся тяготении автора к эзическому материалу перед нами проза не только острофабульная, но и выстроенная «симметрично», чуть ли не с математическим расчетом (не случайно сюжет «Зорь» столь естественно подчинился музыкально-пластическим, а в самых драматических сценах почти партитурно расписанным решениям лейбовской постановки в Театре на Таганке).

Мы говорим «прием», но понятно, что речь идет не о формальных заимствованиях и перекличках, а о глубоких контактах, о стремлении современного художника обогатить свой вид искусства, расширить его выразительные и изобразительные возможности за счет арсенала соседних сфер художественного познания мира. Даже простое сопоставление инсценировки или экранизации с литературным оригиналом, иллюстрации или картины с вдохновившим ее литературным сюжетом, музыкальной интерпретации текста с первоисточником и т. д. способно многое дать для понимания самого существа сравниваемых произведений, творческой манеры их авторов, общности или специфики искусств, вошедших друг с другом в тесное соприкосновение.

Подчас контакты искусств становятся столь плотными, что вырастают в теоретическую проблему, заслуживающую специального исследования. Таковы, например, сегодняшние взаимоотношения театра с прозой. Театральные сцены буквально заполнены инсценировками: «Берег» Ю. Бондарева в Театре имени Гоголя, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева в «Современнике», Ф. Абрамов в Театре на Таганке, три повести В. Распутина («Деньги для Марии», «Живи и помни», «Последний срок»), идущие в филиале МХАТа иногда чуть ли не подряд в течение одной декады. Некоторыми критиками экспансия прозы приветствуется как новый этап в жизни театра, обогащающий и саму драматургию, другие видят в ней реальную угрозу развитию специфических образных средств театрального языка. Можно из самого этого факта делать негативные выводы о состоянии современной драматургии, неспособной удовлетворить репертуарный голод, а можно, напротив, усматривать здесь свидетельство

выросших художественных потенций прозы, усиления ее собственно драматургической основы...

Отсутствие взаимодействий литературы с другими видами искусства тоже не бывает беспричинным, коренится, быть может, в принципиальной разности тех или иных эстетических структур, в относительном несовпадении отдельных линий «многоотраслевого» художественного процесса, наконец, просто в том, что — при всех общих закономерностях — встреча двух конгениальных художников всегда представляет случайную случайность.

Можно, конечно, заметить, что самые тесные связи присущи разным видам искусства в лоне целостного художественного сознания общества изначально, генетически, что все искусство произошло из единого корня, что вся история искусства и есть, по существу, история этих взаимосвязей и т. п. «Для меня... литература всегда была явлением, многое во мне формирующим, — сказал незадолго до смерти в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» художник А. Д. Гончаров. — Вся история изобразительного искусства связана с литературой».

Вместе с тем очевидно, что новое время (с конца XIX века) принципиально изменило характер подобных контактов, заметно углубляющихся по мере развития искусства.

Кинематограф возник рядом с литературой и вскоре заставил ее создать для себя особую, сценарную, форму драматургии. Литература, в свою очередь, стала постепенно проникаться кинематографическим видением мира, его динамикой и лаконизмом, его монтажным приемом. Театр XX века объединил литературу, живопись, музыку, хореографию в такой степени, в какой они здесь ранее не соединялись. Поэзия, в свою очередь, театризовалась, освоила законы драматургического построения — назовем в этой связи хотя бы имена Б. Брехта и Г. Лорки. Живопись и поэзия во многом прониклись музыкальным, «сверхсмысловым» содержанием, апеллируя к эмоционально-ассоциативному восприятию, к подсознанию больше чем когда-либо...

К теоретическим аспектам всей этой проблематики эстетическая наука только еще подступает. Что же касается конкретных наблюдений и сопоставлений, то они постепенно накапливаются, и особой ценностью здесь, бесспорно, обладают свидетельства самих деятелей искусства.

Конечно, интерпретация литературы в других видах искусства — одна из важнейших граней проблемы «литература как вид

искусства», но, быть может, еще более существенны в данном случае свободные, «незапланированные» контакты разных искусств. Скажем, русская деревенская проза хотя и не породила достойных кинематографических интерпретаций, не нашла прямого воплощения в театре, музыке, живописи, но оказалась теснейшим образом соотнесенной с некоторыми самостоятельными художественными явлениями, возникшими в соседних искусствах на общей с ней социально-психологической и идейно-эстетической почве и бросающими на нее именно в силу своей самостоятельности резкий дополнительный свет.

В кинодраматургии, например, с ней ассоциируется у меня прежде всего деревенская тема в грузинском кинематографе. Трудно объяснить подобные совпадения между разными видами искусства, да еще укорененными в разной национальной почве, но есть какая-то неувядающая эстетическая субстанция, роднящая «киноглаз» О. Иоселиани в «Пасторалях» или И. Чхаидзе в «Пастухах Тушетии» с тональностью произведений В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина. Речь идет не о проблематике, общность которой более или менее очевидна, а именно о «киноглазе», то есть об особом ракурсе видения, настроении, философском подтексте, подчас даже ритме повествования.

Пристальное внимание О. Иоселиани к неспешному, будничному течению деревенской жизни, к завораживающей основательности труда и быта, к незамысловатым «кутежам», столь знакомым нам по Пиромани, к какой-то древней мелодике национального характера сочетается с легкой иронической усмешкой и грустным сочувствием при изображении горожан, молодых музыкантов, собирающих народную музыку, но не нашедших в деревне, где привыкли к иному труду и образу жизни, понимания. А поверх двух этих параллельно скользящих образно-поэтических рядов, то больно, то нежно соприкасающихся, растет мысль художника о противоречивом единстве народного бытия.

«Пастухи Тушетии» в чем-то проще, но в чем-то и сложнее фильма О. Иоселиани. Проще, ибо сфера экранного действия ограничена здесь только деревенским трудом и бытом, задачей почти документальной: на протяжении трех часов экранного времени зритель наблюдает реальную жизнь реальных крестьян одного из грузинских селений, в которое авторы «разрешают» себе поместить единственного профессионального актера, чья роль (молодой парень, посланный

на «перевоспитание» в бригаду старых пастухов) неназойливым, едва заметным рисунком сюжетно организует этот поразительный по достоверности и колориту человеческий материал. Сложнее, ибо если искусство О. Иоселиани выдает себя за реальность, на самом деле многократно и изощренно ее преображая, И. Чхаидзе действительно кроит произведение искусства из непосредственной реальности, утаивая свое вмешательство еще в большей степени, чем когда-то делал это итальянский неореализм, безусловно катализировавший в свое время процессы национально-самобытного, художественно самостоятельного развития грузинского кинематографа.

Трудно представить более «производственный» фильм, нежели «Пастухи Тушетии»: стрижка овец, окот, перегон отары на зимние пастбища, приготовление сыров и т. п. И трудно представить вместе с тем произведение, более чуждое задачам фотографической производственной описательности. Концепция фильма движется крупными планами, в фокусе которых — люди сильные и органичные, как сама природа. Захватывающе интересно наблюдать за ними: как они работают, разговаривают, спорятся, шутят, веселятся... В этом потоке «натуральной жизни» есть какая-то магическая убедительность, высокая правда о человеке, и выносит он нас — исподволь, постепенно — к большим бытийным проблемам: труда как естественной формы человеческого существования, несуетности добра, достоинства и мужества перед лицом наступающей смерти, особой нравственной силы традиций...

У О. Иоселиани и И. Чхаидзе разные позиции, разные подходы к деревенской теме. «Пасторалях» предшествовал сам Иоселиани — автор «Листопада» и «Певчего дрозда», где сложное субъективно-лирическое мироощущение горожанина пробивалось сквозь хаотичную крутоверть повседневности, случайность ее событийного рисунка к неким этическим, глубоко народным по существу своему константам, формирующим изображаемый юношеский характер. «Пастораль» как бы пытается собрать воедино разлетающиеся сферы жизни, резко сомкнув их в сюжете, обручить откровенную лирику с откровенной эпичностью, любовь с иронией, замкнутость с перспективой, однако решения фильма чужды какой-либо пасторальности, открыты для новых вопросов.

Молодой режиссер И. Чхаидзе опирается прежде всего на уже сделанное другими — Э. Шенгелая в «Белом караване», М. Кокоч

чашвили в «Большой зеленой долине», — но при этом находит свой угол зрения: здесь нет сложно и одновременно дидактически выстроенного конфликта между старшим и младшим поколениями пастухов, отцами и детьми, как в первом случае, или драматического внутреннего единоборства героя с наступающей цивилизацией, как во втором. Авторы фильма влечет за собой сам материал, обладающий документальной достоверностью и словно свидетельствующий: вот старики, они были, есть и будут, даже когда на смену им придут молодые, потому что молодые станут такими же стариками, а может быть, будут стариться вместе с ними до тех пор, пока не сравняются в возрасте. Да и вообще старики ли это, если они еще так умелы и неутомимы в работе, если еще так выразительна в них мужская стать, если не разрешают они себе между жизнью и смертью периода дряхлости и беспомощности? И только в заключительных кадрах, когда старые пастухи простятся с парнем, возвращающимся в колхоз, а заодно отправят в школу мальчугана, сироту, живущего на их попечении, сына погибшего в горах пастуха из их бригады, — только в этих кадрах возникнет в фильме до боли щемящая нота грусти, как при расставании с близкими, которое уже не обещает встречи...

Мы не случайно сравниваем русскую прозу и грузинский кинематограф. Конечно, в советском многонациональном искусстве сегодня нетрудно назвать множество произведений, перекликающихся друг с другом и по проблематике и по стилю. И в этом смысле интонация повестей Г. Матевосяна, вероятно, ближе грузинскому кино, нежели интонация повестей В. Белова, а кинематография ряда национальных республик может дать не меньше оснований для сопоставления ее с литературой в интересующем нас плане, нежели грузинская (вспомним хотя бы киргизское киноискусство с его серьезной публицистической документалистикой, с «Пастбищем Бакая», с постоянной экранизацией прозы Ч. Айтматова). Сравнение наше, однако, диктуется не близостью отдельных имен и количественно впечатляющих фактов, а сходством крупных эстетических и одновременно культурно-исторических тенденций, обозначившихся в том или ином национальном искусстве на таком уровне, когда они уже приобретают общезначимость, начинают определять некоторые существенные очертания художественного процесса.

Именно такую тенденцию выразила концентрация художественных сил в русской деревенской прозе или грузинском, если допустить идентичную формулировку, дере-

венском кинематографе, именно поэтому они сопоставимы, и именно поэтому сопоставление их было бы продуктивным для понимания особенностей каждого явления в отдельности. В частности, богатейшая палитра настроений, эмоций, оттенков, свойственная грузинскому киноискусству в осмыслении деревенской темы, заставляет вдруг ощутить известную неудовлетворенность общей тональностью русской деревенской прозы, намечающимся однообразием ее художественных подходов и решений (говорим это с осторожностью, ибо подобные претензии к произведениям очень высокой художественной пробы могут показаться в каждом конкретном случае несправедливыми и относиться скорее к течению в целом). Больше всего неудовлетворенность связана, быть может, с тем, что в элегическом звучании этой прозы, в романтизации национального характера (особенно тут, пожалуй, стоит лишь В. Астафьев) отсутствует множество сложных и острых обертон, которыми сверкает отношение к уходящей деревне и уходящему ее типу в грузинском кинематографе. Зато, с другой стороны, в сравнении отчетливо выступают натурфилософская полнота деревенской прозы, ее ориентированность на гуманистическую традицию, ее глубокий — в духе классики — психологический реализм, пластическая гармония образной системы, изобразительная мощь...

Эти черты особо высвечиваются на фоне некоторых явлений культуры, развивающихся, казалось бы, в русле этого художественного течения, но при внимательном взгляде обнаруживающих существенное с ним несходство. Мы имеем в виду, например, живопись И. Глазунова. Судя по обширной, охватывающей более двух десятилетий работы выставке 1978 года, внутреннее движение к теме деревни начиналось у художника достаточно опосредствованным, извилистым путем — со сложного комплекса негативно окрашенных эмоций, вызываемых жизнью современного города. Мрачные подьезды, серые дворики, бездомная любовь, неприбранные комнаты со следами ночного разгула, нерадостные рассветы, горькие раздумья одиноких людей, в интерьере — мелькающие приметы цивилизации (пластиночные диски, сигареты, телефон), за окнами в отдалении — спичечные коробки небоскребов, подъемные краны, багровые фабричные дымы. Таков город И. Глазунова, начиная от картин середины 50-х годов («На мосту», «В городе», «Утро нового года», «На лестнице») и кончая 70-ми

(«Утро», «Осенний день», «Город», «Новый город»).

В картину «Новый город» мотив деревни, попираемой наступлением урбанизации, уже включен прямо, без обиняков и как будто бы под непосредственным воздействием самых тенденциозных литературных стереотипов: перед нами длинная, вытянутая по горизонтали панорамная антитеза — слева на фоне багрового неба синие кубы многоэтажных домов, справа еще не снесенная изба, заваливающаяся церквушка с колоколенкой и скамейка, на которой сидит понурый гармонист, с пьяным отчаянием растягивающий меха, а рядом маленькая девочка и недопитая бутылка. Картина очень характерна для метода художника: предельно заостренный сюжет, где каждая деталь значима (вернее, знакова) и конфликтна по отношению к другой, обнаженное, не требующее комментариев авторское кредо, цветные «удары» и рисунок, сплошь и рядом сосредоточивающийся только на главном, крупном плане... В картине «Возвращение» все эти принципы доведены до предела. Композиционная антитеза здесь вертикальна: «сверх» в буквальном и фигуральном смысле слова представлен целой толпой деятелей русской культуры разных эпох и контуром космического корабля, «вниз» — символическим небоскребом, выпирающим из стада свиней, словно поддерживающих его спинами, и фантазмагорическими сценами некоей исторической вакханалии, на заднем плане которой просматривается рушащаяся деревня. В центре полотна городской «блудный сын» в джинсах, припадающий к руке старого крестьянина, отца, русского святого.

Разумеется, И. Глазунов — художник слишком пестрый и разностильный (иконопись и апокалипсические видения перемежаются в его творчестве портретами кинозвезд мирового экрана и ударников производства), чтобы хоть приблизительно охарактеризовать его манеру в этих кратких и непрофессиональных наблюдениях. Меня в данном случае занимали лишь его внутренние переключки с литературой, и не с классической (Достоевским, Лесковым, А. К. Толстым, А. Островским), где его работа иллюстратора заслуживает отдельного разговора, а с современной, причем в ка-

ких-то ее наиболее спорных мировоззренческих тенденциях.

Мне кажется, что принципы творчества И. Глазунова вообще в основе своей литературны, ибо замысел, идея, полемика, сюжетный ход, публицистический штрих как будто бы всегда превалируют у него над задачами живописного воссоздания объективной реальности. В то же время очевидно, сколь отлична тенденциозная, памфлетическая символика художника от позиций русской деревенской прозы, не лишенной ностальгических настроений, но достаточно трезво оценивающей необратимость исторических перемен; поэтическая провозжающей старую деревню, но отнюдь не проповедующей неизбежность возвращения к ней города; умеющей увидеть эту деревню как изнутри, так и извне, с точки зрения бывших «крестьянских сыновей», которые лишь временами навеваются на малую родину, чтобы зарядиться творческим импульсом и снова разлететься по своим столицам...

«Взаимоопределение» литературы с другими областями человеческой культуры в известном смысле тема бесконечная. Уже немало сделано и еще больше предстоит сделать, чтобы постичь приобретающие на современном этапе совершенно особый характер ее отношения с научно-технической революцией. Трудно представить себе сегодня появление и развитие художественного таланта, отгородившегося от современных достижений философии и социологии. По-новому предстают роль литературы в мировом культурном обмене и восприимчивость в ней своих собственных национальных культурных традиций. Только начато всерьез изучение литературы в системе потребления культуры, психологии читательского восприятия. Множество открытий и неожиданностей, надо думать, сулит комплексное, предпринятое усилиями ряда наук углубление в тайны творческого процесса.

Нет, мы не уходим в этой статье от понятия эстетического, столь существенного для любого литературоведческого разговора. Границы действительно проходят повсюду, и лишь так, на границах, постепенно будет оно, это понятие эстетического, открываться нам во всей своей полноте...

ЛЮДМИЛА УВАРОВА

★

ВСТРЕЧА С МАЯКОВСКИМ

Московская быль

Поэт Михаил Светлов дружил с моими родителями и часто бывал у нас. От него мне приходилось слышать о литературных вечерах в Политехническом музее. И, должно быть, потому особенно хотелось попасть туда.

Моя мама утверждала:

— Рано тебе еще бывать на литературных вечерах. Да тебя и не пустят. Там бывают только взрослые.

А мне все равно хотелось попасть на литературный вечер в Политехнический.

Само слово «Политехнический», исполненное строгого и вполне определенного смысла, казалось, было пронизано некой романтической тайной, там собирались поэты, читали свои стихи, а публика, заполнявшая аудиторию (еще одно заманчивое и необычное слово!), слушала стихи, аплодировала, бросала реплики, писала записки...

Как-то к нам пришел Михаил Светлов. Он был загорелый, только что вернулся с курорта, синие узкие глаза его казались особенно яркими на смуглом лице.

Он спросил меня, держа руки за спиной:

— Какое твое самое сильное желание?

Я задумалась. Желаний было много. Даже чересчур много. Тем более что большинство их было решительно невыполнимо: я хотела все сразу — быть радисткой на Северном полюсе, дрессировщицей собак, киноактрисой, шофером автобуса, дегустатором шоколада на фабрике «Красный Октябрь», и еще очень, очень многое хотелось мне испытать.

Светлов, казалось, разгадал мои мысли.

— Помни,— сказал он,— прежде всего помни о здоровом практицизме в сочетании с насыщенной действительностью.

Фраза эта была несколько сложной, но я поняла ее. И тогда я сразу вспомнила о желании, в котором свободно сочетались

здоровый практицизм и насыщенная действительность.

— Очень хочется попасть в Политехнический музей на вечер поэтов...

Светлов искренне удивился. Все еще держа руки за спиной, он повторил:

— Вечер поэтов? Так. А ты, часом, сама стихи не пишешь?

Я писала стихи, но ни за что на свете не решилась бы признаться ему в этом. Именно ему не хотела признаться.

— Нет,— сказала я.— Никогда в жизни!

Он подозрительно сощурил глаза.

— Правда?

— Правда.

Он спросил:

— А зачем тебе идти в музей? Мы можем и так вполне устроиться. Сейчас уже вечер, я, кажется, тоже поэт — что еще надо?

Он улыбнулся, но я не ответила на его улыбку.

— Ладно,— сказал он.— Будет тебе вечер поэтов. В самом Политехническом.

Потом он показал мне обе свои руки. В каждой он держал по маленькому букетику мимоз.

— Я думал, больше всего тебе хотелось бы мимозы...

— Почему?

— Все-таки самая первая примета весны...

— Я не люблю мимозы,— сказала я.— Они пачкают нос, когда их нюхаешь...

Светлов заметно опечалился.

— Неужели? А я-то думал...

Он посидел у нас немного, потом ушел. Перед тем как уйти, сказал мне:

— Значит, готовься, на днях отправимся в Политехнический...

И в самом деле наступило «на днях», и он взял меня с собой на вечер поэтов.

Шел дождь, тяжелые облака нависли над городом, рано зажглись фонари.

Улица перед Политехническим музеем была запружена людьми. Все толпились возле одного из подъездов, где на стене висела афиша, как мне запомнилось, красные буквы по белому: «Выступают поэты Маяковский, Светлов, Уткин, Кирсанов, Инбер, Архангельский, Алтаузен...»

Не помню, кто еще.

Тонкий и узкий, словно лезвие, Светлов ввинтился в толпу, и я пробиралась за ним, крепко держа его руку.

Его узнавали. Расступались, давая дорогу.

А я чувствовала себя несказанно счастливой и жалела лишь об одном: почему нет никого из моей школы, хотя бы один кто-нибудь увидел, как я иду спокойно, равнодушно, словно уже много раз бывала здесь, и возле меня известный поэт, которого все кругом знают...

Какой-то высокий, худой, казалось, еще более худой, чем Светлов, человек подошел к нам. У него было тонкое, туго обтянутое кожей лицо, большие, совершенно прозрачные глаза. Он протянул руку Светлову и взглянул на меня.

— Для дочки, пожалуй, слишком велика, — сказал он.

— А если морганатический брак? — спросил Светлов.

Слово «морганатический» было мне в ту пору незнакомо. Я стала думать, что бы оно могло означать. Светлов почему-то сразу понял, о чем я думаю. Он обратился ко мне:

— Знаешь, что такое морганатический брак?

— Нет, — честно призналась я.

— Брак, заключенный в морге, — сказал Светлов. — Если я не прав, Архангельский меня поправит. Не правда ли, Саша?

Значит, это был Архангельский, автор великолепных пародий, которыми у нас в школе зачитывались, начиная с шестого класса.

— Конечно, я поправлю, — сказал Архангельский. — Я постараюсь объяснить этой милой девочке, что такое морганатический брак.

Но я так и не смогла узнать в тот день точного значения этого слова, потому что Архангельского кто-то окликнул и он отошел. А Светлова я забыла спросить.

Прозвучал звонок. Светлов прошел со мной в зал, в эту самую аудиторию, усадил во втором ряду.

— Встретимся после конца вечера, — сказал он.

Через несколько минут я увидела его за столом на сцене. Он сидел рядом с Михаилом Кольцовым, человеком маленького роста, у которого на красивом умном лице были круглые очки в только входившей тогда в моду роговой оправе. Кольцов взял в руку колокольчик, позвонил, и зал стал медленно затихать.

Даже теперь, спустя многие годы, живо помнится мне то праздничное ощущение, которое охватило меня, едва только замолк колокольчик и на сцену вышел первый выступающий поэт — Александр Архангельский.

Казалось, я не только присутствую на каком-то удивительном, необычном празднике, но и сама словно бы являюсь причастной ему. Ведь для меня тоже говорит сейчас Архангельский, ведь это я своими ушами слушаю его глуховатый голос...

Слушая его, я смотрела на Светлова. Лицо Михаила Аркадьевича было серьезным, он, видно, так же, как и все в зале, внимательно слушал стихи, и мне вспомнилось, как он однажды сказал об Архангельском:

— Когда читаешь его пародии, потом становится мне немного совестно писать. Словно сам себя шаржируешь...

После Архангельского выступала Вера Инбер. Она была изящной, подвижной, на голове у нее был синий берет — тогдашняя новинка.

Выйдя на сцену, Вера Инбер каким-то удивительным, небрежным и в то же время щегольски-изящным жестом сдернула берет с головы.

Поздно ночью у подушки,
Когда все утомлены,
Вырастают маленькие ушки,
Чтобы слушать сны...

У нее был тонкий, не пронзительный, а мягкий голос, она улыбалась, встряхивала волосами, держалась совершенно свободно, непринужденно, словно не огромный зал слушал ее, а теплая компания близких друзей.

Еще многие поэты выступали в тот вечер. Мне помнится до сих пор бело-розовое лицо Уткина, его карие глаза с широкими веками, он читал стихи о рыжем Мотзле, и, когда он опускал глаза, тень от ресниц падала на щеки. Помню я и Кирсанова, взволнованно жестикулировавшего, отчетливо скандировавшего слова и как бы бросающего их в зал, Джека Алтаузена, который вышел на сцену, споткнулся и хмуро сказал:

— Плохая примета. Провалюсь...

А в ответ ему радостно зааплодировали.

Михаил Светлов, необычайно тепло встреченный, читал «Гренаду» и «Рабфактовку».

А после всех выступил Маяковский. Зал затих, пожирая глазами каждый его жест. Он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, потом засучил рукава белой рубашки и сунул руки в карманы. Медленно прошел на середину сцены и стал, чуть раздвинув ноги, словно стоял не на твердом полу, а на палубе корабля.

У него было большое, жестко и четко вылепленное лицо, особенно резким, скульптурным казался лоб.

Ни раньше, ни после того не доводилось мне видеть таких глаз. Большие, темно-карие, они сияли мрачно и весело и поистине казались не глазами, а очами, о которых писали некоторые старинные поэты.

Когда он снял пиджак и засучил рукава, я подумала, что он готовится к некоей трудной, но привычной для него работе.

Он обвел зал взглядом; должно быть, каждому думалось, что Маяковский глядит только на него, ни на кого другого.

Он помедлил немного и начал.

Он читал стихи низким густым голосом. Рот у него был квадратный, резко очерченный, но не злой, скорее печальный.

Я знала его стихи наизусть. Но сейчас они вдруг открылись мне совсем в ином качестве, словно сам поэт беспощадно рассек каждое слово своим сильным голосом, рассек и показал это слово во всей его первоизданной плоти.

Он остановился. В зале была тишина. Потом раздались аплодисменты. Он стоял, немного склонившись вперед, глядя в зал прекрасными и мрачными глазами.

— Еще? — спросил он и, не дожидаясь ответа, начал читать отрывок из «Хорошо!».

Он был скупой на жесты. Читал, держа руки в карманах, и только в конце слегка взмахнул правой рукой.

Потом вернулся к столу, надел пиджак, помню, как он стряхнул с рукава что-то, поправил воротник сорочки и вышел.

Зал ревел, стучал ногами, неистовствовал:

— Маяковский! Браво! Еще! Маяковский! Он не появлялся.

Кольцов позвонил в колокольчик, но шум, казалось, разрастался все сильнее.

Кто-то, кажется Уткин, встал из-за стола, громко крикнул:

— Маяковский уехал, у него срочное дело..

Я ждала Светлова на улице. Толпа лилась из подъезда, тускло горел фонарь, и я

подумала, что, должно быть, Светлов уже прошел и напрасно дожидаться его здесь.

Но тут он подошел ко мне.

— Как? — Усмехнулся, взглянув на меня. — Не ожидала такого?

— Не знаю, — растерянно ответила я.

Однажды Светлов позвонил, чтобы я пришла к нему.

Он был болен — ангина, сильный кашель.

— У меня к тебе просьба, — сказал Светлов. — Мне надо кое-что передать Владимиру Владимировичу. — Он показал рукой на большой запечатанный конверт, лежавший на тумбочке возле тахты. — Звоню ему, никто не отвечает: наверно, телефон испорчен. Он живет недалеко от тебя, в Лубянской проезде. Может быть, ты передашь ему?

Я слушала его, не веря своему счастью. Он еще спрашивал «может быть...»!

— Может быть, — повторила я, боясь, что это невозможно, что это просто-напросто шутка, ведь Михаил Аркадьевич постоянно шутил надо мной..

— Значит, договорились, — сказал Светлов, — зайдешь к нему, скажешь, что от меня, и передашь конверт. Запиши адрес.

В тот день мы собирались с моей подругой Лялей Зоткиной посмотреть картину «Знак Зорро». Главную роль в ней играл прославленный Дуглас Фэрбенкс, а мы обе были рьяными его поклонницами.

Но сейчас встреча с веселым щекастым белозубым Дугом, со всеми его трюками поблекла по сравнению с тем, что ожидало меня.

Я помчалась к Ляле. Она жила в Мыльниковом переулке, недалеко от Покровских ворот.

Ляля всегда знала, что кому следует сказать, как войти в комнату, с кем первой поздороваться.

Я пришла к Ляле и сразу же выпалила:

— Хочешь пойти к Маяковскому? Домой?

— Хочу, — ответила Ляля.

Я рассказала, как все произошло.

— И ты собираешься пойти к нему в этом платье? — спросила Ляля.

Я обиделась. Я считала, что мое маркизетовое платье, зеленое в полоску, с красным поясом, очень даже красивое, а если я немного и выросла из него, то не беда, в конце концов существует справедливая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. В своем уме я в ту пору не сомневалась.

Ляля вздохнула не без сожаления.

— Возьми хотя бы мой синий жакет.

Я кивнула:

— Пусть будет так.

Ляля оглядела меня, одобрительно сказала:

— Теперь совсем другое дело.

Потом она надела шикарную красную плюшевую курточку, предмет зависти всех наших девочек, подпоясала ее лаковым пояском, и мы вместе отправились в Лубянский проезд к Маяковскому. Дорогой Ляля поучала меня:

— Главное, не будь чересчур молчаливой, но и не болтай больше всех. Если спросит, знаешь ли ты его стихи, перечисли все самые известные названия. А потом, когда будешь читать свои, то не торопись, читай с выражением...

Все в нашем классе считали, что я буду поэтессой. Ляля считала, что я буду выдающейся поэтессой.

— Какие стихи ты прочтешь ему? — спросила она.

Я заранее отобрала два стихотворения. Одно начиналось так:

Дорогая Амалия,
Как вы прекрасны,
Какая у вас талия
И глаза какие ясные,
Губы, как вишня,
Без алости лишней...

Кончалось это восхваление наружности некой Амалии утверждением, что дело не в красоте, что если сердце жестокое, то и вся красота насмарку.

Стихи эти явились как бы ответом на многочисленные диспуты, которые мы устраивали в школе: «Можно ли носить галстук?», «Что такое подлинная красота человека и в чем она выражается?», «Можно ли быть красивым и злым?» и т. д.

Второе стихотворение, пронизанное размышлениями о жизненных невзгодах, казалось мне, должно было особенно понравиться Маяковскому. Я думала, что, когда он услышит эти стихи, он сразу поймет, что я человек, умеющий глубоко задумываться над жизнью, а это ведь не каждому дано.

Я не помню всего стихотворения, оно было ужасно длинное, только самый конец помню:

Я поняла, что выхода нет,
Нет выхода, нет.

Не пора ли взяться за ум и у смерти взять
Одноместный плацкартный билет?

— Прочитаю вот эти два, — сказала я Ляле.

— А если он попросит прочитать еще?

— Тогда прочитаю поэму «Каникулы».

— Правильно.

Мы шли к Маяковскому пешком.

— Теперь будем идти и молчать, — сказала Ляля. — А ты думай о своих стихах, чтобы лучше прочитать...

Я шла и думала о том, что вот и ко мне на помощь пришел случай, тот самый, что порой приходил ко всем начинающим.

Я была начитанной, мне приходилось не раз читать о том, как маститая знаменитость соглашается выслушать кого-то молодого, но уже талантливого и растроганно велит читать еще и еще и благословляет на дальнейший путь...

Мне представлялось, как Маяковский слушает меня, потом говорит: «Читай еще!» И я читаю, и он слушает, совсем как Державин слушал Пушкина, и говорит все время одно и то же: «Еще, еще...» По правде говоря, я не знала, именно ли эти слова сказал Державин Пушкину, но мне хотелось, чтобы он сказал так.

Вот и Лубянский проезд, Большой серый дом.

Мы поднялись по лестнице. Кажется, на шестой этаж.

— Здесь, — сказала я.

— Звони, — сказала Ляля.

Я позвонила. Дверь открылась. На пороге стоял Маяковский. Он был, как и тогда, на вечере, в белой рубашке.

— Вам кого? — спросил он.

Я молчала, разом лишившись слов.

Ляля ответила:

— Мы от Светлова. Он просил передать вам вот это...

Маяковский сказал:

— Проходите...

Мы прошли в коридор, слабо освещенный бледной лампочкой под потолком.

— Слушайте, девочки, — сказал Маяковский, — ничего, если я не приглашу вас в комнату? У меня там мужская компания...

— Нет, нет, что вы, — вежливо произнесла светская Ляля.

Он взял конверт, вынул из него сложенную пополам рукопись, быстро пробежал глазами первые строки.

— Отлично, я позвоню ему...

Ляля с силой толкнула меня в бок.

Я молчала. Маяковский выжидательно смотрел то на меня, то на Лялю.

Хотя в коридоре было не очень светло, он стоял так близко, что я хорошо рассматривала его.

Его отличало врожденное изящество, которое как бы органически сливалось со всем его существом — с высокой фигурой, мощным голосом, темными глазами.

Я собралась с силами и сказала:

— Владимир Владимирович, я хотела, понимаете...

Из комнаты послышался чей-то ленивый баритон:

— Володя, вы скоро?

— Скоро,— не оборачиваясь ответил Маяковский.— Как вас зовут? — спросил он меня.

Я вспомнила: Светлов говорил, что Маяковский умеет быть изысканно вежливым, даже собак, совсем как в романах Диккенса, называет на «вы».

— Люся.

— Люся,— повторил он.— Красивое имя. Люсявое.

Ляля усмехнулась.

— Да,— сказал Маяковский.— Бывают имена люсявые, мариновые, веровые, колявые, исаковые... — Он задумался.— Всякие, одним словом. Так, стало быть...

Надо было уходить. Обязательно надо было.

Ляля опять толкнула меня в бок.

— Владимир Владимирович,— сказала я.

— Что?

— Я пишу стихи.

Он словно бы даже не удивился.

— Длинные стихи?

— Длинные.

— Хотите, чтобы я послушал?

— Да.

Это сказали мы вместе в один голос, Ляля и я.

— Если можно, в другой раз. Ладно?

Ляля ущипнула меня за руку.

Но я не могла настаивать. Как бы мне ни хотелось, не могла. Он смотрел на меня и словно понимал то, о чем я думаю.

— Хорошо,— сказала я.— Пусть в другой раз.

Ляля первая повернулась к дверям. Ее плечи, высоко вздернутые и особенно какие-то острые, явно не одобряли моей уступчивости.

— До свиданья,— сказала я и пошла за Лялей.

Он шагнул вслед за мной.

— Послушайте, Люся, вы не обижайтесь, стихи надо слушать на свежую голову, обязательно на свежую и чтобы никто не отрывал, никто не мешал. Понимаете?

Я кивнула.

Он спросил меня:

— А вам ваши стихи нравятся?

Я ответила неожиданно для самой себя. Мне вдруг стало совестно, что я могла затруднить великого, самого настоящего великого поэта своими дурацкими стихами, подумаешь, тоже мне: «взять у смерти одноместный плацкартный билет...»

— Не нравятся,— ответила я.

Ляля быстро обернулась, даже рот открыла от изумления.

— Это хорошо,— серьезно сказал Маяковский.— Это по мне. Вот что, приходите ко мне в следующий раз, скажем, через неделю.

— Хорошо,— сказала я.

— Отлично. Приходите...

Мы быстро сбежали по лестнице вниз.

Теплый весенний день плеснул нам в лицо солнечный свет, блестящие от вчерашнего дождя лужицы на мостовой, горьковатый запах едва распустившихся листьев.

— Сумасшедшая,— отчетливо выделяя слова, сказала Ляля.

— Пусть.

— А может, ты хитрая? — спросила Ляля.— Так, наверно, и надо?

— Не знаю,— сказала я.— Стихи у меня плохие. Никуда не годятся.

— Врешь!

— Нет, не вру. Я больше не буду писать стихи.

Забегая вперед скажу, что слово свое я сдержала — больше уже никогда не писала стихи.

— Так зачем же ты пойдешь к нему?

— Он же позвал...

— Да,— повторила Ляля.— Он позвал.— Помялась немного и спросила: — Можно, я пойду вместе с тобой?

— Конечно, пойдем...

— Через неделю, это будет семнадцатое,— сказала Ляля.

— Может быть, он будет читать свои стихи...

— Все может быть...

Мы обе думали об одном и том же: скорее прошла бы неделя и мы снова придем к нему, и увидим его, и услышим его голос, может, и в самом деле он прочтает нам что-то свое?..

Это было 10 апреля 1930 года.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Савва Дангулов. Отчий край.— Ю. Смелков. Трудный путь к гармонии.— Наталья Старосельская. «Обдумываю этот мир...» — Сергей Белов. «Замкнутая вселенная» и магистрали истории.— Г. Злобин. Освоение Фолкнера.— Василий Новиков. Талант критика.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Владимир Ломейко. Европа под знаком разрядки.— Ю. Замошкин. На пути к познанию «я».— В. Буганов. «Отец истории» о скифах и древних славянах.— Н. Эйдельман. Поэт—историк строгой».

Литература и искусство

ОТЧИЙ КРАЙ

Ирина Ракша. *Далеко ли до Чукотки?* Повести. «Московский рабочий». 1979. 344 стр.

Книга Ирины Ракши «Далеко ли до Чукотки?» помогает осмыслить процесс становления целого поколения наших писателей, пришедших в литературу сравнительно недавно. Отчий край Ирины Ракши — степной Алтай (писательница — дочь агронома большого алтайского совхоза). С этим замечательным краем ее связывают нкола, первые самостоятельные трудовые шаги в совхозе. Здесь в совхозной и районной газетах увидели свет и первые литературные опыты — заметки о молодых рабочих, очерки об алтайской нови, рассказы о земляках.

Я хочу сказать о знании отчего края, знания, которое можно обрести только в том случае, если ты здесь жил, если воспринял и цвет этой степи и ее свечение. Ничто не может помочь человеку в этом постижении в такой мере, как его детство. Детство принято называть золотой порой жизни. Эта пора золотая уже потому, что она необыкновенно обостряет в человеке его память, остроту зрения, способность близко принимать к сердцу явления жизни, способность разделить и радость и кручину ближнего. Писателя эта пора обогащает на всю жизнь — как бы долго он ни жил, он вновь и вновь возвращается к поре дет-

ства, к богатству впечатлений, разнообразию характеров, многоцветности картин жизни, картин, блистающих новизной красок и звуков...

Наверно, непохожесть человеческих характеров, населяющих книгу Ракши, в какой-то мере от непохожести степняков-алтайцев, как и от своеобразности обитателей всей огромной Сибири и, конечно же, Чукотки, к которой не раз обращается писательница в своих произведениях. Герои Ирины Ракши — это те, кто обживает и перестраивает благодатную землю Сибири, кто поднимает целинные почвы, прокладывает новые русла рек, строит города на необжитых землях, вгрызается в недра, добывая и нефть, и руду, и уголь, кто относит себя и к не столь героическим профессиям, однако по мере сил своих помогает процветанию родного края, — я говорю о тех, кто составляет армию трактористов, учетчиков, механиков, рабочих-дорожников, плотогонов на быстрых сибирских реках, обо всех, к кому приковано зоркое внимание писательницы.

Покоряет при чтении образ героя повести «Весь белый свет» Сергуни Литяева. Своим бескорытием, даром человеколюбия. Все, что подсмотрела Ирина Ракша в своем

герое, исполнено и симпатии, и сострадания, и той меры восхищения, которая всегда необходима писателю, когда он говорит о человеке необыкновенном: «Сдаст Сергуня пушнину, выйдет не торопясь с пустым мешком на крыльцо, веселый и легкий. Не пересчитав спрячет деньги на груди и, щурясь голубыми щелками, глянет на небо, на солнце, на синий хребет Эдиган».

И вот что интересно: ты видишь лица, ухватываешь характеры, слышишь голоса... И во всем этом угадывается способность писательницы почувствовать своего героя, увидеть его, что называется, изнутри.

Заготовитель Степан Варакин: «гладкомордый бритый мужик в меховушке, поскрипывающий тупоносыми новыми бурками».

Зинаида Чечнева, сваха: «Размотала шаль, пимы венчиком обмахнула, прошла по хвойным, еще не убраным веткам, села к столу...»

— Ты ишь ведь мужик какой справный! Поди и баб еще любишь, а? Возле тебя, поди, можно еще и угреться? — И засмеялась громко, аж собака вздрогнула».

А вот и «портрет» собаки, верного друга героя: «Подошла неслышно собака. Влюбленно, доверчиво положила теплую морду ему на колени. Глядела прижмурившись. Глаза были прозрачные, словно мед».

Одним из главных признаков художественного произведения всегда был выразительный язык. И тут, смею думать, опять же следует воздать должное алтайскому детству автора. Краски языка, его лаконичность и смысловая точность, так же как добрый юмор, которым высветлена проза Ирины Ракши,— все это добыто писательницей в стране ее детства.

Проза писательницы богата находками: «Дорога... качнулась, дернулась у него из-под ног, как половик», «Второй такой шапки в округе не было. Одно ухо всегда опущено, другое всегда торчит кверху с веселым задором, как у доброй корноухой собаки», «День был пасмурный, белесый, как бельмо», «И бессонная ночь за окном, вся в ярких проколах звезд», «Любовался гладкой, как лосиная кость, древесной».

Живописны картины сельской жизни — вот как, например, стирают белье на реке: «Сергуня, бывало, гонит берегом стадо и обязательно сядет где-нибудь на пригорке у камня и заглянется, как они, подоткнув подошвы, стоят по колено в ряблящей от солнца воде, точно в пламени... Порой у какой-нибудь косы от тяжести валятся в воду, и она выпрямляется гибко, утирает лоб рукавом и, вскинув руки, не торопясь за-

калывает их на затылке... И всегда казалась Сергуне эта женская красота лучше любой красоты, какая только есть на свете».

Для писателя знание жизни — в постижении человека, а это невозможно без способности увидеть то, что человека окружает, без умения объять своим физическим зрением и мыслью мир деталей. Ирина Ракша знает этот мир деталей, потому что она знает среду, в которой живут ее герои, а следовательно, реалии, этой жизни сопутствующие. Достоверность в книгах писательницы и — больше того — убедительность ее произведения во многом и от этого знания деталей, мира алтайского села, строя жизни крестьянина-алтайца, а вместе с этим от всего, что свойственно дню нынешнему Алтая, как, впрочем, и дню вчерашнему. Конечно же, способность перенестись в прошлое, наверно, признак таланта художника, но одновременно это и признак знания жизни. Герой повести «Весь белый свет» Сергуня Литяев принадлежит к поколению наших отцов, чьей верностью и отвагой была обретена свобода,— рассказ о сегодняшней судьбе Сергуни перебивается его воспоминаниями о зоревой поре советского Алтая, о революции. Не пойдя против истины и, наверно, не умало всех остальных глав повести, если скажу, что главы о революции самые сильные в произведении.

Чего хочется пожелать писательнице? Ее проза не должна уходить на боковую тропу, как бы эта тропа ни была заманчива. Ближе к главному! Для меня очевидно: удача ждет писательницу на пути создания крупных характеров (в этом меня убеждает, в частности, характер Сергуни Литяева).

И последнее: повесть «Весь белый свет» была напечатана журналом «Советская литература» на иностранных языках и замечена читателем. Свидетельствую об этом как редактор журнала. Уместно привести два письма, полученных редакцией из-за рубежа, вот они.

Первое письмо пришло из ГДР — его автор Маргарите Мекден-Хака:

«Сегодня я не могу не сказать несколько слов о повести Ирины Ракши «Весь белый свет», опубликованной в «Советской литературе», № 3, 1979 г. Ее повесть на редкость хороша!.. Мне трудно достаточно хорошо обосновать свою высокую оценку, но я хочу сказать одно: здесь действительно весь белый свет. Ирина Ракша сумела показать всю тяжелую, но такую наполненную и счастливую жизнь этих советских лет на примере одного героя. Мне кажется,

что и написано очень хорошо. Во всяком случае, в переводе Юрия Эльперина я понимаю все, что хотела сказать Ирина, вижу, что скрыто внутри, что происходит на поверхности.

Сердечно прошу передать мой привет Ирине Ракше и поблагодарить ее за повесть. Можете ли вы способствовать тому, чтобы эта повесть появилась в ГДР? Я прошу об этом. Переведены ли другие вещи И. Ракши на немецкий язык?»

Второе письмо было получено из США — его написал Натан Вайсбард:

«Во время путешествия по Карибскому морю я был потрясен блестящим и трогательным произведением Ирины Ракши. Прошу передать мою горячую благодарность Ирине Ракше за повесть «Весь белый свет»

в мартовском номере журнала. Мне очень жаль, что лишь немногие в США читают современную советскую литературу».

Независимо от того, к какой теме обратится Ирина Ракша в будущем, кто явится героями ее произведений и к каким целям она устремит этих героев, в высшей степени благодарно сберечь язык, которым одарила писательницу страна ее детства. Уверен, что зрелый художник всегда найдет доброе применение этим ценностям, в его сложном хозяйстве они не утратят достоинства. Обо всем этом тем более уместно сказать, что созданное писательницей является зримой предпосылкой ее роста. Пожелаем ей удачи.

Савва ДАНГУЛОВ.



ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ГАРМОНИИ

Иосиф Герасимов. Эффе́нт положения. Роман. «Знамя», 1979, №№ 11—12.

Как бы ни поражала людей внезапность тех или иных жизненных обстоятельств, однако чаще всего они ими же и создаются. Эту общеизвестную истину роман И. Герасимова конкретизирует в двух сюжетных коллизиях, одна из которых, что называется, взята из жизни, другая же относится к области художественного вымысла (то есть такого вымысла, о котором подчас говорят, что в нем больше правды, чем в реальном происшествии, хотя, как предупреждает автор в специальной сноске, возможные совпадения с реальными лицами и событиями в этом случае могут быть лишь случайными).

Памятная августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года. Сначала все вроде бы не вышло до рамки чисто научных споров, но потом вдруг «что-то изменилось, люди бродили по фойе молча, а если говорили, то негромко, почти шепотом... что-то стало иным, и Укладников не мог понять, откуда взялась в нем тревога и все усиливалась, разрасталась...». На этой же сессии Укладников вышел на трибуну и, отбросив составленные под руководством своего учителя тезисы выступления, «как было на войне... ощутил стремительную отрешенность от всего на свете... и сказал, твердо чеканя слова: «Я должен сделать заявление: менделеевское учение о гене вошло в золотой фонд науки и навсегда останется там. И никому не удастся надеть на него дурацкий колпак...»

Он получил за это заявление все, что тогда полагалось: был вынужден уйти с ра-

боты, разошелся с женой — она училась в аспирантуре и не хотела рисковать своим будущим. (Много лет спустя она скажет, обидевшись на то, что ее бывший муж не хочет стать ее любовником: «Да, в то время разоблачение формальной генетики было исторически необходимым и закономерным».) И вот сегодня Укладников волею судьбы принимает участие в другой, основной сюжетной коллизии романа, которая отличается от первой тем, что целиком предопределена и наглядно для читателя движется вполне конкретными личностями. Механизм этого движения, если угодно, и составляет сюжет романа.

Итак, еще один роман об ученых — после известных «Кафедры», «Бессонницы», «Двухчасовой прогулки», «Рая в шалаше». Тема продолжает интересовать писателей, находящих все новые грани и повороты ее. Помимо возрастающей роли науки в жизни нашего общества, мне кажется, есть еще момент, привлекающий писателей к этой теме: в научной коллизии обычно существует (или возможна в принципе) твердая точка опоры, объективная истина — борьба разворачивается за достижение ее, за обладание ею, наконец, за ее использование в социально значимых целях. Соответственно, твердую точку опоры часто получает и роман — конфликт завязывается вокруг события, на данный момент однозначного, не допускающего разночтений (это потому научная истина может быть опровергнута и все изменится). В романе И. Герасимова о найденной истине не спорят — ценность ис-

следования, проведенного молодым биологом Асей Голиковой и Укладниковым, сомнению не подвергается. Речь идет о том, кто будет пользоваться престижными результатами исследования. Причем те, кто провел исследование, о престижных и прочих благах вовсе не думают: Ася еще молода и ей дороже всего сама радость открытия, само сознание того, что она умеет. А Укладников уже давно достиг такого положения в науке, что и ему более всего интересен сам поиск истины.

Хлопочет же о том, чтобы не упустить своего (вернее, чужого), Штырев, заведующий лабораторией, в которой работает Ася. Штырев, каким рисует его автор, наиболее серьезная и наиболее реальная опасность для людей современной науки. В одном из спектаклей студенческой эстрады была когда-то такая сценка: люди работали — передавали по цепочке разноцветные прямоугольники, — работали весело; вдруг у одного появлялся в руках прямоугольник уныло-серого цвета, он передавал его следующему, и опять у него появлялся серый, а дальше все прямоугольники были только серыми, и работа становилась скучной всем. Штырев и есть такой человек, все усредняющий; под маркой коллективного труда он готов присвоить результаты работы лаборатории (не грубо, разумеется, присвоить — тонко, деликатно, почти незаметно). В «Литературной газете» проводилась дискуссия, коллективна или индивидуальна современная наука, — так вот он если бы участвовал в ней, то с пеной у рта утверждал бы, что наука сегодня может делаться только коллективно, что время гениальных одиночек прошло, поскольку сам он ни при каких обстоятельствах гениальным одиночкой не станет, а за спиной (то есть во главе — завлабораторией все-таки) коллектива вполне может выглядеть как его лидер.

И. Герасимова интересуется как сам Штырев, так и причины его «восхождения» в науке. Он хитрый и неглупый человек, отлично умеющий подать результаты чужой работы, сделать доклад, выступить на симпозиуме. При всем этом он, чувствуя свою научную и человеческую неполноценность, переполнен мелкой, тайной завистью к более талантливым, более удачливым. Он даже влюбляется в Асю, но давит в себе эту любовь. Что касается причин «восхождения», то это разговор серьезный. Сделал Штырев когда-то по молодой искренности удачный выбор, прилепился к крупному ученому Тимашову еще в то время, когда тот был в тени, и на этой предан-

ности сделал карьеру. Что касается Тимашова, то он из событий упомянутой выше сессии ВАСХНИЛ извлек несколько необычный урок: нужно, чтобы тебя окружали преданные тебе люди... За преданностью и не разглядел в Штыреве его сути. Так большой, талантливый человек, оказывается, может тянуть за собой маленького и неталантливого, причем ему кажется, что делает он это исключительно во имя науки.

Впрочем, в истории Штырева особого художественного открытия нет — мелкий человек, ущемленный завистью, он ведет себя именно так, как должен себя вести. Интереснее другое — почему люди, окружающие этого человека, люди талантливые и вовсе не мелкие, «позволяют» ему? Ася, на работу которой зарится Штырев, так объясняет Укладникову свою позицию: «Пусть уж он все забирает, но воевать я с ним не буду. Я не умею... Это ты когда-то мог подняться на трибуну и сказать. Но тогда и впрямь была борьба. А сейчас это только склокой, склокой будет выглядеть...»

В том-то и дело, что бороться со штыревыми чаще всего приходится именно их же способами, а интеллигентного человека от этих способов с души воротит. Конечно, за идеи воевать не стыдно, но штыревы очень хорошо умеют повернуть дело так, будто их противники вовсе не за идеи воюют, а занимаются мелкой склокой. Так Штырев и пробивается к сияющим вершинам науки — механизм этот показан И. Герасимовым достаточно точно. Настоящему ученому и в самом деле противно выглядеть склочником или тщеславцем. Надо полагать, тут есть один выход (а может быть, и не один) — вступать в борьбу, когда отчетливо осознаешь, что нейтралитет вредит не только тебе, но и твоему делу, которому отдаешь себя! Вот и Ася в романе в конце концов решает бороться. Человек вступает в борьбу, которая касается не только его научной карьеры, но и самой личности, сердцевины ее, когда он чувствует, что если уклонится, то дальше что-то невозвратно потеряет, на что-то уже не будет иметь права. Умирает Укладников. Ася любила его, и теперь идет речь о судьбе их работы, их совместной, первой и последней, которую они сделали вдвоем, — отдавать ее Штыреву просто невыносимо...

Рядом с этим присутствует в романе И. Герасимова и другая «важная тема». Есть здесь сценка, когда Укладников обедал однажды в Доме ученых со стареньким академиком, и тот «весело рассказывал, как, бывало, прежде собирались гурьбой — уче-

ные, актеры, врачи, как устраивали капутники, в общем, умели жить широко и красиво». Укладников отвечал на это, что сейчас нет возможности для такого приятного времяпрепровождения, потому что наука взяла совсем иной темп, не можешь отстать, уходишь в дело целиком. «Старенький академик... слушал, кивал седенькой головкой, но когда Андрей Демидозич закончил свою пылкую речь, брезгливо сморщился: «Вот так, вот так... Мы-то всегда связывали прогресс с ростом интеллигентности, а вы практицизм на первый план... Да вы, молодой человек, узенький прагматик — не более»...» Укладников смеется — какой же он прагматик, ему как раз не хватает практической сметки. Но смеется он напрасно — не о практической сметке речь идет, но об образе мыслей и жизни. Ведь все равно, «как бы хорошо Укладников ни знал: нельзя жить одной наукой... все же сам он жил только ею, все остальное было жалким приложением, и подлинные радости, подлинное наслаждение он получал именно от работы».

И Ася такая же — когда идет исследование, она забывает все на свете, работает без выходных, доводит себя до обморока

от переутомления. Это может показаться прекрасным, однако работа, когда она заслоняет все другое в жизни, все-таки означает сужение горизонта, обеднение личности — в конечном счете то, что старый академик называет прагматизмом. Таким людям важен не просто узконаучный, но общечеловеческий прогресс. В словах старого академика есть немалая доля истины: жизнь без труда бессмысленна; но жизнь, состоящая из одного только труда, тоже бедна... Эта проблема встает, в сущности, перед многими людьми, преданными своему делу, и решать ее тем труднее, чем больше и значительнее дело. Наука, как и любое дело, лишь часть жизни, а часть не может быть больше целого, и не прав Укладников, полагающий, что она сама жизнь.

Роман убеждает: надо, надо искать гармонию между делом и душой и не успокаивать себя мыслью, что одно замена другому. Это тем более существенно, что цель-то наша — воспитание гармоничной личности. И нет цели выше этой. И решение, которое делает в финале Ася (бороться!), по сути, тоже шаг к этой гармонии.

Ю. СМЕЛКОВ.



«ОБДУМЫВАЮ ЭТОТ МИР...»

Кшиштоф Камиль Бачинский. Стихи. Составление и предисловие А. Гелескула. Перевод с польского. М. «Художественная литература». 1978. 190 стр.

Польские поэты. Составление, вступительная статья и примечания В. Британишского. Перевод с польского. М. «Художественная литература». 1978. 365 стр.

Из современной польской поэзии. Составление и предисловие

В. Британишского. Перевод с польского. М. «Прогресс». 1979. 270 стр.

Тадеуш Ружевиц. Избранное. Составление и предисловие С. Ларина. Перевод с польского. М. «Художественная литература». 1979. 318 стр.

Первого сентября 1944 года в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Люблине впервые после начала войны состоялось общее собрание профессионального союза польских литераторов. Уже спустя несколько дней вышел номер журнала «Одродзене» («Возрождение») — первого литературно-художественного издания народной Польши. А в оставшиеся месяцы года в Люблине стали выходить и книги. Это были сборники стихов Юлиана Пшибося, Адама Важика, Ежи Путрамента.

Литература новой Польши начиналась с поэзии, и именно в поэзии зарождался тот процесс, о котором спустя годы напишет Вислава Шимборская: «Обдумываю этот мир вторым, исправленным изданием...»

Осмысление мира сегодняшнего требовало от художников глубокого анализа прошлого. Так возникла в польской литерату-

ре тема «расчетов с прошлым», как определил ее в одном из интервью 50-х годов видный польский прозаик, сценарист, режиссер Ежи Стефан Ставинский.

Поэзия первого послевоенного десятилетия — это прежде всего поэты старшего поколения, хорошо известные в литературных кругах еще до войны. В изменившихся условиях изменились и они — новое звучание обретали поэтические традиции, новый личностный опыт определил их поэтику. Особенно ясно прослеживается это в книгах таких признанных поэтов, как Леопольд Стафф, Казимира Иллакович, Ярослав Ивашкевич, Владислав Броневский, Константин Ильдефонс Галчинский, Юлиан Тувим, Юлиан Пшибось... Но рядом с ними зазвучали и молодые голоса тех, кто вступал в польскую поэзию, принеся в нее свой первый жизненный опыт — опыт вой-

ны. Это поколение, перенимая от старших товарищей эстафету, обогащает поэтическую традицию опытом сегодняшней возрожденной Польши.

Советский читатель знаком с поэзией Польши давно, и углубление этого знакомства происходит постоянно. Однако трудно припомнить более щедрый период, чем последние два года, подарившие нам две антологии, книгу Кшиштофа Камиля Бачинского, впервые прозвучавшего на русском языке, и «Избранное» Тадеуша Ружеви́ча, известного уже советскому читателю по многочисленным публикациям.

Остановимся несколько подробнее на имени Кшиштофа Камиля Бачинского — легенде польской поэзии XX века.

Отчего именно этому поэту выпала такая судьба? Здесь много причин, среди которых не только литературные. Творчество Бачинского впитало в себя национальные поэтические традиции и ярко реализовало их в самобытном, глубоко индивидуальном стихе, став со временем традицией для поэзии последующих поколений, той характерной чертой польской лирики от Леопольда Стаффа до Мариана Гжещака, о которой позже писал Ружеви́ч: «В моем понимании современная лирика — это результат столкновения чувства и события, чувства и предмета». И именно это столкновение рождает поэтическое чувство «обдумывания мира» в себе и себя в мире.

На первый взгляд стихи Бачинского наполнены чувством обреченности — настроения, во многом характерного для поэтов такого жизненного опыта, как у него, погибшего совсем молодым в Варшавском восстании 1944 года. Обреченность? — несомненно, однако природа ее сродни роковой обреченности героев античных трагедий: не сломленность, не униженность, скорее жестокое осознание правды о себе и всем поколению, а при этом гордость за него, страстное желание сложить реквием. От осознания Бачинским краткости жизни и непреодолимая потребность прожить ее ослепительно, ярко, встретив смерть как награду. Именно награду:

Слишком трудно возвратиться к вам
живыми.

Слишком трудно...

Легче сделаться героем...

Это счастье, что стрелок дожить не может
до того, когда нам памятник поставят
и убийца на него цветы положит.

(«Прощание стрелка», перевела М. Павлова)

Страшные по откровенности признания строчки. И если глубже вдуматься в них, можно увидеть грандиозный по силе обоб-

щения символ веры — формулу умонастроения целой эпохи: памятники ставят живые, те, кто сможет «возвратиться... живыми», а время требует жертвы, требует другого памятника, того, о котором писал замечательный польский поэт Циприан Норвид: «...дело — станет памятником славным!»

Бачинский осознавал себя человеком своего поколения и, может быть, благодаря своей ярчайшей индивидуальности явился рупором «поколения Колумбов», как стали называть сверстников Бачинского после появления посвященной им трилогии Романа Братного «Колумбы, год рождения 20-й». Они действительно были Колумбами: им предстояло открыть «свою Америку» — жизнь в самом пекле смерти; они учились в подпольном университете, создали подпольный театр, издавали книги в подпольных типографиях, в подполье же обучались искусству воевать. Им было суждено познать целую науку Спротивления, включающую навык борьбы не только с оружием в руках, но и средствами культуры, искусства. И эта борьба была, пожалуй, не менее необходима, потому что речь шла об угрозе уничтожения нации. Нужно было величайшее мужество, чтобы сопротивляться, нужно было мужество многих и многих, чтобы в 1942 году в конспиративном издательстве в количестве 96 экземпляров вышла книга «Избранные стихи» Кшиштофа Камиля Бачинского под псевдонимом Ян Бугай.

К пальцам струны примерзли
Из тонкого стона растений.
Так дорастают до смерти,
Как мы выросли в свое время.

(«Поколение», перевел Б. Слуцкий)

Это чувство особой судьбы поколения, глубоко осознанный героизм становятся постоянными мотивами в творчестве Бачинского. У него нет еще того оттенка, который резкой, диссонансирующей нотой зазвучит в послевоенной польской литературе, да и во всем искусстве Польши конца 40 — начала 50-х годов, когда на одно из ведущих мест выйдет тема «бессмысленного героизма». Своеобразной кульминацией этой темы стал фильм Анджея Вайды «Канал», снятый по сценарию писателя Ставинского, который прошел путь «поколения Колумбов», но остался в живых. То же настроение в одном из самых трагичных по звучанию стихотворений Тадеуша Ружеви́ча «1939 год»:

Я иду себе нагладбище
где не восстану из мертвых

где сложу смешные ненужные режиссеры
 Вога крохотного как божок из липового
 полевика
 белого орла малюсенького как птичка
 на ветке
 человека которым не буду.

(Перевел В. Британишский)

Творчество Бачинского представляется неким связующим звеном в поэтической истории Польши XX века, в его стихах мы находим подлинно творческое освоение и осмысление прошлого, а вместе с тем они ключ к восприятию поэзии тех, кто пришел в польскую литературу после войны.

Новое поколение поэтов принесло свое видение, свой образ мира. Это были те, кто явился на смену «поколению Колумбов», кто занял свое место в ряду «ущевших Колумбов».

С. Гроховяк, Е. Харасымович, М. Гжещак (выступивший несколько позже, в начале 60-х годов) привнесли в польскую поэзию опыт как бы двойного формирования личности. В мирную послевоенную Польшу они вступили еще подростками, у которых вся жизнь была впереди, но детская память болезненно и остро запечатлела годы войны. Пожалуй, наиболее важно для творческой характеристики этих поэтов то, что они нашли свой подход к литературным традициям, воспринимая их синкретически, в широком контексте польской и всей мировой культуры. Так, в стихотворении М. Гжещака «Песня ветеранов» (1961) ясно ощущается влияние Бачинского, но и сегоднешний опыт:

Идут солдаты на войну побатальонно
 Укрыты зеленью их каски и окопы
 Земля и небо им опасны в равной мере

Кто защищается — выигрывает войны
 А это всякому мужчине очень лестно

И снова мир этот становится прекрасным
 Назад солдаты возвращаются повзводно
 Стара та песенка да что уж тут поделывать.

(Перевел Ю. Левитанский)

Но говоря о традиции, идущей от Бачинского, обязательно надо вспомнить и Циприана Норвида, человека горькой судьбы, «печального поэта», как сказал о нем Ярослав Ивашкевич.

Бачинский и Норвид писали о Польше «в минуты роковые», и не случайно сквозными темами их творчества стали мотив национальной польской судьбы в ее драматизме и величии, мысль о свободе.

Тадеуш Ружевиц — сверстник Бачинского. Его творчество известно советскому читателю, но лишь с появлением одномыслия, куда, кроме 9 поэм, вошли две пьесы

(«Картотека» и «Группа Лаокоона») и проза, оно открылось во всем своем многообразии.

Если Бачинским и его погибшими товарищами была открыта возможность жизни — действенной, яркой — в оккупированной, но не покорившейся Польше, то Ружевицу, Шимборской, Братному, Ставинскому, Херберту и другим, оставшимся в живых, предстояло открыть новую действительность, стать глашатаями возрождения. Но для этого надо было расчитаться с прошлым.

Ружевиц, как справедливо отмечает польский критик Анджей Лям, «убежден, что возрождение поправленной, раздавленной морали должно начаться с самых ее основ... Ружевиц в значительной мере определил дальнейшее развитие польской лирики. Даже для тех, кто не следовал его традиции, аскетическая скупость выразительных средств, которая столь характерна для его стихов, стала мерилом подлинной поэтической ценности».

«Ущевшие Колумбы» (одно из самых сильных стихотворений Ружевица носит название «Ущевший») вернулись из военного пекла с ощущением, что многие ценности рухнули. Но надо жить, а значит, надо строить, восстанавливать:

я промерзший
 как подземелья костелов
 я окоп засыпанный воспоминаньями
 одно лежит на другом
 я создам для вас новую картину
 заполненную жизнью и теплом.

(«Обещание», перевел Б. Слуцкий)

И сегодня мы можем судить о том, что свое «обещание» поэт выполнил; от сборника к сборнику в стихах Ружевица все больше жизни и тепла. Предельная ясность, прозрачность стиха, так привлекавшие Ружевица в его старшем современнике Леопольде Стаффе, постепенно пришли и к нему.

Наш воинский трофей — познание мира:
 Он так велик — в рукопожатие вместишь,
 Так сложен, что улыбкою опишешь,
 Так странен, как в молитве эхо давних правд —

(«Отрывочно мы знали мир когда-то...»,
 перевел А. Эппель)

эти строки уже сами по себе представляют еще одного поэта того же поколения — Виславу Шимборскую. Сравнивая Шимборскую с Ружевицем, польские критики порой называют ее поэзию рафинированной. Думается, понапрасну: не рафинированность, а скорее тонкая, высокая жен-

ственность, которая вовсе не является синонимом так часто осмеиваемой «женской лирики», определяет здесь тональность стиха. На мой взгляд, мировосприятие Шимборской в чем-то сродни мировосприятию Анны Ахматовой (кстати, одной из первых переводчиков поэзии В. Шимборской на русский язык).

Поэзия Виславы Шимборской драматична и наполнена философскими размышлениями о прошлом, каким ощущает его современный человек, памятующий об опыте второй мировой войны. Но очевидна и устремленность поэтессы в будущее, ее беспредельная вера «в человека, который совершает открытие... в точности его движений, в свободную волю». И этой верой в человека, в возрождение личности и Польши Шимборская смыкается не только с Ружевичем, но и с одной из старейших поэтесс — Казимирой Иллакович, так просто и мудро повествующей о силе человеческого духа:

Все можно сделать, но не для себя:
Пощадь вымолить и чудо совершить,
И чью-то злую волю сокрушить,
Веду прогнать, как волка от кошары,
И разгадать неведомого чары...
Все можно сделать, но не для себя.

(«Не для себя», перевела Е. Благинина)

Наверное, после знакомства с поэзией Казимиры Иллакович стихи эти встанут в сознании наших читателей в тот же ряд, что и у польских любителей поэзии, — рядом с Ярославом Ивашкевичем и Леопольдом Стаффом.

В строках Казимиры Иллакович ощущается именно простота силы и необходимость веры, и, может быть, благодаря этому своему дару — поэтическому и личностному — она словно к другу обращается в познавской осени: «Обопрись на меня, белый свет, обопрись... исхудавший бедняга, белый свет...» (перевела Н. Астафьева).

Общение с природой на равных, осознание себя частицей мира, участвующей во всем круговращении жизни, у Иллакович отнюдь не дань поэтической условности. Скорее в этом проявляется насущная потребность, которая сродни потребности Антя коснуться земли, высшая необходимость единения с природой, невозможность выключения себя из процесса текущей жизни. Видимо, эти черты творчества К. Иллакович и позволили Ярославу Ивашкевичу написать в эссе о книге стихов поэтессы «Шепотом» (1966): «...уже все знает и знает цену слова, и стиха, и ритма, и рифмы, а прежде всего знает цену жизни, обладает этим великим знанием старости».

Халина Посвятовская — поэтесса поколения, чье детство было опалено войной. Война была с ней неотлучно, приблизила последний час поэтессы. Халина страдала неизлечимой болезнью сердца, развившейся у нее после пребывания в ченстоховских сырых подвалах, где жители города скрывались от гитлеровцев. В 1967 году Халина Посвятовская умерла.

Несмотря на то, что Халина Посвятовская далека от романтической традиции, ее можно назвать подлинным поэтом-романтиком. Многие польские мастера посвятили ей прекрасные строки — Станислав Гроховяк, Вислава Шимборская, Тадеуш Новак... Все они пытались запечатлеть облик Посвятовской, чей портрет, впрочем, встанет из ее стихов:

я как звезда
готовая в любое мгновенье
скатиться с неба
и рухнуть в космос...
...я как растоптанная птица
в агонии
расчесывающая клювом крылья..

(«Я как звезда», перевела Н. Астафьева)

О чем бы ни говорила в своих стихах Посвятовская, она говорит о любви — к жизни, к друзьям, к природе, к людям вообще и к избранному ею человеку.

За свои тридцать два года Посвятовская должна была прожить длинную жизнь — и прожила ее ярко, насыщенно. Философ по образованию, она не отделяла мир абстрактных категорий и понятий от живой реальности, поэтому трудно вычленишь ее философскую лирику — органично, незаметно вплетается она в единый строй поэзии Посвятовской. И именно из этого причудливого синтеза («Кант, как редиска, свеж и пахуч», «глогата философия... пью любовь большими глотками», «слез у меня больше, чем океан») рождается поразительное и поражающее: «...непостижимый мир сжимаю в обеих руках».

Поэзия Халины Посвятовской при всем обилии трагических нот и красок несет в себе энергию жизнеутверждения. Если по биографической общности (краткость, но необычайная интенсивность прожитых лет, постоянное предчувствие смерти) мы сравним строки Бачинского и Посвятовской, мы найдем сходство именно в восприятии любви как самого светлого дара, которым награжден человек. Но и дара трагического: слишком мало времени отпущено на слишком необычное чувство. Поэтому и не оставляет таких разных по своей природе поэтов ощущение жизни как мига. У Посвятовской этим ощущением пронизано

буквально каждое стихотворение и этим же переживанием заполнены стихи, ставшие своеобразным заветом друзьям. Они отмечены высокой простотой и силой:

Птицы мои
покуда вы на свете
будьте вы вместе
и я буду с вами.

(«Порой туда возвращаюсь...»,
перевела Н. Астафьева)

Это поэтическое завещание обращено к тем, чьи имена мы уже называли выше, — Станиславу Гроховяку, Тадеушу Новаку, Ежи Харасымовичу... Их стремление «обдумать этот мир» своими корнями уходит в недалекое для каждого из них военное прошлое, но, словно росток, тянувшийся к солнцу, прорастает в будущее, пронизано стремлением приблизить будущее через постижение и освоение настоящего, современности. На их глазах происходило послевоенное возрождение страны: восстановление городов, новое, социалистическое строительство, установление дружеских отношений с соседними государствами. Им самим предстояло включиться в этот процесс, поэтому стихи Гроховяка, Харасымовича и других (теперь они составляют уже среднее поколение послевоенной польской литературы) насыщены памятью, но и чувством сегодняшней созидательной жизни, ощущением современных ритмов бытия.

Поэтическое кредо Станислава Гроховяка, пожалуй, можно обозначить строками блоковского признания: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном цита!» Жажда жизни, остренное чувство гармонии, ренессансные по щедрости сочетаний и сопоставлений образы — эти черты выявляют основную поэтическую и человеческую миссию Гроховяка: она в том, чтобы в век прогресса и бешеных ритмов жизни сохранить и возвеличить Прекрасное — накопленное столетиями богатство духовной культуры.

Прекрасное —
о нем ли не тужил я?
Я, столько взяв желаний от ближних,
Что даже в смерть не верую? В мгновенье,
Что прежде ослепит, потом наступит?..

(«Прекрасное...», перевел Ю. Левитанский)

А Ежи Харасымович — приверженец мифологии, фольклора. Поэт «региональный», воспеваящий в своих стихах природу, людей и народные поверья Прикарпатья, где прошло его детство, Харасымович создает

свои притчи и сказки для взрослых в подчеркнута традиционной для народной поэзии манере. Характерно его признание:

В поэзии одна за другой
меняются моды...
...моя мода рубаха неба
распахнутая просторно
на дожди и морозы.

(«Моды», перевела Н. Астафьева)

По-иному окрашен мир в поэзии Мариана Гжещяка. «Региональности» Харасымовича здесь противостоит шумная, распахнутая во все концы земного шара, урбанистическая реальность сегодняшней, поднятой из руин Польши. Пожалуй, не будет ошибкой, если мы назовем его самым современным из современных польских поэтов, открыто декларирующим социальность поэзии. Стремление поэта «сказать о времени свое слово и верить в него» открыто заявлено во многих стихах Мариана Гжещяка. «Башня... не из кости, а из железобетона» — эта строка стихотворения «Поэты, не убегайте в леса» ярко и глубоко выражает суть мироощущения поэта.

По словам Ярослава Ивашкевича, польская литература — это прежде всего поэзия. «Поэзия в значительной степени определяла и развитие литературы в целом», — писал он в предисловии к двухтомной антологии польской поэзии. И справедливость этого высказывания подтверждается стихами польских поэтов от Кохановского, Мицкевича, Словацкого до поэтов, о которых у нас шла речь. Польская поэзия сегодня — явление значительное, яркое и многогранное. С каждым годом оно раскрывается перед нашими читателями все глубже и отклик находит все более и более заинтересованный.

Давняя традиция культурного общения русского и польского народов в наши дни не просто окрепла — диалог обрел новое содержание и значение, особую интенсивность и постоянство. Первая заслуга здесь по праву принадлежит поэтам-переводчикам, посвятившим себя литературе польского народа. Не раз отмечалась в Польше плодотворная деятельность Н. Астафьевой, В. Британишского, А. Эпшеля, давно и хорошо известны переводы Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Ревича, А. Гелескула... Их труд нашел высшее признание — стихи польских поэтов заняли свое место в ряду близкой и необходимой нам поэзии.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ.

«ЗАМКНУТАЯ ВСЕЛЕННАЯ» И МАГИСТРАЛИ ИСТОРИИ

Йордан Радичков. Все и никто. Повесть. Рассказы. Перевод с болгарского Н. Глен и М. Михелевич. Предисловие А. Зверева. М. «Прогресс». 1979. 455 стр.

У болгарского писателя Йордана Радичкова есть небольшой — всего на одну страничку — рассказ «Игра пера». Художник нарисовал блоху величиной со слона и слона величиной с блоху и представил нарисованное на суд домашних. Те удивились — почему блоха и слон одинаковые? Потому что это игра пера, разъяснил художник. Но домашние разобрали его творческий метод и, как пожаловался герой читателям, «посоветовали мне впредь не играть пером, хотя лично я не вижу, как это хронист может не играть пером».

Что здесь — милая литературная шалость или прятчущееся за лукавой усмешкой вполне осознанное и продуманное художественное кредо? За Радичковым в болгарской критике давно установилась репутация парадоксалиста, мастера неожиданного и острого иносказания. Парадокс, однако, как известно, может предоставить вполне надежную и объективную информацию. Хронисту — этому внимательному свидетелю и педантичному регистратору событий, что происходит вокруг, — играть пером вроде бы «по штату» и впрямь не положено. Но Радичкову решительно нет дела до того, что кому положено, а что нет. Он должен самостоятельно разобраться в истинном смысле явлений, открывающихся его писательскому взгляду. А вдруг вышеупомянутая блоха окажется на поверку куда больше, значительней, кусачей того, кого почитают за слона, — неужели в угоду традиции искажать ее преуменьшением?

Прежде чем объявлять играющего пером хрониста нелепостью, полезно разобраться, а что, собственно, по Радичкову, есть игра пера? В чем она? В умении затейливо передразнивать давно знакомую и уже примелькавшуюся повседневность? В наслаждении безграничной свободой самодержца в своем художественном пространстве, где автор сам себе голова и не замечает настоятельно рекомендуемых ему знатоками рецептов «адекватного» отражения действительности? В способности ли взирать на нее чуть отстраненно, глазами человека, немало повидавшего? Все это отчасти присуще прозе Радичкова и в случае необходимости подтверждается соответствующими «выбранными местами». Но только отчасти.

Читая Радичкова, убеждаешься, что столь рьяно отстаивающий право играть пером хронист приглашает читателей к серьезному разговору о временах суровых и проблемах,

однозначному решению не поддающихся. О войне и о том, какой ценой была куплена свобода, идет речь в рассказах из цикла «Пороховой букварь». О рождении и становлении социалистического самосознания болгарского народа, драматическом столкновении требований новой жизни со старыми понятиями и представлениями говорится в повести «Все и никто», в новелле «Последнее лето».

Впрочем, то, что выходит из-под пера Радичкова, как-то плохо поддается классификации по темам. По сути дела, Радичков все время работает над одной большой книгой, дополняя ее главами-повестями, главами-новеллами. Почти всегда действие разворачивается во Врачанской области Берковецкой околицы, что среди Черкезских гор, — там родился и вырос писатель, и воспоминания давних лет постоянно вторгаются в его рассказы, создавая проникновенно-щемящее лирическое измерение. Стало быть, лирическая проза? Но внимательному взгляду хрониста, ведущего летопись трудов и дней родного захолустья, открываются конфликты и коллизии большой истории, бесцеремонно вторгающейся в сонный, словно раз и навсегда заведенный миропорядок, в эту, если воспользоваться любимым выражением писателя, «замкнутую вселенную».

Замкнутость вселенной следует понимать в том смысле, что клочок земли вдали от мировых столиц замкнул, упрягал в себя сложную, полную потрясений современность с ее «проклятыми вопросами». Не важно, что в родной Радичкову Калиманице (рассказ «Воспоминания о лошадах») всего-навсего 90 дворов и 473 жителя, в том числе один учитель, один сумасшедший и одна ворожея. История прокладывает свои магистрали так, что одна из них непременно пройдет через маленькую Калиманицу, точно так же как в свое время другая магистраль прорезала хутор Татарский станицы Вешенской, перемешав и столкнув старое с новым, обнажив социальную и нравственную проблематику невиданных масштабов.

Люди на войне, народ в борьбе с фашизмом — эти темы издавна привлекали болгарских художников слова, подаривших родной литературе немало вдохновенных страниц. Трудно писать, когда уже написано так много. Но хронист Радичкова не из тех, кто «своим почерком» переписывает сделанное предшественниками. Он во всем находит свой угол зрения. В рассказах из «Порохо-

вого букваря» автор-повествователь, обычно столь активный на других страницах, умолкает, предоставляя слово тем, которые, сами того не подозревая, стали участниками истории и ее творцами. Просты названия рассказов: «Бурка», «Хлеб», «Камни», — просты речи не обучавшихся говорить красиво персонажей. «Занятие у нас невидное — не с чем на люди показаться. Пекарское наше занятие», — смущается дядя Ангел («Хлеб»). «Одним — свободу или смерть, другие будут горшки продавать», — ворит ему дядя Флоро из рассказа «Телега». И тот и другой жили как все: трудились до седьмого пота, еле-еле сводили концы с концами, начальству не перечили, но в момент тяжких испытаний для страны поступили как герои и как герои погибли. Далекие вроде бы и от политики и от истории, они одолели страх, забыли удобное «моя хата с краю» потому, наверное, что способность отдавать жизнь за хорошее и светлое, за правду — основа основ народного характера. Жертвовать собой — и лютую ненавидеть войну как самое большое зло и несчастье. «Ох, парень, кабы войны-то больше не было... Мне так другую такую не выдохнуть уж...» Нет, это не из «Порохового букваря», это из рассказа Василия Белова «Речные излуки», но интонация, ход рассуждений, отношение к жизни — все напоминает героев Радичкова. Они договорились бы, отлично поняли бы друг друга, берковичские и вологодские мужики; трудности и тяжелая работа для них — «привычное дело», а в общем-то, они безудержные оптимисты. «Тяжеленко, но выдохнем», — улыбается гончар Флоро.

Народ бессмертен, пока в его коллективной памяти живет героика прошлых лет, минувших столетий. Недаром развозит Флоро оружие партизанам на телеге, боковину которой местный умелец украсил изображением всадников из отряда Ботева и Бенковского. Того самого отряда, что в далеком 1876 году поднял страну на восстание против турецких захватчиков и погиб в неравном бою. Но погиб ли? В 1944 году отряд снова в бою, и скромный рядовой Спротивления Флоро — его отважный командир. А по дорогам Берковской околии скачут такие же отряды — нарисованные на других телегах, вид которых вызывает неизъяснимое раздражение местного начальства. Один крестьянин пожаловался Флоро, что его вызвали в участок и велели замазать отряд, «потому как власти не желают, чтоб по всем дорогам шастали отряды». Замазать-то замазали, но черное пятно вопреки намерениям местных фашистов, выступивших своеобразными «ценителями искусства», пре-

вратилось в наглядную агитацию против фашистского режима, яркое свидетельство отсутствия свободы, страстный призыв добыть ее.

И свобода была добыта, настало Девятое сентября. Юный милиционер Иван Мравов из повести «Все и никто», поступая в милицейскую школу, написал в автобиографии, что «свобода застала его в поле». Весьма характерная для Радичкова фраза. Азбучным, казалось бы, истинам, давно знакомым и в силу очевидности воспринимающимся автоматически понятиям искусство Радичкова возвращает первоначальную остроту и злободневность. Доброта и жестокость, преданность общему делу и равнодушие, вера в будущее и тяга к «старшжке» сталкивают в драматическом противоборстве героев повести.

Иван Мравов заботится, чтобы «не рухнуло еще непрочное народное дело, только-только проклюнувшееся на землях села Разбойна» все той же Врачанской области, где расположилась «замкнутая вселенная» Радичкова. Неповторимый колорит «беспощадных в своей неприкрытой категоричности времен» создается то авторским отступлением, то случайной фразой, то подробностью, на мгновение попавшей в поле зрения хрониста. Суров сержант Антонов по прозвищу Щит-и-Меч; озабочен председатель кооператива дядя Дачо, «по клочку, по полосочке» собиравший хозяйство, первый толчок которому «был дан силой человеческих спин и рук»; не знает покоя Иван Мравов, пытающийся разгадать таинственное убийство, взбудоражившее Разбойну.

Нагнетая сначала атмосферу притаившейся опасности, Радичков вскоре нарушает заданную тональность неуместными вроде бы — речь ведь идет о вещах нешуточных — подробностями о цыганах, которые бродят с медведем по округе, и цыганках, наряжающихся бабочками и пляшущих, чтобы вызвать дождь на засушливые поля, о монахе, денно и нощно строчащем что-то на швейной машинке в знак лояльности новым порядкам (сказано же: кто не работает, тот не ест), о черте с дохлой сорокой под мышкой, возникшем при всем честном народе, да не где-нибудь, а в монастыре. Забыв о своих детективных обязанностях и о нетерпении читателя, жаждущего знать, кто убил, Радичков охотно отвлекается. Он рассказывает о людях Амина Филиппова, неутомимых кладоискателях, перекопавших всю округу и теперь близких к удаче — они приобрели у святого отца, монаха, за немалые деньги карту всех святых и нечистых мест, которую скептик учитель

ошибочно полагает схемой течений и ветров Атлантического океана. О мужике, во время переписи скота сообщившем, что овца у него одна, а коз и того меньше. О других мужиках, явившихся с отрезанными свинными хвостами за справкой, что у их бывших носительниц не было и нет чумы. И о многом другом в том же роде.

Для чего все эти отступления и вообще что же хочет этим сказать писатель, похоже, заведомо уклоняющийся от главного?

Прислушаемся к рассказчику из новеллы «Воспоминания о лошадях»: «Как бы ни старался пишущий человек, он все равно не в состоянии все передать читателю — что-нибудь да останется за буквами и словами, как остается дождевая вода в глубоких следах скотины на пастбище». Неизбежный разрыв между миром наблюдаемым, осязаемым, застрявшим в памяти и его подобием, отражающимся на бумаге, воспринимается Радичковым как дерзкий вызов, который он действительно бросает «пишущим людям», побуждая их, если они, конечно, настоящие художники, «выслеживать» и «заставать врасплох» коварную, отчаянно сопротивляющуюся художественному воплощению реальность объективного мира.

Вглядываясь в эту «суматоху» (еще одно частое у писателя словечко), которая мудренее ученого трактата, дурашливее фарса, патетичнее трагедии, а уж по части закрученных сюжетов даст сто очков вперед самому ловкому из беллетристов, Радичков пробует разные инструменты (бытописание, гротеск, психологический анализ), чтобы прорваться к той труднодоступной художественной правде, которая есть цель и оправдание писательства.

Своеволие радичковского хрониста от своеволия действительности. Ведь как порой бывает: начнешь прилежно срисовывать с природы — останешься с грудой подробностей, не оплодотворенных дыханием жизни; подставишь существу зеркало гротеска — глядишь, получилась аккуратная, без тени выдумки копия реальности. Сколь вольно изображение Радичкова в завершающем сборник «Еже». Маленький и колючий герой этого рассказа не рассказа, басни не басни бегаёт по своим ежовым делам через оживленную автомагистраль, рискуя быть раздавленным, однако плохо приходится не ему, а машинам: лопаются шины у автомобилистов, налетающих на нарушителя правил движения. Другой же герой, писатель Э. С. (вполне реальный, непридуманый Эмилиян Станев, друг и единомышленник Радичкова), с тайным

удовольствием наблюдает за подвигами ежа, а после гибели упряма (доигрался-таки, погиб в неравном бою с автоколонной) тоже, правда временно, покидает этот мир, беседует с озабоченным экологическим кризисом дьяволом, заглядывает и в рай, а по возвращении на грешную землю сталкивается... с персонажем одного из крупнейших болгарских реалистов прошлого Елина Пелина — живехонек сборщик налогов, еще надеется выбраться из болота, где его покинул автор, и показать всем, где раки зимуют...

Ну, сборщика налогов еще можно «расшифровать», скажет иной поклонник ясности и неоднозначности: классика, так сказать, бессмертна, — но при чем тут дьявол и райские кущи, да и еж не символ ли, а если символ, то чего именно? Впрочем, к радичковскому хронисту с просьбами разъяснить да растолковать лучше не обращаться: наверняка удивится — и так мол, все понятно — или отшутится. Стоит прочитать внимательно да самому поразмыслить — всему найдется объяснение, и не потребуются научные интерпретации типа «образ ежа являет собой убедительный и емкий символ...».

Капризную реальность никак не уложить в гладкую, отлаженную фэбулу. Классическое «кто убил?» глядит на читателя со страниц прикидывающейся детективом повести «Все и никто». Но если в классическом детективе тревоги читателя и его кипучая интеллектуальная деятельность (догадки насчет злодея) мигмом прекращаются по опознанию преступника, у Радичкова есть над чем задуматься, как раз когда выясняется, кто убил. А убил друг Ивана Мравова Матей, который вместе с Иваном раскулачивал, обобществлял, выявлял врагов. Проявлявший в грозные годы и стойкость и волю, Матей оказался не готов к сложностям мирной жизни, безнадежно увяз в паутине повседневного. Он и убивать-то не хотел — ни зажиточного крестьянина, ни в момент разоблачения своего бывшего друга. Однако убил — от страха, злости на весь мир, отчаяния.

По канонам детективного жанра героирасследователи обладают пуленепробиваемостью. Радичков с обязанностями мастера криминального жанра явно не справился (в чем охотно покался в послесловии) и Ивана Мравова не уберег. В глазах коллег Иван погиб, потому что потерял бдительность, дал слабину. Может быть, так оно и есть, и все-таки без таких «неделовых» качеств, как доброта и доверие, невозможно строить общество, в основу кото-

рого положены гуманность и справедливость.

Вовсе не склонный умиляться стариной, Радичков в новелле «Воспоминания о лошадах» не без грусти зачитывает письмо жителя Калиманицы, где тот сообщает про некий «указ о закрытии деревни». Водохранилище, что планировалось на месте Калиманицы, нет слов, вещь хорошая, да и бывшим ее обитателям отведены благоустроенные, никак не хуже прежних дома. Только вот не приобрести бы, предостерегает писатель, вместе с типовыми квартирами и стандартной мебелью безличноравнодушное отношение к родной земле с

ее неповторимыми красками и запахами, поверьями и преданиями, к тем корням, которыми крепка нация.

О Радичкове пишутся статьи, литературные эксперты высказывают немало тонких соображений о полифонии его прозы, об особенностях ее образно-метафорической структуры. Но играющий пером хронист насмешливо поглядывает на воздвигаемый ему и «положенный по чину» литературно-критический памятник, по-прежнему внимательно всматривается в окружающую его «суматоху», воспекает ее как величайшую радость и чудо.

Сергей БЕЛОВ.



ОСВОЕНИЕ ФОЛКНЕРА

Уильям Фолкнер. Собрание рассказов. Подготовил А. М. Зверев. («Литературные памятники»). М. «Наука». 1978. 631 стр.

Уильям Фолкнер. Камин и очаг. Повесть. Перевод Г. Усовой. «Подъем», 1979, январь—февраль, март—апрель, май—июнь.

Уильям Фолкнер. Библиографический указатель. Составитель И. М. Левидова. М. «Книга». 1979. 112 стр.

Нередко слышишь: мы узнали Фолкнера еще в 30-е годы. Такие заявления, разумеется, льстят естественному чувству первооткрывательства, но они же и скрадывают, какими неровными, путанными, а то и мучительными путями шло у нас — отчасти идет и сейчас — освоение творчества этого большого художника. Тем и ценна скромная стостраничная книжка, подготовленная Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы, что беспристрастным языком фактов и дат она прослеживает эти пути. Библиографию полезно читать, как стихи, — понемногу и под настроение. Тогда-то и раскрывается поэзия истинного историзма.

Да, первым произведением Фолкнера, появившимся на русском языке в 1934 году, был рассказ «Когда наступает ночь» в переводе О. Холмской. Сейчас список русских переводов Фолкнера насчитывает несколько книжных страниц. Впрочем, если о чем и говорит сугубо количественный показатель, то о немалой неразберихе с публикацией фолкнеровских рассказов, очерков, вообще малой прозы. За них брались кому не лень, их сокращали, фрагментировали, заново печатали известное. Дело доходило до курьезов: один и тот же рассказ публиковался по несколько раз под разными названиями. Может быть, труд И. Левидовой будет полезен и в том смысле, что, прежде чем давать «неопублико-

ванного Фолкнера», редакторы заглянут в святцы.

Если же говорить о публикациях серьезных, то фолкнериана началась у нас с выходом в 1958 году «Семи рассказов», подготовленных И. Кашкиным, и надо отдать ему должное: отобранные им вещи — почти все — и сейчас должно числить среди лучшего, что создал Фолкнер в этом жанре. Теперь читателю доступны на русском 9 романов американского писателя, два повествовательных цикла — «Непобежденные» и «Сойди, Мойсей», — недавно выпущенное «Собрание рассказов». Можно уже практически приступать к подготовке собрания его сочинений.

В 30-х годах наша критика едва прикоснулась к Фолкнеру, и неудивительно: писателя не баловали особым вниманием и на родине. Наши первые отзывы на его произведения были неуверенны или негативны. Неловко нынче читать про «Шум и ярость»: «литература распада и гниения». Впрочем, и после войны иные авторы не обинуясь причисляли Фолкнера к «американским смертяшкиным».

Потом началось исправление одностороннего, ошибочного взгляда на Фолкнера. В 60-х годах литература о писателе росла, как снежный ком: монографии, журнальные и книжные статьи, бездна рецензий. В числе полутора ста работ сейчас встретить уже и узкоспециальные штудии типа

«Некоторые особенности синтаксиса предложений романов Уильяма Фолкнера», и такие сопоставительные работы, как «Фолкнер и Достоевский». Пик критического интереса приходится на середину 70-х годов, конечно же, в связи с публикацией переводов «Шума и ярости», «Сарториса», «Света в августе». Фолкнер входил в наше сознание одним из классиков мировой литературы. Но тогда же углубленный анализ его художественной системы стал нередко подменяться фразой, упрощавшей творческие искания писателя, а стало быть, и его реальные достижения. Отголоски этого облегченного подхода слышатся и во вступительной статье к «Указателю» (автор В. Бернацкая). Художественная мысль Фолкнера объявляется здесь «неподвластной национальной, расовой, социальной и эстетической ограниченности, в пути которой попадали литераторы менее самобытные и цельные. В этом он походил на титанов Возрождения...». Напряженнейшая, на пределе человеческих и литературных возможностей диссонансная трагедийность одного из самых сложных художников нашего столетия в такой интерпретации превращается в светлую ренессансную гармонию. Известно, что сам Фолкнер отзывался о своем труде иначе: «творимый в муках и поте человеческого духа».

Воронежский журнал «Подъем» не в первый раз обращается к наследию художника. Три с половиной года назад там был напечатан цикл повестей «Непокоренные», и тогда же рецензенты указали на несовершенство перевода. Новая публикация в «Подъеме» поначалу тоже кое-чем огорчает: «Камин и очаг» вместо принятого в научной литературе «Огонь и очаг». Режет слух «холл» в скромном домике старого негра или, скажем, «таможенные чиновники», ищущие самогонный котел. Или имена: Мак-Кэслин, Картерс, гибридное Льюкас Бошамп — впрочем, превратил же один литературовед этого героя в Луку...

Как раз его, смешного и невозмутимого, хитроватого и непроницаемого Лукаса Бичема, хотели линчевать обитатели Джефферсона за то, что он якобы убил белого. Об этом мы прочитали в романе «Осквернитель праха» (1948), а Лукас «не из тех, кого забывают». Он частица этого края, округа Йокнапатофа, его прошлого и настоящего. Он сын раба, но у того раба был белый отец, и не просто какой-то белый, а сам Карозерс Маккаслин, один из первых, кто поселился в этих местах. С неслыханным достоинством носит Лукас свою черную кожу и четверть белой крови.

«Камин и очаг» — одна из двух вещей, специально написанных Фолкнером для цикла «Сойди, Моисей», который он составил в 1942 году из своих ранее напечатанных и доработанных повестей. Замысел цикла, названного словами из негритянского духовного гимна, писатель сформулировал так: «отношения между белыми и черными здесь, у нас».

В Европе шла война, было ясно, что Штатам не избежать в ней участия. Фолкнер, очевидно, понимал, что она принесет такие перемены, которые неизбежно затронут и американский Юг. Неистовая расистская пропаганда нацистов толкала еще раз вникнуть во взаимоотношения людей с разным цветом кожи.

Шестидесятилетнему Лукасу Бичему, который, считай, полвека преспокойно возделывал землю, привалила удача: припрятав самогонный аппарат, он наткнулся на горшок с золотым долларом. Стариком завладевает навязчивая мысль найти клад.

Как это часто бывает у Фолкнера, полукомедийная-полудетективная фабула — только прием, чтобы сказать нечто гораздо большее, только форма, изложница, куда вольются происшествия иных времен, чтобы стать еще одним куском истории Йокнапатофы.

События ворошат память Лукаса и Карозерса Эдмондса, выводя на свет все, что разделяет и соединяет упрямого, себе на уме негра и этого белого, на чьей земле он живет. Однако предмет их спора не земля и не подпольное дельце Лукаса. Между ними идет молчаливое состязание на совсем иной основе, бог весть когда начавшееся и, кажется, нескончаемое. Да, у них общий предок, но Лукас всего лишь негр-арендатор, а Карозерс — почтенная личность. Так кто же из них ближе к корням и стволу, который стоял у начала всех начал? И сидя у камня за одиноким ужином, Карозерс с горечью думал о том, что именно Лукас «одновременно наследник и прототип всей географии, климата и биологии» здешних мест.

Карозерса злит, что Лукас накопил у него в лавке порядочный счет, но ему куда неприятнее сознавать, что в долгу-то он сам, а не этот хитрющий негр, ни разу даже сэрмом его не назвавший. Ведь, что ни говори, он сызмальства привык видеть в Лукасе второго отца, мужа той женщины, которая вскормила его вместе с родным ребенком и воспитала в понятиях чести и справедливости. Он рос со своим молочным братом Генри, и негритянский дом,

где всегда, даже летом, как знак негаснущей жизни горел огонь в очаге, он предпочитал наследственному.

Удивительная психологическая выразительность в этой повести достигается Фолкнером благодаря особому типу повествования. Обыкновенный рассказ от третьего лица то и дело неприметно, не замечаешь как, переливается в несобственно-прямую речь персонажа, создавая эффект его внутреннего монолога и одновременно сохраняя качества объективированной прозы. То, что в поэтике называется точкой зрения, не зафиксировано жестко, а постоянно перемещается от автора к действующему лицу, так что характер вырисовывается в итоге в нескольких ракурсах, а не просто снаружи или изнутри.

Пожалуй, самые сильные страницы повести те, где рассказано, как «однажды старое проклятие его отцов, старинная высокомерная гордость предков... идущая не от храбрости и чести, но от несправедливости и позора,— эта гордость снизошла к нему», и он оттолкнул друга, Лукасова сына¹. Потом Карозерсу стало стыдно и горько, но было уже поздно, поздно на всю жизнь.

Это смешанное чувство отталкивания и притяжения, отчужденности и нерасторжимости — неотъемлемая черта многих белых героев Фолкнера, существующих в условиях межвоенной исторической полосы. Не оно ли толкало и самого Фолкнера позднее, уже в 50-х годах, решительно поддерживать интеграцию в школах Юга, снижав ему репутацию «негропоклонника» в глазах закоренелых расистов? И столь же решительно выступать против попыток федерального правительства употребить власть, чтобы ускорить этот процесс? Постепенное, самостоятельное, без давления извне решение расовой проблемы отстаивает в пространных монологах адвокат Гэвин Стивенс в «Осквернителе праха». Возникающее искушение счесть это только за литературу подавляется «Письмом Северу» Фолкнера («Лайф», 2 апреля 1956 года), где иные абзацы чуть ли не дословно повторяют рассуждения литературного героя.

Повесть замечательна редким проникновением в сознание и совесть просвещенного, субъективно порядочного южанина. И все же негритянская проблема, прежде смещавшаяся Фолкнером, как правило, к

¹ Кое-как, скрепя сердце, можно примириться в переводе с калькой «высокомерная гордость», но вот крохотная частица — предательский предлог уж вовсе выдает скорпишь и даже некоторую глухоту переводчика: ведь очевидно, что надо бы «снизошла на него» или «низошла к нему».

самочувствию белых, к их комплексу вины, здесь, пожалуй, впервые встает как таковая, сама по себе. Истинный герой произведения — Лукас, черный и нарисованный не так, как, например, памятная Дилси в «Шуме и ярости» (безусловно высокий, но и несколько стереотипно-идеализированный образ). У той главными в характере были святость и долготерпенье, у Лукаса же — смекалка, независимость, умение стоять за себя и за то, что он считает правильным. Этот глубоко реалистический характер и вся повесть в целом — большой шаг в художественном развитии Фолкнера.

Выпуск комментированного «Собрания рассказов» — явление, значительно подвигающее вперед наше системное освоение наследия Фолкнера. Тексты и научный аппарат этого издания серьезно расширяют зону известного.

Что бы ни говорили, проза Фолкнера — нелегкое чтение, и, постигая его художественный мир, приходится преодолевать три вида сложности. Первый, естественно, языково-стилистический. Второй — это география и этнография Йокнапатофы, памятные события и легенды, люди, кочующие из книги в книгу, их родословные, их отношения. Фолкнер всю жизнь жил в этом мире и только в нем. Нам же выпадает всякий раз снова и снова, подчас по кирпичику реконструировать его. И только сделав это, приблизишься к третьему, существенному уровню: совокупности и синтезу эстетической, нравственной, социальной проблематики писателя.

«Собрание рассказов», которое является точным воспроизведением американского издания 1950 года, вряд ли нужно рассматривать как некий канон. Автор взял в книгу рассказы разных лет — от ранних, написанных в 1925—1926 годах, до помеченных 1942-м — и распределил их по шести более или менее отчетливым тематико-проблемным разделам. Отсюда возникает потребность читать «Собрание...» двояко: синхронически, как относительно цельную книгу, чего и добивался автор, и диахронически, держа в уме конкретные обстоятельства, послужившие поводом к созданию того или иного рассказа, и общее развитие Фолкнера и его йокнапатофской саги.

Любая классификация новеллистики Фолкнера условна, мало того — необязательна. Большинство его рассказов, равно как и романов, — это страницы, главы, части одного большого эпоса, который он упорно создавал несколько десятилетий, не придерживаясь какого-то определенного общего исторического или социального плана.

Иные его новеллы впоследствии разворачивались в романы, становясь более или менее органичными элементами их; бывало и так, что они отпочковывались от готового романа. Существует даже специальная англоязычная работа «Дважды рассказанные истории Уильяма Фолкнера», исследующая повторное использование писателем тех или иных характеров или эпизодов.

Пока Фолкнер не нашел свою страну, он мог сочинять малооригинальные вещи об американцах в Европе вроде «Мистралья» или «Развода в Неаполе» или уноситься воображением «по ту сторону» (так назван в сборнике заключительный раздел, объединивший ранние вещи). Но однажды наткнувшись на Йокнапатофу, открыв на карте американского Юга клочок земли «величиной с почтовую марку», свой особый, причудливый, крохотный и огромный мир, он редко покидал его и еще реже добивался успеха на стороне. Подобно мифологическому герою, он всего сильнее и самобытнее тогда, когда стоит на земле Миссисипи.

Фолкнер был и остается великим «региональным» писателем XX века; мало кому удавалось или хотелось так ощутимо и досконально изобразить свой край, физическую среду, человеческие типы, взрывчатые нравы, опасные иллюзии. «Его проза — насквозь южная, как кукурузное виски», — сказал кто-то из его исследователей. Возникнув на вполне определенной исторической, идеологической, нравственно-психологической почве, искусство Фолкнера вместе с тем многими неповторимыми сторонами вошло в искания и достижения мирового искусства XX века.

Самый глубокий этнический пласт йокнапатофской культуры поднят в разделе «Пустыня», где Фолкнер, пожалуй единственный из крупных художников современности, обращается к индейскому материалу. Краснокожие первыми населяли эти места, и они же «первый обездоленный и поработанный народ Юга», говорил писатель.

«Красные листья», центральный рассказ раздела, — это сами индейцы, хотя и образующие первичную человеческую общность, но существующие в согласии с примитивными формами жизни, с ритмами естественного бытия. Они поступают так, как требуют законы природы и племени. Если умер вождь, то с ним в землю должны уйти его конь, его собака, его черный раб.

Но, подчиняясь велению жизни, черный бежит, хотя знает, что ему никуда не уйти. Драматическое сцепление двух прав, двух давних установлений и создает конечный

художественный эффект. И все же смысл импрессионистичной метафоры, вынесенной в название рассказа, глубже, социальнее. Горчайший исторический парадокс состоит в том, что индейцев, исполняющих жестокий ритуал, тоже гонит и настигает чуждая непостижимая сила — собственность на землю и людей.

Фолкнер был современником и свидетелем двух мировых войн, и обе отразились в его произведениях, особенно первая. Из малой прозы ей отданы новеллы цикла «Утраты», явно перекликающиеся с мотивами литературы «потерянного поколения», сфокусированными в самом названии раздела, словно бы заимствованном у Томаса С. Элиота: «The Wasteland», то есть опустошенная, выжженная, бесплодная земля.

Ноющей, незаживающей раной жила в сознании и сердце Фолкнера та далекая, легендарная и мифологизированная война, поднятая Югом против Севера, война, и поражение южан в ней, и упорное нежелание примириться с этим поражением, а отсюда далекими и косвенными путями приходящее высокое гуманистическое неприятие всякого поражения человека.

Фолкнера не назовешь историческим романистом или новеллистом. Он пытался постигнуть историю сердцем. Он еще мог вскользь сказать об исторической неправоте рабовладельческого Юга, но тем настойчивее утверждал он его правоту нравственную, его мечты, его былые и мнимое величие и превосходство над мельчающим, обуржуаживающимся Севером.

И точно вроде бы: мощное послевоенное развитие капиталистических отношений на Севере позволяло его героям-южанам говорить, что у человека вынули хребет и природу испоганили, что их родина «разорена, осквернена, уничтожена» («Не погибнет»). Придерживаясь в целом «южного» взгляда на события, Фолкнер только и видел что повсеместное губительное наступление бездушного и бескультурного делячества, воплощенного им в Сноупсах, хотя историческая наука давно установила, что последовавшая за войной реконструкция Юга есть второй, и необходимый, этап буржуазно-демократической революции 1861—1877 годов в США. Замечательно, однако, как снималось это историческое заблуждение в художественной практике писателя, трансформировалось в мощный импульс правдивого искусства.

Пропасть, расколовшая нацию надвое, прошла и между теми, кто, казалось, был на одной из враждующих сторон. Белый бедняк Уош в великолепном одноименном

рассказе убивает своего кумира полковника Сатпена: тот порушил все его иллюзорные мечтания о чести и доблести, благодаря которым он только и мог сносить черную нужду и насмешки негров. Миф о южной гармонии рассыпался в прах.

Фолкнер, очевидно, придавал программное значение рассказу 1938 года «Поджигатель», если открыл им «Собрание рассказов». Здесь появляется на сцене первый Сноупс, Эб,— обозленный добытчик, перекати-поле, межеумочное существо, так и не примкнувшее во время войны ни к какому знамени. Но речь не о нем. Внимание фокусируется на его сыне-подростке, на юном «нетиичном» Сноупсе, который разрывается между верностью родовому началу, отцу, крови, что «густела невежливо где и на каких насилиях, зверствах и страстях», и его собственным пониманием порядочности и справедливости (разрывается так, «словно тебя тянут в разные стороны две упряжки»). Великий исторический раскол прошел и по человеческому сердцу.

Герои Фолкнера болезненно чутки к любым покушениям на их личную независимость, привычки и прихоти. Они до последнего отстаивают свое, не важно что, но свое — личное, кровное, почвенное, семейное, кастовое...

Рядом с гипертрофированным индивидуализмом как оборотная сторона его, как диалектическая противоположность живет глухая неприязнь к выбивающимся из ряда, к тем, кто не как все, тупое, беспощадное чувство стадности, калечащее личность. В хрестоматийном «Засушливом сентябре» не раз использованная в американской литературе ситуация — навет психически неуравновешенной белой женщины на негра — приобретает какую-то непостижимую пронзительность благодаря тонко разыгранному мотиву душевной пустоты, омертвелости. Именно в городе скопилось все удушливое, расчетливое, злобное, жестокое.

Только люди, прочно и прямо стоящие на земле, обитатели глухих деревенских углов, чудаки, предпочитающие тяжелый сельский труд легким городским деньгам, сохранили в себе традиционную независимость. Никто им не указ, им не нужны ни правительственная помощь, ни правила, ни призывные повестки. Они сами знают свой долг, он передавался из колена в колено еще с той войны. Макколлемы — «высокие люди» (так называется рассказ), в таких и видит Фолкнер этический идеал.

Сын майора Де Спейна, пилот, спикировал на японский крейсер; старик в отчаянии и гнев: их предки тоже сражались и гибли, «хотя то, за что они сражались и что утратили, было всего лишь мечтой. А у него и мечты не было. Он погиб за мираж. Защищая интересы ростовщиков, глухых и алчных политиканов, во славу и процветание организованного рабства»². И именно фермерское семейство Гриеров, фигурирующих в рассказах «Два солдата», «Не погибнет», преподает богатому и важному горожанину урок стойкости и патриотизма.

Во всех этих трех рассказах, написанных в 1941—1942 годах, прочитывается мысль о том, что потомки конфедератов и составляют теперь цвет и славу Америки, что южное дело обернулось в лихую годину делом всеамериканским.

Есть две версии истолкования индейского слова «Йокнапатофа». Согласно одной, пространенной, это «вода, текущая медленно по равнине», и оно соответствует общему строю «большой книги» Фолкнера, растекающейся на полтора без малого столетия, никуда не устремляющейся и вмещающей всю эту бескрайнюю протяженность в любой самой малой и неприметной протоке. Другая версия, предложенная Уордом Майнором, гораздо ближе к ядру фолкнеровского искусства, — «расколота земля».

Она и впрямь расколота, эта горячая, аморфная, тяжелая вселенная Фолкнера, расколота расой, и происхождением, и имущественным цензом героев, их нравами и их представлениями о себе и о других. Глубокие трещины обтекают ее сверху донизу и вокруг, образуя неожиданные, немислимые узоры, и единственное, что держит ее в некоей колеблющейся, переменчивой, трудноуловимой целостности, это ярчайшая индивидуальность художника. Художественный мир, сотворенный Фолкнером, неповторимо преломил противоречивый ход исторического времени, пропущенного сквозь «человеческое сердце, находящееся в конфликте с самим собой», — так писатель определил единственно достойный предмет литературы.

Г. ЗЛОБИН.

² Тут Фолкнер несколько упрощен и «улучшен» в переводе, что вряд ли допустимо в научном издании. В оригинале — *aggrandisement of organized labor*, то есть «организованного труда», профсоюзов.

ТАЛАНТ КРИТИКА

Б. Панкин. Строгая литература. Литературно-критические статьи и очерки. М. «Советский писатель». 1980. 288 стр.

Общепризнанно, что за последнее десятилетие значительно возросла роль литературной критики, повысился ее авторитет, появились в ней новые интересные имена. Почти каждое заметное произведение художественной литературы живо обсуждается в печати. Достаточно вспомнить, какой поток отзывов вызвал роман Ф. Абрамова «Дом» или повесть В. Распутина «Живи и помни». Литературная критика стала составной частью литературного процесса. Статьи критиков переиздаются в виде отдельных книг, сборников и не залеживаются на полках книжных магазинов.

К числу таких книг относится и сборник Б. Панкина, составленный из его литературно-критических статей и очерков. Многие статьи Б. Панкина прочно вошли в современный литературный обиход. Я имею в виду такие его работы, как «Прощание с Матёрой» (о творчестве В. Распутина), «По кругу или спираль?» (о творчестве Ю. Трифонова), «Василий Шукшин и его «чудики», «Рядом с обелиском» (о повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска») и др. В каждой из них автор сумел сказать весомое слово об очень сложных явлениях жизни и литературы.

Стиль его статей прозрачно-ясный и исполнен динамической силы. Даже небольшие эссе отмечены тонкостью наблюдений автора, оригинальностью его мысли. Собранные вместе «под одной крышей» статьи Б. Панкина свидетельствуют о том, что их автора прежде всего привлекают те произведения, которые пользуются большим вниманием читателя. Их читают в троллейбусах, вагонах метро, электрички. О них спорят. Они вызывают в читателе «души тайный трепет», воздействуя на его эмоциональную, художественную восприимчивость.

Имена писателей, к которым обращается Б. Панкин, широко популярны. Это В. Распутин, Ч. Айтматов, М. Карим, Ю. Трифонов, В. Тендряков, В. Шукшин — каждый из них, подобно чуткому барометру, отзывается на возникшую общественную потребность, схватывает характерные тенденции времени и оригинально преломляет их в своих произведениях. Все это учитывает критик.

Искусство Б. Панкина как критика заключается в том, что он не просто раскрывает в образе (или произведении) отражение того или иного общественного явления. Это умеют делать многие. Он раскры-

вает то подспудное, что в явлении скрыто, что получило выражение в творчестве художника, определило атмосферу его произведения, дало ему аромат, «душу живу». Примером может служить статья Б. Панкина о Валентине Распутине, вся пронизанная любовью к этому писателю, поднимающему в своих произведениях острее проблемы этического, экономического и философского порядка, умеющему пластично и узнаваемо лепить самые сложные образы (Мария, Настена, Дарья).

Критик говорит об эволюции Валентина Распутина и росте его мастерства. По мнению Б. Панкина, в повести «Деньги для Марии» дает себя знать очерковость. В последующих повестях В. Распутина углубляется психологизм, события, как правило, берет драматичное, протяженное во времени, «и всегда есть нечто, чего ждут, к чему неумолимо приближаются герои, и это почти физическое ощущение ожидания и составляет каждый раз и канву и содержание произведения». Раз от разу Распутин задает себе все более сложный урок. Масштаб, глубина, напряженность действия, а вместе с ними и мастерство в обрисовке характеров возрастают. Возрастает и умение писателя вскрывать глубинные истоки чувств и мыслей героев.

Анализируя повесть «Живи и помни», автор подчеркивает, что главную идейно-эстетическую роль в ней играет образ Настены, определяющей единую тональность произведения: «...если Марии остается только страдать и ждать, Настене выпало решать и действовать, и при этом любить и ненавидеть одновременно».

Б. Панкин делает тонкие наблюдения над стилем Распутина: «В повести достигает особой силы обнаруженная Распутиным еще ранее способность слушать и воспроизводить в тонком, поистине музыкальном переложении живую речь, внутренние монологи персонажей. Речь героев, как, впрочем, и авторская, литературна и народна в одно и то же время. Она несет в себе все разнообразие, богатство, весь колорит словаря и фразеологии восточносибирской деревни, но и свободна от излишеств, архаизмов и облатничества, которыми редко кто из пишущих о деревне не соблазнится».

Анализируя произведения, Б. Панкин основное внимание обращает на раскрытие сильных сторон в творчестве писателя. При этом мышление критика диалектично. Вскры-

вая сильные стороны писателя, он не забывает сказать о его пристрастиях, которые определяют иногда и внутренние противоречия произведения. Так, диалектичен и гибок анализ «Прощание с Матёрой». Распутин, по мнению Б. Панкина, поставил один из серьезнейших вопросов современности — сохранение природной среды, взглянул «на созидательную деятельность человека с особой точки — с того, так сказать, берега, с берега, которому суждено будет стать дном будущего моря». Он создал запоминающийся образ Дарьи и пронизал повествование любовью к народным истокам жизни. Однако образ нового мира в повести, в частности образ Андрея, выглядит эпизодическим, предстает в урезанном, ограниченном виде, не несет в себе в полной мере характерных примет новой правды, новой жизни. Получилось своеобразное прощание с прошлым, «элегия, высокая и светлая грусть по тому, что неизбежно уносит с собою время». А такого взгляда для выявления сложной диалектики нашей жизни явно недостаточно.

Много интересных и оригинальных суждений о творчестве Ф. Абрамова высказывает Б. Панкин в статье «В союзе со временем». По мысли критика, «Абрамов — писатель эпический. И красоту он находит там, где она живет: среди людей, которые и становятся его героями». Под этим углом зрения Б. Панкин и разбирает трилогию Абрамова «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», раскрывает движение образов, прежде всего Михаила Пряслина и его антипода Егорши, интересно характеризует Лизу, Лукашина, Подрезова. В Михаиле Пряслине он видит типического героя, в характере которого проявляется движение времени и народного сознания. Критик не согласен с теми, кто прилагает к Пряслину мерку идеального героя: Михаил Пряслин весь от жизни. Эту свою точку зрения Б. Панкин отстаивает горячо: «Как угодно можно относиться к противоречиям его характера, с одним бесмысленно спорить — они в образе Михайла не от литературы, от жизни. Больше того — через них-то и выявляется цельность характера, составляющая самую суть натуры парня».

Критик находит яркие краски, характеризующие цельность образа Михайла, точные слова, передающие неповторимость этого характера: «Жажда справедливости всегда и во всем! Это она, таропыга, толкает его то на полное самоотречение, то на очевидную жестокость. Словно янтарный сляток, маячит справедливость перед его глазами».

Жажда справедливости и есть доминанта, определяющая путь Михайла. Она придает всем его действиям и поступкам определенную тональность, ею обусловлено то, что ценят в нем люди.

Интересна у Б. Панкина характеристика Подрезова. Критик показывает, как в этом образе отразились противоречия эпохи, определившие сильные и слабые стороны незаурядного подрезовского характера. Он рассматривает образ Подрезова в эволюции, в связи с изменяющимися обстоятельствами.

В первых двух романах Подрезов по преимуществу показан в действии. Он как бы олицетворяет идею государственной необходимости, связывает Пекашино с Большой землей, где полыхают невиданные сражения. «Рукой его, — пишет Б. Панкин, — водит сам долг, и его повеления, как бы они ни были тяжелы, должны выполняться беспрекословно», как беспрекословно, добавим мы от себя, и он. Подрезов, выполняет повеление времени, выполняет долг перед родиной и историей.

В романе «Пути-перепутья» характеристика Подрезова углубляется, вскрываются истоки его внутренних противоречий. «Здесь, пусть и ненадолго, он в отрешении от минутных забот. Он размышляет здесь, рефлерирует», — сказано у Б. Панкина. Подрезов вовлечен в новые противоречия. И невольно осознает, что часовая стрелка ушла вперед, что он незаметно отстал от времени, работает не так, как нужно. В кристальной чистоте перед собой и перед историей необыкновенная сила Подрезова как характера, вбирающего в себя типические черты эпохи.

Критик верно заключает: «Подрезов — характер исторический. Героический и драматический одновременно. Он вместе с другими творил эпоху, служил времени, которое в конце концов и обогнало его. Не сразу, не без муки, но он нашел в себе силы понять это. Писатель поведал об этом с мужеством и доброй пронзительностью, которые много скажут людям разных поколений».

Особо следует назвать статью Б. Панкина о творчестве Ю. Трифонова «По круту или по спирали?». Критик сумел раскрыть особенности повестей писателя, показать, что в них имеется серьезная философская мысль, объединяющая всю пеструю картину жизни героев. Юрий Трифонов воюет своими способами с бездуховностью полунинтеллигентной среды, которая увязла в быте и не может подняться над ним, мерить свою жизнь той высокой мерой, кото-

рой пользовалось поколение людей, совершивших революцию.

Критик мастерски вскрывает саму манеру письма Ю. Трифонова, точно характеризует особенности его стиля: «Каждая из повестей Трифонова совершенно самостоятельна. Взятые вместе, они производят эффект, в чем-то сходный с тем, что возникает при созерцании полотен кубистов. Как бы в нетерпении открыть зрителю все грани изображаемого художник выстраивает их в одной плоскости... Условность как средство реалистичнее, полнее изобразить натуру. У Трифонова в результате этой повторяемости — персонажей, настроений, ситуаций — каждый психологический, социальный тип одновременно виден как бы в нескольких временных и пространственных измерениях — и сегодня, и вчера, и завтра; и в профиле, и анфас, и крупным планом, и в качестве фона... Образы возникают и исчезают, приближаются и уходят. Один наплывает на другой... И кажется порой, что это не образы книги, а поток собственных твоих мыслей, ощущений, воспоминаний уносит тебя вдаль...»

Б. Панкин не обходит стороной внутренних противоречий трифоновской прозы. Но говорит о них тактично, как бы переселяясь вместе с читателем в неповторимую атмосферу каждой повести, показывая ее сильные и слабые стороны. Частичное при этом

не заслоняет главного. Критик утверждает, что творчество писателя развивается по спирали, все шире включая в себя многообразную картину жизни, все энергичнее утверждая наши социальные и нравственные идеалы.

О литературе Б. Панкин говорит как о виде искусства, раскрывая в анализируемом произведении то, что рождено жизнью и благодаря таланту писателя, его особому дару обрело особую художественную жизнь. В лучших своих статьях Б. Панкин учитывает, как сложно то явление жизни, к которому обращается художник и превращает его в факт искусства, и как им сложным в таких случаях оказывается само произведение писателя. Критик учитывает эволюцию творчества писателя, особенности его стиля, раскрывает противоречия, отразившиеся в его творчестве.

Сборник статей Б. Панкина содержит интересные наблюдения автора, дающие богатый материал для понимания характерных явлений в нашей современной литературе. Из наблюдений критика логически следует вывод о стилевом, эстетическом богатстве нашей прозы, о бурном развитии в период зрелого социализма самобытных творческих индивидуальностей. Читатели с интересом и с пользой прочитают сборник статей Бориса Панкина.

Василий НОВИКОВ.



Политика и наука

ЕВРОПА ПОД ЗНАКОМ РАЗРЯДКИ

Ю. Б. Кашлев. Разрядна в Европе. От Хельсинки к Мадриду. М. Политиздат. 1980. 142 стр.

Истина всегда конкретна и лучше всего познается в сравнении. Чтобы представить, что означают мир и разрядка для Европы, сопоставим такие цифры: за последние пять с половиной тысяч лет лишь 294 года были на Земле мирными. Европа никогда за всю свою историю не жила так долго в условиях мира, как сегодня. И наше поколение, пользуясь уже более трех десятилетий условиями мира, не должно забывать: за период после 1945 года на других континентах на территории примерно 70 стран возникало около 120 войн и вооруженных конфликтов.

Из континента, на котором родились две мировые войны, самые кровопролитные в истории человечества, Европа превратилась в регион наибольшей стабильности, наибо-

лее высокого уровня сотрудничества и доверия, несмотря на все попытки агрессивных сил сорвать или замедлить процесс взаимопонимания между Востоком и Западом. Все это реальные плоды разрядки, ощутимые во всем мире. Но нигде феномен разрядки не проявился столь рельефно, как на европейском континенте.

Чем объяснить, что разрядка получила прежде всего европейскую прописку? Каковы пути становления разрядки, ее завоевания и перспективы? На эти вопросы отвечает книга известного международного Ю. Кашлева, который не со стороны, а глубоко изнутри знает эту проблему, принимал непосредственное участие в работе Общеευропейского совещания и Белградской встречи. Подзаголовок «От Хельсинки

к Мадриду» не только уточняет временные рамки исследования, но и делает книгу особенно актуальной. Международная, и в первую очередь европейская, общественность отмечает 1 августа этого года пятилетний юбилей завершения в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то же время 35 государств — участников Общеввропейского совещания готовятся к своей очередной встрече в ноябре этого года в Мадриде, которая может и должна сыграть важную роль в укреплении разрядки, в упрочении безопасности и сотрудничества в Европе.

Одно из достоинств данной книги в том, что автор на основе анализа международной политики в послевоенные годы убедительно показывает объективную закономерность разрядки, не имеющей разумной альтернативы в наш ядерный век. Перелом в пользу разрядки, как показывает автор, начался во второй половине 60-х годов на европейском континенте. Именно здесь, в Европе, новое соотношение сил между двумя общественными системами позволило Советскому Союзу и другим социалистическим странам перейти в широкое наступление в борьбе за разрядку. Именно здесь, в Европе, наблюдалась наибольшая заинтересованность государств в экономическом и культурном сотрудничестве, сохранялась наибольшая историческая близость народов, развертывалось самое активное движение за мир.

В числе важнейших вех на пути к разрядке явились советско-французские встречи на высшем уровне, приведшие к углублению двустороннего сотрудничества; Московский договор от 12 августа 1970 года, открывший новую главу в советско-западногерманских отношениях; советско-американские договоренности 1972—1974 годов, переговоры и соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений.

И, конечно, кульминационным пунктом процесса разрядки в середине 70-х годов стало успешное завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потребовалось почти десять лет последовательных конструктивных усилий Советского Союза и других стран Варшавского Договора, реализм и политическая воля трезво мыслящих государственных деятелей западных стран, чтобы состоялось и успешно завершилось Общеввропейское совещание. Тот факт, что впервые после войны вся Европа — Восток и Запад — вместе с США и Канадой собрались за одним столом и после подробного обсуждения на

основе учета мнений и интересов всех и при общем согласии выработали кодекс правил международного общения — Заключительный акт, — сам этот факт оказал и продолжает оказывать благотворное воздействие на международный климат в Европе и за ее пределами. Общеввропейское совещание и выработанные им хельсинкские принципы явились цементирующим началом политики разрядки.

Один из главных уроков развития Европы после Хельсинки в том, что политика разрядки доказала свою плодотворность и взаимовыгодность во всех областях. Линия на материализацию разрядки, провозглашенная Л. И. Брежневым, полностью оправдала себя за прошедшие годы. В политике это выразилось в повышении качества межгосударственных связей, в заключении двусторонних политических договоров и соглашений, в создании системы регулярных встреч и консультаций на разных уровнях.

В торгово-экономической области преимущества политики разрядки сказались, пожалуй, особенно быстро и заметно. За последние пять лет объем торговли между социалистическими и капиталистическими странами вырос в несколько раз и достиг 60 миллиардов долларов в год. Для сравнения небезынтересно указать, что в 1965 году, перед началом разрядки, эта цифра составляла 8,3 миллиарда долларов. Торгово-экономические связи СССР с западноевропейскими странами изменились не только количественно, но и качественно. Они приобрели долгосрочный и крупномасштабный характер.

В соответствии с договоренностями в Хельсинки и Белградской встречей в 1979 году состоялись совещания экспертов в Валлетте (Мальта) по сотрудничеству в районе Средиземноморья и Общеввропейское совещание по охране окружающей среды в Женеве; в этом году в Гамбурге состоялся Научный форум.

Политика разрядки создает благоприятную атмосферу и для развития культурных связей между народами, содействует обмену духовными ценностями. И в этом плане вряд ли какая-либо страна в мире может сравниться с Советским Союзом по размаху международных культурных связей. По данным ЮНЕСКО, Советский Союз занимает первое место в мире по изданию иностранной литературы. Объем внешних культурных связей СССР за последнее десятилетие вырос вдвое. Знаменитый французский ученый Поль Ланжевен говорил, что с точки зрения духовной культуры Европа без России перестает быть Европой.

За период после Хельсинки в ряд межправительственных соглашений, заключенных Советским Союзом с зарубежными странами, включены специальные пункты о поощрении взаимного издания книг. Если в 1975 году у нас было переведено примерно 80 миллионов экземпляров книг иностранных авторов, то в 1978 году уже около 120 миллионов экземпляров. По инициативе Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество у нас выпущено уникальное издание — трехтомник «Поэзия Европы». В нем помещены на языке оригинала и в переводе стихи и поэмы около 500 европейских поэтов, в том числе советских (стихи советских поэтов даны также в переводе на некоторые европейские языки). Завершен выпуск другого уникального издания — «Библиотеки всемирной литературы». 137 томов этой серии посвящены произведениям зарубежных писателей.

На основе многочисленных конкретных данных автор убедительно доказывает, что Советский Союз последовательно и настойчиво выполняет все договоренности заключительного акта.

Успехи разрядки могли бы быть еще более весомыми во всех областях, если бы не маневры ее противников. Контрнаступление наиболее воинственных сил империализма на политику разрядки было развернуто по заранее обдуманному сценарию. Сюда следует отнести и усиление идеологической агрессивности США под дымовой завесой мифа о «советской угрозе», и попытки вмешательства во внутренние дела социалистических стран под фальшивым лозунгом «защиты прав человека», и стремление использовать афганские события как предлог для провозглашения эмбарго, бойкота Олимпиады и нагнетания милитаристского психоза. Причина обострения международной обстановки — в изменении курса Вашингтона, отказавшегося ради достиже-

ния военного превосходства от принципов равенства, на которых зиждется разрядка. Это находит свое выражение в провозглашении долгосрочной программы НАТО, в принятии сессией Атлантического блока в декабре 1979 года решения о производстве и размещении новых американских ракет в Западной Европе, в расширении военного присутствия США в различных регионах мира.

Вызванное американским империализмом обострение международной обстановки сказывается, конечно, и в Европе. Однако в целом ситуация на европейском континенте более стабильна, чем в других регионах мира. Европейские народы на своем опыте убедились в благотворности сотрудничества и выступают за сохранение совместно нажитого капитала разрядки.

Что касается Советского Союза и других государств — участников Варшавского Договора, то на заседании Политического консультативного комитета в Варшаве в мае этого года они вновь подтвердили свою решимость продолжить дело разрядки и вести переговоры по сдерживанию гонки вооружений. Они предложили провести встречу на самом высоком уровне руководителей государств всех районов мира для устранения очагов международной напряженности и недопущения войны.

Пройдя через испытания двух мировых войн, понеся самые ужасные разрушения и потери, европейцы как никто пострадали мир. Развивая свое сотрудничество под знаком разрядки, они реальнее других ощутили ее плоды. В этом залог нашей уверенности в том, что тенденция к разрядке останется ведущей тенденцией как в Европе, так и в целом в отношениях между Востоком и Западом, несмотря на все происки сторонников «холодной войны».

Владимир ЛОМЕЙКО.



НА ПУТИ К ПОЗНАНИЮ «Я»

И. С. Ко н. Открытие «я». («Над чем работают, о чем спорят философы») М. Политиздат. 1978. 367 стр.

Каждый человек формирует и в той или иной мере познает собственное «я». Этот исключительно сложный, трудно постигаемый процесс коренится в глубинах действия и самосознания конкретных людей и вместе с тем воспроизводится и осмысливается всей мировой культурой. Процесс открытия «я» можно исследовать на трех различных, но тесно взаимосвязанных уровнях:

первый — становление отдельной личности и развитие ее самосознания;

второй — историческое движение мировой культуры к постепенному постижению, открытию «я»;

третий — научное познание, специально исследующее проблему «я».

Эти уровни самосознания человека и человечества — личностный, культурно-историче-

ский, научно-теоретический — и составляют предмет книги И. Кона. В ней как бы спрессован, тщательно отобран и ясно, доступно изложен обширный материал, относящийся к философии, но в еще большей мере к социологии, социальной психологии.

Автор не случайно начинает с характеристики вопроса о «я» как научной проблемы: ведь лучше всего оценить действительный смысл культурно-исторических рефлексий человечества и наиболее глубоко постигнуть внутренний мир самосознания личности можно в том случае, если опираться на традиции и опыт теоретического, научного исследования человеческого «я». Нужно сразу же отметить, что при всей популярности в добром смысле этого слова и свежести, живости освещения проблемы «я» книга И. Кона требует от читателя определенного навыка работы над научной литературой. К счастью, теоретически грамотный, вдумчивый, интересующийся проблемами гуманитарного знания читатель стал в наши дни действительно широким, о чем свидетельствует факт: лучшие книги по философии и социологии, даже те, что выходят большими тиражами (например, тираж книги И. Кона 100 тысяч экземпляров), расходятся в считанные дни. Такой читатель вполне подготовлен к восприятию всей напряженности научного поиска. А здесь он особенно труден. По признанию многих психологов и философов, ряд важнейших сторон и аспектов человеческого «я» еще как бы ускользает от научно-теоретического анализа. Кроме того, дифференциация исследований по проблеме «я» — неизбежная предпосылка прогресса научного знания — в последнее время делает явственно ощутимыми негативные последствия междисциплинарной разобщенности специалистов, занимающихся данной проблемой.

Работа И. Кона представляет собой интересную и во многом удавшуюся попытку выявить общую логику наук, изучающих человеческое «я», и рассмотреть их «соизмеримые» и обогащающие друг друга результаты. Особое внимание при этом уделено синтезу социологического, социально-психологического и психологического знания. Вместе с тем постоянно присутствует и становится методологической основой работы философское измерение. Ведь самая древняя из теоретических форм, исследующих становление и смысл человеческого «я», — форма философская. Начиная с античности проблема самосознания прочно входит в предметное поле философии. Правда, в сравнительно небольшой по объему книге И. Кон смог уделить истории философского познания проблемы «я» всего лишь не-

сколько страниц, о чем приходится сожалеть¹.

Но я вовсе не хочу ставить в вину автору то, что он так мало задержался на историко-философском материале. Ибо основное его внимание сосредоточено на более современном исследовательском материале, полученном в психологии, социальной психологии, социологии. Забегая вперед скажу, что благодаря критической оценке полученных здесь результатов автор снова и снова подводит читателя к мысли о необходимости их интерпретаций в свете социально-философских размышлений. Особое внимание автора к психологии «я» оправдано интенсивным развитием исследований в этой области. В 1940—1970 годах в мире было опубликовано свыше двух тысяч психологических работ, посвященных проблеме «я», причем число их продолжает расти. Книга И. Кона хорошо раскрывает не только внутринаучное, но и жизненно-практическое значение психологического исследования.

Понятием «образ я» в современной психологии обозначаются представления индивида о самом себе. Иными словами, речь идет о самосознании человека. Рассмотрение этой проблемы И. Кон открывает эпиграфом из стихотворения А. Вознесенского:

Я — семья,
во мне как в спектре живут семь «Я»,
невыносимых, как семь зверей...

И в самом деле, перед исследователем таинственный мир, в глубинах которого разворачивается сложный, порой драматический поиск собственного «я» и не менее напряженное открытие его для самого себя. Психологическая наука, изучая человеческое самосознание, уже накопила немало интересных исследовательских результатов. Например, говоря о самооценке личности, теоретически и

¹ Скорее всего из-за сугубой краткости автор прибег к схеме, несколько упрощающей действительную картину развития европейской «философии самосознания» XVII—XIX веков. На одной-двух страницах рассказать о концепции Декарта — дело почти безнадежное. Согласно Декарту сущность «я» состоит в мышлении. Это верно отмечено в книге И. Кона, однако в дальнейшем Декартову рационализму как-то однолинейно противопоставляется эмпиризм Локка. Необходимо учесть, что понятие мышления у Декарта предельно широкое («мыслящая вещь» та, которая сомневается, утверждает и отрицает, желает, чувствует). Свойство мышления, то есть саму суть «я», Декарт отождествляет с широко понятой способностью человека к сознанию и самосознанию. И это ломает упрощенное представление о «полярности» рационализма и эмпиризма нового времени.

практически важно выяснить, какова мера объективности представлений людей об их собственных качествах и возможностях. Можно ли полагаться на то, что человек думает и сообщает о самом себе? (Разумеется, ответ варьируется в зависимости от того, чье самосознание изучается.) Представляет интерес вывод, к которому, опираясь на ряд экспериментальных психологических исследований, приходит И. Кон: «Самооценки и основанные на них прогнозы зачастую не уступают по надежности специальным психологическим тестам и в определенных случаях могут служить источником информации о человеке».

При изучении целостного «образа я» И. Кон обобщает опыт отечественной и зарубежной психологии, социальной психологии, вводя и разъясняя по большей части ясно и последовательно сложные понятийные системы, при помощи которых ученые раскрывают различные взаимосвязанные пласты и компоненты этого образа. Читатель узнает о том, как в «образе я» переплетены познавательные и эмоционально-аффективные элементы, как сегодняшний опыт саморефлексии личности связан с ее представлениями, ожиданиями, идеалами, касающимися будущего. «Саморегуляция или самообман?» — так называется глава, повествующая о драматичности, напряженности, а порой и о глубокой болезненности процессов самосознания. Автор оперирует многообразным и весьма интересным экспериментальным материалом, характеризующим способы «психологической защиты» личности. Возможно, автору следовало бы подойти к напряженным психологическим состояниям личности и с другой стороны. Ведь нередко через страдания, даже отчаяние человек идет не к болезни, а к обновлению и обогащению личности — художественная литература умеет как бы высвечивать такие переломные для личности ситуации. Они чрезвычайно интересны и для науки.

Первый раздел книги обобщает научный материал, показывающий, как наука стремится вторгнуться в глубины самосознания отдельной личности и постигнуть их. Сейчас уже вряд ли покажется парадоксом, что ученые при этом постоянно обязаны выходить за рамки чисто индивидуального мира и изучать его связь с социальным целым. Второй раздел — «„Я“ как культурно-исторический феномен» — рассказывает именно о том, как видится проблема «со стороны» социального целого, представленного в историческом процессе его развития.

«Человеческое «я» — явление не только психологическое, но и социально-культурное и, следовательно, историческое», — пишет И. Кон. Каждой культуре свойственны особые спосо-

бы выделения человека из социального целого, его индивидуализации. Соответственно, варьируются и представления о человеке, характерные для той или иной культуры. Во втором разделе книги перед нами увлекательный, остропроблемный материал исторической психологии, истории культуры в частности, истории литературы, интересно и оригинально сгруппированный вокруг социально-исторического ракурса проблемы «я». Автор прослеживает появление и постепенное развитие в античной культуре особой тенденции — внимания к человеческой душе, к самосознанию, к индивидуализации действий, чувств, мыслей человеческой личности. Изучая отношение древнего грека к чувствам стыда, страха, вины, к совести и ответственности, к идеалу дружбы, И. Кон опирается на философские и литературные источники, на работы современных исследователей. Здесь, как и во всей книге, широко используется лингвистический анализ. Так, прослеживается «эволюция психологического словаря». Например, у Гомера понятие «психе» (душа) еще не имеет психологического смысла (это дыхание, символ жизни). Раньше всего нарастающий интерес античного человека к самопознанию улавливает литература, особенно поэзия. «Напряженность чувств, — пишет И. Кон, — будь то любовный экстаз или ненависть к врагу, позволяет поэту выразить свою индивидуальность раньше и сильнее, чем это сделает философ». Но нет никакого антагонизма между философией и литературой: удивление поэта глубиной и напряженностью собственных чувств и мыслей пробуждает философа в более общем виде зафиксировать неизбежность и настоятельность самопознания.

Переход к новой исторической эпохе, становление феодальных отношений и соответствующих им духовных форм приносит с собой изменяющиеся культурно-исторические способы саморефлексии людей. И. Кон показывает, как специфический для европейского средневековья тип самосознания формировался под воздействием христианской религии, воплощенных в ней образа, идеала человека, а также нормативных принципов отношения человека к религии и церкви, к обществу, к другим людям. В отличие от античного «культу жеста, спокойствия, красоты» христианское сознание ориентировано религией на напряженность внутреннего мира; культивируются острота, даже взвинченность чувств и переживаний — высокими ценностями становятся экстаз, откровение, страдания. На ранних этапах развития христианства, по выражению С. Аверинцева, буквально господствует «психологический комплекс избранничества». Однако в дальнейшем по мере эволюции фео-

дальнего общества он заменяется системой рутинизированных, формализованных и догматизированных мыслей и чувств.

И. Кон раскрывает характерное внутреннее противоречие в жизни феодального общества и в его идеологии. С одной стороны, христианская религия апеллировала к индивидуальности человека. «Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя» — этот принцип Августина подхватывает монашеская культура XI—XII веков. С другой стороны, христианство, составляя важнейший структурный элемент феодализма, прочно прикрепляло человека к жестко регламентированным иерархическим социальным зависимостям (от короля и суверена, от церкви, от общины), нивелирующим индивидуальность. Действовали многие социальные механизмы, затруднявшие процесс «открытия «я»».

В противоположность средневековой культуре Возрождения и нового времени выдвигает на первый план именно моральную и социальную ценность «я». Человек становится предметом пристального внимания всей культуры зарождающегося буржуазного общества. Гуманистическая мысль ставит человека в центр вселенной, говорит о неограниченных возможностях развития человеческой личности. В эпоху Возрождения необычайно ускоряется исторический процесс «открытия «я»», что выражается прежде всего в пересмотре отношения человека к реальной истории, к жизни и смерти, к своим внутренним возможностям, к процессу самоопределения. Автор интересно показывает, например, сколь изменяется по сравнению со средневековьем оценка таких состояний человека, как отчаяние, одиночество, тоска, печаль, скука, — эти и подобные чувства осуждались средневековой идеологией, объявлялись сугубо порочными или болезненными. В XVII—XVIII веках они уже считаются нормальными, неизбежными, а порой особенно «модными» состояниями человека, став источником вдохновения, восхваления для многих произведений литературы и искусства.

Вторая часть книги завершается исследованием непримиримости индивидуализма и марксистского гуманизма. Рассматривая неустранимое при капитализме разобщение «я» и общества, автор приводит множество примеров из произведений литературы (он ссылается на образы М. Горького, Г. Гессе, А. Моравиа, Кобо Абэ). Отчуждение личности от общества в условиях современного капитализма стало столь явным, что его почти невозможно игнорировать. Сегодня центр

идейной борьбы — не в признании самого факта отчужденности, а в глубоком понимании его источников и способов преодоления. Утверждение индивидуальности в марксистском понимании включает, как показывает И. Кон, ряд взаимосвязанных элементов — преодоление индивидуализма, положительное определение свободы, зрелость классового самосознания, ориентацию человека на изменение общества, коллективистскую ориентацию, развитие творческих возможностей личности.

В заключительном, третьем разделе книги процесс «открытия «я»» рассматривается в контексте жизнедеятельности, практики формирования человеческой личности, но и здесь, конечно, через призму актуального опыта науки. Исследовательские результаты детской психологии, педагогики позволили автору конкретно рассмотреть ступенчатый и многосторонний процесс формирования «образа я» в сознании ребенка. Особый интерес представляет раздел «„Я“ в своем представлении», где исследуется становление самосознания в подростковом и юношеском возрасте — проблема, практическое значение которой вполне очевидно. «Обретая способность погружаться в себя, в свои переживания, юное существо открывает целый мир новых эмоций, красоту природы, звуки музыки, новые краски... — пишет автор. — «Открытие» своего внутреннего мира — очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний». Как именно в сознании молодых людей создается «образ я»? Как формируется «моральное я» человека? Эти и другие вопросы автор рассматривает конкретно и без назидательности, предупреждая о сложности, напряженности, хрупкости внутреннего мира формирующейся личности. И. Кон, в последнее десятилетие много занимавшийся социологическими, социально-психологическими проблемами юношества, дает ряд практически и теоретически важных рекомендаций, касающихся этого трудного возраста.

В книге также раскрыта огромная роль, которую в процессе становления «я» играют искусство и литература. И здесь снова читатель убеждается в необходимости и значимости синтеза науки, философии, литературы, искусства для понимания судеб мировой культуры и реального жизненного процесса самосознания личности. В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что в таком синтезе оригинальность и ценность книги И. Кона.

Ю. ЗАМОШКИН,
доктор философских наук.



«ОТЕЦ ИСТОРИИ» О СКИФАХ И ДРЕВНИХ СЛАВЯНАХ

Б. А. Рыбаков. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М. «Наука». 1979. 247 стр.

Какое-нибудь столетие назад русские ученые, бравшиеся за описание истории своей страны, начинали ее в лучшем случае со времен Геродота и других греческих и римских писателей последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры. Древние авторы упоминают названия народов, обитавших в Причерноморье и Северном Приднепровье еще в I тысячелетии до нашей эры. Их рассказы о скифах и сарматах, аланах и бастарнах возводили своей загадочностью весь тогдашний античный мир. Но, горько сетовал в начале XX века выдающийся историк В. Ключевский, «присутствия славян среди этих древних народов незаметно. И сами эти народы остаются этнографическими загадками». Конечно, с тех пор, когда Ключевский писал своей «Курс русской истории», историческая наука сильно шагнула вперед. И сегодня мы знаем о начальных этапах отечественной истории неизмеримо больше, чем тогда.

Историки, вооруженные лопатой, как иногда называют археологов, широко раздвинули горизонт исторического обозрения. Эпоха великих археологических открытий, в течение двух последних столетий шествующая по земному шару, вывела из небытия великие цивилизации древности, исчезнувшие с лица Земли народы и культуры. Ожили гомеровские описания подвигов Ахилла у стен Трои. Весь мир был взбудоражен известиями о находках в долине царей у Луксора и Карнака в Египте и в джунглях Центральной Америки — удивительные по красоте и совершенству изделия из гробницы Тутанхамона и циклопические сооружения древних майя говорили о величии ушедших в прошлое народов, их высокой культуре. Древние цивилизации Греции и Рима, Вавилона и Ассирии, Египта и Палестины, Индии и Китая, инков, ацтеков и майя ныне стали достоянием всего человечества и заставили по-новому взглянуть на мифы, легенды и сказания древней Греции и других стран и народов.

Нелегкий труд историков, археологов в поисках следов исчезнувших цивилизаций овеян романтикой открытия ранее неведомого. В Советском Союзе из года в год в разные концы страны отправляются десятки экспедиций археологов. Объем раскопок, осуществленных учеными, особенно в последнее время, огромен, а знания, которые получены о наших отдаленных предках, поразительны. Только археологический мате-

риал, извлеченный из «подземных архивов», а также данные геологии и палеонтологии, антропологии и этнографии позволяют судить о «дописьменном», или, как иногда ошибочно говорят, доисторическом, периоде существования древнего человека. Известия же письменных источников появляются довольно поздно, всего несколько тысячелетий назад, в то время как продолжительность существования человека на современной территории СССР исчисляется сотнями тысяч лет.

Открытия археологов подтверждают, во многом дополняют известия древних авторов. Один из таких случаев в науке — знаменитая «История» Геродота в той ее части, которая касается народов, живших в южной и средней части великой Восточнославянской равнины. Анализ четвертой книги Геродотова труда, названной именем одной из муз (Мельпомены), и посвящена новая книга крупнейшего советского историка Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии академика Б. Рыбакова. Геродотоведение сейчас составляет целую библиотеку книг, статей и других исследований. Труд Б. Рыбакова займет в ней свое, особое место; свойственные ученому талант исследователя, тонкое чутье историковеда, дар стилиста и воображение художника проявились в нем ярко и выразительно.

Уже античные писатели, например Цицерон, чттили Геродота как отца истории, а впоследствии с ним сравнивали других известнейших составителей подобных сочинений (так, Мовсеса Хоренаци, написавшего в V веке историю своей страны, называли армянским Геродотом). Выдающийся историк и географ своего времени, Геродот был вооружен прекрасным знанием трудов предшественников, около десятилетия (приблизительно в 455—445 годах до н. э.) он посвятил путешествиям — объездил страны, расположенные по Эгейскому морю, побывал в Персии и Египте, Италии и Македонии, Фракии и Скифии. Помимо письменных источников, он собрал немало легенд и сказаний, описал собственные впечатления и наблюдения, записал много рассказов своих современников, следуя при этом правилу: «Я обязан сообщать все, что мне говорят, но верить всему не обязан».

Как известно, персидский царь Дарий I Гистасп после покорения Вавилона в 512 году до н. э. предпринял поход против скифов.

Семисоттысячное войско Дария три месяца шло от Сус на запад по Малой Азии до Босфора. Здесь по мосту, построенному греком Мандроклом, оно переправилось из Азии в Европу. Пройдя Фракию и форсировав Дунай, Дарий повернул на восток — это уже была земля скифов. Скифы и их союзники, не давая врагу желанного генерального сражения, отступали, заманивая его в обширные степи, применяя тактику, которую впоследствии назвали партизанской. Она имела полный успех — Дарий дошел до северного берега Азовского моря, но, не добившись победы, бесславно вернулся к Дунаю, а оттуда на родину.

После скифского похода Дария начались греко-персидские войны, в итоге также закончившиеся поражением персов. Победа эта вызвала необычайный национальный подъем в Элладе. Знаменитый Перикл проводил демократические реформы. В театре ставились трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Расцветает гений скульптора Фидия. Афинские архитекторы в 447 году до н. э. закладывают Парфенон. В том же году Геродот, прибыв в Афины, приступает к публичным чтениям по истории недавно закончившихся греко-персидских войн. Его «История» и посвящена описанию греко-персидских войн или событий, предшествовавших им и так или иначе связанных с ними. В его труде много отступлений, экскурсов на «посторонние темы», но главное внимание он уделяет описанию цивилизаций Востока и Запада, втянутых в орбиту борьбы между Персией и ее соседями близкими и дальними, между Грецией и Персией.

Скифский поход Дария для Геродота, по замечанию Б. Рыбакова, «интродукция к греко-персидским войнам». Шестьдесят — семьдесят лет спустя после похода Геродот предпринял путешествие по следам Дария, чтобы самому познакомиться с местами событий и «познакомить своих читателей со злоключениями царя, побеждавшего греков». Помимо его мировой, общечеловеческой ценности, важность труда Геродота для нас состоит в том, что, рассказывая о маршруте движения Дария, его военных действий против скифов, он попутно описывает Скифию, то есть Причерноморье, и ее обитателей — скифов и их соседей. Это территория современных Украины и отчасти Белоруссии и России.

Б. Рыбаков опирается на богатейшую археологическую литературу, особенно новейшую, посвященную анализу культур народов и племен, живших на этой территории во времена Геродота, до и после него. Данные археологических исследований автор

умело привязывает к известиям Геродота. То же пытались делать многие авторы и до Б. Рыбакова. Но разногласия между ними до сих пор нередко царил невообразимая. Например, будинов, о которых сообщает Геродот, ученые помещали в Среднем Приднепровье (и правый и левый берега) и в Белоруссии, на берегах Балтики и в районе Ильменя, в Саратове и в архангельской тундре... Столь же огромное количество толкований и попросту вымыслов существует по поводу темных, неясных мест у Геродота.

«Прежде чем упрекнуть Геродота, постарайся понять его» — под таким девизом автор рецензируемой книги заново пересматривает «всю географическую часть четвертой книги Геродота». Он основывается на внимательном, скрупулезном прочтении текста древнего историка, сопоставлении его с массовым археологическим материалом, точном учете географических указаний, ориентиров, расстояний между ними: это метод комплексного исследования всех данных Геродота, будь то значительные или незначительные, ясные или «темные», сомнительные сведения. Выясняется, что в одних случаях отец истории описывает то, что сам видел и измерил (например, расстояния в днях пути — конного хода или плавания на корабле), в других — по рассказам очевидцев, с которыми сам беседовал, в-третьих — по слухам, разговорам, легендам, в-четвертых — по выпискам из трудов предшественников.

Ведущие ориентиры для Геродота в Скифии — «очень большие многочисленные реки», главные из них — Истр (Дунай), Тира (Днестр), Гипанис (Южный Буг), Борисфен (Днепр), Танаис (Дон). Расстояния между ними он исчисляет в днях пути и стадиях. Считается, что Геродот скорее всего применял аттическую стадию, равную 177,6 метра. Пример вычислений: за день, по Геродоту, покрывается расстояние в 20 стадий, то есть примерно 35,5 километра конного пути. Езда от Дуная к Днепру вдоль морского берега (в 30—40 километрах от моря, поскольку езде поблизости от него мешают многочисленные лиманы) занимала 10 дней пути, то есть 350 километров, что соответствует действительности. То же и в других случаях. Один день плавания равен примерно 36 километрам. Исходя из этих точных данных, Б. Рыбаков убедительно объясняет многие географические наименования, приурочивает их к современным названиям, причем подчас довольно неожиданно и остроумно. Например, протяженность Гипаниса (Южного Буга), оказывается, в те времена

понимали иначе, чем сейчас: течение реки составляли нынешний левый приток Южного Буга Синюха, вытекающая одним из своих притоков (Горный Тикич) из нескольких озер, и нижний отрезок течения современного Южного Буга (то же с Доном, именем которого в древности вплоть до «Слова о полку Игореве», называли Северский Донец и нижнее течение современного Дона — от впадения в него Северского Донца до впадения Дона в Азовское море). Также Б. Рыбаков достаточно убедительно отождествляет загадочную Пантикапу Геродота с Ворсклой, левым притоком Днепра.

Следуя по маршруту движения войск Дария, Геродот проехал от Дуная (Истра) до Ольвии близ устья Южного Буга, побывав в ее окрестностях, плывал вверх по Бугу, по Черному морю вдоль берегов Крыма, затем по Азовскому морю до остатков персидского лагеря. Возвращался он на корабле вдоль кавказского и малоазиатского берегов Понта Эвксинского, как древние греки именовали Черное море.

Всюду античный историк собрал большое число рассказов, легенд, преданий о народах и племенах, там обитавших, их происхождении, взаимоотношениях между собой. Геродот подробно описывает плодородную и богатую землю царских скифов на нижнем Днестре, скифов-кочевников к востоку от них, алазонов к западу, владения всех их соседей по побережью Черного моря — эллинов и народов скифских по происхождению, но воспринявших элементы эллинской (каллипиды), фракийской (агафирсы — по рекам Серету и Пруту) культур. Обособленное положение занимали воронежские скифы, удаленные от основного скифского массива (они отделились от царских скифов и ушли на север-восток). К востоку от Дона (Танаиса) жили савроматы (сарматы), родственные скифам.

Примерно в среднем течении Днестра, Южного Буга и Днепра Геродот помещает скифов-пахарей (в отличие от скифов-кочевников, живших южнее в степях Причерноморья и Приазовья), севернее и северо-восточнее их обитали невры, будины, андрофаги, еще далее фиссагеты, йирки.

Помимо скифских, или, шире, ираноязычных народов (скифы, агафирсы, савроматы, вероятные потомки киммерийцев каллипиды, алазоны и другие), в перечне Геродота приводятся народы и племена, представляющие угро-финский мир (меланхлены, фиссагеты, йирки), балтский (андрофаги, возможно — будины), наконец, праславянский мир. К последнему ученые давно уже причисляли невров. Б. Рыбаков добавляет к ним часто

упоминаемых Геродотом земледельческих скифов, или борисфенитов («пахари», «земледельцы»).

«Численность населения у скифов я не могу определить точно, так как получил об этом весьма различные сведения. Действительно, согласно одним сообщениям, скифы очень многочисленны, а по другим — коренных скифов, собственно говоря, очень мало», — сообщает Геродот. Скифы, как и другие пришельцы-завоеватели, заняв Причерноморье и Приазовье (они вышли под натиском массагетов из Средней Азии примерно в 700 году до н. э., прошли южнее побережья Каспия и через Кавказ вторглись в Придонию и Приднепровье), включили в свой союз многие местные народы, которых они подчинили. Сам Геродот отмечает в ряде случаев, что некоторые из них живут по-скифски, но язык имеют особый, не скифский. К числу таковых и относятся скифы-пахари — славяне, подвергшиеся некоторой временной скифизации. Геродот дает их название — «сколоты по имени их царя. Скифами же их называли эллины»: такой текст в переводе известного эллиниста А. Козаржевского приводится Б. Рыбаковым, который связывает его не со всеми скифами, а только со скифами-пахарями. Правда, Г. Стратоновский переводит это место несколько иначе: «Все племена вместе называются сколотами, т. е. царскими. Эллины же зовут их скифами»¹, тем самым термин «сколоты» относится как будто к царским скифам, то есть настоящим скифам-кочевникам, занимавшим господствующее положение в скифском союзе. Видимо, это противоречие в переводе и тем самым в толковании следовало бы прокомментировать. Но, не углубляясь в терминологические, лингвистические тонкости, можно сказать, что вывод о праславянах среднего Днепра, Южного Буга и Днестра V века до н. э., солидно подкрепленный данными археологии, топонимики, гидронимики, славянской мифологии, религии, эпоса, весьма убедителен; собственно территория их обитания — место пребывания, с одной стороны, восточной ветви праславянского мира в еще более отдаленные времена, с другой — древнерусских племен эпохи образования Киевской Руси на рубеже VIII и IX столетий. Тем самым Б. Рыбакову удалось скрепить между собой звенья длинной цепи из данных (письменных, археологических, языковых, фольклорных, этнографических) о наших далеких предках-праславянах, дан-

¹ Геродот. История в девяти книгах. Л. 1972, стр. 188.

ных, которые охватывают три тысячелетия их богатейшей истории — со II тысячелетия до н. э. до I тысячелетия н. э. А это означает, что познание истории русского, украинского, белорусского народов и их соседей обогащается новыми представлениями; окно в мир восточного праславян-

ства благодаря творческим усилиям известного исследователя значительно раздвинулось, и мы теперь можем увидеть больше нового и интересного, чем это было возможно ранее.

В. БУГАНОВ,
доктор исторических наук.



ПОЭТ — «ИСТОРИК СТРОГОЙ»

А. А. Формозов. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. М. «Наука». 1979. 119 стр.

«Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».

Эти слова Пушкина автор интересующей нас книги находит «не вполне точными»: «...неверна характеристика «дикости» — первобытного общества. Тогда предки, остатки старины (пусть непонятые), как раз очень почитались. У кочевников были свои знатные роды и, конечно, своя богатая история. Но это частности. Основа мысли Пушкина об уважении к прошлому как важнейшей черте настоящего человека и нормально развивающегося общества замечательно глубока и созвучна нашей эпохе».

Приведенный отрывок очень хорошо определяет основной тон, дух оригинального, весьма необычного для литературы о Пушкине исследования А. Формозова. Хотя книга сложена из очерков, посвященных частным сюжетам («Пушкин и легенда о гробнице Овидия», «Пушкин и Ходаковский», «Путешествия по России» и другие), однако все они связаны воедино авторскими размышлениями о поэте-историке: так же как и в строках о «признаке дикости», Пушкин нередко ошибается в частности, но прав в целом; прав, ибо обладает гениальной интуицией; у него (по словам Вяземского) «верное понимание истории — свойство, которым одарены не все историки», — ошибается же поэт, потому что навыки историка Пушкина необыкновенны, ни на что не похожи. Рядом с глубоко профессиональным знанием и удивительными прозрениями — обычные дилетантские пробы. Формозов фиксирует подобные ситуации очень внимательно, подчеркивая, между прочим, что восприятие исторических реликвий у Пушкина примерно такое же, «как у среднего интеллигентного путешественника того времени. Рядом были люди, уделявшие прошлому гораздо больше внимания. Таков Грибоедов»; в заключении к работе, где сводятся воедино мысли и наблюдения, разбросанные в разных очер-

ках, отмечается, что Пушкин, например, «не оценил по достоинству ни ряд полезных для нашей области знания деятелей (П. Дюбрюкс, С. М. Броневский, П. П. Свиныин), ни начинавшееся в стране музейное строительство, увлекался легендами, уже тогда отвергнутыми наукой. Интерес Пушкина к исследованиям Ходаковского связан не с раскопками, а с его записями народных песен и соображениями о «Слове о полку Игореве». Точно так же беседы с Гульяновым касались скорее истории языка, чем египетских древностей. При этом научный пустоцвет — И. А. Гульянова — поэт явно переоценивал, а о приступающих к большой и нужной работе Дюбрюксе и Броневском отзывался с обидной снисходительностью».

Можно сказать, что автор, высокопрофессиональный современный археолог, историк культуры, сознательно и постоянно избегает идеализации Пушкина; уходит от греха, свойственного многим книгам и статьям, когда великого поэта вдобавок еще щедро наделяют несвойственными ему добродетелями. Тем самым в книге «Пушкин и древности» достигается особый эффект правдивости: необходимый историзм постоянно соблюдается, отчего читательское доверие постоянно усиливается.

Рассматривая без предвзятости сильные и слабые стороны пушкинского исторического знания, автор, казалось бы, еще туже «натягивает тетиву» критики, рассуждая о состоянии тогдашней исторической науки вообще.

Пушкин на полтора века ближе к древности, чем мы, но так ли важно, что от первых пирамид до него прошло сорок пять веков, а до нас — около сорока семи?

Зато куда существеннее, что время Пушкина на полтора века удалено от современной науки о всемирных и российских древностях: ведь учебный курс лица (автор этих мотивов, к сожалению, не касается) сообщал воспитанникам — пусть с извест-

ньши оговорками,— что вся человеческая история не превышает семи тысяч лет; во времена Пушкина никто в мире еще не слышал, например, о «шлимановской Трое», не подозревал о существовании хеттской цивилизации; античный саркофаг с острова Хиос, поставленный в петербургском саду графа Строганова, долгое время считался «гробом Гомера». Если же коснемся древностей российских, то вспомним, что ни один из просвещенных современников Пушкина не знал о существовании такого гениального литературного памятника, как «Житие протопопа Аввакума» (Пушкин бы восхитился!); никто не придавал значения и творчеству Андрея Рублева.

А. Формозов напоминает читателям и о том, что Лермонтов был первым из классиков, кто употребил выражение «археологические открытия». Многие теперь общеизвестные, попавшие в школьные учебники документы, исторические факты только начинали тогда вводиться в оборот или еще ждали первооткрывателей.

«Древняя Россия,— запишет Пушкин,— казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Продолжая это сравнение, нужно бы сказать, что после высадки «на побережье» Нового Света в глубь его устремляются такие славные искатели, как Румянцев, Калайдович, Строев, Ходаковский (на четвертой странице рецензируемой книги названо более 40 «покорителей прошлого», которых знал Пушкин).

Однако все это было началом, хотя и бурным, ярким. «Главный» российский историк Сергей Михайлович Соловьев еще только появляется на свет (как раз в тот самый день и год, когда Пушкина отправляют в южную ссылку).

Итак, Пушкин, жадно стремившийся к истории, но многого не знавший, жил в эпоху, которая по нашей сегодняшней мерке тоже была в «начальном историческом классе».

Кажется, мы (вслед за автором книги «Пушкин и древности») довели сравнение века нынешнего и минувшего до критического предела — пора отпустить «тетиву тугую»... И тут вдруг многое предстает совершенно в ином свете.

Если Карамзин — «Колумб», то его время — эпоха великих исторических открытий России, время, когда любому историку или историку-писателю приходится заниматься «всем на свете», и, например, Пушкин-историк читает летописи, хроники, заполняет свою огромную библиотеку более чем на треть историческими трудами и материалами, идет в архивы, записывает

предания и рассказы очевидцев, странствует по книгам и рукописям в веках и тысячелетиях и притом в «коляске, верхом, кибитке, карете, телеге, пешком» одолевает тысячи верст в погоне за недавним XVIII столетием.

Поэт очень бы изумился часто звучащим речам наших современников, что не дело литератора идти в архивы, «впадать в ученость», что нужно только «художественным талантом» осваивать находки «сухарей-ученых». Пушкин бы не согласился. В его время сильное разделение историко-литературного труда, узкая специализация были просто невозможны.

На наш сегодняшний взгляд, подобная ситуация как будто чревата «непрофессионализмом». Однако сия угроза в начале XIX века компенсировалась достоинством, вскоре изрядно утраченным. Цельностью. Той самой «ренессансной» многосторонностью, без которой не было бы Леонардо да Винчи, Бенвенутто Челлини... И Пушкина.

Задача, поставленная в труде А. Формозова, уже, чем общая проблема «Пушкин-историк», но настолько с ней неразделима, что нужно, пожалуй, упрекнуть автора, который не сказал об этой связи более обстоятельно. Пушкин ведь редко интересовался «доисторической древностью», так сказать, в чистом виде, независимо от своего главного интереса — к российской истории вообще, истории последних веков в особенности. Поэтому обратимся к одной важной пушкинской мысли, которую А. Формозов в своем последнем труде не взял себе в подмогу.

В январе 1830 года Пушкин написал и тогда же напечатал в «Литературной газете» следующие слова: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий [...] Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи».

Как видим, поэт ощущает грань времен: конец одной эры писания истории — и начало совсем иной. Последний летописец — эти слова означают, что карамзинская манера, особое сочетание современной науки и старинной «иноческой простоты», более невозможна, уходит в прошлое.

Будущее за серьезной исторической критикой — Пушкин это ясно видит, но притом

не скрывает сожаления об исчезновении «неизъяснимой прелести древней летописи». Поэт даже как будто завидует Карамзину, который мог еще так писать; и Пушкин бы хотел, но нельзя, поздно... И он работает над «Историей Пугачева» и над «Капитанской дочкой» отдельно, тогда как «по-карамзински» тут требовалось бы единое историко-художественное повествование.

Впрочем, сам Карамзин уже и «первый историк», а те, кто за ним (Пушкин в их числе), выходит, вторые, третьи... Разделение труда между научно-историческим и художественным творчеством обозначилось и хотя еще недалеко зашло, но в близком будущем уже виднеются две тропы, по которым пойдут открыватели российской истории: Соловьев, Ключевский, их ученики — по одной, Лермонтов, Толстой — по другой. И не раз вспомнят старинное изречение, что «историками делаются, поэтами рождаются», а в наши дни и в будущем не раз вздохнут, как основательно разошлись в методе, языке, логике такие две формы познания прошлого, как наука и «художество».

Автор же, наблюдая это явление, берет в союзники великого физиолога Павлова: «Художники... захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления, без всякого разведения. Другие—мыслители—именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается».

«...Все-таки так и не удается», а жаль, а хотелось бы... И мы все-таки мечтаем, чтобы художественное начало (там, где можно, где нужно!) скрестилось бы с наукой, а наука о человеке, история, осветилась бы художественным. Более того, наши мечты забегают так далеко, что позволяют вообразить тот «карамзинский синтез», об утрате которого уже Пушкин вздыхал, но который, вероятно, возродится на новом, высшем уровне науки. Мечтаем, а пока что опасаемся: расчленив познание на отдельные участки, разделяя историческое поле между разными специалистами, как бы не утратить ощущение целого, как бы, «раздробляя, не умертвить» живую историю «холодным сомнением».

К чему холодные сомненья?

Это своеобразный рефрен, скрытый эпиграф к важным размышлениям А. Формозова:

«В противовес рассуждениям специалиста, знатока, немного педанта [Пушкин] выдвигал свою позицию поэта-художника: «К чему холодные сомненья?»...»

Оставляя пока в стороне значение пушкинской мысли в тогдашнем историко-литературном контексте, оценим смелость и широту подхода А. Формозова. Скажем откровенно, далеко не каждый современный историк решился бы!

И без этого для написания хорошей книги о Пушкине и древностях здесь выполнен ряд существенных нормативов: 1) отличное знание Пушкина; 2) основательнейшее знакомство с литературой, общественной мыслью, историографией пушкинской эпохи; 3) глубокое освоение другого «исторического полюса»: археология, античность, древний Восток, древности России; 4) хороший слог, литературная форма. Дело не только и не столько в популярности, доступности изложения: «не тот» стиль даже в самой добросовестной работе бьет по чисто научной стороне, как если бы мы имели дело с дурным переводом хорошего сочинения. В книге же А. Формозова «тот стиль»; в ней присутствует, между прочим, и своеобразная эстетика сносок, которые хороши и своим обильным многообразием, и свободным сочетанием «скучных» научных сокращений и сопровождающих их живых реплик; наконец, естественным для подобной академической работы представляется и живое, «неакадемическое» авторское введение с элементом личных воспоминаний.

Перечисляя эти несомненные достоинства книги, добавим к ним еще одно, которое выше было уже обозначено:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм...

Пушкин ведет разговор о существовании на мысу Фиолент в Крыму храма Артемиды. Иван Муравьев-Апостол, который сомневался, прав: не было храма... Но зато поэт прав в целом. «Что-что,— объясняет автор,— различие двух путей познания ясно ему до предела:

...мечты поэта —
Историк строгой гонит вас!

Отсюда и все остальное. Смешны рассказы о жизни Овидия в Аккермане, раз Томы находились «при самом устье Дуная», но — стихи «в Молдавии, в глуши степей»... Нет в Керчи гробницы Митридата, но — «зрит пловец — могила Митридата»...

В «Истории Петра» записано: «Меншиков происходил от дворян белорусских...

Никогда не был он лакеем и не продавал подовых пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину». Но — «не торговал мой дед блинами».

Еще раз повторим, что видим в подобном комментарии известное смелое «самоотречение» современного историка, сумевшего не только «увидеть ошибку», но и понять ее как особую форму познания.

Сам Пушкин к концу жизни все более «историк строгий»: вспомним хотя бы его тяжкие, многообразные научные изыскания о Пугачеве и Петре I.

Но та ренессансная цельность, о которой говорилось, умноженная поэтической гениальностью, позволяла Пушкину изучать прошлое одновременно двумя способами познания: стихом и ученым трактатом, вольным полетом воображения и строгим архивным поиском. Недостаток знаний — у самого Пушкина, у его эпохи — компенсируется, таким образом, особым, неповторимым единством восприятия.

«Впечатления Палласа или Муравьева-Апостола от столицы Крымского ханства неизмеримо богаче, — пишет Формозов. — Но не они написали поэму «Бахчисарайский фонтан». И уже второй век для

всех, приезжающих в Бахчисарай, никогда не существовавшие Мария и Зарема реальнее, чем в самом деле жившие на свете Сеадат-Гирей, Арслан-Гирей-хан, Крым-Гирей-хан, Бегдыр-ага или Хаджи-кенаан, чьи могилы можно увидеть рядом с дворцовой мечетью. Пушкин создал «свой Бахчисарай», отталкиваясь от легенды о похищенной графине Потоцкой, от немногих прочтенных им книг по истории Крыма, от короткой экскурсии по городу. Для творчества поэту было достаточно этих импульсов. А мы — археологи и историки — будем по крохам собирать материалы о прошлом Бахчисарая, отбрасывать легенды, классифицировать строго выверенные факты, но, по выражению И. П. Павлова, сложить из них потом нечто целостное нам вполне так и не удастся».

Вслед за автором книги согласимся, что размышления и наблюдения о Пушкине-историке позволяют заметить «какие-то более общие и широкие вопросы».* Содержание книги А. Формозова много шире темы, объявленной на обложке, и это «несоответствие» является главным достоинством труда.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН.



КОРОТКО О КНИГАХ



Л. ФИНК. Константин Симонов. Творческий путь. М. «Советский писатель». 1979. 415 стр.

Книга Л. Финка — работа фундаментальная. В ней подробно прослеживается путь писателя от одного стихотворения к другому, от пьесы к пьесе. Читатель узнает из этой книги о самых первых шагах К. Симонова в литературе, о самых первых поэмах и стихах, которые достаточно забыты и не всем известны хотя бы потому, что сам он не перепечатывал их.

Убедительно прослежено Л. Финком зрелание таланта Симонова, начиная с первых публикаций в середине 30-х годов — со стихотворения «Генерал» (памяти Мате Задки), с первой эпической поэмы «По-бедитель» — о Николае Островском, — с которой вошла в творчество Симонова военная тема. Анализируя эту поэму, а также поэмы на исторические сюжеты («Ледовое побоище» и «Суворов»), автор проводит мысль о том, что и в военной истории поэта привлекало «драматизм героических событий, трагическое в судьбах и характерах людей...». «Стало очевидно, — говорит автор, — что в литературу пришел новый поэт, работающий активно и последовательно, сочетающий стремление к эпосу, к героической теме с ясным пониманием их актуального гражданского пафоса». Поучителен этот опыт молодого Симонова! Мы видим теперь, как, создавая свой юношеские произведения, предвидя неизбежную войну, готовил Симонов и себя как будущего военного писателя.

Самим Симоновым подсказан параллельный анализ его, если можно так сказать, большой и малой прозы. Почти одновременно он публиковал романы, составившие трилогию, и маленькие повести и рассказы с их одним общим персонажем — корреспондентом Лопатиным. Точнее говоря, первые повести этого цикла (12 печатных листов, «хирургически удаленных» из первого варианта романа «Живые и мертвые») он тут же сразу переписал, создав на их основе две первые маленькие повести, тогда же опубликованные, а последние повести, заключающие теперь книгу «Так называемая личная жизнь», появились в свет уже после того, как была закончена трилогия. Публикация дневников еще шире раскрыла дверь в творческую лабораторию. Появилась возможность проследить, как пережитое, увиденное собственными глазами на фронтах будило художественную мысль, как рождался художественный образ, как из фактов, занесенных в корреспондентский блокнот, возникали целые главы, как возникал этот мир, который мы называем художественным миром Симонова. В книге Л. Финка одновременное прочтение дневниковых записей, «Записок Лопатина» и трилогии «Живые и мертвые» я отношу к числу заслуг ее автора. Осмысление вой-

ны, извлечение ее нравственных уроков — основная цель многолетней работы Симонова-прозаика. Говоря об этом, Л. Финк напоминает уже известные нам мысли и выводы других критиков, иногда, как это обычно бывает, не принимая некоторых формулировок, иногда дополняя их.

Среди возражений Л. Финка есть, на мой взгляд, и не очень основательные. Так, оспаривая одного из своих предшественников, автор книги утверждает, что Симонов учился у Толстого не стилистике, а принципам изображения человека на войне. Но разве ориентация на принципы исключает уроки стиля? По-моему, в самой лексике Симонова проглядывает толстовский словарь. Взять хотя бы ключевое слово, присутствующее в первой повести Симонова, «спокойно», которым Толстой в свое время определял внутреннее состояние и действия солдата — защитника Севастополя. В нашем деле так всегда бывает, и нет в этом ничего обидного для Симонова.

Л. Финк пишет о всем широком круге проблем, поднимаемых Симоновым в его прозе и драматургии и связанных с этими проблемами конфликтах между людьми — героями его произведений, он говорит о стремлении Симонова «стать трагическим писателем». Не знаю, было ли такое стремление. Была война — смертельное столкновение с фашизмом. Были реальные противоречия времени, выразившиеся в трагических конфликтах. Симонов умел прорисовать в их глубинную суть.

В последние годы писатель работал много и плодотворно. Он завершил трилогию, написав роман «Последнее лето», завершил книгу о Лопатине, написав повести «Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой», выпустил замечательную книгу о литературе «Сегодня и давно» и завершил еще одну старую и одновременно новую работу, подготовив два тома своих дневников. А еще ведь была новая книга стихов «Вьетнам, зима семидесятого!» И это не считая всей неисчислимой другой его писательской работы: очерков, публицистических и критических статей, сценариев, телевизионной серии «Солдатские мемуары» и многого, многого другого. Не все, что задумал и начал, успел он закончить. Симонов готовил документальную книгу о солдате Великой Отечественной войны, книгу воспоминаний о современниках, многое другое...

Оснащенная большим фактическим и биографическим материалом, книга Л. Финка воссоздает творческий путь писателя в его широких жизненных и литературных связях. Читая ее, перечитывая сейчас давние и новые книги и статьи о Симонове, видишь, как много он сделал для каждого из нас, для литературы в целом.

Василий Субботин.



Л. ААЗАРЕВ. Василь Быков. Очерк творчества. М. «Художественная литература», 1979. 208 стр.

Писать правду о войне трудно. Не потому, что надо правду «окопную» сочетать с какой-то другой, а потому, что в сменяющихся событиях войны надо раскрыть стороны, захватывающие всех. Писать же о войне спустя десятки лет еще труднее: нужно найти сопряжение истины двух времен, разделенных социальными переменами и сдвигами общественного сознания.

Среди писателей, взявших на себя эту задачу,— Василь Быков. Вот уже двадцать лет он рассказывает нам беспощадную правду о войне.

В книге Л. Лазарева раскрывается прежде всего эта сторона произведений Василя Быкова: как писатель исследовал беспощадную правду о людях на войне. Сделано это со свойственной Лазареву спокойной и упорной мягкостью, неуклонно ведущей читателя к пониманию мира этой правды.

Ведется своеобразный спор. Это и спор героев произведения, это и спор критиков, по-разному толкующих конфликты произведений, это — в конечном счете — спор жизненных позиций. Собственно, этим спором Василь Быков и сопрягает время военное с нашим теперешним. А Л. Лазарев в такого рода спорах внимательно разбирается, отводит издержки в сторону, пробивается вместе с автором к истине. И это ему, на мой взгляд, вполне удается, ход его мысли убеждает. Только иной раз хочется некоторого укрупнения обобщений, чуть более твердого тона в местах итоговых и ударных. Но Лазарев не склонен к громогласности, скорее наоборот, он хочет, чтобы слышен был его обычный тихий, размеренный голос. И голос его слышен.

Неплохая, дельная книга вызывает согласие с ней и некоторое успокоение: все так, все в порядке. По-настоящему же хорошая книга рождает размышления. Именно так действуют повести Быкова. Так же действует и книга Лазарева, конечно, заряженная энергией художественного мира писателя.

Над чем же хочется думать?

В беседе с Лазаревым Быков отклонил то мнение, по которому жанр его повести определяется как притча; он счел свою повесть нравственно-философской, но не притчеобразной. В самом деле, хотя притча, казалось бы, проще полнокровной художественной повести, она, инсказание, по природе своей допускает разные толкования; повесть же свою Быков ведет через реальнейшую жизнь к вполне определенной идее. И Лазарев размышления о жанре быковской повести приводит к этому определению: нравственно-философская повесть.

Да, конечно, это так: нравственно-философская. Но, может быть, это еще не все?

Возьму две цитаты из книги. На предпоследней ее странице читаем: Быков утверждает, что «подлинно человеческое существование немислимо без высоких нравственных ориентиров, без постоянной нравственной самопроверки». Здесь гуманизм подчинен нравственности.

Несколько раньше, на стр. 193, сказано: «Во всем творчестве Быкова... главная цель, «сверхзадача» оставались неизменными: он утверждал неодолимость гуманизма...» Ибо, «если бы они (фашисты) взяли верх, если бы утвердились их волчьи законы, человечество было бы обречено на гибель». Здесь, как видим, наоборот — все, в том числе и нравственность с ее правилами, подчинено утверждению неодолимости гуманизма. И мне эта диалектика между гуманизмом и нравственностью представляется более реальной и справедливой, чем первое, обратное соотношение. Она освобождает от слепого выполнения нравственных императивов («не убий», «не прелюбы сотвори» и т. д.) и требует сознательного подчинения нравственности как реального поведения в данных обстоятельствах — гуманистической цели всей нашей жизни.

В конце книги Лазарев приводит прекрасные и точные слова Быкова: «В этой войне мы не только победили фашизм и отстояли будущее человечества... Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства».

Именно так: отстояв человечество, мы подняли человеческое достоинство.

И не этим ли повести Василя Быкова так прочно и так тревожно сопрягают наше время с беспощадной правдой той войны?

Г. Соловьев.



ИВАН АРСЕНТЬЕВ. Три жизни Юрия Байды. Роман. «Московский рабочий». 1979. 328 стр.

Основные книги Ивана Арсентьева — романы «Суровый воздух», «Еще не гремели салюты», «Обратный штопор». И вот после долгого перерыва — новый роман. Один из персонажей его, как и прежние герои, тоже летчик, но теперь это скорее своего рода дань Арсентьева своему литературному прошлому, тот мостик, который понадобился ему, чтобы выйти на новый творческий простор. Суть романа такова. Молодой парнишка, вчерашний наивный десятиклассник Юрий Байда в годы войны оказывается на территории, захваченной гитлеровцами. Дядя-староста определяет его в полицию. У любимой девушки, у подпольщиков есть веские основания не доверять ему. Кажется, все против Юрия. Но душевная чистота, стойкость, ненависть к захватчикам помогают юноше найти правильный путь. Юрий попадает в партизанский отряд, где ему снова и снова приходится делом доказывать, на чьей он стороне.

Главная удача писателя — образ Юрия Байды: юноша этот становится близок читателю, начинаешь волноваться за него, переживать вместе с ним. Думается, что этот герой близок и дорог автору, бывшему военному летчику, своей душевной широтой. Тема становления молодого человека в самых сложных условиях дает простор для творческих исканий, для выражения того, что было автором в жизни передумано, пережито, что оставило неизгладимый след.

Что главное в характере этого героя, Юрия Байды? Верность своему долгу. Он из

тех людей, которые, определив себе благородную цель, идут к ней, не считаясь ни с какими трудностями, закаляясь в борьбе. Честно и добросовестно делают они свое дело, чураясь громких фраз. В связи с этим вспомнились мне слова стрелка-радиста, летавшего с Иваном Арсентьевым еще в ту пору, когда на груди Арсентьева не сияла Золотая Звезда. Был этот стрелок постарше своего командира, успел поработать учителем, и естественно, с любопытством приглядывался к молодому, но уже известному летчику. Даже с опаской приглядывался, потому что скептики-доброхоты сразу предупредили нового стрелка-радиста: с Иваном, дескать, долго не полетаешь, этот не отвернет, не уклонится от боя, даже когда есть такая возможность. И верно: преодолевая страх, Арсентьев прорывался через завесу зенитного огня, бросал штурмовик на цели, уничтожая ракетами и бомбами вражеские танки, автомашины. Тогда и осознал стрелок-радист: для его командира среди других понятий на первом месте всегда стоит понятие «нужно», «необходимо».

После войны Арсентьеву можно было занять спокойную удобную должность, не требовавшую особого напряжения. Но он знал, как нужны разрушенной промышленности рабочие, умеющие обращаться с металлом. И хотя руки его были изуродованы, это все же были руки механика. Арсентьев пошел на завод и десять лет отработал в цехе, прежде чем заняться литературным трудом.

Хочу повторить: формально между персонажем книги Юрием Байдой и писателем Иваном Арсентьевым вроде нет ничего общего. Суть же изображенного и реально существующего характеров такова, что нет никакого сомнения: окажись Иван Арсентьев в соответствующей ситуации, он поступил бы точно так, как Юрий Байда. И наоборот: Юрий совершал бы в реальной жизни такие же поступки, деяния, как и писатель.

Новый роман свидетельствует о том, что И. Арсентьев сумел преодолеть некоторую тематическую ограниченность, образно выражаясь, вышел на новый литературный простор.

Владимир Успенский.

★

В. МОРОЗОВА. Всероссийский розыск. Повесть о Конкордии Самойловой. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1979. 327 стр.

Нам по-особому дороги имена тех, кто находился у истоков Октябрьской победы, был ее активным участником, первооткрывателем новой эпохи в истории родины и всего человечества. Нелегкие судьбы, героические деяния, вся сознательная жизнь этих людей — яркий пример глубочайшей идейной убежденности, в которой они черпали силы для борьбы мужественно и стойко преодолевая все невзгоды и испытания.

Об этом невольно думается, когда прочитаешь документальную повесть В. Морозовой «Всероссийский розыск». В книге рассказывается о соратнице В. И. Ленина, видной деятельнице революционного движения

Конкордии Николаевне Самойловой-Громовой, одно время возглавлявшей секретариат «Правды».

Сама фактическая канва повествования, весь привлеченный автором материал и его художественное осмысление отчетливо воссоздают цельный образ поистине пламенной революционерки, беззаветно преданной коммунистическим идеалам, человека несгибаемого мужества, кристальной душевной чистоты, большой нравственной силы.

Дочь состоятельных родителей, бестужевка Конкордия Николаевна в ранней юности прорывает сословные связи, принимает активное участие в студенческом движении. Вскоре она вступает в ряды большевистской партии, сразу включается в ее кипучую деятельность, обнаруживает недюжинные организаторские и пропагандистские способности. Огромное значение для идейного роста Самойловой-Громовой имели ленинские лекции в Высшей школе общественных наук в Париже, незабываемые встречи с Ильичем, участие в работе V съезда РСДРП в качестве луганского делегата.

По заданию партии она становится пропагандистом на рабочих окраинах, налаживает деятельность подпольных типографий, распространяет нелегальную литературу, доставляет оружие восставшей Пресне, активно участвует в издании «Правды». И все это — постоянный риск, предельное напряжение сил, скитания по явочным квартирам, преследования жандармских ищек. Ведь объявлен ее всероссийский розыск.

Но никакие физические и нравственные пытки в далеких ссылках, полицейские застенки, тюремных казематах не могли заставить молодую большевичку свернуть с избранного пути, отступить от своих идеалов.

Ей выпало счастье увидеть победу, стать активным участником строительства новой жизни. В далеком 1921 году Конкордия Николаевна на посту инструктора ЦК партии и начальника политотдела агитационного рейса парохода «Красная звезда». Во время очередного рейса в низовье Волги Самойлова заболела. Подорванный ссылками и тюрьмами организм не справился с тяжелой болезнью.

Хорошо, что появилась книга, заново воскрешающая в нашей памяти славное имя верной дочери партии и народа, одно из тех, что навсегда сохраняются в революционной летописи родины.

А. Кожин.

★

Е. СИДОРОВ. На пути к саятезу. Статьи. Портреты. Диалоги. М. «Современник». 1979. 335 стр.

Разные определения прилагались к слову критика. Рискну предложить еще одно: здравая. Именно это определение очень характерно для работы Евгения Сидорова. У него здравый, непредвзятый взгляд на искусство, на движение литературного потока. Сейчас вышла уже вторая книга его статей и рецензий, написанных за минувшее десятилетие, и снова это не торжественный творческий рапорт, а деловая повседневная творческая практика.

В свою первую книгу — «Время. Писатель. Стиль» — он включил известную статью 1975 года «На пути к синтезу». Сейчас эта формула взята для названия нового сборника. Очевидно, есть в ней для Сидорова нечто, утверждающее преемственность, устойчивость его воззрений. И это действительно так.

Готовя к печати сборник статей, критик проходит двойной контроль. Первый из них — самопроверка: что отбросить, а что сохранить, что не утратило свою ценность, а что было случайным, временным, плохо слаженным. Второй контроль — читательский: действительно ли интересно сохраненное тобой, когда многие споры уже отгорели, многие книги справедливо ушли с авансцены. И тогда единственно реальный вес приобретает личность самого критика: существенны ли, долговечны ли его суждения по тем волновавшим тогда вопросам, по тем будоражившим тогда новинкам.

Как мне представляется, вышедший сборник, в котором состыкованы давнишние и недавние заметки о прозе, поэзии, кино, театре, сохраняет свою внутреннюю цельность, свою существенность благодаря здравому взгляду Е. Сидорова на явления искусства.

Здравому при всей его твердости и широте: твердости идейно-эстетических убеждений и широте воззрений на богатство стилей внутри единого метода. «Я не к эстетической всеядности призываю, но именно к спокойной взвешенности суждений, к трезвому пониманию, что никакой один духовный, а стало быть, и стилиевой путь творчества не может быть признан единственно верным или главным», — веско заявляет он. Можно сказать, что мотив неоднозначности, внутренней диалектичности мира, искусства и человеческой души является доминантой его эстетических воззрений.

Одно из привлекательнейших, во всяком случае для меня, качеств таланта Е. Сидорова — критичность. Качество особенно ценное на фоне псалмопевцев, непомерно размножившихся в критическом воинстве за последние годы. Похоже, что скоро вместо слова «критик» нужно будет говорить «интерпретатор»: для одних произведение служит объектом восторженного и словообильного растолковывания самой малой малости, для других — чем-то вроде позова к свободному парению мысли по поводу различных высоких материй.

Е. Сидоров из тех, кто пишет о деле, о хороших и плохих книгах, фильмах, статьях, воюя против серости и недостоверности, отстаивая настоящую литературу, настоящее искусство. Его резкие отзывы о книге А. Андреева «Есенин», фильме С. Урусевского «Пой песню, поэт», его реакция на трактровку А. Передревым поэзии Пастернака — это все активная полемическая деятельность человека, чувствующего свою ответственность за состояние дел в искусстве, за ход литературного процесса. «Увлекаюсь построениями глобальных критических моделей, выполняю ли мы реальное, земное дело, к которому призваны?» — едко написано в заметках о поэзии с требовательным названием «На черепушке».

Это чувство ответственности, эта озабоченность состоянием литературных дел — непреходящее свойство его выступлений.

Потому и материалы в сборнике самые разные: выступление в дискуссии о чертах современного романа, заметки о поэзии, творческий портрет Тендрякова, рецензия на спектакли МХАТа и «Современника», обозрение новых фильмов, диалоги с поэтами — Е. Евтушенко, Л. Мартыновым, Ю. Марцинкявичюсом. Все это повседневный труд критика-журналиста, кровно заинтересованного в совершенствовании процесса.

Мне близки те позиции, которые он отстаивает в своей борьбе за наше общее литературное дело. И его беспокойство по поводу того, что понятие «нравственные искания» грозит скоро стать в литературе таким же штампом, как «духовность» и «бездуховность», которые порой приобретают чисто номинативный, а не содержательный характер. И совокупность его взглядов на современный роман: настойчиво развиваемая им мысль о романном мифлении как особом качестве, отличающем истинный роман от крупной повествовательной формы; его убежденность в том, что современный роман «невозможен без трагического элемента»; его упования на то, что масштабный социально-философский роман, возможно, откажется от панорамности, понятой как внешнее развертывание картин и эпизодов, но раскроет со стереоскопической глубиной панорамность души современного человека, его тревог, надежд и заблуждений.

Есть, конечно, в его выступлениях оценки и утверждения, с которыми я не соглашаюсь: повышенный градус восторгов по поводу творчества некоторых поэтов, скороспелое объяснение слабости романов о труде малой образованностью писателя по сравнению с современным читателем и т. д.

Но и то — критика существует, чтобы напряженно искать ответы, а не изрекать оракульские истины.

А. Бочаров.



ЮРИЙ ОКУНЕВ. Власть лирики. Книга стихов. М. «Современник». 1979. 240 стр.

У истинного поэта музыка и поэзия неразделимы. От мандельштамовской строки «слово, в музыку вернись» до «Музыки на вокзале» Б. Слуцкого, от пастернаковского «рояль дрожащий пену с губ обляжет» до строк Межжирова: «Стенали яростно, навзрыд, одной-единой страсти ради, на полустанке — инвалид и Шостакович — в Ленинграде» — пролегает огромная тема: осмысление музыки как духа времени, времени во всех конкретных реалиях окружающей нас жизни.

Книга Юрия Окунева «Власть лирики» посвоему сопряжена этой поэтической традиции. Для Ю. Окунева музыка — воплощение гармонии, даже когда в силу трагических обстоятельств она призвана выразить дисгармонию мира.

Музыка и война — вот сквозной мотив его лирики. Сразу оговорюсь: книга неровная.

Но лучшие стихи в книге — о том, как с детских лет музыка вошла в жизнь поэта.

Воспоминания об Отечественной войне насквозь пронизывают поэзию Ю. Окунева, проникая даже в глубоко личные стихи о любви:

Когда ты о любви писать не сможешь,
Не сможешь ты о Родине писать.

Наибольшее впечатление оставляет завершающий раздел книги «Не молчит память». Стихотворение «Последняя встреча с Сельвинским» здесь воспринимается не только как дань признательности любимому поэту. Это как бы слово от имени многих учеников, навсегда благодарных большому мастеру. Примером собственной жизни он учил правдиво писать и правдиво жить: не случайно весь его литинститутский семинар вслед за ним ушел на фронт.

Н. Майоров, Н. Отрада, М. Кульчицкий. Для каждого из них нашел Ю. Окунев сердечные слова. Горячо написал Ю. Окунев о героической женщине, казненной фашистами, поэссе редчайшей искренности — Елене Ширман.

В стихотворении «Здравствуй, Миша Кульчицкий» сталинградец Ю. Окунев пишет другу-харьковчанину, погибшему под Сталинградом:

Мог ли знать я, что час приближается наш,
Что за Волгу, за город мой жизнь ты отдашь?

Несколько стихотворений о Михаиле Луконине как бы примыкают к стихам о погибших на войне товарищах. Эти стихотворения отличаются глубиной чувства, чутким постижением характера поэта и человека.

В книге «Власть лирики» особняком стоят два раздела: «Грузия» и «Латвия». В них тоже звучит тема войны, тема военного братства, объединившего весь народ:

Поедем в Грузию к Ревазу Маргнани,
В грузинский дом, где ждут всегда заранее...
Здесь ничего от тоста, от парада,
От Волги что-то есть, от Сталинграда...

Верная, испытанная огнем и кровью дружба. Братство народов нашей родины, которое никому не удалось и не удастся сломить, — такова стихия музыки, гармония, побеждающая дисгармонию.

Григорий Левин.



ЮРИЙ ПАПОРОВ. Хемингуэй на Кубе. Очерки. М. «Советский писатель». 1979. 415 стр.

Автор книги «Хемингуэй на Кубе» поставил перед собой сложную задачу — создать образ живого Хемингуэя, человека, которому не чуждо ничто человеческое, личности, раскрывающейся в тесном общении с самыми разными людьми, в непосредственной связи с той реальной действительностью, которая властно вторгалась не только на страницы произведений писателя, но и в повседневный быт, в мир его интимных чувств и личных переживаний.

Для решения этой задачи Ю. Папоров избрал, на мой взгляд, единственно верный путь: раскрывая каждодневный быт писате-

ля во всем его своеобразии, исследователь постоянно держит в поле зрения главное — гражданские позиции Хемингуэя, сражавшегося всегда по эту сторону баррикад.

Книга Ю. Папорова состоит из 25 очерков, каждый из которых воспринимается как завершенная новелла, в целом же очерки дают возможность увидеть жизнь Хемингуэя в ее многогранности, в развитии, со сложными коллизиями и переплетениями.

Не будет преувеличением сказать, что Кубинская революция по-своему открыла внутренний мир Хемингуэя уже тем, что сделала писателя в той или иной мере участником революционных событий, а еще и тем, что после трагической смерти Хемингуэя превратила его усадьбу «Ла Вихиа», расположенную под Гаваной, в дом-музей, доступный каждому.

«Финка «Ла Вихиа», сад, дом, вещи, книги, письма, фотографии и люди, близко и хорошо знавшие Хемингуэя, оказались, — пишет автор, — «золотоносной жилой», лежащей просто на поверхности, которой еще никто до меня всерьез не касался». Но эта лежащая на поверхности золотоносная жила потребовала от автора многих лет напряженного труда. Более 70 человек (среди них личный врач писателя Хосе Луис Эррера, помощник и секретарь Рене Вильярель, шофер Хуан Лопес, капитан катера «Пилар» Грегорио Фуэнтес и другие), с которыми встречался и беседовал автор, открывали ему Хемингуэя. Каждый — своего. Автор сознательно становится на путь самоограничения, безжалостно отсекая все лишнее, что может увести в сторону от основной задачи, он отдает предпочтение мобильной достоверности фактов, взятых в их диалектической связи. С особой четкостью это проявилось в рассмотрении автором внутреннего отношения писателя к развитию революционного процесса на Кубе.

Кубинский период охватывает более двадцати лет жизни Э. Хемингуэя (1939—1961). И тут оценка его гражданских позиций имеет тем большее значение, что писатель-антифашист был не просто в числе тех, кто безоговорочно принял победоносную Кубинскую революцию, но и со всей бескомпромиссностью встал на защиту мер революционного правительства Кубы по борьбе с проискалами внутренней и внешней контрреволюции. Приведенный в книге интересный и разнообразный фактический материал о контактах Хемингуэя с кубинскими революционерами, о денежной помощи, которую писатель оказывал систематически революционным организациям, логически обосновывает свидетельство автора о том, что хемингуэевская усадьба, занимавшая важные стратегические позиции на подступах к Гаване, в самый ответственный для Кубинской революции момент штурма батистовской твердыни была превращена в штаб содействия повстанческим отрядам Фиделя Кастро. Заинтересованность шестидесятилетнего Хемингуэя в победе Кубинской революции несомненна, и это один из важнейших штрихов раскрытия личности писателя. Ю. Папоров подчеркивает в своей работе, что творческий кризис писателя в последние годы был связан с ситуацией личной драмы, развивавшейся подспу-

но, глубоко, приведшей в конечном итоге к личной катастрофе, и ни в коей мере не является следствием крушения его общественно-политических позиций.

Издательство «Советский писатель» выпуском книги Юрия Папорова «Хемингуэй на Кубе» не только отметило восьмидесятилетие со дня рождения Эрнеста Хемингуэя, одного из самых популярных в нашей стране писателей, но и помогло читателям осязаемо ощутить каждый уголок Гаваны и ее пригородов. Новеллы Ю. Папорова написаны с большой любовью к Кубе, ее природе, простым людям этой удивительной страны.

З. Соколова,
кандидат исторических наук.



АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. Рождение дня. Стихи. М. «Современник». 1978. 319 стр.

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. Подборка стихов. «Юность», 1979, № 3.

Написать бы ее, Россию!
Всю — от неба, до трав, до дна.
Где найти мне слова такие
Неизбывные, как она?

Стихи в памяти возникают раньше имени поэта.

Многие стихи Деметьюева известны практически всем. И пусть имя отступило на задний план перед стихами. Подчас гораздо важнее, если, читая их про себя, как бы опускаешь кавычки и отождествляешь с течением собственной жизни запоминающиеся строки:

Как высоко мы поднялись,
чтоб с солнцем встретиться в горах!
А ты смеешься, глядя вниз.
Но я-то знаю: это страх.

Смерть всегда преждевременна...
И с годами сильней
в нас бессмертная, древняя
зреет ненависть к ней.

Многие стихотворения книги написаны как бы на полях биографии поколения, достигшего призывного возраста к самому концу Великой Отечественной войны. Поэт воздвиг и свой обелиск павшим, их мужеству, проникновенно написал о трагедии белорусских деревень:

Над белой тишиной Хатыни
колокола — как голоса
тех,
что ушли в огне и дыме
за небеса.

Расстояние между жизнью и стихом бывает различным, и зависит оно не только от того, сможет ли претворенный в слово жизненный опыт поэта стать опытом читателя, но и от того, стал ли жизненный опыт читателя опытом поэта. Проникновенные в судьбы современников, понимание специфики их труда, убежденность, что в наши дни поэта должно интересоваться все, чем живет страна, — вот творческая и, я бы сказал, рабочая позиция Деметьюева. Поэта тревожит современная, обусловленная прогрессом, узкая специализация людей, порой чреватая их разобщенностью.

Все экзамены сдаются, все горизонты расширяются, и в этих условиях А. Деметьюеву дорого укоренение в нашем обиходе простых заветов человечности. «Доброта была вначале», — напоминает он...

Лирический герой Деметьюева — человек счастливый, он любит и любим. Вроде бы поэт вправе посчитать излишней «обязанность описывать развязку», заключающуюся в счастливой каждодневной жизни. Однако Деметьюев решает об этом писать, и кажется — нам видна сама трепещущая ткань чувства:

С тобой нас часто различают
друзья, знакомые, родня...
Но я люблю, когда нечаянно
среди веселья или молчания
ты вдруг посмотришь на меня.
И, не промолвив аже слова,
мне скажешь все, о чем молчишь...
Посмотришь — на свиданье словно
ко мне, как прежде, прибежишь.

Если же кто-то пострадал от несправедливости, случилась беда, поэт считает — он «виноват, что не промолвил слова, которое могло все изменить».

В книге есть стихи и о том, как легко быть умным и честным, когда оглядываешься назад, на ошибки молодости, и как трудно и как необходимо быть честным в настоящем, которое тоже станет былым и подвергнется беспристрастному суду совести. И такая нравственная позиция вызывает доверие.

По убеждению Деметьюева, труд поэта возможен, да и смысл имеет только в сочетании с духовным порывом, творчеством людей самых разных профессий.

Сергей Аляханов.



БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ. Справочник. М. «Книга». 1979. 327 стр.

Чуть не прошел в магазине мимо этой книги. Вот была бы непростительная оплошность! В ней собраны сведения о библиотеках Москвы: крупнейших универсальных и центральных отраслевых, государственных комитетов, министерств, вузов, НИИ, КБ, научных обществ и объединений, архивов, музеев, театров, крупных заводов, фабрик, больниц столицы. Всего в книгу вошли сведения о 1028 библиотеках. Она прежде всего хорошо выполняет самую простую, но необходимейшую информационную функцию — указывает адреса и телефоны, причем не единственный телефон, а для многих библиотек — всех ведущих отделов. Огромная экономия времени!

Однако это, конечно, не главное. Справочник сообщает, в каком году какая библиотека основана и из каких других, если у нее были «предки», сложилась. Каждый книголюб на память знает святую для всех нас дату — 1862 год, когда была основана главная библиотека страны, Ленинская. Но вряд ли многие скажут, когда была, скажем, основана справочная библиотека Госкомиздата СССР. Оказывается, в 1922 году И вошли в нее в разное время библиотеки Госиздата, «Истории фабрик и заводов»,

издательства «Атеист». Интереснейшие сведения для историка...

Справка о Ленинской библиотеке занимает четыре с половиной страницы убористого шрифта, справка о Научной библиотеке Московского планетария — четыре с половиной строки. Но эти четыре с половиной строки несут информацию для специалиста очень важную.

Справочник говорит о количественном составе библиотечных фондов. 28 745 500 учетных единиц хранится в Библиотеке Ленина, лишь 3500 в библиотеке образцового Театра кукол. Но среди этих трех с половиной тысяч есть такие книги и рукописи, каких и в Ленинской библиотеке нет.

Каждая настоящая библиотека своеобразна, необходима, неповторима! Вот о чем говорит справочник. Я старый книголюб, прилежный посетитель многих московских библиотек, но из справочника узнал для себя много нового. Одна из самых трудных задач библиографической эвристики — отыскание художественного произведения, автор которого неизвестен, а известно лишь название. Оказывается, в Москве есть библиотека (2-я городская), которая ведет картотеку заглавий художественных произведений и названий вокальных произведений.

Спросите у заядлого театрала, сколько театральных библиотек в Москве. Я пробовал. Ни один не ответил правильно. 15! И в каждой есть материал, какого не найдешь в другой. Где лучше всего искать старинные атласы и карты? Книжки по нумизматике и сфрагистике? По коневодству? По производству бумаги? Все это подскажет рецензируемый справочник.

Ключ к сокровищам библиотеки — ее картотеки и каталоги. Главнейший лоцман по океану книг — библиограф. Памятуй об этом, справочник характеризует каталоги и картотеки представленных в нем библиотек и о каждой сообщает, есть ли в ней справочно-библиографическое бюро. Составители снабдили книгу несколькими полезными указателями. Исследователи будут особенно благодарны за указатель лиц, чьи архивы, книжные коллекции, личные библиотеки хранятся в фондах тех библиотек, которые вошли в справочник.

Как всякая сложная работа, подготовка которой связана с немалыми трудностями, справочник дает повод для некоторых пожеланий и замечаний. Его ценность неизмеримо бы увеличил еще указатель, который позволил бы не гадать по оглавлению, в какой именно библиотеке искать книги о том или ином частном разделе знания, а указывал бы библиотеки, где такие книги есть. Это, разумеется, чрезвычайно усложнило бы подготовку справочника и сильно увеличило бы объем книги, но о таком справочнике можно только мечтать!

Наконец, пожелание, которое выходит за пределы этого справочника, но навеяно им. Хотелось бы вслед за ним увидеть иллюстрированный путеводитель по главнейшим московским библиотекам с краткими, живо написанными очерками и фотографиями. Когда я писал очерк «Объяснение в любви», посвященный крупнейшим московским библиотекам, я с огорчением увидел, что

о Государственной центральной библиотеке иностранной литературы есть один только буклет, рассчитанный на гостей Москвы, а об Исторической и того нет. Москвичи и приезжие оценили карты-схемы «Достопримечательности Москвы», «Литературная Москва», «Пушкинские места в Москве» и другие карты-схемы подобного типа. Как хорошо было бы, если бы к ним прибавилась карта «Библиотечная Москва»!

Сергей Львов.



И. И. СЕРЕДЮК. Восприятие архитектурной среды. Львов. «Вища школа». 1979. 202 стр.

Вынесенная в название рецензируемой работы проблема очень органично вытекает из самой природы зодчества, заявляя обещающее интересные результаты направление в современной архитектурной эстетике. В самом деле, обладая какими-то абсолютными ценностями, определенным эстетическим потенциалом, произведение архитектуры — будь то малая форма, жилой дом или уникальное общественное здание — выявляет эти свойства только в процессе восприятия, в отношении, что устанавливаются в системе человек — архитектура.

Но, согласившись с этой, в общем, бесспорной посылкой, мы вынуждены будем признать, с одной стороны, актуальность исследования этих отношений для теории архитектуры, да и архитектурной критики, этой движущейся эстетики зодчества, выступающей серьезным регулятором в его системе, и высокую «разрешающую способность» для этих целей современных методологических направлений, таких, скажем, как системный анализ и т. п., — с другой.

Автором предпринята попытка, и, на мой взгляд, довольно небезуспешная, рассмотреть некоторые эстетические проблемы зодчества на таком внеархитектурном, что ли, уровне, воспользовавшись идеями из арсенала общей теории систем и кибернетики, теории информации и семиотики, психологии и физиологии. При этом в качестве философской базы исследования, позволяющей интегрировать всю эту совокупность разнородных средств, используется марксистско-ленинская теория отражения. В последнее десятилетие перечисленные идеи все шире проникают в искусствоведение, включая и анализ архитектурного контекста (наиболее обобщенно современные тенденции в этой области отражены, пожалуй, в вышедшей в 1973 году коллективной монографии «Искусство и научно-технический прогресс»).

Систематизация предшествующего отечественного и зарубежного опыта, содержащаяся в работе И. Середюка, хорошо согласуется со сверхзадачей исследований — раскрыть перед архитектором возможности нетрадиционных подходов к разработке эстетических проблем.

Этой сверхзадачей, кстати, может быть оправдано и наличие некоторого количества общих мест в работе. Я имею в виду главы первую и четвертую, в которых из-

лагаются начала кибернетики, теории информации и семиотики. Впрочем, эта кажущаяся избыточность компенсируется тем, что уже здесь автор перебрывает необходимые мосты в архитектуру, «завязывая» все в крепкие концептуальные узлы.

Чем интересна монография львовского ученого? Я бы, пожалуй, выделил прежде всего два момента: довольно широкий взгляд на рассматриваемую проблематику и хорошую адаптацию понятийного аппарата из «чужих» областей знаний к анализу специфически архитектурных материй. Впрочем, последнее лишь подтверждает всеобщность, универсальность используемых методологических идей.

Работу отличает добротный историзм — эволюция визуальной культуры рассматривается в достаточно глубокой ретроспективе, позволяющей автору раскрыть предпосылки к формированию современного восприятия архитектурной среды. Последнее же и должно служить той обратной связью между творцом и потребителем произведения архитектуры, на основании которой осуществляется процесс развития художественного сознания.

Таким образом, теоретико-информационные подходы к изучению архитектурного пространства, открывая новые возможности для осмысления пройденного зодчеством пути, создают необходимые условия для более точного и глубокого эстетического освоения действительности.

Здесь, правда, не следует забывать и о разумных пределах использования названных методов. Такие качества архитектуры, как семиотичность, коммуникативность, системность — все то, что позволяет применять эти новые подходы для анализа окружающей человека искусственной среды, — отнюдь не дают оснований сводить ее, как и искусство вообще, к чисто знаковой системе, составленной из набора определенных кодов.

Ограниченность такого взгляда признается многими исследователями, в их числе и автор рецензируемой книги. Вместе с тем, как в этом убеждает работа И. Середюка, поиск новых путей здесь всегда продуктивен, он оборачивается новыми и подчас неожиданными решениями. Таков закономерный путь движения к истине. И к эстетической в том числе.

И. Дрейцер.

Кемерово.



В. А. ЕСАКОВ. География в России в XIX — начале XX века (Открытие и исследование земной поверхности и развитие физической географии). М. «Наука». 307 стр.

В первом издании БСЭ история исследования Антарктики изложена в статье «Полярные страны» — она вышла в свет в 1940 году. Там нет ни слова о том, что русские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в самом начале 1820 года подвели свои шлюпы вплотную к берегам Антарктиды, шестого, тогда еще никому не ведомого материка.

Теперь мы знаем, что открытие Антарктиды было крупнейшим событием в истории мирового мореплавания (не только XIX столетия). Но с такой же очевидностью мы можем констатировать, что оно обернулось и глубокой человеческой драмой, в чем-то сравнимой разве что с трагедией Колумба (он, конечно, не мог не понимать, что открыл дорогу не в Индию, а открыл небогатые острова какого-то «нового света», но по политическим соображениям вынужден был всю жизнь утверждать обратное). Современники высоко оценили южнополярный морской вояж Беллинсгаузена и Лазарева. Но современники не усмотрели в их открытиях открытие неведомого материка. Так, в «Атласе Южного моря» первого русского кругосветного мореплавателя И. Крузенштерна результаты экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева учтены (отмечены открытые ими острова), но ни на одной из 44 карт нет и следов материка...

А сами Беллинсгаузен и Лазарев? Эти великие мореплаватели свято придерживались восходящей еще к петровским временам клятвы — правила русских моряков-гидрографов: «Писать, что наблюдали, а чего не наблюдали — не писать». В отчетах о плавании нет ни слова об открытии неизвестного материка. Но есть выражения «подобно берегу», «подобно материку», «льдинный материк» и есть с точным обозначением координат сообщение о «матером льде», поверхность которого, подобно материковой поверхности, поднимается и уходит за горизонт. На море такого быть не могло. Значит?.. Для столь опытных мореплавателей, как Беллинсгаузен и Лазарев, конечно же, все было ясно... Но они ушли из жизни, не изменив славной морской традиции, не приписав себе ничего, что казалось им не до конца доказанным, предоставив установление истины потомкам.

Впечатляющий нравственный урок, не правда ли?

В книге В. Есакова рассказано, разумеется, не только об открытии Антарктиды — рассказано об очень многом. Но я не случайно выделил именно этот эпизод: он может служить своего рода ключом к пониманию особенностей развития историко-научных исследований в нашей стране после окончания Великой Отечественной войны, развития истории географии в частности.

Из относительно немногочисленного отряда историков географии в послевоенные годы продолжали работать теперь уже ушедшие из жизни старейшины: Л. Берг, М. Боднарский, А. Григорьев, Д. Лебедев, И. Магидович. Их традиции были творчески восприняты Н. Гвоздецким, А. Исаченко, Э. Мурзаевым, Я. Светом, А. Соловьевым, Н. Фрадковым. И пришли в науку солдаты, испытавшие на фронте все, что может испытать солдат, лишь волею случая оставшийся в живых: Л. Абрамов, А. Алексеев, Я. Антошко, В. Есаков, И. Федосеев, Е. Ястребов...

Вполне естественно, что у каждого из этих ученых свои — несхожие — пути и в науке и в жизни. Но именно их труды и в послевоенной истории географии создавалась атмосфера, которую можно было бы

охарактеризовать так: обострение чувства справедливости, в том числе патриотически-приоритетной справедливости, повышение нравственного порога, лишь по достижении которого можно вообще писать о прошлом, и углубление интереса к тем, кого нередко называют скромными, незаметными тружениками науки.

Книга В. Есакова — результат почти непрерывного двадцатилетнего исследования, долгой работы в архивах, осложненной тяжелыми фронтовыми травмами; книга эта результат не только трудолюбия, упорства, но и мужества, проявленного бывшим командиром разведываода и в мирной жизни. В научной литературе нет более полного, обстоятельного и точного сочинения, посвященного истории географии в России в XIX — начале XX века. Но в заключение мне хочется особо подчеркнуть, что в книге В. Есакова воплощено все лучшее, что создано советской историко-географической школой: она гуманна, справедлива, нравственна и внимательна ко всем — и к малым и к великим.

И. Забелин.

★

ВАЛЕНТИНА ЛЕВИДОВА. У нас в Ленинграде. Повести и рассказы. Лениздат. 1979. 368 стр.

Три повести и два рассказа, составляющие эту книгу, взаимно связаны. Во всех произведениях повествование ведется от первого лица, и едва ли будет ошибкой полагать, что повествователем является один и тот же человек. Встречаются здесь и повторяющиеся (но каждый раз обрастающие новыми подробностями) ситуации, и постоянно волнующие автора нравственные коллизии. По этим причинам мы вправе считать книгу «У нас в Ленинграде» единым повествованием, внутренней доминантой которого является не только бесконечно дорогой автору город, обозначенный в самом названии книги, но и целый узел житейских проблем, выходящих за рамки жизни одного города.

Проблемы эти оттеняются в судьбах самых разных людей, с которыми знакомится читатель, в том числе и в судьбе самой рассказчицы, на долю которой выпали многие испытания последних десятилетий: трудное детство, война, эвакуация, нелегкие послевоенные годы и неустроенная личная жизнь. Из своих собственных испытаний она выносит нравственные уроки, которые должны помочь людям жить. Тем более усиливается значение этих уроков, когда рассказчица раскрывает перед читателем историю жизни своих современниц — старших, умудренных многолетним опытом, и самых молодых.

Особенно показательна в этом отношении заключительная повесть цикла, носящая то же название, что и вся книга. От предыдущих вещей она отличается тем, что если в них фигурируют два временных пласта, с которыми связаны судьбы героев — период

войны и современные годы, — то в последней повести появляется еще и третий пласт — далекое, дореволюционное время, с которым сопоставляется нынешняя жизнь.

История такова. Журналистка взяла на себя труд исследовать и отразить историю одной из старейших ткацких фабрик Ленинграда, люди нескольких поколений проходят перед ней — каждый со своим прошлым, со своими бедами и горестями, со своим счастьем. «Бывают судьбы уникально трагические, — говорит она своему ближайшему другу. — Бывают уникально счастливые. Ни о тех, ни о других не будем сейчас говорить. Возьмем, Виктор, обычные судьбы. Твою, например...»

Своеобразие жизненного материала, с которым столкнулась здесь журналистка, заключается в том, что судьбы «обычные» прочитываются как судьбы исключительные, если угодно — уникальные. Такова судьба самого Виктора: фронт, госпитали, ранение, послевоенные беды и затем «по восходящей» — продвижение к вершинам науки. Такова судьба великой труженицы Михеевой с ее романтической любовью, которую она пронесла через всю свою долгую и нелегкую жизнь. И Анны Евдокимовны Ивановой — «ходячей истории фабрики», которую из простых ткачих война выдвинула на высокий производственный пост.

Книгу Левидовой пронизывает одна внутренняя тема, без которой трудно было бы усвоить целостность ее нравственного содержания. Это тема преодоления разобщенности между людьми, на какую по воле судьбы или по собственной вине обрекают себя некоторые ее герои. Пример неразумного эгоизма являет собой старая работница Ольга Яковлева, хранящая в памяти свирепые царские времена с нищетой и бесправием рабочего люда, принявшая в жизни полную чашу горя и «отплатившая» ей тем, что отгородилась от людей, не желая видеть то светлое, чем способна одарить человека судьба. На примере целого ряда героев и героинь, на примере собственной судьбы рассказчица убеждается в том, как несправедлив бывает человек в оценке своих нравственных возможностей.

Валентина Левидова проявила себя в этой книге наблюдательным художником. Она умеет видеть людей, чувствовать вместе с ними и «за них». Она умеет быть лаконичной в описании действия и знает цену динамике в построении диалога. Здесь, пожалуй, сказался ее опыт драматурга, одно из произведений которого («Трехминутный разговор», поставленный в Ленинградском театре комедии) снискало себе зрительский успех.

Что же касается отдельных длиннот в последней повести, то они скорее всего могут быть объяснены необычностью и сложностью ее композиции. Во всяком случае, их следует считать частными издержками многообещающей и полезной работы автора.

И. Эвентов.

Ленинград.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. 30 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Империализм и раскол социализма. 22 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Как организовать соревнование? — Великий почин. 38 стр. Цена 5 к.

В. И. Ленин. Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.

А. Борцаговский. Сечень. Повесть об И. Бабушине. («Пламенные революционеры») 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Шагинян. Четыре урока у Ленина. 255 стр. Цена 45 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Очей очарованье. Лирика. 239 стр. Цена 85 к.

А. Володин. Портрет с дождем. Пьесы. 238 стр. Цена 75 к.

С. Воронин. Встреча на деревенской улице. Повести и рассказы. 288 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Даненбург. Голос солдата. Роман. 360 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ю. Друнина. Бабье лето. Новые стихи. 102 стр. Цена 35 к.

С. Наровчатов. Мы входим в жизнь. Книга молодости. 287 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Оттен. Дань. Невымышленная история. 190 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Ананьев. Перевалы. Повести и рассказы. 350 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Бадаев. Отчий край.— Олзон. Стихи. Перевод с бурятского. 94 стр. Цена 30 к.

М. Горький. Мой друг, великий человек... 238 стр. Цена 95 к.

Ленин в Шушенском встречает XX век. Документы. Письма. Воспоминания. 255 стр. Цена 70 к.

Е. Юшин. На расстоянии дыхания. Стихи. («Молодые голоса») 32 стр. Цена 10 к.

100 вопросов — 100 ответов. Все о спорте. 143 стр. Цена 95 к.

«СОВРЕМЕННОК»

И. Жилин. Мои гарнизоны. Стихи. Предисловие Е. Исаева. («Новинки «Современника») 78 стр. Цена 30 к.

А. Калинин. Цыган. Роман. 285 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Личутин. Последний колдун. Повести. («Новинки «Современника») 509 стр. Цена 2 р.

Ю. Рытхэу. Белые снега. Роман. 269 стр. Цена 1 р. 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Бальмонт. Избранное. Стихотворения, переводы и статьи. 742 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Крлежа. Избранное. Перевод с хорватско-сербского. 589 стр. Цена 3 р. 40 к.

М. Майерова. Шахтерская баллада. Перевод с чешского. 150 стр. Цена 1 р. 70 к.

Х. Мурильо. Предатели. Роман. Перевод с испанского. 237 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Пруст. У Германтов. Роман. Перевод с французского. («Зарубежный роман XX в.») 647 стр. Цена 3 р. 20 к.

Уйгун. Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с узбекского. 334 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Голубев. Крылья крепнут в бою. Повесть. 255 стр. Цена 70 к.

Дорога Победы. Стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне. Составители Н. Старшинов и С. Музыченко. («Подвиг») 477 стр. Цена 2 р. 10 к.

Т. Керашев. Куко. Роман. Перевод с адыгейского автора. 192 стр. Цена 65 к.

А. Халим. Горьчая магистраль. Публицистические очерки. («Писатель и время. Письма с заводов и строек»). 94 стр. Цена 15 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Иванов. Ленин в Праге. Перевод с чешского. 258 стр. Цена 80 к.

Д. Кэри. Радость и страх. Роман.— Рассказы. Перевод с английского. 490 стр. Цена 3 р. 20 к.

М. Лалич. Разрыв. Роман.— Рассказы. Перевод с сербскохорватского. 558 стр. Цена 3 р. 90 к.

«ИСКУССТВО»

Н. Виноградова и Н. Николаева. Искусство стран Дальнего Востока. («Малая история искусств») 372 стр. Цена 2 р.

Ю. Дмитриев. История советского цирка в самом кратком очерке. 1917—1979. 70 стр. Цена 25 к.

Н. Зайцев. Правда и поэзия ленинского образа. Театр и кино. Изд. 2-е, дополненное. 279 стр. Цена 1 р. 90 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Зарницы. Проза молодых. Воронеж. Центральное-Черноземное книжное издательство. 192 стр. Цена 65 к.

Искатели алмазов и другие эстонские юморески. Составитель Х. Лехисте. Перевод с эстонского. Таллин. «Периодика». 63 стр. Цена 35 к.

А. Левит. Грузинское острословие. Сатирические стихи и басни. Тбилиси. «Мерани». 98 стр. Цена 40 к.

А. Листопадов. Ой да сторона ты моя. Донские казацкие песни. Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 222 стр. Цена 2 р. 10 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 27/IV 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 15/VII 1980 г.
А 03449. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.).
Тираж 320.000 экз. Зак. 1787.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03602.

Цена 70 коп.

70636